1976

1976

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 1976



Сборник

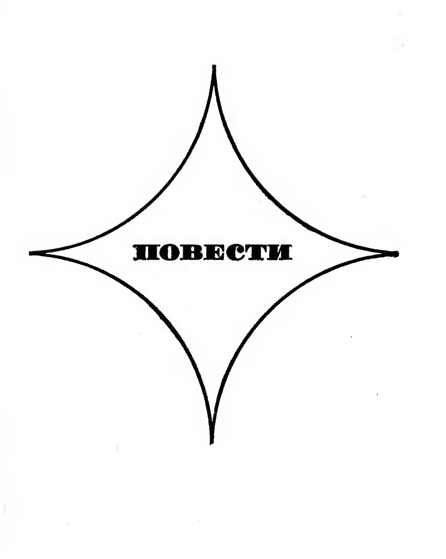
МОСКВА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 1976

С62
П75

Составитель А. КУЗНЕЦОВ

Рисунки художника
Г. УШАКОВА

П $\frac{70302-183}{078(02)-76}$ 270—76



ПОВЕСТИ



Николай НАУМОВ

Кто стреляет последним

Эта повесть, в сущности своей, — быль. Несколько изменены имена и типизированы характеры людей, участвовавших в событиях. И сами события смещены во времени и пространстве, как бы сфокусированы в одной точке. Допущены и некоторые другие «отклонения» от истинных фактов, ибо это не хроника, не отчет, а повесть. Все, что в ней рассказывается, было в действительности. И появлялся на фронте вражеский снайпер-ас, и вел он свой дневник, оказавшийся потом в наших руках, и случился у него роковой поединок с советским стрелком — гвардии старшиной Николаем Яковлевичем Ильиным, незабвенной памяти которого и посвящается этот рассказ.

Своеобразие подвига любого советского снайпера — в повседневном воинском труде, всегда опасном и тяжком. Каждый выстрел, поразивший врага, — подвиг. Сколько таких попаданий — столько подвигов. И легко ли рассказать сразу обо всех, если их было около полутысячи? Ведь именно таким — 494-м, более, чем у других снайперов нашей армии, — был боевой счет Николая Ильина.

На вершину Мамаева кургана над Волгой к статуе Победы ведут, подобно ступеням в бессмертие, мраморные плиты с вычеканенными золотом именами храбрейших защитников Сталинграда. На одной из плит — имя Николая Ильина.

Он навечно зачислен и в Н-скую гвардейскую часть, а винтовку его, израненную в боях, каждый может увидеть в Центральном музее Вооруженных Сил СССР как символ доблести советского воина.

1

Гауптман Отто Бабуке прибыл в полк «Штандарт» на рассвете, не изменив и теперь своему правилу ездить по фронтовым дорогам только в темноте. Он терпеть

не мог сюрпризов, подобных неожиданно свалившимся с неба вражеским самолетам. Под их огнем или бомбами он чувствовал себя униженным и ничтожным, как муравей под мужицким сапогом: противодействовать было бессмысленно, оставалось прятаться и ждать, раздавят тебя или нет. Это не снайперская засада, когда ты скрытно подбираешься к противнику и сам наносишь ему неожиданный удар, зная, что он уже не сможет ответить; если же встретится сильный соперник — шансы на успех и неудачу будут, по крайней мере, равными; не грех и отступить на время, чтобы взять свое попозже или в другом месте...

Командир полка, высокий худощавый, бесстрастный оберст со смешной фамилией Хунд (собака), встретил Отто неприветливо. Возможно, оберст не выспался, белесые и тусклые, как два стершихся алюминиевых пфеннига, глаза неподвижно уставились на прибывшего. Но, возможно, оберст был недоволен появлением заезжей знаменитости и по иной причине: Отто чувствовал неприязнь фронтовиков, они — знал он — за глаза называли его и гастролером и авантюристом. Ведь им, в отличие от него, главного инструктора берлинской снайперской школы, приходилось подвергать себя постоянной опасности. Впрочем, Отто было в высшей степени безразлично, как они к нему относятся: три Железных креста, один из которых ему вручал сам фюрер, и покровительство высшего командования освобождали его от какой бы то ни было зависимости: злитесь не злитесь, господа, а принимать будете. И заискивать тоже...

— Располагайтесь, пожалуйста, сейчас принесут завтрак, — вяло сказал оберст и равнодушно зевнул. — Тут у нас тихо и мирно, как в Баден-Бадене, если не считать этого проклятого мороза. Словом, все располагает к отдыху...

— Спасибо, господин оберст, — мягко отпарировал Отто. — Разумеется, я прибыл к вам именно потому, что у вас, — он подчеркнул последние слова, — что у вас здесь и тихо, и мирно, но, к сожалению, не для того, чтобы отдыхать, а, наоборот, чтобы несколько нарушить и тишину, и мир. Я снайпер...

Отто помолчал и, решив совсем смутить оберста, тоже зевнул и как бы случайно обронил:

— Фюрер, прикрепляя к моему мундиру орден, ска-

зал по этому поводу замечательно. О его слова!.. Они прозвучали, господин оберст, приблизительно так: «Неиссякаемой жестокостью и неослабевающей беспощадностью к врагу — вот чем прежде всего отличается снайпер от обыкновенного солдата».

Алюминиевые глазки блеснули. Это были уже не пфенниги, а колючие льдинки. Оберст понял намек и с показной готовностью согласился:

— Естественно, естественно! Командир дивизии генерал Штейнбергер оповестил меня о вашей миссии. Я уже отдал необходимые распоряжения, и для вас солдаты готовят в удобном месте безопасную позицию. Кроме того, вам будут помогать четыре лучших стрелка...

— О господин оберст, — наклонил голову Отто, — благодарю вас! Но я предпочитаю заниматься своим скромным делом самостоятельно, без помощников. Позицию мне хотелось бы выбрать также после визуального ознакомления с укреплениями противника. При этом придется, вероятно, подготовить несколько вариантов, в разных точках.

Оберст пожал плечами:

— Я считал своим долгом предложить вам это. Земля уже промерзла, и работать лопаткой трудно, особенно одному. Тем более если вы намерены выбрать несколько позиций.

Подали завтрак. В небольшом, обитом досками блиндаже оберста собрались начальник штаба полка, тощий майор с желтым, наверное от болезни печени, лицом, высокий черноволосый уполномоченный контрразведки в пушистом темном свитере, похожий на спортсмена, еще какие-то офицеры, которых оберст не представил и которые держались с Отто, не скрывая недружелюбия. Один, знакомясь, трижды щелкнул каблуками, другой приветствовал Отто, подняв два пальца к виску, хотя и был без фуражки, третий искусственно улыбнулся, несколько раз коротко оскалив рот с вставными металлическими зубами. «Шуты!» — злился про себя Отто.

Разговор за столом не клеился, все молча, словно нехотя, ели, и это безразличие было непонятно, потому что Отто, как их, конечно же, известили, прибыл прямо из Берлина и мог рассказать уйму новостей.

— А в минувшее воскресенье возле имперской канцелярии произошел любопытнейший случай...

Никто, однако, не обратил на эти слова Отто внимания.

Молчание затягивалось, поэтому оберст сказал:

— Пока гауптман гостит у нас, наш долг — сделать его пребывание не только приятным и безопасным, но и максимально эффективным...

Оберст окинул стол тусклым взглядом и добавил с неуловимой иронией:

— Эффективным в боевом отношении, разумеется.

Оберст, несомненно, намекал на анахронизм снайпинга в условиях современной войны с ее автоматическим оружием, танками, реактивной артиллерией, авиацией. Отто уже приходилось, и неоднократно, слышать нечто подобное от других фронтовиков. Но это противоречило, во-первых, установке фюрера и, во-вторых, умаляло значение единственной военной профессии, которой Отто владел в совершенстве и благодаря которой прославился. Можно ли было пропустить мимо ушей такое замечание?

— Да, господа офицеры, — сказал Отто, улыбаясь и умышленно обращаясь ко всем, а не к одному оберсту, — да, господа, я действительно рассчитываю на боевой успех. И, по возможности, да поможет мне бог, значительный.

— На какой именно? — вежливо, но скептически спросил кто-то.

Отто быстро оглядел их всех и не угадал спрашивающего: рты у них были сжаты, лица неподвижны, глаза одинаково равнодушны.

— До пяти большевиков в день! И, если хотите, предлагаю пари! — выпалил Отто. Однако, сообразив, что хватил через край, торопливо поправился: — При соответствующих условиях, разумеется.

— Ну знаете ли... — всплеснул худыми руками майор, и желтое лицо его стало коричневым. — Пятерых в день? Я не верю. Не могу, нет... В условиях такой обороны, когда противник тщательно окопался... Да знаете ли вы, что за минувшие десять дней весь наш полк едва ли вывел из строя троих вражеских солдат? Весь полк!

Отто резко повернулся к майору и, снова забыв об осторожности, отрубил:

— Это зависит от боеспособности полка!

— Пари! — тотчас поднялся оберст. Он побагровел, щеки его тряслись от негодования, тусклые глаза потемнели. — Пари, гауптман! Пари хотя бы на трех русских в день и пари, что из двух заданий, которые я предложу, вы не выполните два. — Он снял с пальцев два золотых кольца с бриллиантами и азартно бросил их на стол. — Это мой заклад, гауптман!

Отступать было нельзя. Отто помедлил, подыскивая достойный ответ, взял одно кольцо, другое, повертел их, делая вид, что любуется игрой камней.

— Я готов, — наконец сказал Отто. — Тем более что оспаривается нечто более драгоценное — моя честь. — Отто достал из чехла винтовку, оптический прибор и необходимые инструменты. Он долго и тщательно подготавливал винтовку к стрельбе. Оберст и другие молча следили за ним.

— Пойдемте, — сказал оберст. — За лесом большое поле...

Они оделись и вышли.

Оберст приказал шоферу завести «опель» и ехать за ними. Среди слонявшихся солдат быстро распространилась весть о пари командира полка с приезжим снайпером, и многие потянулись за ними.

Наконец оберст остановился. Дорога, по которой они шли, уперлась в шоссе, и оберст знаком приказал шоферу выехать на него.

— Вы займете позицию в ста метрах от этого перекрестка, — сказал он Отто. — Машина пойдет по шоссе со скоростью восемьдесят километров в час. Вы должны попасть вот в это, — он достал из кармана большие серебряные часы на цепочке и коротко привязал их к заднему бамперу автомобиля. — Конечно, они будут крутиться, но... — оберст, смеясь, посмотрел на Отто, — это первое упражнение, гауптман, а честь офицера, как вы заметили, нечто весьма дорогое, не так ли?

Стоявшие вокруг ждали, что скажет Отто. Задача, которую ему назначили, была, по их разумению, невыполнимой. Невероятную трудность ее понимал и Отто. Конечно, он был вправе возразить оберсту, отказаться. Ясно — оберст решил посрамить его, но не менее ясно

было и то, что отказ означал поражение без борьбы, а это выглядело бы постыдно. Отто мастер своего дела. Работая до войны стрелком в цирке, он, бывало, выполнял такие сложные номера, что вызывал восторг зрителей. Но разве сравнить это с тем, что предлагалось теперь?

И все-таки Отто решил попробовать. Искусство искусством, но есть и счастье и везение, в конце концов.

— Пожалуйста, господин оберст, — сказал он. — Если позволите, стрелять буду лежа. Кроме того, прошу шофера дважды проехать передо мной на одной и той же скорости. В третий раз я разобью часы, если вам их не жаль.

В толпе загудели. Спектакль обещал быть интересным.

Солдаты отмерили рулеткой ровно сто метров от шоссе. Отто каблуком отбил от земли примерзший камень, принес его в указанное место для упора, положил на камень винтовку и залег, широко раскинув ноги.

«Опель» рванулся по шоссе и, развернувшись в полукилометре, встал, ожидая сигнала. Отто сразу махнул шоферу рукой.

«Опель» помчался. Отто установил прицел, как требовалось — с учетом скорости автомобиля, ветра, температуры воздуха и, поймав на перекрестие оптического прибора часы, повел ствол винтовки вслед так, чтобы изображение их по возможности не соскакивало с перекрестия. По возможности. Часы вертелись, блестели, как бы подмигивая снайперу.

И вдруг Отто ощутил непреодолимое желание выстрелить, в нем внезапно возникла уверенность, что если выстрелить сейчас же, не делая никаких прикидок, выстрелить не мешкая, то попадет в цель. Он всегда слушался этого внутреннего призыва и никогда не ошибался. Неужели сейчас будет иначе?

Часы блеснули еще раз, Отто выстрелил.

Он уже не видел, что произошло с часами, только блеск их погас, и Отто лежал за камнем, закрыв глаза, потому что они вмиг устали, словно ослепленные вспышкой яркого света.

По возгласам за спиной Отто понял, что победил. Он поднялся, отряхнул с шинели снег, взял винтовку и медленно пошел к оберсту.

Видимо, из уважения к Хунду или из страха перед

ним все молча стояли на месте, однако в глазах многих Отто прочел восхищение. Подкатил «опель», шофер стал отвязывать от бампера изуродованные часы, но никто не подошел к нему.

— Каковым будет второе упражнение, господин оберст? — спросил Отто, стараясь говорить тихо, скрывая радость.

Оберст учтиво произнес:

— А вы, гауптман, стрелок необычайный!

— Благодарю, — картинно склонил голову Отто. — Однако я жду нового распоряжения.

Глаза оберста вспыхнули недобрым огнем.

— Поскольку вы блестяще расправились с моими часами, теперь придется стрелять по живой мишени, которая, естественно, постарается ускользнуть от смерти. Привезите пленного, — приказал он подчиненным.

Пленный исподлобья смотрел на Отто. Руки он держал за спиной, словно они были связаны. Его знобило — стоял сильный мороз, а он был без шинели и шапки. Он переминался с ноги на ногу в ботинках с обмотками и молчал. Это был худощавый, небольшого роста юноша лет двадцати, с коротко остриженными, как у боксера, светлыми волосами. Типичный славянин — круглое лицо, короткий широкий нос. Видно, ему несладко пришлось до этого, потому что на губах запеклась кровь и левую щеку, заросшую белесым пушком, пересекала свежая рваная царапина.

— Ну как, нравится он вам, гауптман?

— Откровенно говоря, не очень, — пожал плечами Отто. — Вероятно, его допрашивали слишком настойчиво, господин оберст.

— Других нет. Но ничего, попробуйте с этим справиться...

— Ваши условия, господин оберст?

— Мы выведем его в передовую траншею, в пятистах метрах от русских. Впереди — ровное, как стол, поле. Снегу мало, земля мерзлая, и он побежит, я уверен, достаточно быстро. В меру своих сил, конечно, — оберст усмехнулся, стремясь, вероятно, опять умалить снайперские достоинства Отто. — Впрочем, в состязании, где на старте его ожидает только смерть, а на финише — возможность сохранить жизнь...

— Это ему не удастся, — сказал Отто.

— Посмотрим, посмотрим. Рекорда мы не увидим, разумеется, но человек, чтобы не умереть, способен на многое, иногда на невозможное...

— Значит, он будет знать?

— Конечно! Мы объявим ему, что отпускаем на свободу, и если он сумеет уйти от вашей пули — его счастье. Если же вы упустите его, то генерал Штейнбергер, думаю, вряд ли отзовется об этом лестно...

— Где будет моя позиция?

— Там же, где мой наблюдательный пункт, и вы будете отлично видеть цель с площадки у входа.

— Понятно, — кивнул Отто.

— Однако, — продолжал оберст, — стрелять вы должны только один раз и не ранее, чем он преодолеет девять десятых расстояния до русских окопов. Теперь объясните наши условия пленному, — сказал оберст. — Может быть, он откажется. Вы, я слышал, неплохо говорите по-русски.

— А я по-немецки, — вдруг сказал пленный, и все вздрогнули. Голос русского был низкий, раскатистый и хриплый. — Я все понял, я согласен.

Отто осмотрел винтовку, проверил дважды и в третий раз, легко ли открывается и закрывается затвор, старательно протер замшевым лоскутом стекла прицела, с минуту разглядывал через него поле, по которому предстояло бежать пленному. Он ясно представлял, что произойдет. У окопов противника, по прямой от блиндажа линии, Отто заметил розоватый камень, а дальше — сломанный куст, и определил расстояние до них по возможности точнее. Пленный побежит, конечно, кратчайшим путем, то есть на камень и куст, и пристрелить его в любой из этих двух точек не составит труда. Если же вильнет в сторону, проблема будет решена незначительными поправками в прицеливании.

Отто посмотрел на пленного. Тот казался совершенно спокойным, однако неотрывный и горящий взгляд, обращенный к русским позициям, выдавал его. Взгляд был именно горящий. Вероятно, русский надеялся выиграть это состязание, иначе его глаза не светились бы так ярко, и Отто презрительно скривил губы. Пленный, наверное, почувствовал это и мельком посмотрел на От-

то. Тот ошибся: в серых глазах русского была не надежда — в них полыхали отчаяние, решимость и ненависть.

— Я готов, — резко сказал Отто, отворачиваясь от пленного. Волнение охотника проснулось в нем.

— Шнель, быстро, бегом, шнель! — скороговоркой приказал оберст пленному.

Пленный уцепился руками за край траншеи, земля была твердая, и пальцы его срывались, но он, упершись ногой о противоположную стенку, вскарабкался на бруствер.

— Форвертс, вперед, быстро! — скомандовал оберст.

Но пленный не спешил. Стоя во весь рост, он внимательно осматривал лежащее перед ним заснеженное поле, выбирая путь.

Отто легонько подтолкнул его в спину стволом винтовки:

— Давай, давай.

— Сволочь фашистская! — хрипло выкрикнул пленный и побежал.

Странно было видеть на безлюдном белом поле его черную фигуру. И жуткой была тишина, которую хранили в немецких и русских окопах и которую нарушил одинокий хриплый вопль:

— Ребята, бейте... там они... Там. В блиндаже... Бейте!..

Теперь Отто совсем оправился и, укладывая винтовку на бруствер окопа, сказал оберсту:

— Насколько я понимаю русский язык, он призывает открыть по нас огонь. И, уверяю, более мощный, чем винтовочный. Боюсь, господин оберст, что наше пари будет прервано до того, как он пробежит свои четыреста пятьдесят метров.

— Не отвлекайтесь! — мотнул головой оберст, поднимая бинокль.

— Ну, смотрите же... — Отто впился глазом в оптический прицел. Ему был хорошо виден русский. Стекла прибора вплотную приблизили его, словно он вернулся обратно...

Теперь пленный уже не бежал, видно, силы, потраченные на первый рывок, покидали его, и он брел, спотыкаясь, опустив как плети руки, и они висели, словно

вывихнутые. Молчали окопы, от которых он удалялся, молчали и там, впереди. Первых призвал к этому приказ, вторых — ожидание.

Всматриваясь в цель, Отто удовлетворенно отметил про себя, что пленный передвигается все медленнее, — прямо на камень, выбранный снайпером для ориентировки.

— Четыреста пятьдесят, — тихо сказал он.

— Стреляйте! — сказал оберст.

Но Отто выстрелить не успел. Пленный метнулся, как пружина, влево, затем вправо и стремглав побежал, кидаясь из стороны в сторону, чтобы не дать Отто прицелиться.

Отто понял, что ошибся, надеясь на легкую победу. Русский сержант оказался хитрее, чем он предполагал.

Отто нервничал, чувствуя, что не может приноровиться к движениям бегущего. В них не было ритма, системы, русский лихорадочно импровизировал, делая то широкий прыжок, то резкий, короткий поворот, и с каждой секундой уменьшал шансы противника. Отто следовало бы дать пристрелочный выстрел, чтобы следующим уже поразить цель, но это не входило в условия пари — он должен был попасть с первого выстрела. Однако на этот-то, единственный выстрел он и не решался.

— Огонь! — крикнул оберст, и этот крик оборвал волнение Отто. Он холодно сказал:

— Наблюдайте, пожалуйста, господин оберст. Я нарушаю договоренность, но продлю удовольствие. Сейчас я перебью ему правую ногу, — и выстрелил, уже зная, что попадет, обязательно попадет.

Пленного шатнуло, как будто его схватили за плечо и вывернули, он припал на колено, упираясь о землю руками.

— Великолепно! — воскликнул адъютант.

Но пленный опять поднялся, сделал несколько припадающих, вялых шагов...

— Я стреляю еще, но не окончательно, — сказал Отто.

Теперь пленный упал. Но, видно, велика была его жажда жизни, потому что, и дважды раненный, он продолжал двигаться ползком.

— Добивайте! — прошипел оберст.

— Теперь можно и не спешить, — отрываясь от винтовки, засмеялся Отто. Он имел право на передышку.

Однако это была ошибка.

Из русских окопов одновременно бросили три дымовые шашки. Описав над упавшим стремительные черные дуги, они выплеснули фонтаны плотного дыма.

Отто судорожно припал к винтовке, поспешно выстрелил, уже почти не целясь, наугад, потому что еще различал в дыму зыбкие контуры человеческого тела. Он выстрелил и еще, теперь с досады, лишь бы выстрелить, потому что попасть уже не мог.

И тогда заколотились бешеные пулеметные и автоматные очереди. Стреляли отовсюду, будто стреляли все, кто видел происходящее и ждал развязки. Застонала земля от артиллерийских разрывов. И тишина, и напряжение, копившееся в людях, словно нашли выход и облегчение в хаосе звуков.

Отто видел, как вздымаются взрывы и мельтешит огонь в клубящейся дымовой завесе, тщась разорвать, сбить, развеять ее, и радовался, что это им не удается. Если бы дым рассеялся, пленного — в этом Отто уже не сомневался — там не было бы: он либо сам дополз до окопов, либо его унесли туда свои. И тогда для всех стало бы ясно, что Отто потерпел поражение.

Но дымовые шашки продолжали, к счастью, действовать, и все кругом затягивалось сизым пахучим туманом, а советские снаряды ложились ближе и ближе к наблюдательному пункту командира полка, и желтолицый майор потянул Отто за рукав:

— Укройтесь в блиндаже, вы свое сделали.

В блиндаже было тесно, душно, жарко. Отто едва втиснулся между разгоряченных офицеров штаба.

Один из снарядов упал неподалеку, блиндаж встряхнуло, со стен и потолка посыпалась пыль. Когда взрыв затих, оберст сказал:

— Одно кольцо ваше, гауптман. Добывайте второе...

2

Это произошло в те дни, когда полк гвардейской дивизии Петрова, ослабев после наступательных боев, длившихся несколько суток, окопался в неглубоких, заросших кустарником балках. Передовые дозоры пыта-

лись было продвинуться еще, но понесли потери и отошли.

Утром штаб дивизии прислал приказ: окопаться, ждать следующих распоряжений. Командир полка Свиридов, человек беспокойный и горячий, тоскливо оглядев в бинокль окрестности, сказал:

— Приехали, значит.

Сейчас на участке полка было относительно спокойно. Протарахтит шалый пулемет, ударит мина — и снова ни выстрела на час, а то и на два. Впрочем, как выяснилось к обеду, и у соседей, тоже приостановившихся и слева, и справа, наступила передышка.

Так — в настороженности, в чутком покое, лишь изредка, во время пристрела ориентиров и рубежей, прерываемом гулким голосом оружия, — прошла неделя.

Солдаты привыкли к тишине.

Но ровное течение жизни прервалось. Неожиданно с немецкой стороны выбрался сержант Иван Седых, помкомвзвода разведроты. До того он не вернулся из вылазки за «языком», и его считали погибшим. Парень уцелел. Только чудно было, что немцы не стреляли в него, пока не подбежал он к нашим окопам. Прикрыв раненого сержанта дымовыми шашками, бойцы втащили его в окоп.

Сержант умирал, у него были перебиты рука и нога, а в правом плече зияла неровная сизая рана от разрывной пули.

— Все-таки ушел... — сказал сержант. — Проиграл фашист...

Страшен был рассказ сержанта о поединке со снайпером.

А через день в одной из рот, что с краю, на самом левом фланге, внезапно убили четверых. Подряд четырьмя выстрелами, когда солдаты очищали засыпанную снегом траншею.

Утром за бугром, надежно скрывавшим от противника, были настигнуты трое: вылезли на снег чинить брезент. По ним стреляли только три раза...

В тот же день, к вечеру, неподалеку погиб связной, пробиравшийся извилистым ходом сообщения во взвод бронебойщиков. Остановился у поворота, скрутил козью ножку, затянулся — и упал замертво. Люди видели, как он рухнул — без звука, будто его толкнули изо всех сил. А выстрела, казалось, и не было.

На рассвете беда повторилась в соседней роте. Тут был тяжело ранен старшина, приподнявшийся над бруствером окопа. Потом санитары унесли тело безусого мальчишки-автоматчика: его подстерегли, когда он, согреваясь на морозе, затеял с погодком веселую чехарду.

Потом... Потом были новые жертвы.

На командный пункт полка, в штаб дивизии понеслись донесения. Оттуда поступил приказ: усилить маскировку, поднять огневую активность — стрелять в любое подозрительное место.

На выстрелы снайпера стали отзываться наши пулеметы: со всех сторон с яростью и вслепую набрасывались они на скрытую цель, стараясь уничтожить вражескую засаду. Горячились минометчики, распалялись артиллеристы: снаряд к снаряду вбивали они туда, где чиркнул неяркий огонь выстрела, от угрюмых взрывов летела комьями земля, и думалось, что вряд ли могло там уцелеть что-нибудь живое.

Но угомонится потревоженный передний край, пройдут часы, и снова подает свой голос неутомимый неприятельский снайпер. Теперь его сразу узнавали уже по одной этой коварной повадке — стрелять с короткой дистанции и лишь несколькими патронами за весь долгий, томительный день. И по тому, что пули, как правило, достигали цели.

Комдив Петров, грузный, медлительный и обычно уравновешенный человек, видавший виды и на гражданской, распек Свиридова почем зря, узнав о потерях от «какого-то снайпера» в его полку.

— Люди, люди гибнут! — сокрушался комдив, а полковнику Свиридову было нестерпимо это слушать. Уж кто-кто, а он, Свиридов, знал, что гибнут люди. Из троих подчиненных ему командиров батальонов больше всего досталось майору Тайницкому: в основном на его участке орудовал немецкий снайпер. Тайницкий, в свою очередь, разругал командира третьей роты лейтенанта Петрухина: именно в этой роте от руки фашиста за три дня погибли шестеро. Петрухин растерянно моргал глазами и молчал, да и что он мог сказать, если сам, пробираясь по вызову комбата недоделанной траншеей, чудом не получил пулю, благо вовремя растянулся на дне, ободрав лицо и руки.

Петрухнну, кроме себя, вниннть было некого: потери во взводах получнлись равные, по два бойца на взвод, и все потому, уразумел теперь Петрухин, что рота не успела или поленнлась, по его, Петрухина, недосмотру, окопаться до морозов поглубже, а он, ожидая, что наступленне продолжится, пожалел солдат: чего им с лопатами мучиться, когда вот-вот вперед ндти? Теперь за эту беспечность расплачивались люди, н долг командира состоял в том, чтобы быстрее исправнть огрех.

— Приду проверю, — стукнул кулаком по столу Тайницкий, — не зароешься по ушн — пеняй на себя, Петрухнн!

Случнлось так, что в эти горькне для всех часы в батальон возвратнлся нз госпнталя снайпер старшина Николай Игнатьев. Настроенне у него было веселое, радостное, ведь возвращался человек после ранения к своим, в свой батальон.

Игнатьев вошел в землянку Тайницкого как раз в тот момент разноса Петрухнна и успел подхватить падавший со стола котелок с холодной кашей.

— Зачем провнант губнть, товарнщ комбат? — сказал он, улыбаясь.

Тайннцкнй так и облапнл его огромнымн руками.

— Толкуй быстро, парень, как, что, хорошо ли отремонтнровали, выписалн нли сам удрал, чувствуешь как?

— Порядок! — засмеялся Игнатьев. — Выпнсалн, не волнуйтесь, товарнщ комбат. Почнстнлн, заштопали и зажнло, как на той собаке. Порядок! А у вас тут что? С чего это вы на товарища Петрухнна ногами топали?

— Не ногами, рукамн, — нахмурился Тайницкнй. — Тут у нас такая заваруха, деваться некуда.

— Чего так?

— Снайпер, понимаешь, ихний жизнн не дает. И в буквальном, и в переносном... Бьет — дышать нечем. А мы ушамн хлопаем, — Тайннцкнй серднто поглядел на Петрухнна.

— Да расскажите толком! — Игнатьев прндержал тяжелую руку Тайницкого. — Мы этого снайпера отправнм на удобрение с лету!

— Не спеши, старшина. Тут дело серьезное. Подставнть себя успеешь...

...Разные у нас бывалн на фронте снайперы, неутомимая, беспокойная «лейб-гвардня» царицы полей —

пехоты. Хотя в боевом уставе и говорилось, что снайпер — это, во-первых, хороший, меткий стрелок, отличающийся к тому же высокими физическими, моральными качествами, хотя в специальных инструкциях и наставлениях определялись и общие, и частные снайперские обязанности, правила и задачи, — каждый был прежде всего человек. Со своим, только ему присущим характером. Со своими привычками, возрастом, ростом, голосом и глазами, наконец. Потому-то и война отмеряла им судьбы разным и слишком часто недолгим счетом.

Были снайперы, которых Игнатьев называл «копушами». Спокойные и даже будто медлительные, а попросту говоря — рассудительные и здраво осторожные люди, великие работяги, они плели по ночам за передней линией подразделений на ничейной полосе, между нашими и вражескими окопами, свою «оборону». Оборудовали мудрено замаскированные канавки, резервные и ложные, для обмана, и десятки других, каким и названия не подберешь, сооружений — ямок, лазов, щелей: земляных, каменных, деревянных... Таким образом обезопасив себя, «копуша» мог, едва займется рассвет, незаметно передвигаться в разных направлениях, стрелять в самых непредвиденных местах и превращался в грозную силу.

Иные снайперы, не утруждая себя мозолями, предпочитали использовать для засад, как говорится в военной литературе, естественные укрытия. Излюбленным приютом «кукушки» становилось густое дерево: скроется в листве и быстро выскажет врагу, сколь мало ему на роду написано. Зимой использовались подбитые танки, полусгоревшие автомашины и другая брошенная на поле боя техника. И день, и пять дней маячит перед глазами перевернутый вверх тормашками, скрюченный, как старый керосиновый бидон, заснеженный «мерседес», и невдомек бывшим его хозяевам, что именно из-под этой молчаливой развалины высматривает подходящую цель прищуренное снайперское око. В населенных пунктах отсиживались на чердаках, среди развалин, били из подвальных окон.

Другие снайперы, исходя из обстановки, не гнушались и привычек «копуш», и повадок легких на подъем «кукушек», не потому ли и войне было труднее свести с ними грозные счеты?

Игнатьев, человек решительный и рисковый, начи-

нал в роли, как называется у снайперов, «любителя легкой жизни». Опасности не сразу научили его воинскому уму-разуму: все выходил сухим из воды. Замрет, бывало, сердце наблюдателя при виде облака снарядного разрыва на том самом месте, где залег Игнатьев, рассеется дым, вот и он, целехонький!

Тайницкий, души не чаявший в Игнатьеве и дружививший с ним не по чину, однажды взгрел его за безрассудство. Игнатьеву вручили саперную лопатку, категорически запретив выходы за передний край без предварительной подготовки.

— Слушаюсь! — кротко отвечал Тайницкому Игнатьев.

И, вернувшись с ничейной полосы в батальон, подробно и красочно живописал:

— Всю ночь копал — страсть! Очи повылазили, ручки-ножки гудят, а копаю. Ой, копа-а-ю!.. Основкую ячейку сделал. Раз. Еще, про запас. Два. Глубина — у!.. — И он, поднявшись на цыпочки, показывал рукой выше головы. — А вот тут, внизу, тут вот ступенечку оборудовал, — он приседал и жестом любовно обрисовывал контуры ступенечки. — Ладно, думаю, для себя работаю... А светло стало — благодать! Сидишь, как на завалинке, никакого волнения!

— То-то и оно! — благодушно соглашался довольный комбат. И лишь потом выяснилось, что все эти «ячейки» и «ступенечки» — выдумка, что лопатка, приторочённая Игнатьевым к ремню, так и лоснится первозданной смазкой, ни разу не вынутая из чехла... Только ручку — ведь она на виду — Игнатьев, готовясь к докладу, накануне тщательно вымазал глиной у незамерзшего ключа...

Так и доигрался Игнатьев до ранения — хорошо, что и на этот раз отделался, в сущности, легко, мог и погибнуть...

Чисто, аккуратно смазанная винтовка и оптический прицел, спрятанный в плотный кожаный футляр, были в полном порядке.

— Спасибо, комбат, — сказал Игнатьев.

— Я ее, как милую, берег, — кивнул Тайницкий. — Были тут желающие: дай, постреляю. Не дал!

В землянке потемнело, в нее, загораживая вход, про-

тиснулся широкоплечий, пожилой, усатый солдат в шинели с поднятым воротником и шапке с опущенными ушами.

— Рядовой Морозюк по приказу комроты, — с мягким украинским акцентом доложил он. — Кого сопровождать треба?

Они вышли из землянки.

Солнце было высоко и косой тенью делило глубокие траншеи надвое. Хоть и узко, неудобно было в этих тесных, как щели, ходах, они шли быстро, стараясь скорее выйти туда, где, как предупредил Морозюк, «брюхом зашагаемо, бо нимец стреляет»...

Траншея вползла на бугор и оборвалась: дальше был небрежно вырытый, мелкий, как борозда, ход сообщения.

Морозюк выглянул из-за насыпи.

— До кустика доползем, — объяснил он, — чуток левее подадимся по-за бугром. А тамотки — бачите? Песок накидан, то наше укрытие и будет.

— Бачу, бачу. — Игнатьев окинул взглядом округу.

Плавными ухабами, то сближаясь, то словно оттолкнувшись друг от друга, расползались белые холмы. С вражеской стороны, должно быть, хорошо просматривались ротные позиции. Двигаться дальше, хотя до блиндажа бронебойщиков и оставалась сотня метров, не больше, надо было осторожно.

Игнатьев скосился на Морозюка. Тот побледнел и, сняв рукавицы, завязывал на подбородке шнурки ушанки. Пальцы Морозюка дрожали.

— Ты чего это, солдат? Или простыл? — успокоительно дотронулся до него Игнатьев.

Морозюк зябко повел плечом:

— Це так.. Тильки оттиля в тыл як бы легче було, всэ пидальше... А зараз навстречу ему... — И признался: — Боязно, товарищ старшина...

— Ну, вояки! — крикнул Игнатьев с досадой и решительно вылез из траншеи. — Двигай за мной! Голову ниже!

Они поползли. Игнатьев, рывками подтягивая тело, вскоре был уже у куста, на который указывал Морозюк, и оглянулся.

— Поползаешь, чемпионом по акробатике станешь... — Игнатьев засмеялся и, увидев на кусте остав-

шиеся с осени кирпичные ягоды шиповника, протянул к ним руку.

И — отдернул ее, яростно и быстро прильнул к земле. Почти в тот же миг откуда-то донесся винтовочный выстрел. Пуля твердо ударила в ствол шиповника и лопнула. Куст закачался, сбрасывая снег.

— Тикай, старшина! — охнул Морозюк, вскакивая на колени.

— Лежать! — Игнатьев изо всех сил толкнул солдата, повалил.

И вовремя. Снова будто треснуло на морозе бревно, и рядом с Игнатьевым ударилась в мерзлую кочку вторая пуля. Брызнув острыми комками земли, она срикошетировала и, уходя в темнеющее небо, запела, как сорвавшаяся пила...

Игнатьев лежал неподвижно, прислушиваясь к тому, как торопливо стучит сердце прижавшегося к нему человека.

Время бежало — и полчаса, и час. Солнце, покраснев, уходило за горизонт. Они по-прежнему лежали у куста, и уродливая тень росла от них по борозде.

— Может, поползэмо, товарищ старшина? — спросил Морозюк.

— Не на того мы нарвались, друг. Нельзя. Теперь лежи до темноты.

Когда оранжевая кромка волнистого горизонта погасла, Игнатьев зашагал в сторону блиндажа.

Морозюк грузно топал за ним.

Их окликнули. Игнатьев остановился.

— Напарник мой, — пояснил Морозюк.

— То я, Мамед, — негромко отозвались из темноты.

По корявым земляным ступенькам они ощупью сползли к блиндажу. От стены отделилась невысокая фигура второго бронебойщика.

— Раз кричу — почему молчишь? Два кричу — опять молчишь, — сердясь, фальцетом сказал Мамед. — Стрелять хотел.

— А стрелять, солдат, после третьего оклика полагается, — заметил Игнатьев.

— Сам знаю. Потому не стрелял, — отрубил Мамед. — А ты кто?

Морозюк пояснил. Мамед рассмеялся, хлопнул Игнатьева по плечу:

— Хороший человек! Я газету читал — смелый человек. Теперь с нами будешь?

— Пока с вами... — улыбнулся Игнатьев. — Что слышно, что видно, Мамед?

— Все слышно, товарищ старшина. Послушай, пожалуйста.

С немецкой стороны долетали неясные, приглушенные расстоянием голоса. Там пели, видно, хором. Песня была игривая, похожая на польку. Потом донесся обрывок плавной, печальной мелодии, исполняемой на инструменте с высоким певучим тембром.

— Немцы, что ли? — удивился Игнатьев. — Да они рядом!

— Двести метров. Я считал, — доложил Мамед. — Все слышно. Сейчас флейта играла. Уже три дня играла. Точно говорю. Я знаю. Сам играл, в кружке был. Все слышно, видно плохо.

— Что так?

— Немец на горе, мы под горой. Слышу — часа два будет — стреляют. Еще стреляют. Откуда? Кругом смотрю. Ничего не видно.

— Це вин нас с товарищем старшиной спиймав, — вздохнул из угла Морозюк.

— Так и знал, так и знал! — воскликнул Мамед. — Почему, думаю, долго нет? Час нет, два нет. Искать хотел. Не могу искать — один остался.

— А не с бугра ли, где бочка пустая валяется, он стрелял, Мамед?

Мамед задумался.

— Вчора, колысь одного хлопчика раниlo, я чув: оттиля пальнул, от бички, — подал голос Морозюк, — тильки левее да к их укреплениям ближе.

— Так, так! — обрадованно подтвердил Мамед.

Теперь задумался Игнатьев. Лежа под кустом шиповника, чуть было не ставшим для него и Морозюка роковым, и загадывая, где находится вражеский снайпер, он и тогда подумал, что опасность пришла оттуда, с этого пустынного, присыпанного снегом бугра с темной бочкой посередине. Да, да, и чуточку дальше, метров на двадцать, и в створе с бочкой. Это впечатление совпадало с мнением Мамеда и Морозюка. И новенькая санинструктор, которую тоже задела пуля, говорила Тайницкому о том же... А почему бы, собственно,

немцу не устроиться там? Место удобное. Шестерых за три дня — куда удобнее!

— Свет у вас есть какой? — спросил Игнатьев. — Только так, чтобы незаметно...

В стене блиндажа была глубокая, как нора, ниша для отдыха, и Морозюк, шурша соломой, зажег там засунутую в ящик самодельную коптилку из гильзы бронебойного снаряда.

— Займемся геометрией, — сказал Игнатьев.

Подвинувшись в лаз, Игнатьев гвоздем нацарапал на притоптанном глиняном полу схему расположения батальона, отметил кружками то место, где они отлеживались с Морозюком, блиндаж бронебойщиков и бочку. Затем через нее процарапал прямую линию, обозначавшую предполагаемое направление вражеских выстрелов в сторону первого кружка. Потом прочертил — «тильки левее да к их укреплениям ближе» — линию к блиндажу. Две бороздки скрестились.

Игнатьев воткнул в пересечение гвоздь:

— Вот!

Морозюк, с любопытством наблюдавший за ним, так и крякнул:

— Оно!

Игнатьев усмехнулся:

— Это, солдат, гвоздь, а попробуй возьми его пулей...

— Це правда...

Они помолчали, следя за тусклым пламенем коптилки.

— Стой! Кто идет? Кто идет, говорю? — встрепенулся вдруг Мамед, хватая автомат и высовываясь наружу. — Второй раз говорю, третий стрелять буду!

Погасив свет, Игнатьев и Морозюк тоже вылезли из ниши.

— Все в порядке, — успокоил их Мамед. — Пароль отвечает.

К ним быстро приблизилась неясная тень.

— Кто такой? — окликнул Мамед. — Почему не знаю?

— Не такой, а такая, — послышался в ответ женский смешок. — Принимайте медицину, хлопчики, Зина я, Смирнова, санинструктор. — И, сползая по ступенькам, передразнила Мамеда: — «Почему не знаю?». Кто это у вас незнайка такой?

Она присела на корточки, расстегивая повешенную через плечо сумку.

— Я бинты принесла, йод, вазелин от мороза и еще кое-что. Да, чуть не забыла, хлопчики: с сегодняшнего вечера принимать по две таблетки кальцекса. Для профилактики. От гриппа.

— Так на войне, я чув, хворобы не бывает! — Морозюк с неудовольствием принял из рук Смирновой небольшой сверток.

— Вы чуйте, что я говорю! — оборвала она. — Для профилактики, соображай.

В небе совсем близко громко хлопнула белая ракета. Зина, невольно отшатнувшись к стене, изумленными глазами проводила мерцающую светящуюся дугу.

Игнатьев увидел ее лицо и уже... не видел ничего, кроме этого лица, по которому торопливо скользили смутные блики... И даже когда ракета погасла и тьма снова поглотила их, он видел это лицо...

— Я пойду, — сказала Зина.

Он встрепенулся. Хотел что-то сказать, а что — и сам не знал теперь...

Она сказала: «Пока!» — и растворилась в ночи. Только скрипнул снег под ногами.

Игнатьев живо представил себе холм с бочкой, расположение роты Петрухина. Да, если бы ему самому предложили выбрать на этом холме позицию, он, Игнатьев, устроил бы ее ближе к вершине. Игнатьев представил даже, как бы он оборудовал ее окоп с вогнутым к середине бруствером, чтобы при стрельбе не выделяться над холмом, а для отхода — траншейку, выводящую за вершину холма: ушел туда — и ищи-свищи...

Только бы не сбежал фашист, не спугнуть его раньше срока...

— Вот что, Мамед, — сказал Игнатьев. — Слетай к лейтенанту Петрухину, скажи: Игнатьев с рассвета к бочке выйдет, просит, мол, взводных предупредить и прикрыть огнем, когда потребуется. И еще скажи: прошу траншею дальше бугра не трогать пока. Иначе немец услышит-увидит и тягу даст. Усвоил?

— Усвоил, товарищ старшина, — глаза Мамеда сверкнули. — Вы — к бочке, они — прикрыть, тран-

шею за бугром не копать. А вы его, немца, — тук, и нет немца, да?

— Видно будет...

Мамед убежал. Снег под его ногами скрипел долго. У девушки шаг был легче...

Снайперские сборы долги. С удивлением наблюдал Морозюк за тем, как тщательно Игнатьев обматывал винтовку марлей, туго и аккуратно натягивал каждый виток.

— Чего смотришь? Делай то же. Это тебе не зайцев хлопать, солдат.

Игнатьев внимательно перебрал маскировочный халат Морозюка и отбросил его.

— Грязный. Снег-то выпал только что... У меня запасной халат есть, его наденешь. И на рукавицы мои чехольчики примерь.

Придвинув коптилку, он с неудовольствием рассматривал Морозюка, когда тот, считая себя экипированным, объявил о своей готовности.

— И куда спешишь, солдат? Если на тот свет, то мы с тобой еще успеем. Гляди-ка, это что?

Пришлось Морозюку, забывшему перебинтовать брезентовый ремень винтовки, снова взяться за работу. Халат Игнатьева был ему узок, и завязки, заменявшие пуговицы, неплотно стягивали грудь: когда Морозюк приседал, в прорезь была видна шинель.

— Снимай, — сказал Игнатьев. — Полотенце есть? Покажи. Чистое? Подшивай. Ты весь, до пятнышка, должен сливаться с местностью, а она белая. Уразумел?

Когда Морозюк, уже порядком уставший, казалось, сделал все, Игнатьев, к великому изумлению солдата, заставил его прыгать. Блиндаж был низкий, и Морозюк встал на четвереньки.

— Не таращи глаза, — ухмыльнулся Игнатьев, — слышишь, звякает у тебя в кармане?

— Це табакерка...

— Сразу две беды. Идешь в снайперы — о куреве забудь. Он, немец, тебе прикурить и так даст. А «музыкальные» табакерки и все такое громкое только покойники с собой берут.

Но и это было не все. Принялись за уяснение зада-

чи. Потом договорились о сигналах: левым глазом моргнет старшина — смотреть влево; правым — туда гляди; оба закроет...

— Уперед, значит? — переспрашивал Морозюк.

То же и с ногами: куда повернет старшина носок сапога — туда, получается, и очи навостряй. И пальцы на варежках в ход пошли — как поднимет, и плечи — каким как пожмет, и голова — куда как наклонит...

Тем временем вернулся Мамед:

— Приказ передал. Порядок будет. Комроты привет говорит!

Игнатьев и Морозюк залезли в нишу, чтобы поспать. Мамед остался наверху у противотанкового ружья, он должен был разбудить их перед рассветом.

Они бесшумно проползли под проволочным заграждением. Игнатьев поразился легкости движений своего напарника. Как многое значит для человека настроение! Страх парализует. А сколько сил дает решимость!.. Морозюк рассказал, что на этом участке мины никем еще не установлены, и они поползли вверх, теперь уже по ничейной полосе.

Прежде чем отойти от блиндажа, Игнатьев остановил Морозюка:

— Прости, друг, забыл спросить: зовут как?

— Иваном... А вас я знаю: Николаем. По батькови: Яковлевич, Якыч, значит.

— Точно, Иван.:: А твое отчество?

— Петро батько був.

— Пошли. Как поползем — в снегу постарайся валяться. Для маскировки.

— Разумию...

Вот и бочка, опрокинутая на бок. Возле нее намело сугроб, пахнущий бензином. Где-то впереди, если расчеты были верны, находилась вражеская засада...

Дальше они действовали, как договорились еще там, в блиндаже.

Кругом было тихо. Сбоку, в полукилометре от них, протарахтела автоматная очередь, но выстрелы звучали, казалось, лениво и сонно.

Морозюк стал окапываться в сугробе.

Игнатьев ощупал холодное, мохнатое от инея тело бочки. Днищем она была обращена к противнику. «Повезло!» — отметил Игнатьев. Еще лучше, что в днище оказалось несколько пробитых пулями дырок. Значит, высверливать их припасенным буравчиком не надо. Теперь, забравшись в бочку, можно будет видеть все.

Конечно, придется сидеть, скрючившись. А мороз! И железо у бочки не броня: вон дырки какие! Заметит немец — припечалишься. А что поделаешь?.. Вот бы возмутился комбат, обнаружив его здесь. Лопатку-то Игнатьев передал Морозюку.... И, вспомнив Тайницкого, Игнатьев стал руками разгребать неширокую канавку от бочки вниз — на случай, если нужно будет наружу выползти...

Молва возвела на зайцев напраслину: де и глупы они, и трусливы. Зря! Ведь вот разбежалось подальше от фронта другое зверье, улетели птицы. А что это привлекло внимание Морозюка на запорошенном снежной крупой жнивье? Да он, обыкновенный зайчишка! Ковыляет неторопливо вдоль линии фронта, услышит выстрел — замрет, а там опять — прыг да скок, от куста к кусту или вытянется столбиком и глядит кругом, кося глазами.

Застывший в изумлении Морозюк, не веря глазам своим, наблюдал, как вошел заяц в бочку, обнюхал сидевшего там Игнатьева и, почистив лапами морду, преспокойно удалился. «Це наука! — в который уже раз пришел в восторг Морозюк. — Надо же так ховаться!»

Когда появился заяц, было уже около полудня. Морозюк, не спускавший из своего снежного окопа с Игнатьева глаз, увидел, что тот тихонько потер подбородок, и смекнул: испугается зверюшка — что немец подумает? И затаил дыхание. А с каким бы удовольствием старый зайчатник задал бы этому ушастому перцу! Тем более что сидели и мерзли они тут со старшиной — теперь ясно, як билый день, — напрасно.

Часы текли, а кругом было и пустынно, и беззвучно. «Повымерли каты или ишо что?» — размышлял Морозюк. У него и глаза заболели на ярком солнце, и оттого кусты, которым он от нечего делать стал давать смешные названия, уже отсвечивали фиолетово-оран-

жевым. Вон «Козявка» извивается, как штопор, воткнутый в бутылку с горилкой. А «Пупырь» торчком вылезает из сугроба. Занятно: если солнце снизится, достанет ли тень от «Ухвата» до «Головешки»? «Ухват» выше вскарабкался — достанет!

Морозюк снова поглядел на Игнатьева. Сидя на корточках, тот застыл там, в бочке. Если бы не голова, медленно поворачивающаяся вместе с биноклем, ей-ей, подумал бы Морозюк, что со старшиной беда. «Ой, терпенье у людины!» — поражался солдат. Он уже готов был разозлиться на это бестолковое безделье, втравил его старшина в занятие! Мамед, наверное, уже скребет ложкой в котелке, а тут сиди да жуй, уткнув усы в снег, сухую колбасу с подмерзшим хлебом.

И вдруг Морозюк насторожился: тень от «Ухвата» легла мимо «Головешки» и будто на что-то указала Морозюку. Он напрягся. Так и есть! Бруствер окопа! Ошибки быть не могло. Невысокий снежный бугорок, искусно разровненный чьими-то руками, а в середине выемка для оружия. Солнечный луч, скользнув вниз, ясно выделил его.

Морозюк шевельнулся, моргнул правым глазом. Игнатьев ответил так же: и сам вижу, мол. И впрямь: он уже с полчаса глядит сквозь дырку в ту сторону. «Ой, хлопец! Моторный хлопец!» — похвалил Морозюк.

Прошло еще минут двадцать. Как ни вглядывался Морозюк в обнаруженный бруствер окопа, держа винтовку наготове, там было пусто: «Што-то не то!» — решил он.

Но тут Игнатьев стал укладываться в бочке и вскоре по канавке сполз к Морозюку. Это было проделано так тихо, что Морозюк глаза зажмурил, не веря: двигается человек, как на экране в немом кино...

— Готовься, — шепнул Игнатьев. Он установил прицел, прильнул к прикладу. — Надень на ствол винтовки, — он подал Морозюку тряпицу, — и как толкну — высуни. Авось клюнет на наживку.

Не клюнул. Попробовали еще, потом, минут через пятнадцать — еще. Не помогло. Вражеский окоп безмолвствовал.

Солнце коснулось верхушки холма и быстро побежало за гору. На них легла холодная тень.

Тогда, поразмыслив недолго, Игнатьев выстрелил. Они замерли, ожидая, что теперь начнется. Не нача-

лось. Сверху, где уже резко выделялся на светлом еще небе горбик бруствера, ответа не последовало. Только послышался вдалеке недолгий, как вздох, звук, словно кто-то открыл и закрыл дверь.

— Пропади пропадом! — шепотом ругнулся Игнатьев. От холода ли, от злости у него зуб на зуб не попадал. — Наверное, ушел...

— Ничого, ничого, — успокаивал Морозюк. — Не зараз — пизднiйше найдемо.

— Теперь ищи его, черта лысого!

Морозюк ухмыльнулся:

— А може, вин кучерявый?

— Курчавый, говоришь? — задумался Игнатьев на минуту. Слова Морозюка навели его на неожиданное решение. — А вот мы с тобой и проверим, закрутим чубчик ему! — засмеялся Игнатьев.

— Як так? — не понял Морозюк.

— А так, — сказал Игнатьев. — Мы тут вот дождемся немца. У его окопа! Понятно? Сегодня он выходной взял, а к рассвету опять явится.

— А не приндет? Мабудь, сменил позицию...

— Придет! Придет! Снайперы всегда так!

— Ничь же будет! Стрелять як?

— А ножом! Прикладом! Или живьем возьмем. Я его знаешь как обработаю? — Игнатьев вцепился в снег, пальцы хрустнули.

Морозюк пожевал губами:

— Поснидать бы... А там хоть бы шо!

— Согласен.

Игнатьев воодушевился своей внезапной идеей.

— Вот что, Иван Петрович. Ты смотайся к нашим, предупреди. А то поднимут панику! Я тут останусь, послушаю, разведаю. Возвращайся быстро, тем же путем. Понял? Однако поснидай. И мне принеси.

Узнав от запыхавшегося Морозюка о затее, Тайницкий, и без того нервничавший и уже поджидавший Игнатьева в блиндаже бронебойщиков, возмутился.

— Безрассудство! Дурачество! Под носом у немцев! — кричал он. — Пропадет ни за грош!

Морозюк виновато переминался с ноги на ногу.

Комбат прикинул, к каким последствиям может привести необдуманный шаг Игнатьева, и ужаснулся. Об-

наруженный окоп, прикидывал он, не обязательно должен быть засадой вражеского снайпера. Во-вторых, если это даже так, то опытный стрелок — а этот снайпер был таким — обзаводится несколькими постами. В-третьих, любая попытка напасть на него вызовет у немцев гвалт, и тогда...

Больше всего комбат казнил себя: как мог отпустить «эту отчаянную голову», предварительно не взвесив все обстоятельства, не определив совершенно точно задачу, не приказав, когда, где, что и как тот должен делать?

Мамед, слушая комбата, вздыхал: «Ай, нехорошо!» Петрухин помалкивал.

Тайницкий вызвал двух разведчиков, опытных, бывалых, по многу раз путешествовавших в расположение противника, и приказал им найти и вернуть Игнатьева.

— Где, он покажет, — кивнул Тайницкий на Морозюка. — Одно помните: абсолютнейшая маскировка! В бой вступать только в крайней необходимости. Потребуется — поддержим. Главное — быстрее назад.

Впереди — Морозюк, за ним — разведчики; они отошли от комбата озабоченные и напряженные. Тайницкий отправился на батальонный наблюдательный пункт: мало ли что может случиться? Надо быть готовым ко всему. И не видел комбат, как Зина Смирнова догнала разведчиков.

— Хлопчики, я с вами. Комбат приказал, — соврала она, не моргнув. Впрочем, они и не заметили бы этого в чернильной ночи.

— Ясно, — сказал старший из разведчиков. — Меня держись, сестренка.

И снова, вобрав голову в плечи, полз Морозюк, в минуту передышки, со злостью утирая мокрое от снега лицо рукавицей. И снова сильными рывками подтягивался на локтях, толкая вперед уже уставшее тело... «Поснидал», — хмурился он. На сердце у Морозюка было смутно. Беспокойство комбата, человека, сведущего в военном деле, передалось ему.

Вот и угловатая кочка, о которую по дороге в батальон Морозюк сильно ткнулся лицом. Значит, теперь осталось немного. Перевалить через увал, и порядок...

Три тени — две большие и одна маленькая — двигались за Морозюком. Останавливались, прислушива-

лись и опять ползли, чтобы спустя минуту снова замереть и прислушаться...

Вот наконец и она, эта бисова бочка. Морозюк завалился на бок, поджидая остальных.

И сразу ухватил слухом короткий, как стон, приглушенный и отчаянный возглас:

— Иван!..

Оклик сникнул, словно обрубленный тишиной.

Это был голос Игнатьева. Он крикнул оттуда, где был окоп немецкого снайпера.

Как пружиной толкнуло вперед Ивана Морозюка. Солдат увидел, как там, куда он бежал, пахнул неяркий пистолетный выстрел. И сразу слева, и справа раздвинули тьму ракеты. Дробно залопотали пулеметы. Автоматные очереди завихрились в снегу. Шурша, пролетели, как испуганные ночные птицы, мины, и впереди Морозюка, обдав его воздушной волной, ахнули взрывы.

В несколько прыжков Морозюк оказался у вражеского окопа.

— Мыкола! Тут я! — прохрипел он.

«Сапер ошибается раз...» Кому не понятен мрачный смысл этого солдатского завета?.. «А нам не дано и раза!—утверждают снайперы, — а потому: действуй!»

Может быть, об этом и подумал Игнатьев, оставшись в одиночестве на бугре?

Когда исчез внизу Морозюк, он долго лежал без движения, до мерцания в глазах всматриваясь в темень и напрягая слух.

Это ему надоело. Ночь едва началась. «Чего я отсиживаюсь?» — думал Игнатьев. Он был из тех, кто, сделав первый шаг, обязательно совершает и второй, кто не ждет, а ищет врага. «Заберусь в окоп, все лучше, чем в бочке или в снегу: безопаснее, — размышлял Игнатьев. — А явится немец, тут я его и встречу, по-нашему».

Игнатьев пополз к окопу...

Это была узкая полукруглая щель с высоким гладким бруствером. Осмотревшись, Игнатьев подобрался ближе и заглянул вниз. Пусто. Опустил руку — стенки аккуратно обшиты тесом. Бруствер был ледяным. «Не дурак! — похвалил Игнатьев. — Облил водой, чтобы снег от выстрела не взрыхляло».

В глубь обороны от окопа шел тоже очень узкий — едва одному пройти — ровик...

Легкий шорох насторожил Игнатьева, он так и влип в снег. Нет, тихо. «Ну, залез! — подумал он, представив, как близко вражеские позиции. — Засекут — не выпустят».

И все-таки нетерпение заставило его вновь заглянуть в черную впадину окопа, Там, на дне, что-то виднелось.

Он отложил винтовку и сполз вниз. Сумка! Да, твердая, гладкая офицерская сумка. Игнатьев, не задумываясь, сунул ее за пояс. Ощупывая руками дно окопа, нашел несколько холодных, как льдинки, стреляных гильз, положил в карман...

И тут словно искры вспыхнули у него перед глазами. Тяжелый удар по голове свалил Игнатьева с ног. Бессильно сползая по стенке на дно окопа, он заметил, что сверху, из ровика, загораживая мутное небо, кинулась на него туманная большая фигура...

Игнатьев было потерял сознание, но сразу очнулся от резкой боли. Сильные пальцы сдавили ему горло. Ударом ноги он оттолкнул врага, пальцы ослабли. Игнатьев, рывком опустившись вниз, ухватил противника под колени и опрокинул его.

Окоп был тесный, как ящик. Упираясь о его шершавые стенки, они, дрожа от натуги, сжимали друг друга молчаливой хваткой.

Немец был в толстом мохнатом свитере, а под ним билось мускулистое тело.

Потеряв равновесие и свалившись на бок, Игнатьев выпустил врага, и тот, придавив его ногой, стал бить кулаком по лицу.

Напрягшись, Игнатьев вывернулся и изо всех сил ударил немца головой в живот. Тот охнул, согнувшись, выпрыгнул в ровик. Игнатьев услышал, как щелкнула планка пистолета. «Каюк!» — мелькнуло в мозгу.

— Ива-ан! — закричал Игнатьев.

Лицо его опалило огнем пистолетного выстрела.

Морозюк заметил бросившегося в сторону от окопа немца. Вскинул винтовку. Выстрелил с колена раз, выстрелил еще...

Кругом начинался бой. Но Морозюк стрелял и стрелял вдогонку беглецу и не мог попасть.

Рядом разорвался снаряд. Ком земли вышиб из рук Морозюка винтовку.

— Тикай, дура! — толкнул его подоспевший разведчик в белом халате. И только теперь Морозюк увидел, что творится и на бугре, и на ближних и дальних холмах.

Была ночь, стал день. Призрачный, неверный. Бегали, вспыхивая на крутых склонах, холодные лучи прожекторов. Коптящие радуги ракет сгоняли со снега причудливые тени. Неистовый грохот пальбы вспарывал воздух.

Слева, метрах в пятидесяти от Морозюка, появились люди. Они перебегали рядком, припадая к земле, и тогда около них мигали огни автоматов... Что-то с шумом пролетело мимо лица Морозюка, что-то ударило по шапке, и она слетела с головы.

— Тикай, говорю! — заорал разведчик. — Немцы! — и ринулся с горы.

Морозюк увидел внизу, на освещенном снегу, двух человек: тяжело припадая, они несли третьего. К ним приближался, криком подзывая Морозюка, разведчик в белом. Морозюк понял: они несли Игнатьева, и побежал вслед.

Разведчики прикрывали отход дымовыми шашками. Едкое облако слепило глаза, забивалось в нос, и Морозюк шел наугад, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь...

Только к утру затих бой.

Игнатьев открыл глаза. Он лежал на нарах в незнакомой землянке. Лицо и шея его были забинтованы. Пахло нашатырем. От жарко натопленной печурки тянуло горелым.

— Эх ты... — наклонилось над ним свирепое лицо Тайницкого и... тотчас расплылось в улыбке. — Эх ты... — повторил комбат и вместо ругательства почему-то потер у Игнатьева за ухом. — Красавчик... Хорошо он тебя разукрасил...

За спиной комбата послышался женский смешок. Такой, что Игнатьев тоже засмеялся, но стало больно, и он сморщился, удерживая стон.

— Тихо, тихо! — подошла к нему Зина. — Лежите, лежите...

Закружилась голова, и Игнатьев опять лег. Его охватила слабость — как сон.

— Придется поваляться, понятно? — сказала Зина.

— Спит? — услышал Игнатьев сквозь дрему густой голос Морозюка.

— Не видишь? Зачем спрашиваешь? — одернул его строгий голос Мамеда.

3

В сумке немецкого снайпера, которую разведчики принесли вместе с Игнатьевым, Тайницкий обнаружил небольшую, в ладонь, толстую записную книжку. Это был дневник. Немец писал настолько мелко, что Тайницкому пришлось вывинтить из бинокля окуляр и пользоваться им, как лупой, чтобы разобрать написанное. «Осторожничал, фашист, и зрение у него отличнейшее», — решил Тайницкий. Немецкий он изучил еще в университете до войны — язык возможного противника, говорили тогда, — и прочитать дневник ему было вдвойне интересно: о чем там разглагольствует «чистопородный ариец» и нет ли полезных сведений.

Тайницкий, щурясь, перелистал несколько страничек и, увидев свежие, датированные ноябрем записи, стал читать.

«18 ноября. 23.15. Меня устроили в отдельном помещении. Чисто, тепло, широкая постель. 15 мин. назад вернулся с роскошного ужина, который оберст Хунд дал в мою честь. Эта собака, оказывается, не только кусается, но и пытается изобразить саму галантность.

19 ноября. 18.30. Вернулся с рекогносцировки. Весь день осматривал в стереотрубу небольшой отрезок русской обороны. В том месте позиции близки друг к другу. Собака есть собака: не дал никаких рекомендаций, и мне пришлось самому выведывать у майора Вольфа, где, по его мнению, следует начать. Он тоже отмалчивался, но я сказал, что в случае успеха в пари намерен разделить приз с тем, кто будет достоин. Тогда он и привел меня.

В позициях противника на указанном Вольфом участ-

ке мною установлены некоторые оплошности. Их, по крайней мере, три:

а) плохая маскировка ряда огневых точек: трех пулеметных гнезд, одного блиндажа с противотанковым ружьем и одного, являющегося вероятно, наблюдательным пунктом;

b) неудачное расположение этих объектов: ограниченный сектор обстрела, низкое размещение, что затрудняет, укорачивает и сужает обзор, отсутствие возможности — по тем же причинам — перекрывать огнем один сектор обстрела огнем с другого сектора. Имеются «мертвые» секторы, даже на ближайшем расстоянии (50—80 м) от перечисленных огневых точек. Это дает возможность оборудовать там три или даже четыре относительно безопасных поста. Кроме того, основной пост целесообразно устроить на вершине холма с условным обозначением «Вольта», поскольку от огнестрельного оружия, кроме артиллерии, она защищена с левого фланга длинной, хотя и невысокой, грядой; к тому же выход можно прорыть, в целях скрытности передвижения, на противоположный от русских скат холма. Это находка!

с) незавершенность ходов сообщения: люди не могут полностью укрыться, что дает мне возможность добиться значительной эффективности огня. Если бы позиции у меня были готовы, я мог бы сегодня уничтожить не менее трех-четырех русских. Увы! Хунд обещает направить на работу солдат лишь завтра в ночь. Составил ему для этого карту-схему и указал параметры постов.

20 ноября. Пришлось дважды обращаться к Хунду, чтобы он приказал отправить солдат на работы. Напомнил о пари. Он сказал, что общий счет убитым вести не нужно: «Троих в день, не менее, независимо от всего количества дней». Только что пятеро солдат с ефрейтором во главе ушли готовить позиции. Ефрейтор — бывший вор. Изображал, что ничего не понимает в моей схеме. Тогда я дал ему пятьдесят марок — сразу стал сообразительным. Такие свое возьмут у любого и в любых обстоятельствах. Такими мы сильны.

22 ноября. 21.00. Итак, обосновался на «Вольте». Команда вора-ефрейтора выполнила приказ превосходно: у меня чудесная позиция плюс землянка с потолком в четыре толстых бревна и печуркой на сухом спирте плюс выход «в мир» — прямая траншея, веду-

щая к ближайшему противотанковому орудию, прислуга которого — трое очаровательных мальчишек, все из Дрездена. Устроил им крошечный концерт, флейта нравится. «Я почувствовал себя дома...» — сказал один со вздохом. Удивительно нежные души. И как великолепно, что они — здесь, в грязи и крови. Истинный немец многогранен, только утонченный характер способен на нежность и жестокость. Это и есть настоящий воин.

Однако не излишне ли я восторжен сегодня?

24.00. Подобрал сто патронов. Я люблю это занятие — подбирать патроны. Генерал подарил отличнейшую партию — с равными зарядами, одинаковой формой пуль, с отличной посадкой их в дульцах гильз и хорошими капсюлями, и мне оставалось только откалибровать пули по стволу винтовки. О, это тонкое дело, ведь надо обжать калибровочной плашкой каждую пулю так, чтобы ее калибр был толще калибра ствола на 0,22 миллиметра, не более, не менее: 0,22! Только в этом случае получается лучшая кучность боя, лучшие результаты. Я люблю складывать готовые патроны рядами, именно складывать, а не ставить. В детстве у меня были оловянные солдатики, и стоящие патроны напоминают их. А когда патроны лежат, ряд за рядом, ряд за рядом, впечатление игрушечности пропадает, и я представляю, что лежат убитые: их стащили перед погребением. Впрочем, если стрелять хорошо, то это так и должно быть: что ни патрон, то убитый.

Кроме того, я люблю перебирать патроны, крутить их в пальцах, ощущая гладкость, упругость и маслянистость поверхности. Мне нравится осмысленность конфигурации пули, я словно вижу, как она летит, маленькая и беспощадная, ввинчиваясь в воздух и не сбиваясь с траектории, летит все время головкой вперед, головкой вперед, пока не ударится в цель и не поразит ее. Удивительный плод человеческого разума! Ее миниатюрность лишь подчеркивает величие мысли, создавшей ее. Кусочек свинца, поражающий целую жизнь, — это ли не удивительно?

23 ноября. 21.00. Оберст Хунд может начинать беспокоиться о своем втором перстне: сегодня я убил четверых русских, ни разу не покинув «Вольту» — позиция блестящая. Они вышли с лопатами на изгиб своей траншеи и были видны все, как один. Четырьмя патронами у меня стало меньше.

24 ноября. 21.00. Чтобы не демаскировать «Вольту», сегодня перешел в блиндаж № 2. Еще четыре патрона. Мне везет — ни единого патрона не трачу даром. Вольф сообщил по секрету, что Хунд поручил наблюдать за мной в стереотрубы: для контроля.

25 ноября. 21.00. Вернулся на «Вольту». Еще четверо, ио — шестью выстрелами. Устал невероятио. Только что позвоиил Хунд: «Как успехи, дорогой гауптман?» Я: «Имею право иа однодневный отпуск, дорогой оберст». Он: «Неужели?» Я: «Да, за три дня — двенадцать». Он: «И вы уверены, что двенадцать?» Я: «А вы не уверены?» Он: «Я абсолютно уверен в вашем честном слове офицера рейха, дорогой гауптман». Я: «Спасибо, дорогой мой оберст. Не спускающие с меня глаз по вашему приказанию иаблюдатели могут подтвердить, что я умею дорожить честным словом офицера». Он поперхнулся, потом сказал: «Я дал слово господину генералу обеспечить вашу безопасность, а поэтому, дорогой гауптман, считайте себя в однодневном отпуске. Мие кажется, вы были излишне откровенны с противником, и ваш «почерк» может насторожить русских. Один день перерыва не помешает...»

На этом разговор был исчерпан, однако Хунд иапрасно старался изобразить самую заботу. Чтобы скрыть мой «почерк» (а неплохо сказано!), ему следовало бы приказать своим свиньям почаще стрелять по русским: кто мог бы разобраться в «почерках»? Однако Хунд распорядился об обратном. Один из мальчиков сказал мне, что им велено полностью прекратить какой бы то ни было огонь, чтобы «успокоить противника и дать господину Бабуке лучше проявить свое изумительное искусство». Собака! Впрочем, претензий к нему не предъявишь: я сам отказался от ассистентов....

26 ноября. 20.30. Весь день отсыпался. Обедал с мальчиками. Снова играл им. У третьего мальчика неплохой слух, ои очень удачно подпевал низким бархатным баритоном. После обеда, от нечего делать, я выглянул наружу — и не удержался, выстрелил: прямо по полю шла женщина в русской военной форме, возможио, связистка или медицинская сестра. Попал в плечо. Умрет. Считать ее или не считать? Предложу Хунду засчитать за половииу — женщина...»

На этом записи обрывались.

Через три часа немецкий передний край обороны разворошили частые взрывы снарядов и мин. Огневой налет был порывист, как шквал, и мог показаться беспорядочным. Но это было не так.

Отто Бабуке, укрывшийся в блиндаже соседей-артиллеристов, увидел, как от прямого попадания тяжелого снаряда подскочил и рухнул бревенчатый накат его землянки на «Вольте». Потом он обратил внимание, что минометная батарея русских упорно и кучно обработала его укрытие № 2, а несколько гаубиц в течение считанных минут разметали две другие запасные позиции. От труда вора-ефрейтора и его команды остались развалины, и Отто благодарил бога, что ему пришла в голову счастливая мысль об «однодневном отпуске».

А Тайницкий, наблюдая со своего командного пункта за взрывами, похваливал стрелявших. Налет этот был предпринят после того, как майор доложил начальству о добытом Игнатьевым дневнике Отто Бабуке. Он же, Тайницкий, набросал и примерную схему расположения засад немецкого снайпера — по записям в дневнике и местам, где погибло столько людей из батальона.

Комдив долго рассматривал схему, одобрительно кивнул Тайницкому, отдал необходимые распоряжения и, отпуская полковника Свиридова с Тайницким, сказал:

— Даю три дня. Не окопаетесь как следует — пеняйте на себя. Не прихлопнете этого снайпера — себя считайте виновными.

Они увидели друг друга почти одновременно, и оба, как по команде, выстрелили.

Немец, вероятно, заметил Игнатьева первым и слегка шевельнулся, чтобы выстрелить, и тот обнаружил его.

Впрочем, Игнатьев скорее не увидел, а почувствовал, что мелькнувшая метрах в двухстах пятидесяти от него среди развороченных снарядами черных глыб земли тень принадлежит тому, кого он ищет.

Конечно, это могло померещиться Игнатьеву, потому что его глаза, рыскавшие по облитому солнцем холму, устали, и темное пятно могло появиться в них от перенапряжения.

Но и опыт, и острое сознание опасности подсказали ему, что это не так, что надо стрелять в эту тень. Только снайпер мог забраться в одиночку далеко на ничейную полосу, оставив позади окопы передней линии своей обороны, и только снайпер, искусный и терпеливый, был способен так долго, не выдавая себя, выжидать удобный для удара момент.

Немец вполне мог воспользоваться своим же, разрушенным, окопом. А почему нет? Просто, остроумно даже. И выходит, не ошибся Игнатьев, если это, конечно, Бабуке был тут, на этой самой «Вольте»... Гутен таг!..

Выстрелив и сразу перезарядив винтовку, Игнатьев отпрянул в снег, но, видимо, промедлил, потому что вражеская пуля ударила в шапку — словно кто-то рывком, больно зацепив волосы, сдернул ее с головы. Хорошо, что капюшон белого маскировочного халата был затянут плотно, иначе немец видел бы теперь Игнатьева достаточно ясно. Игнатьев замер, лихорадочно соображая, что предпринять. Он не был уверен в точности своего выстрела, хотя обычно с такого расстояния, ведя огонь навскидку, без подготовки, он пробивал из пяти раз четыре консервную банку. Но попал ли сейчас? Игнатьев решил притвориться мертвым и предоставить немцу, если он остался невредимым, самому находить выход.

Им обоим ничего больше не оставалось, как лежать — Игнатьеву в снегу, немцу — среди земляных глыб — и ждать либо темноты, чтобы незаметно разойтись, либо испытывать стойкость и выдержку другого. Должно же быть понятно немцу, как это понятно Игнатьеву, что любая оплошность с его стороны будет стоить слишком дорого. Пока они не видят друг друга, а только приблизительно догадываются, где кто залег, еще можно рассчитывать, что уцелеют. Небольшой бугорок, за которым случайно оказался Игнатьев, и неглубокая выемка в снегу, где он залег, давали ему некоторые шансы: если не поднимать голову, немцу попасть в него не удастся. Но эти укрытия, как ни парадоксально, давали преимущества и немцу: Игнатьев попал в ловушку, из которой никуда нельзя податься, не рискуя получить пулю.

Нужно было лежать, не шевелясь, сливаясь с неподвижным мертвым снегом, чтобы не колыхнулась ни еди-

ная морщинка или складка одежды, чтобы и малейшее перемещение даже крохотной тени не выдало Игнатьева, живого и невредимого, противнику. Нужно было лежать затаив и дыхание, потому что оно было теплым, а мороз крепчал, и зыбкое облачко у рта тоже было бы заметно. Игнатьев, наблюдая за тем местом, где прятался немецкий снайпер, даже смотреть туда старался не слишком пристально и долго: а что, если враг почувствует этот взгляд? Ведь все существо немца, до последнего нерва, должно быть сейчас как бы нацелено на Игнатьева, только на него...

Игнатьев озяб. Ватные брюки и куртка уже не грели, ноги и руки застыли. Холод охватывал живот, грудь, пробирал до костей. Так, без движения, не мудрено и закоченеть. Игнатьев заставлял себя не думать об этом, сосредоточивая мысль на опасности, которая могла вдруг прилететь с холма. «Вот ударит, вот-вот ударит, выстрелит — и конец. Кто его знает, может, прицеливается уже, выбирает, куда лучше пулю всадить...» Но, странно, как ни старался Игнатьев, чувство страха не приходило, и было по-прежнему холодно.

Немец не подавал признаков жизни. Это можно объяснить, положим, тремя причинами. Он либо ушел скрытым от Игнатьева путем, либо погиб, а может, был ранен, либо так же, как Игнатьев, секретится, невредимый. Из этих трех вариантов Игнатьев выбрал последний, самый для себя нежелательный. На войне, тем более снайперской, лучше рассчитывать на худшее.

Однако, что бы там ни было, Игнатьев решил действовать. Его потянуло что-то предпринять, выкинуть что-то неожиданное, лишь бы покончить с неизвестностью.

Обдумывая, с чего начать, Игнатьев вспомнил Морозюка и пожалел, что рядом нет напарника. Зря не взял его с собой, а как просился! Сидит, наверное, с биноклем, переживает... Вдвоем было бы легче обмануть противника. Уловок для этого Игнатьев знал много и не раз пользовался ими, да и сейчас, будь Морозюк под боком, сочинил бы кое-что. Напарник, укрывшись от прямого выстрела, мог безопасно демаскировать себя — тут бери немца в переплет. Одному это не так сподручно. В одиночку, вызывая огонь на себя, ты становишься одновременно и охотником и приманкой. В такой канители гляди в оба.

В замысле Игнатьева не было ни удальства, ни опрометчивости. Был расчет, слагаемый из того, что в его положении можно было и следовало учесть. Пока я не высовываюсь ни на столечко, рассуждал Игнатьев, немец достать меня не может. Понимает ли это он? Возможно, потому, что стрелял лишь раз, этого для проверки мало, а больше и не пытался: сообразил, гад.

Игнатьев решился. Он долго вытаскивал из-под капюшона сбитую на затылок шапку, перетянул ее под живот и, не поднимаясь, выпростал наружу. Затем, опершись о правую ногу, стал сдирать с левой сапог. Сделать это было нелегко: уж очень плотно накрутил портянки. Игнатьев провозился немало, даже согрелся, натрудясь, но сапог все-таки сполз наполовину с ноги. Теперь Игнатьев, изогнувшись, перетащил шапку под собой к сапогу и надел ее на носок. Все получилось как хотел. Игнатьев действовал так медленно, что немец вряд ли заметил: иначе бы дал о себе знать.

«Ну, повоюем? — усмехнулся Игнатьев. — Нас уже, можно сказать, двое, а ты, милок, один...»

Отдышавшись, Игнатьев проверил установки прицела. Конечно, в первый раз он стрелял наугад, и сейчас нужно было все уточнить, потому как работа предстояла секундная и нешуточная. От крайнего комка земли на холм падала тень, она могла сойти за неплохой ориентир для определения расстояния. Игнатьев мысленно представил себе мелькнувшую там голову немецкого снайпера, сравнил с размерами тени. Метров двести до нее будет, ну, может, двести десять, двести пять. Значит, цифра прицела должна быть «два». Ветерок справа... Метра три в секунду дует, не меньше. Поправку и на него надо сделать. Хоть ерундовую, сантиметра на три, а надо. Столярная точность требуется, не плотницкая, товарищ прораб. Да еще мороз учесть, градусов пятнадцать сегодня. «Гарно прохладно», — сказал бы дядько Морозюк и не ошибся бы: гарно... Получается поправка на дальность метров пятнадцать, и прицел должен быть не два, а два с половиной.

Такие задачки Игнатьев решал автоматически, не задумываясь, и если бы стрелять пришлось сразу, он был и к этому готов.

Как ни всматривался Игнатьев в нагромождения земли на вершине холма, ни намека на присутствие немца не обнаруживал. «Окоп у него там опять? — за-

сомневался Игнатьев. — Спрятался и сидит, как мышь в норе, попробуй соблазни его шапкой, коли он ничего не видит. Если так, ему и голову подставишь — прозевает. Так отчего я все-таки чувствую, что он здесь, что не ушел, а вынюхивает, караулит? Вот не вижу его, а знаю: сидит, ждет. Где? За каким комком? Который на собачью морду похож или за «арбузом»?» — Игнатьев без устали обшаривал глазами рваную верхушку холма, но все было тщетно: враг таился.

И вдруг Игнатьев почувствовал смутное желание смотреть в одну точку — между двух небольших глинистых глыб, напоминающих короткие кривые рога: его взгляд так и приковывало, притягивало, словно присасывало сюда: казалось, что-то заманивает, подзывает Игнатьева, тревожно возбуждая.

«Чертовщина!» — поморгал глазами Игнатьев и повел их в сторону, чутко прислушиваясь к самому себе: не возникнет ли вновь этот интуитивный позыв? Так и есть! Ему опять нестерпимо захотелось увидеть те глыбины... Он всмотрелся в них и вздрогнул, сообразив наконец, что произошло. «Нет, нет, — прошептал он, — этого быть не может, чепуха!»

Однако, как ни успокаивал себя Игнатьев, это было: они смотрели прямо друг на друга, смотрели глаза в глаза.

Игнатьев мог поклясться, что это так, что ему не мерещится, — вот они, глаза врага, злобные, колкие — и неподвижные, неподвижные, как воткнутые в тебя...

Что ж, Игнатьев принял этот вызов, деваться-то было некуда. Головы и лица немца он не видел, мешали комья земли, да и глаза на таком расстоянии вряд ли можно было различить, но если не их блеск, не выражение этих глаз, то мысль и чувство, бьющиеся во взгляде врага, проникали в Игнатьева остро, явственно. Это была жажда убийства, это была ненависть.

Так смотрели они друг на друга долго. Игнатьев понял, что наступил решающий срок, и весь напрягся, собравшись в комок, словно перед прыжком. Сейчас надо быть готовым ко всему и на все. Если немец не выдержит, вскинет винтовку, надо успеть выстрелить раньше него и откинуться, хоть чуточку, на полшага. Тогда можно уцелеть. В противном случае... Стрелять-то они будут почти вместе, а немец стрелять умеет.

Но тут впереди вдруг начали рваться снаряды...

Тайницкий молча сидел на ящике из-под консервов, подперев кулаками голову, и такие у него были укоризненные глаза, что лучше бы закричал, затопал ногами по обыкновению, — все было б легче... Нет, молчит. Игнатьев, стоя навытяжку перед комбатом, ежился под его взглядом, как нашкодивший сопляк: черт дернул ослушаться и устроить новый переполох! Но он не хотел, честное слово, не хотел этого... Если бы знал, что так паршиво получится, и шагу не сделал бы, ей-ей! Да и зачем обижаться-то в общем итоге? Немца минометчики, видать, по просьбе Морозюка, пристукнули, Игнатьев твой — вот он, жив-здоров, пожалуйста, брей-стриги в свое удовольствие. И больше такого не будет, это уж точно, теперь учен стал, аж перетрухнул малость...

Однако Тайницкий молчал, а поэтому помалкивал и Игнатьев. Все, что требовалось, объяснил, остальное — твоя воля, комбат. Рядом солидно вздохнул Морозюк. Игнатьев скосил на него глаза. Наверное, улыбается в усы. Эх, мировой мужик... Вот оно, мое главное преимущество!..

Тайницкий перехватил взгляд Игнатьева, согласно покачал головой и наконец нарушил молчание.

— Да, да, — сказал устало Тайницкий, — ему скажи спасибо, старшина. Слышишь, Иван Петрович, спасибо тебе, — он повернулся к Морозюку и поклонился.

— Та що я? Я... — смешался тот. — Взаимодействие, товарищ майор, чи як?..

— Да, да... — кивнул Тайницкий. — А ты, — возвысив голос, он поднялся и шагнул к Игнатьеву, — а ты отогрелся, отъелся... — И, видно не сдержав себя, рявкнул: — А ну, с глаз долой!

Игнатьев метнулся в дверь, довольный таким окончанием разговора: могло быть и хуже. Морозюк поспешил за ним. А вслед несся крик: Тайницкий отводил душу. Впрочем, в этом, кроме громких звуков, ни для кого ничего устрашающего не было. Он выкрикивал, лишь меняя интонацию, свою обычную и казавшуюся только ему весьма суровой угрозой: «Я вам завязки-то завяжу!» Что под этим подразумевалось, кому и какие завязки Тайницкий собирался завязывать, для всех и по сей день неизвестно.

Когда Отто Бабуке очнулся, его удивила тишина. Отто испугался: оглох? После грохота мин, минут пятнадцать взрывавшихся, право же, не только вокруг и рядом, но и в нем самом, тишина давила на уши. Действительно, почему не слышно ни звука? Может быть, он и очнулся от этой наступившей внезапно тишины?

До него долетел невнятный, торопливый и прерывистый, похожий на стрекот кузнечика, перестук. Отто напряг слух. Часы! Его часы. Их слегка позванивающий ход успокаивал: жив, жив, жив.

Отто открыл глаза. Над ним пламенел закат. Оказывается, его швырнуло в полузасыпанный окоп. Он лежал на спине, раскинув руки, а ноги, задранные вверх, упирались в обломки бревен рухнувшего блиндажного перекрытия. Вероятно, мина, а может быть, и не одна, взорвалась рядом. Комки земли были большие и твердые, тело, избитое ими, ныло и дергалось. Однако резкой боли Отто не чувствовал, как будто не ранен. Он шевельнулся, проверяя это. Не ранен! Но двигаться было невыразимо трудно, и он лежал, соображая, что делать теперь. Позвать на помощь? Мальчики-артиллеристы недалеко, могут услышать. Но если русский снайпер все еще тут и услышит тоже? Не он ли и навел своих минометчиков на цель? Вероятно, разумнее полежать, не подавая признаков жизни, до наступления темноты, прийти в себя и лишь тогда попытаться выползти из окопа, если хватит сил, разумеется.

Долго ли он пробыл в таком положении? Наверное, часа два, не меньше, потому что, когда начался обстрел, солнце еще было относительно высоко. Странно, однако, что холода Отто не чувствовал. Перед самым обстрелом он чертовски замерз. Этот русский, вероятно, превосходно экипирован, у них ведь чудесные меха, иначе не объяснить, почему Отто в своем толстом трико из лебяжьего пуха и альпинистском костюме так замерз, что в отчаянии был уже готов на рискованный шаг, а русский снайпер даже не пошевелился, продолжая испытывать его, Отто, выносливость.

Если бы русский вел себя иначе, Отто справился с этой задачей самоуправления легче. Но поразительно: русский избрал точно такую же тактику, как и он, Отто Бабуке! Единственно возможную и поэтому правильную! Русский выжидал. Русский испытывал его. Это был вызов. И это было невыносимо! Нарочитая бездеятель-

ность русского постепенно превратилась для Отто в нестерпимое издевательство, в оскорбление. Отто понимал, конечно, что неподвижность, обманчивая безжизненность противника подобны заряду взрывчатки: тронешь — погибнешь. Но его тянуло сделать это, потому что он был не в силах терпеть это непостижимое равенство бесконечно! Так можно было сойти с ума.

Грохот русских мин оборвал страшную дуэль... Да, страшную, признался Отто. Однако, бог мой, время тянется и тянется, а сколько еще придется лежать, притворяясь мертвым, чтобы остаться в живых! Лежать вниз головой, чувствуя, как приливает к ней кровь, затуманивая тяжелеющий мозг... Лежать под холодными и рваными, как куски железа, комьями земли, изнывая от наполнившей тело боли.

Оберсту Хунду, несомненно, уже доложили о случившемся. Наверное, думает, что Отто погиб. Как он воспринял это? Притворился растроганным? Отдал распоряжение вытащить тело «славного героя рейха»? А сам равнодушен, как покойник...

Наконец закат погас. Вначале Отто сполз вниз и, отдышавшись, стал медленно, превозмогая боль, выкарабкиваться из окопа. Обсыпавшаяся мерзлая земля была скользкой, он сорвался на дно окопа, едва удержавшись от крика, и, передохнув, снова полез. Как он ненавидел в эти минуты всех! И этого русского, который мог в любое мгновение появиться здесь и добить его, и этого Хунда, и этих дрезденских мальчишек, которым не составляло бы никакого труда уже прибежать к нему на помощь, и тех, других, кто видел, как били по нему русские, и кто отсиживается сейчас в своих норах, дрожа за свои шкуры. Отто ненавидел их всех, всех. И даже свое тело, не повинующееся ему, ненавидел и презирал Отто Бабуке.

И все-таки он поднялся наверх. И долго лежал, глотая снег. И, дрожа от холода и страха, прислушивался, не идет ли тот, русский...

Отто пополз. Потом поднялся и пошел, спотыкаясь и припадая на руки. Потом, тяжко ступая, приблизился к врытой в землю противотанковой пушке.

— Кто это? — визгливым, дрожащим шепотом спросили из темноты, но он все-таки узнал голос мальчика, подпевавшего ему бархатным баритоном.

Кажется, Отто ответил ему. А может быть, и про-

молчал. Однако вскоре увидел себя в их землянке, и они одинаково испугаино и до удивлеиия похожими выпученными глазами смотрели на него, ничего ие говоря. Три пары пустых круглых глаз...

Увидев, что Отто дрожит, кто-то из них поднес ему стакаи. Он выпил. Это был шиапс. Ему дали поесть. Он ел что-то иапоминающее бумагу.

Мальчик с бархатным баритоном положил перед ним футляр с флейтой.

— Чтобы вы не забыли, господин капитан, — сказал он. И спросил: — А где ваша винтовка, господин капитан?

Действительно, где? Флейта, вот она, рядом. В футляре вместе с нею должеи лежать его снайперский перископ. Его душа и его глаза. А винтовка?

— Она там, — вспомнил Отто, — там, на «Вольте». Сходите кто-нибудь.

Они не ответили. Им не хотелось идти. Так же, как им не хотелось идти туда до того, как он пришел к ним.

— Вы боитесь? — спросил он.

И тогда тот, с баритоном, сказал, как бы извиняясь:

— Каждый обязан думать и думает, господин капитан, о себе. Вы об этом знаете, господин капитан.

Отто Бабуке знал об этом. Ои ие знал о другом: что это относится и к нему в такой же мере, как и к остальным. У него закружилась голова, и он, слабея, повалился на пол...

Отто был уверен, что оберст придет. И он пришел! Санитар отступил на шаг, пропуская его в палату, и Хунд, одетый в застегнутый на все пуговицы наглаженный медицинский халат и поэтому изменившийся, непохожий на самого себя, подошел к кровати.

Санитар, неслышно подставив оберсту табурет, прикрыл за собою дверь.

— Добрый день, — прошептал оберст, косясь на соседнюю кровать, где лежал, укрывшись с головой, пехотный лейтенант, раненный, как объяснили Отто, в обе ноги; весь вчерашний день он пролежал так, молча, прячась под одеялом; только ночью, уснув, застонал однажды коротко. Лейтенаит был, вероятно, иебольшого роста, он занимал лишь половину кровати, и Отто подумал с досадой о том, что уже приходится призы-

вать в армию таких коротышек, да к тому же и юнцов, наверное. Оказалось же, что у лейтенанта обе ноги были ампутированы.

— Добрый день, — ответил Отто оберсту. — Благодарю за посещение.

— Что вы, какая благодарность? — Кончики губ у оберста дрогнули, это означало улыбку. — Я ваш должник.

— Ах, оставьте, господин оберст! — с усталостью в голосе сказал Отто. — Какой долг?

— Долг боевого товарища, мой капитан, — послышались в ответ торжественные звуки, — долг старшего офицера, долг человека, наконец! — оберст даже слегка приподнялся, собираясь, кажется, встать по команде «смирно». — К тому же, — вздохнул он, — на душе у меня чувство вины...

— Какой вины?! — спросил Отто, на этот раз постаравшись придать голосу не только расслабленность, но и удивление. — О какой вине вы говорите, господин оберст?

Тот опять покосился на соседнюю кровать. «Боишься свидетелей? — мысленно позлорадничал Отто. — Ничего, ничего, придется начать...»

— Во-первых, — пожевав губами, шепнул оберст, — я не могу простить себе этого... — он помедлил, подбирая выражение, — этого безответственного пари... Если бы не оно, вам не пришлось бы... Вы больше не должны из-за этого подвергать свою жизнь опасности, мой юноша! — твердо и, как прежде, торжественно произнес оберст. — Хочу также обрадовать, мой капитан, ваша винтовка в полной сохранности и ждет вас.

— Передайте, пожалуйста, моим однополчанам — моим! — сказал с чувством Отто, — что я не забуду этого. Спасибо вам за мое оружие. Как только смогу, я вернусь в ваши ряды, чтобы вместе с вами продолжить борьбу за победу идей фюрера, за честь великой Германии. Хайль Гитлер! — заключил он.

— Хайль Гитлер, — вставая, как эхо, повторил оберст. — Да, но я хотел бы... — промямлил он.

— Чтобы я убрался отсюда к чертовой матери? — рассмеялся Отто.

— Ну не так грубо... — улыбнулся оберст. — Однако... пожелание господина генерала...

— Господин оберст, — с пафосом начал Отто, и,

прислушиваясь, Хунд склонился над кроватью, — уважаемые представители медицины считают необходимым продолжить мое лечение вне расположения вашей доблестной части, с которой опасности и лишения связали меня узами искреннего братского чувства.

— Да, да! — с радостью подтвердил Хунд, откровенно имея в виду не упомянутые Отто узы и чувства, а факт его эвакуации.

— Но эти господа, — Отто обвел презрительным взглядом палату, словно видя перед собой врачей, и сказал жестко: — Эти господа, как ни странно, оставили без внимания такие высокие понятия, как долг солдата, обязанности национал-социалиста, ответственность патриота великой Германии, которые объединяют и делают нас непобедимыми.

— Я слушаю вас, — голос оберста дрогнул.

— Я требую немедленного возвращения в полк, ибо намерен продолжать борьбу с врагами, не теряя ни минуты!

— Но мнение врачей... Мы обязаны... — растерянно пробормотал Хунд.

Отто вскинул голову:

— Сколько еще не хватает русских, чтобы все убедились в моем выигрыше пари?

Оберст неопределенно пожал плечами:

— Сколько хотите, мой дорогой гауптман, теперь считайте сами...

— Известные нам с вами печальные обстоятельства, — сказал Отто, — не позволили мне своевременно представить вторую схему расположения моих новых позиций. Но я уже тогда присмотрел весьма неплохое местечко, и ваши саперы смогут оборудовать его в течение одной ночи.

— Где, прошу вас? — Хунд расстегнул халат, достал карту.

— Обратите внимание на ваш просчет, господин оберст, — сказал Отто. — Вот здесь, — он ткнул пальцем в центр полковых позиций, — перед вашим вторым батальоном тянется, почти по всему фронту, как видите, небольшая, но очень коварная возвышенность. За нею — «мертвая полоса». Как можно было допустить это, господин оберст? Батальон лишен возможности видеть значительную часть незанятой зоны в непосредственной близости от себя!

Оберст с угрюмым согласием кивнул:

— Так сложилось в процессе оборонительных боев... Эту возвышенность удержать не удалось. Однако и русские ее не взяли.

— Слабое утешение, господин оберст! — прищурился Отто.

— Что вы предлагаете? — вздохнул оберст.

— На этой длинной возвышенности — назовем ее «Змея» — вот здесь и здесь, — Отто показал на карте, — ваши саперы оборудуют для меня два поста с траншейными выходами ко второму батальону. Я прибуду к вам завтра вечером, работать намерен послезавтра, один день. Позиции удобные: лишь сто метров до противника. Надеюсь на большой успех.

Оберст, конечно, отлично понял Бабуке.

— И все-таки вечером, перед тем, как я выйду на позицию, — сказал Отто, — необходимо неожиданно обстрелять прилегающий к ней участок. Если не артиллерией, то из пулеметов хотя бы.

— На всякий случай? — поднял глаза оберст.

— Нет, господин оберст, — улыбнулся Отто. — Для того, чтобы мне пристреляться, выявить русские позиции...

Во время перестрелки прежний блиндаж бронебойщиков был разрушен, и Мамеда перевели на правый фланг роты Петрухина, где высвободился большой блиндаж пулеметного расчета; пулеметчикам нашли место с широким сектором обстрела.

Морозюк, весь день и к случаю и без того вспоминавший своего дружка, к вечеру уговорил Игнатьева посетить «сердешного хлопца». Они шли то извилистыми и мелкими — по пояс, а иногда и по колено, то ровными и глубокими, похожими на темные коридоры, только без потолка, траншеями и ходами.

Вдруг послышался тяжелый топот ног.

— Эй, осторожней на поворотах! — негромко окликнул Игнатьев.

— Кто идет? — спросил неуверенный тенорок. — Стой!

— Мы стоим, а ты бежишь... — В голосе Игнатьева угадывалась улыбка. — Вздремнул, что ли, по нехватке лет?

Обменявшись паролями, сошлись. Это был командир здешнего стрелкового взвода, молодой, узкий в плечах старшина. За ним темно маячил рослый солдат-автоматчик.

— Где у вас тут бронебойщик, черный такой? Проведите, Мамедом зовут, — сказал Игнатьев.

— А, новый! Ступай, — сказал старшина бойцу-автоматчику, — покажи.

Они вылезли из траншеи и пошли бугром, спускаясь.

— А хода к нему нет? — спросил Игнатьев. Боец не ответил, да и без того было ясно, что нет, и это был просчет: если немцы обнаружат блиндаж, уходить придется вверх по бугру, на виду.

Наконец боец остановился. Игнатьев пригляделся: за большим валуном чернела узкая канава.

— Здесь, — сказал боец. — Разрешите идти? — Голос его был тонкий, по-мальчишески срывающийся, не устоявшийся. Роста боец был огромного, а голос — такой вот.

— Идите, — сказал Игнатьев, и тот неслышно прошел во тьме.

— Мамед! — шепотом позвал Морозюк.

— Вот Мамед, чего кричишь! — тотчас и тоже шепотом отозвался знакомый голос.

Игнатьев решил и заночевать тут, на новой позиции Мамеда: расположенная близко от вражеских окопов, она могла оказаться кстати как запасная. Да и блиндаж был большой, обитый тесом, теплый, с хорошей площадкой для стрельбы у амбразуры: на ней еще оставались канавки от колес «максима».

Игнатьев и Мамед вздремнули, бодрствовать вызвался Морозюк.

Долог ли, короток ли был сон Игнатьева, но проснулся он как по заказу. Приподнявшись, Игнатьев понял, что светает: он привык пробуждаться в эту пору — загадает с вечера и встает, будто по сигналу, — часы проверяй.

Морозюк предостерегающе приложил палец к усам:

— Послухайте, Микола Якыч...

Похрапывал Мамед, мешая слушать, однако до Игнатьева с немецкой стороны донесся отчетливый свист флейты.

— Помните?.. — прошептал Морозюк.

Флейта, не закончив мелодии, стихла.

— Помню, — шепнул Игнатьев, и по спине его пробежали мурашки. Чертовщина — опять эта флейта!

— Даже интересно, — сказал Морозюк.

— Да, — сказал Игнатьев и почему-то подумал об Отто Бабуке: флейта, что ли, виновата?.. Он посмотрел вверх: сквозь узкую щель амбразуры чуть брезжил смутный свет.

Морозюк растолкал Мамеда.

— Вставай, вояка, всех немцев проспишь!

Игнатьев оправил капюшон маскировочного халата, опустил марлевую «паранджу» на лицо, взял винтовку, протиснулся к амбразуре.

Светало быстро. Теперь Игнатьев мог уже осмотреть лежащую перед блиндажом местность. Блиндаж был отрыт так, что огромный валун, который вечером показался Игнатьеву не таким уж и большим, закрывал убежище наполовину. Это делало блиндаж, укрепленный еще и шпалами, достаточно безопасным. Амбразура была под изгибом камня и [illegible] наверняка терялась в его тени. «Хитро», — отметил Игнатьев.

— Что видно, товарищ старшина? — спросил сн[illegible] Мамед. — Смотри в оба.

— Пока ничего, — успокоил Игнатьев.

Однако замечание Мамеда напомнило Игнатьеву, что глядеть надо, и верно, в оба. Перед собой он увидел длинную под снегом гряду. Чтобы узнать, что по сторонам, он немного подвинулся вперед. Гряда далеко тянулась и влево, и вправо, скрывая собою немецкие окопы. Но ведь их-то и хотелось видеть Игнатьеву, и блиндаж должен быть приспособлен для этого. Однако, как ни тщился Игнатьев — и становился на цыпочки, рискованно вытягивая голову в амбразуру, и заглядывая сбоку, — вражеские позиции не просматривались. Как же так? Неужто блиндаж пулеметчиков, отлично оборудованный и замаскированный, — пустое дело? Обзор отсюда был никудышный, сектор обстрела — бесполезный: какой от него толк — гряда! Блиндаж находился во впадине на скате холма, и хотя сам скат господствовал над низиной, где располагались вражеские траншеи, и они должны были неплохо просматриваться с него, впадина была настолько глубокой, что лишала на-

блюдателя этой возможности. Словом, блиндаж был в «мертвой» зоне.

— Менять позицию надо, — сказал Игнатьев с досадой солдатам.

Узнав, в чем дело, Мамед вспылил:

— Я еще вчера сказал: зачем пэтээр сюда, зачем? Сиди, говорят, пойдут, говорят, танки — стрелять будешь. Где танки? Куда стрелять?

— Зараз, Микола Якыч, не вылезаемо: свитло, — заметил Морозюк.

— Будем до вечера загорать, — зло отозвался Игнатьев. Он вновь обежал биноклем по-прежнему пустынную гряду («А какой ей быть еще, черт возьми?») и, заметив слева на гребне приземистый корявый куст, решил пристрелять его для ориентировки.

Услышав выстрел, Морозюк и Мамед кинулись к Игнатьеву:

— Чего там?

— Для порядка, — объяснил Игнатьев.

5

Немцы обстреливали правый фланг батальона, как часам, ровно пять минут. Это был упорный, непре-вный налет, по одному небольшому участку. Каза.ось, немцы засекли очень важную цель и решили разнести ее в клочья. Несколько многоствольных минометов, перекликаясь и соперничая в скорости и вое, обрушили на этот участок из-за темнеющего на горизонте леса столько металла, огня и грохота, что Тайницкий переполошился, подумав, не вздумают ли немцы после такой подготовки атаковать.

— Что у вас?! Эй, Петрухин! Что вы там?! — стараясь перекричать шум взрывов, неистово и недовольно орал Тайницкий в трубку, будто виновником случившегося был не противник, а командир третьей роты, подвергшейся обстрелу. Петрухин отвечал, но Тайницкому не было слышно, и он продолжал спрашивать, прикрывая трубку ладонью: — Чего? Чего?

Грохот оборвался так же неожиданно, как начался, и в тишине одиноко повис громкий возглас Тайницкого:

— Чего?!

Пораженный тишиной, комбат чертыхнулся, недоуменно оглядываясь, — что, мол, стряслось? — и снова прилип к трубке. Теперь он молчал, слушая объяснения Петрухина, и Зина заметила, как затрепетала огромная его рука. Лицо комбата побагровело.

— Сейчас приду сам... — прохрипел он.

— Ну что, товарищ майор? — забеспокоилась Зина.

Тайницкий, опустив голову, стоял над телефоном, не отвечал.

— Товарищ майор! — окликнула Зина.

— Собирайтесь со мной, — глухо откликнулся Тайницкий. — Снайперов наших накрыли...

— Каких снайперов?..

Тайницкий дернулся нервно:

— Кричать зачем? Игнатьева нашего. Собирайтесь, — кратко приказал Тайницкий. — Быстрее! — нахмурился он, видя, что Зина не двигается.

— Я сейчас.

Тайницкий поднял с полу ее сумку.

— Идем! — прикрикнул он, нахлобучивая шапку. — Бинтов здесь много? — он потряс сумкой.

— Да, а что?.. — взяла у него сумку Зина.

— А то! — отрубил Тайницкий и пошел к выходу.

— Может быть, не накрыли? А, товарищ майор? — бросилась за ним Зина.

Тайницкий шел быстро, в траншеях ему, большому и широкому, было узко, он протискивался боком, обдирая полушубок об острые выступы и камни, видно, не замечая этого. Когда кто-нибудь встречался на пути и приветствовал его, Тайницкий буркал «да, да», продолжая идти напролом, и тому ничего не оставалось, как либо вжиматься в стенку траншеи, уступая дорогу свирепому комбату, либо семенить впереди, чтобы юркнуть в первое попавшееся ответвление.

— Товарищ майор, — взмолилась Зина, — что было-то?

— Петрухин говорит: били по его третьему взводу, только с недолетом. А там блиндаж этот с ребятами...

— И... попали? — задохнулась Зина.

Тайницкий встал, развернулся в траншее, будто раздвигая ее плечами.

— Послушайте, Зина, — сказал он с укоризной, — вы медицинская сестра. Медицинская!

Смущенный и растерянный, Петрухин сбивчиво объяснял Тайницкому, что произошло. Докладывая, он надоедливо переспрашивал: «Ясно? Понятно?»

Тайницкий слушал, осторожно приподнявшись над бруствером окопа и рассматривая в бинокль скат холма перед собою, темные, неровные пятна воронок от немецких мин, заляпавших неглубокий снег, и молчал. Тайницкий видел: блиндажу досталось крепко, и если ребята живы еще, то долго ли продержатся, придавленные шпалами и землей, а может, и раненые? Он посмотрел на часы, сплюнул, негодуя и на то, что светит солнце, и что нельзя ни собой, ни кем другим рискнуть, отправив сию минуту к блиндажу, и что Петрухин ничего не может подсказать толкового и вообще все получилось скверно, безобразно, ужасно.

— Стой, стой! Куда? — вдруг закричал Петрухин, испуганно показывая за спину Тайницкого. Оглянувшись, комбат увидел Зину. Не рядом, не с застывшими огромными глазами. Она была уже там, там, внизу, на скате холма, на открытом скате, видная не только ему и Петрухину, но и всем, со всех сторон.

Слева, из-за высоты, оголтело и быстро затарахтел немецкий пулемет, и всем сразу стало ясно, что немцы стреляют по Зине, и все рванулись в ту сторону, прижавшись к передним стенкам окопов, и, вытянув шеи, прилипли глазами к маленькой фигурке, мелькающей среди камней.

Пулемет тарахтел долго, и пули то взбивали фонтанчики снега перед Зиной или позади нее, то ударялись в камни и с визгом разлетались в беспорядке.

— Петрухин! — дернулся Тайницкий. — Что же это?.. Как ты допустил?

Петрухин закричал ближнему пулеметному расчету, чтобы открывали ответный огонь, и оттуда вынеслась лихорадочная очередь, но немецкий пулемет продолжал грохотать, потому что был скрыт высотой, и снежный вихрь закружился вокруг Зины.

— А, черт! — заорал Тайницкий.

Но тут случилось то, чего ожидали и чего все боялись. В нескольких шагах от разрушенного блиндажа с последним выстрелом, прилетевшим из-за высоты, Зина упала. Словно ударилась о невидимую преграду.

В куче земли, завалившей вход в блиндаж, Петрухин увидел вдруг черное отверстие, его раньше не было.

В глубине блиндажа чувствовалось движение. И еще увидел Петрухин, вздрогнув, что Зина боком, не поднимая головы, медленно подползает к серой каменной глыбине.

Оберст вызвал майора Вульфа и приказал обеспечить гауптмана минометной поддержкой — по его указаниям и по мере надобности. Хунд был настолько предупредителен и любезен, что предоставил Отто для отдыха свою землянку, переселившись после обеда к Вульфу, сам разбудил гауптмана в пять часов утра и, неся его саквояж, прошествовал, сгибаясь в три погибели, впереди по траншее до места, откуда саперы проложили ход к позиции снайпера.

Когда они подошли, солдаты заканчивали работу. Оберст осторожно скользнул по ним узким лучом электрофонаря. Стекло было зеленоватое, и луч был зеленоватый, призрачный. Один солдат, коренастый, широкоплечий, с длинными, как у гориллы, до колен, руками ловко и сильно вырубал лопатой мерзлую землю, аккуратно сгребал ее в ящик.

— Сразу видно сапера, — похвалил Отто. — Молодец, отлично работаешь!

Солдат выпрямился, оберст осветил его лицо — оно было худое, землистое, как в тине. На Отто из-под косматых седых бровей уставились неестественно большие, продолговатые, зеленые глаза.

— Я не сапер, — тихо и глухо, как из-под земли, сказал солдат, — я могильщик.

Отто передернуло, оберст в смущении погас фонарь.

— Я в Котбусе на кладбище двадцать лет работ а сейчас в похоронной команде, — добавил солдат.

— Молчать! — зашипел оберст.

...Как ни мимолетна была эта встреча, она испорти настроение Отто, он долго не мог отделаться от і приятного ощущения тревоги, вызванного придавленны голосом солдата. Он холодно пожал Хунду руку и, сопровождаемый каким-то лейтенантом, отправился в свой блиндаж. Светало, и надо было торопиться. Когда лейтенант, шепотом пожелав ему успеха, ушел, Отто по глубокому лазу пробрался на огневую позицию. Она выглядела точной копией той, которая была на «Вольте»,

и Отто, смягчаясь, похвалил Хунда: старый индюк постарался. Набросив на голову белый капюшон и приподнявшись над бруствером, Отто проверил, нет ли вокруг каких-либо огрехов, которые могут демаскировать его. Все было сделано идеально. Окоп находился на самой вершине и был выкопан так аккуратно, что снег, словно нетронутый, свисал с краев; на его поверхности не было видно ни горсти земли; несколько торчащих из-под снега толстых сучков впереди окопа были весьма кстати — пусть кто-нибудь попробует отличить похожий на палку перископ от сучка!

Утро обещало быть солнечным, восточная сторона совершенно безоблачного неба быстро светлела, и Отто вернулся в блиндаж: вести из окопа наблюдение ранним утром опасно. Азбучная истина: низкое солнце дает густую, длинную — заметную тень. К тому же Отто вообще не должен был подвергать себя какой бы то ни было опасности. «Как глупы люди в своих привычках и обязанностях! — усмехнулся Отто про себя. — Стоило заползти сюда, и я начинаю подчиняться обстоятельствам!»

В блиндаже, когда он плотно прикрыл дверь, стало совсем темно, и Отто торопливо включил фонарь: тьма ему сегодня не нравилась. Блиндаж был тесный, продолговатый, с отвесными гладкими стенками и перекрыт белесой бетонной плитой. Оглядывая убежище, Отто нашел его прочным, можно было только радоваться, но вид блиндажа и особенно холодная плита наверху, похожая на могильную, раздражали.

Отто распахнул дверь. Солнце, слава богу, уже всходило. В углу блиндажа на двух кирпичах стоял телефонный аппарат. Отто приподнял трубку, и в ней сразу послышался торопливый голос:

— Господин капитан?

— Все хорошо, — сказал Отто и положил трубку. Хунд все-таки обязательный человек: связь с минометной батареей установлена прямая. Отто достал из саквояжа флейту, задумчиво прошелся по ее податливым клапанам пальцами. Почему он стал не флейтистом, а стрелком? Ведь у него находили отличный слух, недюжинные способности... Собственно, он и в цирк попал благодаря увлечению музыкой.

С русской стороны послышался винтовочный выстрел. Отто насторожился: стреляли слишком близко.

Схватив винтовку, сумку с патронами, перископ, Отто снова полез в боевой окоп. Прильнув к окуляру перископа, он медленно, не спеша, осмотрел близлежащие холмы, по их вершинам проходили вражеские позиции. Солнце едва вылезло оттуда, и сбегающие под гору синие полоски теней четко указывали на неровности почвы. Напротив себя вверху Отто увидел несколько свежих минных воронок, это был след вечерней пристрелки участка тяжелыми минометами. Скаты холма правее были усыпаны камнями — они торчали из-под снега, словно головы убитых. Один камень метрах в пятидесяти от окопа, огромный серый валун, похожий на согнувшегося медведя, мог вполне быть укрытием стрелявшего. Поворачивая перископ то в одну, то в другую сторону, Отто снова и снова возвращался к «серому медведю». Когда солнце поднялось немного и тень от камня сместилась, он увидел в снегу у основания камня темное углубление. «Похоже на амбразуру», — встревожился Отто.

Отто опустил перископ и пополз в блиндаж, к телефону. И не успел он возвратиться в окоп, как минометчики уже обрушились на указанную цель.

Теперь, когда дело было сделано, следовало уйти в блиндаж и спокойно отсиживаться до вечера. Подозрения Отто оправдались: за серым валуном у русских был блиндаж. Был. Теперь его нет: прямое попадание мины вывернуло из-под снега черные бревна перекрытия, и уже более получаса наблюдает Отто, не обнаруживая там никаких признаков жизни. Хорошее оружие — тяжелый миномет! Оказывается, иногда убивать противника таким образом отнюдь не менее приятно, чем собственной рукой...

Опуская перископ, Отто услышал справа частую очередь пулемета. Что такое?

По склону холма к разрушенному русскому блиндажу бежала женщина. На левую руку ее был намотан ремень от брезентовой сумки, женщина перепрыгивала через камни, и сумка раскачивалась. Отто заметил на сумке блеклый красный крест. «Санитарка!» — догадался он. Пулеметчики, стрелявшие из-за «Вольты», пытались взять ее на прицел, но, вероятно, торопились, потому что пули то опаздывали, то падали впереди бегущей.

Что-то знакомое было в этой женщине, Отто словно

уже видел именно эту небольшую русскую в неуклюжем стеганом пиджаке и лохматой серой шапке. Конечно, все они одеваются так и похожи друг на друга... Когда же санитарка сбежала со склона и остановилась, оглядываясь, Отто вспомнил: он стрелял в нее несколько дней назад с «Вольты» и прибавил к счету убитых за полчеловека! Значит, промахнулся? И согласно примете этой русской предстоит прожить еще сто лет? Нет, на сей раз промаха не будет. Если ее не раскромсают сейчас пулеметчики, это сделает он. До разрушенного блиндажа, куда спешила санитарка, — и надо отдать должное ее фанатической храбрости, — оставалось шагов тридцать — слишком большое расстояние, чтобы уцелеть, попав под прицел Отто Бабуке.

В перископ хорошо было видно ее лицо. «Мой бог, она удивительно хороша, эта большевичка!» — поразился Отто. Он отбросил перископ, вскинул винтовку и выстрелил. В оптический прицел Отто успел заметить, как исказилось лицо девушки. И ему показалось, что глаза их встретились.

— Мыкола Якыч, а Мыкола Якыч, — послышался из-под нар жалостливый голос Морозюка.

— Цел? — встрепенулся Игнатьев. Взрывная волна отбросила его в угол к стене, рухнувшие шпалы уперлись в нее, и это спасло Игнатьева.

Игнатьев, стараясь не задеть балки — как бы не рухнули, — стал вылезать из своего угла. От контузии в ушах звенело, голова была тяжелая, ватная. Он напрягся, выпростал тело из-под комьев земли и щебня, огляделся. Перекрытие обвалилось только у одной стены, и в образовавшуюся дыру светило солнце. Игнатьев сообразил: сторона блиндажа, обращенная к немцам, уцелела, значит, можно двигаться, не опасаясь, что заметят. Он подобрался к Морозюку с Мамедом. Прижатые упавшими под тяжестью нескольких шпал нарами, они лежали друг на друге. Мамед лицом к стене, Морозюк — к Игнатьеву.

— Потерпите, — сказал Игнатьев. Он нашел среди балок поломанную слегу, осторожно вытащил ее, всунул перед головой Морозюка под нары. — Я поднимать буду, вы тоже толкайте, — сказал он.

Встав на четвереньки, Игнатьев подлез под слегу, натужился и, дрожа от напряжения, стал подниматься. Упираясь руками, ему помогали Морозюк и Мамед. Нары затрещали, балки на них подались наконец, и вначале Мамед, потом Морозюк выскользнули из западни. Втроем они тихо, чтобы не поднимать пыли, опустили обломки и потом долго сидели на полу, обессиленные: шпалы были тяжелые.

— Шо робить будемо, Мыкола Якыч? — первым пришел в себя Морозюк.

— Ты, брат, — сказал Игнатьев, — откапывай вход Руками, сверху и укромно, тишком. Нам надо наших видеть, знак им подать, что живы.

Морозюк сразу полез к выходу, заворочался там.

— Мамед, — сказал Игнатьев, — я винтовки откопаю, ты патроны ищи. Только с балками осторожно, не нарушь, увидят немцы...

Оптический прицел игнатьевской винтовки был раздавлен, у винтовки Морозюка перебило ложу. Игнатьев снял с нее прицел для своей.

От входа вывалился Морозюк, в глазах его было смятение.

— Тамочки, тамочки! — шептал он, показывал назад. До них донеслись выстрелы, крики. Игнатьев сунулся к выходу и в узкой щели, проделанной Морозюком, увидел сбегающую с холма Зину и снежный вихрь от пуль у ее ног, между камней...

Зина сама вползла в лаз, который они втроем, срывая ногти и сдирая пальцы, успели откопать. Правое плечо ее телогрейки было разорвано в клочья и почернело от крови.

— Господи, живой! — прошептала она, увидев Игнатьева, и затихла.

Игнатьев рванул, не расстегивая, крышку Зининой сумки, она отлетела, он выхватил вату, бинты и, едва Морозюк, разорвав на Зине гимнастерку, обнажил ее плечо, стал плотно перевязывать рваную синевато-красную рану.

Зина подняла веки, глаза были сухие, подернутые сизой пленкой.

— Зачем вы так? Под пулемет? — тихо сказал Игнатьев.

— Какой пулемет?.. — повела она глазами. — Это не пулемет. Это он... Я видела... Опять он.

— Кто?

— Немец, снайпер... Он вылез из снега, тут, на горке, — ресницы ее дрогнули. — Я видела его...

— Морозюк, — сказал Игнатьев, — я посмотрю, а ты шапку на винтовку надень, в дыру ему покажи, понял?

— Ясно, — подтвердил Морозюк.

Игнатьев полез по балкам к люку.

— Давай, — кивнул он Морозюку, подтянулся, собираясь выглянуть, но доска, в которую Игнатьев вцепился, вывернулась, и он полетел вниз.

Морозюк, однако, успел приподнять над блиндажом винтовку с шапкой. И, едва сделал это, все услышали недалекий выстрел. В шапку ударила пуля, и она, сорвавшись со ствола винтовки, отлетела.

— Була у солдата добра шапка, — сказал Морозюк.

Зине становилось хуже. Она шептала бессвязно и жарко.

— Хлопчики, — разобрал Игнатьев, — умру я...

Мысль Игнатьева работала теперь четко. Рассчитывать на помощь Тайницкого пока не приходится, идти на жертвы было бы для комбата преступлением. Самое большее, что мог предпринять сейчас Тайницкий, — это вызвать огонь артиллерии по немецким пулеметам, чтобы безопаснее было выбираться из блиндажа. Но разве знает Тайницкий, кто уцелел в блиндаже?

Не окажись Зины в блиндаже, они сидели бы тут и до вечера, и хоть до следующего утра. Теперь ожидание становилось недопустимым. В соперничество с Игнатьевым вступила сама смерть, она неумолимо и непрерывно подкрадывалась к раненой, и он обязан, он должен если и не опередить, то сделать все, что может и даже не может для этого. Но что? Что?

Внезапно Игнатьеву живо и ясно, как в озарении, представилась вся картина происходящего — и ближайшие окрестности со всеми перепадами высот и низин, и позиции противников с их дзотами и дотами, ходами сообщений, ячейками, окопами, и сами немцы, прильнувшие к оружию, стереотрубам и биноклям для того, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох и остаться в живых.

Как он мог, как он посмел забыть о длинной гряде,

закрывающей этот блиндаж от немцев? Недавняя слабость и бессмысленность этой позиции обернулись вдруг совсем иной — сильной, разумной, спасительной стороною. Вот он, выход из положения! Соломинка, за которую надо цепляться, последний шанс, единственная надежда!

Игнатьев мысленно обежал взглядом эту гряду — так же, как и на рассвете: слева направо и справа налево, и раз, и два, и еще раз. Да, она достаточно высока, и можно, если только быстро, уйти. Вот кинуться направо, и она укроет, спрячет, защитит, она выведет к соседнему полку, к его ближайшей траншее!

Остается этот снайпер... Он, конечно, тут, на гряде. И его не сбросишь со счетов: два выстрела со вскидки и два попадания, это не Морозюк, у которого из двух два не всегда получаются. Видно, снайпер что надо. Неужели опять Отто Бабуке?

А если он там не один?.. Соломинка...

— Морозюк, — сказал Игнатьев, вытягивая из-под капюшона свою шапку, — повтори, теперь от входа и когда я сигнал дам.

— Ясно, — сказал Морозюк.

Игнатьев снова полез к амбразуре.

Рыскать биноклем по длинной, с километр, глубоко заснеженной гряде — пустое дело, быстрей на иголку в стоге сена наткнешься, чем тут хоть малый подозрительный след обнаружишь. Игнатьев решил начать с середины гряды. В момент выстрела Зина заметила снайпера перед блиндажом, на гребне, и, упав за камень, потеряла его из виду. Пока что задачка простая: осмотреть как следует этот участок.

Игнатьев подтянул к себе винтовку, сунул патрон в патронник, установил прицел на дальность, благо утром пристрелял это проклятое место, и, устроившись поудобнее, чтобы сызнова не грохнуться ненароком вниз, стал наблюдать. Главное — не медлить, но и не спешить. Не спешить и не медлить. Разберись-ка! Игнатьев старался настроить себя на спокойный лад, психоз — плохой помощник. Когда действуешь легко, непринужденно, вроде бы с настроением — все лучше получается.

Внизу опять застонала Зина.

Игнатьев старался отвлечься, чтобы не слышать ее стоны, но они всплывали оттуда, снизу, отдаваясь в нем состраданием и жалостью.

На гряде росли кусты — редкие, жидкие, за такими не спрячешься, конечно. Ничего! Как-никак, а зацепка. Ориентиры. Игнатьев поделил взглядом избранный отрезок гряды на узкие вертикальные полосы, сосчитал кусты: может, пригодится... В одной полосе одиннадцать, в другой тринадцать, рядом — шесть... Двадцать четыре и шесть, итого ровно тридцать, вишь ты: ровно!

Донесся стон, и Игнатьев стал торопливо гадать, что за кусты там, на гряде? Волчья ягода? Ракитник? Бузина? Эка хватил, Игнатьев: кусты корявые, будто старушечьи пальцы, искореженные ревматизмом, — где ты видывал такой ракитник?

Зина застонала, Игнатьев зажмурился, начал честить батальонного старшину: ведь просил, черта, достань защитные очки, на снегу и на солнце смотреть больно! Не достал...

Перед закрытыми глазами Игнатьева плыла гряда, только снег был, как на фотонегативе, черный, а кусты — белые. Вишь, какие они все узловатые, кривые... Э, все, да не все! Один вон как палка обструганная торчит... — засек Игнатьев и... и от внезапной догадки широко открыл глаза.

Бинокль побежал от куста к кусту. Где эта палка, черт ее побери? Не видно... Игнатьев пересчитал кусты. Что такое? Теперь их было только двадцать девять. Он пересчитал вновь, по полосам: одиннадцать, тринадцать, пять... Но ведь тут было шесть! Или он ошибся? Нет, пять. Может, ошибся в тот раз?

Он опять сосчитал и замер: в последней полосе было по-прежнему шесть кустов. И этот, шестой, похожий на ровную палку, находился на самом гребне гряды. Перископ! Что это со мной сегодня? Отупел, факт! Как я мог не сообразить, что немец, стреляющий навскидку, должен пользоваться или стереотрубой, или перископом!

— Петрович, — нетерпеливо позвал он Морозюка, — давай, Петрович...

— Добре, — отозвался тот.

Игнатьев увидел, как шевельнулась трубка перископа, поворачиваясь, потом вздрогнула, остановилась и медленно поползла вниз. Игнатьев схватил винтовку,

прицелился. На перекрестии оптического прибора был ярко виден опускающийся стержень перископа.

Но снайпер не показывался. Игнатьев, готовый выстрелить, ждал пять минут, десять — никого.

— Отставить, Петрович, — сказал Игнатьев и спрыгнул к Зине. Она была без сознания. Лицо потемнело. Мамед до шеи укутал Зину своей шинелью и стоял возле на коленях в расстегнутом ватнике.

— Ребята, — сказал Игнатьев, — я нашел его. Он — один. Один! Порядок. Кладите ее на шинель. Вас укроет гряда! Вы только быстро! Пять шагов — и точка! Там траншеи у соседей...

— А немец? — прошептал Мамед, не поднимая от Зины глаз. — Нам успеть надо. А ей жить надо...

— Я нашел его, ребята, — сказал Игнатьев. — Он не успеет. Она будет жить, ребята.

— Мыкола Якыч, мы пийшлы, — донеслось до Игнатьева.

— Давайте.

Игнатьев слышал, как, кряхтя и чертыхаясь, выполз из блиндажа Морозюк. Потом они, слышал Игнатьев, вытащили на шинели Зину. Видно, Мамед, выбиравшийся последним, замешкался, потому что Игнатьев услышал голос Морозюка: «Скорийше!»

Больше Игнатьев уже ничего слышать не мог. На гребне гряды появилась черточка перископа. «Ну...» — вздохнул Игнатьев. И в этом вздохе он был весь.

Борис РЕСКОВ, Константин ТЕНЯКШЕВ

По кромке огня

Перед вами повесть * о мужественном и находчивом человеке. В напряженнейший период истории, накануне второй мировой войны, действует он по заданию советского командования в одной из сопредельных с нами восточных стран, ведет невидимое, полное опасностей сражение с резидентом фашистской Германии, которая всячески стремилась создать дополнительный плацдарм против СССР с юга, прибегая для этого к провокациям у границы.

Дверь в караульное помещение с треском распахнулась, и перед сержантом Селимом Мавджуди предстал солдат-первогодок Мехти. Он поморгал серыми от пыли ресницами, неуклюже переступил тонкими ногами в больших ботинках и сказал:

— Он все еще идет, сержант-эффенди...

— Хвала аллаху! — откликнулся сержант. Не вставая с супы, он достал из нагрудного кармана круглое зеркальце и глянул в него, щелчками распушил кончики великолепных усов. — Тот, кто идет, непременно куда-нибудь прибудет. Какой мудрец сказал это? А, Мехти-батыр?

— Он правда идет, сержант-эффенди, — растерянно повторил солдат и на всякий случай вытер рукавом нос.

Бережным прикосновением сержант привел усы в горизонтальное положение, облизал полные губы и лениво произнес:

— Иди!

Солдат пошел к выходу, но у порога остановился, повернул к сержанту несчастное лицо и спросил, запинаясь:

— А что с ним делать, если он подойдет совсем близко?

* Сокращенный вариант.

— Поцелуй его в курдюк! — сержаит встал и, оттолкнув солдата, вышел.

Он достал из футляра бииокль, подышал иа стекла, протер их полой фреича и вгляделся в даль.

Степь дышала тягучим зноем, иакопленным за длинный августовский день. Желто-серая дымка стлалась на горизоите. На ее фоне даже без бинокля отчетливо был видеи человек, шагающий с советской стороны по пескам.

— Даст бог, прежде чем сядет солице, ои будет здесь, — сказал сержаит. — Это перебежчик. Видишь: он, не таясь, сам идет к нам. Пора бы тебе понимать такие вещи, Мехти, и не вопить по-бараньи. Жди его и остаиови, как положено по уставу.

— Идет! — крикнул издалека солдат. — У иего что-то в руке. Вроде суидучок.

— Ага, — сказал сержант. — Пусть идет. Только не вздумай стрелять в него, баранья башка!

— Слушаюсь, сержаит-эффенди!

— Впрочем, ты все равно не попадешь, — успокоил себя сержант.

* * *

Человеку, который стоял перед сержантом, было лет двадцать пять. Ои был широкоплеч, сух, загорелые сильные руки его были худы.

«Наверное, и у Советов не каждый день плов», — подумал сержаит. Он посмотрел в лицо перебежчику, встретился взглядом со спокойными табачиого цвета глазами и рассердился.

— Мехти-батыр, выйди-ка и займи свое место на посту, — велел ои солдату, прислонившемуся к двери. Мехти поспешио удалился, задев прикладом винтовки о порог. Сержаиту показалось, что тонкие губы перебежчика чуть скривились в усмешке.

— Подойди поближе, — велел сержаит. — А теперь давай-ка свои вещи.

Перебежчик поставил чемодан на стул.

Сержант окииул взглядом его длиииую фигуру — белая без ворота рубашка в полоску, холщовые, еще сохраиившие складку брюки, коричневые брезентовые туфли, — мягко подиялся и в мгновеиье ока обыскал перебежчика, прежде всего вывернув его кармаиы.

— Так, так, — сказал сержант. — Пусто. — Он поднял чемодан н вскрнкнул: — О, аллах! Ты что, камиямн набнл свой сундук? — Он безуспешио вознлся с запорамн, пока перебежчнк легким изящным двнжением не открыл нх сам.

В чемодане оказалось множество металлнческнх инструментов, назначенне которых сержаиту было нензвестно. Сбоку помещалнсь тщательно упакованные в бумагу и вату блестящне лампы, посеребренные нзнутрн. Нн одежды, нн денег не было. Лншь несколько носовых платков да простые стнраные носкн.

Сержант с опаской взял одну лампу и посмотрел ее на свет.

— У-гу, — пронзнес ои многозиачительно. Хлопнул ладонью по столу и вдруг сообразил, что перебежчик, не задумываясь, выполняет все его распоряжения.

— Ты что, понимаешь по-нашему? — спроснл сержант.

— Я говорю на языках всех пограиичных стран, — четко ответил перебежчик, и уголки его губ виовь дрогнули.

Сержаит щелчками поправил усы.

— Хвала тебе! — заключнл ои. — Тем легче будет составить протокол задержания. Итак, как тебя зовут? Ты поннмаешь, что лгать мне ие полагается: я внжу тебя насквозь!

Перебежчнк улыбнулся, на этот раз открыто.

— Меня зовут Андрей Долматов, — сказал он. — Я сын русского генерала Дмитрия Павловича Долматова, хорошо известного в ваших краях. — Помолчал и добавнл: — Есть просьба, сержаит: доставьте меня побыстрее в комендатуру. Увереи, начальство поблагодарнт вас.

— Здесь я начальство! — сержаит хлопнул ладонью по столу. Взметиулось облачко пыли, чериильница подпрыгнула, но нз нее не пролнлось нн капли. Сержант иалнл в черинльннцу чаю нз кружкн, долго размешнвал жидкость пером и наконец иачал медленно писать.

— Я могу сесть? — спросил тот, кто иазвал себя Андреем Долматовым.

— Разрешаю, — буркнул сержаит. И иа всякнй случай перешел на «вы». — Итак, куда вы шлн и зачем?

— Я хочу перебраться в Парнж, — охотно ответнл перебежчнк. — Там сейчас иаходятся мон близкне.

Чтобы заработать денег на дорогу, решил просить временного убежища в вашей стране. Она мне знакома: я здесь жил в детстве. Мой отец был старшим советником в вашем генеральном штабе.

Сержант Селим Мавджуди перестал водить скрипучим пером по бумаге и тяжко задумался:

— Еще раз прошу: не тратьте зря время и силы, — сказал перебежчик. — Отправьте меня в комендатуру.

Сержант вскинул ладонь и прихлопнул муху.

Одиннадцать лет служил он на границе. Он видел немало перебежчиков, особенно в первые годы после русской революции. Задержанные вели себя по-разному: заискивали, совали взятки, плакали, прикидывались то дурачками, то немыми. Один чернобородый, сплошь увешанный по голому телу под засаленным рваным халатом драгоценностями, ударил сержанта в зубы, когда тот попытался снять с него золотой медальон. Год спустя сержант видел, как сам губернатор провинции целовал чернобородому руку.

Да-а... Ни один нарушитель не был похож на другого, и все-таки что-то роднило их: все они были жалки, и все, даже чернобородый, лгали. Сержант привык к этому. Он не представлял, что может быть иначе.

Перебежчик словно прочел его мысли.

— Меня с радостью встретят в городе, — сказал он. — Там есть люди, которые помнят отца и меня, наверное, тоже.

Сержант очистил перо.

— Что за вещи у вас в чемодане? — спросил он строго и вперил в незнакомца тяжкий взгляд.

Задержанный снисходительно кивнул и объяснил:

— Это инструменты и запасные части для радио. У вас в стране уже есть радиоприемники, а ремонтировать их, наверное, некому. Я немного знаю это дело, и, надеюсь, оно принесет мне заработок.

— Радио — это значит: кто-то далеко говорит, а ты слышишь? — спросил сержант многозначительно и испытующе.

— Совершенно верно, — перебил перебежчик. — И наоборот: вы говорите, а вас слышат за пятьсот верст отсюда.

— И в Ташкенте? — поспешно уточнил сержант.

— И в Ташкенте, и даже дальше, — подтвердил перебежчик.

Сержант Селим Мавджуди торжественно поднялся.

— Мехти! — крикнул он и приказал вбежавшему солдату: — Позвать ко мне Ибрагима Руми!

Через несколько минут на пороге появился немолодой жандарм с мятым злым лицом.

— Доставишь в управление особо опасного нарушителя, — шепотом сказал ему сержант и многозначительно кивнул на Андрея.

Тюрьма жандармского управления кишела клопами, Андрей старался не думать о них. Это был единственных выход. Не думать и терпеть — так велела эта сумрачная душная страна, где не было ни закона, ни совести. Равнодушие и страх господствовали здесь. Значит, только на страх можно было уповать.

Андрей не ломился в дверь и не кричал, подобно другим арестованным. Он лежал на голых нарах, отшлифованных множеством бедняцких боков и, едва в коридоре слышались шаги, принимал одну и ту же позу: колени согнуты, лицо — к стене. Он не ошибся: это подействовало. Страдающий одышкой пожилой надзиратель долго смотрел в глазок камеры, потом с проклятием отпер дверь, вошел и потряс Андрея за плечо.

— Жив, урус? В канцелярию пойдем.

В канцелярии за расшатанным столом сидел офицер с литыми щеками; судя по нашивкам на френче, он был в больших чинах. Сбоку от офицера с трудом уместился на табурете тучный человек с пышной, аккуратно подстриженной бородой. Андрей прикрыл ладонью глаза — после сумрачной камеры дневной свет ослепил его.

— Присаживайтесь, — произнес офицер, не называя Андрея по имени, и показал глазами на свободный табурет.

— Знаете ли вы сидящего напротив вас человека? — обратился офицер к толстяку.

Тот сложил пальцы на животе, чуть склонил голову набок, всматриваясь.

— Для меня все русские на одно лицо.

— Да или нет?

— Нет, — толстяк покачал головой, — не знаю.

— Вы просто забыли, — спокойно возразил Андрей.

— Приведите хоть один факт, связанный с вашими

встречами, — торопливо предложил офицер. Теперь он смотрел на Андрея, сладко улыбаясь, как бы поощряя его.

— Постараюсь припомнить, — сказал Андрей.

Тишина стала невыносимой. Только сонмище мух продолжало неистовствовать. Андрей небрежно отмахивался от них. Он еще раз взглянул на застывшее волоокое лицо, на короткие руки, сложенные на животе, на ноги. Толстяк, будто почувствовав это, подобрал под себя широкие ступни, втиснутые в кожаные шлепанцы без задников.

— Конечно же, вы вспомните меня, почтеннейший, — произнес Андрей сдержанно, прижав пальцы к сердцу. — Правда, в ту пору, когда мы с отцом приезжали сюда, я был почти ребенком — мне было всего около шестнадцати, но я хорошо помню, как вошел в ваш двор с большим тазом конфет. Отец послал вам их в подарок. Таз был медный, и, уходя, я забрал его с собой. Вы положили в таз фрукты. Вот только не скажу: виноград или персики. Столько лет прошло...

Офицер слушал все с той же поощряющей улыбкой, кивая головой в такт словам Андрея. И вдруг резко изменил выражение лица.

— А вы что скажете? — бросил он толстяку.

Тот побагровел, глаза его заметались от офицера к Андрею. Он явно был растерян и ответил испуганно:

— Был такой случай, только не знаю: он ли приносил, другой ли. Но таз конфет в те годы... Я сразу подумал, прогорит этот русский военный, занявшись не своим делом.

— Действительно, прогорел, — вздохнул Андрей. — Но подарок он вам послал от души, не сомневайтесь.

— А отец ваш сейчас — там? — спросил толстяк. В глазах у него впервые появилась заинтересованность.

— Большевики схватили и, наверное, расстреляли его, — Андрей опустил голову. — Но я не хочу в это верить. Не могу, — с трудом добавил он.

Офицер прервал их.

— Значит, вы утверждаете, почтенный Абдурашид, — нараспев спросил он хорошо поставленным официальным голосом, — что напротив вас сидит Андрей Долматов, сын Дмитрия Долматова?

— Как его зовут, не знаю, — пробормотал толстяк,

взглянув на Андрея. — Того-то звали — полковник Долмат.

— Генерал Долматов, — вежливо, но настойчиво подсказал Андрей. — В отставку отец вышел генералом.

* * *

Купец Абдурашид не оставил Андрея. Он приютил его в своем доме в небольшом селеньице, в сотне верст от города, и дал работу. За лепешку, горячую похлебку, чайник чаю и три бронзовые монеты в день Андрей вместе с другими рабочими нагружал арбы тяжеленными тюками, воняющими овчиной: Абдурашид отправлял со своего склада сырые каракулевые шкурки, скупленные у крестьян, в город на предприятие к торговцу и промышленнику Мирахмедбаю.

Работа прекращалась только из-за наступления темноты. Дружно желая толстому брюху Абдурашида всех хвороб, грузчики сообща покупали миску вареного гороха и две-три дыни. Андрей не участвовал в складчине. Он страдал вдвойне: и от голода, и от насмешек, но терпел, объясняя товарищам, что копит деньги на железнодорожный билет.

Каждый вечер пересчитывал Андрей эти гроши. Через неделю их собралось достаточно, чтобы купить билет до города. С этим билетом и со справкой жандармерии, предписывающей перебежчику, именующему себя Андреем Долматовым, самостоятельно явиться в иммиграционное управление для решения вопроса о предоставлении ему права политического убежища, он сел в душный переполненный вагон. Печальные люди Востока везли в нем куда-то свои большие беды и робкие надежды.

А поезд, раскачиваясь и скрипя, медленно преодолевал бесконечные промежутки между полустанками. И бесконечной была пустыня за окном — серая, сухая, злая...

Автомобиль герра Гельмута Хюгеля давно примелькался в городе, где в те времена легковая машина встречалась на улице редко. Безупречно глянцевый черный кабриолет то появлялся у здания банка, украшен-

ного четырьмя тонкими мраморными колоннами, то надолго останавливался у Европейского клуба, то, взметнув облако пыли, исчезал за околицей.

За рулем неизменно восседал сам герр Хюгель, рослый мужчина средних лет, с добрым и ясным пасторским взглядом. Занятие, которому посвятил себя герр Хюгель, было таково, что появление его в самом неподходящем для европейца месте, скажем, в квартале нищих, не вызывало удивления. Герр Хюгель разыскивал и скупал для германских музеев произведения древнего искусства. В трудном деле этот немец поднаторел. Деятельность его порождала легенды. Рассказывали, что в одном небогатом доме хранилась с незапамятных времен маленькая фарфоровая ваза, украшенная непонятными письменами и бледным изображением большеголового всадника на крохотной лошадке. Ваза эта давным-давно потрескалась и пылилась на чердаке, пока хозяину, прослышавшему об ученом немце, не пришла в голову счастливая мысль. Он показал вазу герру Хюгелю. Вещь была куплена за приличную сумму. После этого началось паломничество к дому герра Хюгеля. Дом этот, расположенный на тихой улице в европейском квартале, был невысок, и за палисадником почти не виден. Герр Хюгель выходил из решетчатых ворот, быстро осматривал пестрое скопище вещей, среди которых встречались и чайники с отбитыми носиками, и непонятно какими судьбами попавшие к владельцам телефонные трубки, и бутылки из-под виски американского производства. Немец выбирал одну-две вещи и предлагал обрадованному владельцу зайти через неделю. Рассчитывался он непонятно: нельзя было угадать, за что он заплатит больше, за что меньше. Герр Хюгель скупил много расписных чаш, кувшинов с резными узорами, затейливых курильниц из бронзы, но никто не получил таких больших денег, как обезумевший от счастья и терзаний (не продешевил ли?) владелец закопченной вазы с большеголовым всадником, нарисованным блеклой черной краской.

Тем не менее приток древностей и посетителей не прекращался, да и сам герр Хюгель проявлял завидное усердие. Он часто объезжал базары, магазины, бесчисленные лавчонки в столице и других городах, чаще на севере страны, где с давних времен были сосредоточены селения умельцев, искусство которых почему-то осо-

бенно интересовало ученого из Германии. Он не знал устали в своем рвении. Бывало, среди ночи черный автомобиль выскакивал за ограду особняка и, ослепляя случайных прохожих яркими фарами, устремлялся за город. Очевидно, герр Хюгель прослышал о какой-то редкостной вещице и мчался за ней, опасаясь козней со стороны конкурентов, — решали окрестные жители.

В особняк герра Хюгеля допускались немногие, а единственный его слуга — заросший по глаза черными жесткими волосами курд — был, казалось, глух и нем.

По вечерам герр Хюгель посещал не только Европейский клуб, но и дом Мирахмедбая, расположенный в тихом переулке. Владелец дома, выходец из Коканда, статный Мирахмедбай был высок и широкоплеч. Это скрадывало дородность, появившуюся у него к пятидесяти годам. Он бежал от Советов и каким-то образом сумел прихватить изрядную долю добра, своего ли, чужого ли, никто не знал. Он открыл большую торговлю каракулем и кожей, построил склады на въездах в город и завод. В центре было у него богатое конторское здание, самим видом свидетельствующее о процветании фирмы «Мирахмедбай с сыновьями». А в своем большом жилом доме он сдавал внаем комнаты.

Трехэтажный, замкнутый четырехугольником дом этот, купленный Мирахмедбаем сразу же по приезде, был с виду невелик, но вместителен. В фасадной части его помещался восточный ресторан, усердно посещаемый и европейцами. Арендатором ресторана был некий Селим Мамджуди, много лет служивший на границе и связанный с бывшим кокандским баем давней дружбой. Левое крыло дома занимал сам Мирахмедбай с немногочисленной семьей. Тыльную пристройку и правое крыло он сдавал под квартиры.

Само собой получилось, что квартирантами Мирахмедбая стали по преимуществу его земляки — выходцы из русского Туркестана. Только нижний этаж в правом крыле занимала мадам Ланжу, француженка уже не первой молодости, много лет прожившая на Востоке. Образ жизни мадам Ланжу, возможно, несколько шокировал набожных хозяев-мусульман, потому мадам Ланжу сделала к себе отдельный вход из переулка. Окна же, выходившие во двор, были всегда тщательно занавешены. Таким образом, целомудрие семьи Мирахмедбая и его собственное находилось вне опасности.

Впрочем, в квартиру мадам Ланжу можно было попасть и по внутреннему переходу, чем пользовались постоянные жильцы и время от времени сам Мирахмедбай. Что касается герра Хюгеля, то вскоре после своего приезда в столицу он стал настолько своим человеком в доме у мадам Ланжу, что получил собственный ключ от наружной двери и входил в апартаменты к француженке в самое неожиданное время.

Именно так, едва обозначив на двери, ведущей в зал, вежливый стук, появился герр Хюгель в доме у мадам Ланжу в один из первых, уже прохладных сентябрьских вечеров.

— Есть новости, прелестная мадам Шарлотта? — спросил он, склонившись в поклоне над ручкой хозяйки.

— Конечно! — с жаром воскликнула мадам Ланжу и, подхватив герра Хюгеля под руку, подвела его к молодому человеку, поднявшемуся им навстречу из кресла. — Знакомьтесь, господа, — продолжала мадам Ланжу, — господин Андре Долматов, сын генерала Дмитрия Долматова.

Молодой человек протянул руку и заинтересованно посмотрел в лицо герру Хюгелю табачными глазами.

— Доктор искусств Гельмут Хюгель, — представила мадам Ланжу.

— Рад приветствовать уважаемого служителя муз, — отчетливо произнес Долматов по-французски.

Герр Хюгель в притворном испуге защитился ладонями.

— О-о, не надо так громко! — воскликнул он. — Я всего-навсего скромный коллекционер.

Он оценил силу рукопожатия и, окинув внимательным взглядом фигуру Андрея, по-юношески тонкую, не то заключил, не то поинтересовался:

— Вы спортсмен?

— Увлекался раньше греблей и теннисом, — ответил Андрей. — К сожалению, в последние годы было не до этого.

— Благодарю тебя, милостивая судьба! — Герр Хюгель воздел очи горé. — Ты послала мне наконец партнера.

Кроме Андрея и хозяйки, здесь был замкнутый человек средних лет с кудрявыми седеющими волосами, Аскар-Нияз — жилец и земляк Мирахмедбая.

Андрей слегка поклонился герру Хюгелю.

— С удовольствием принимаю ваше предложение, — сказал он, — хотя не уверен, сойдемся ли мы в стиле.

— Заранее благодарю! — Герр Хюгель подарил Андрею любезнейшую из своих улыбок. — Вы представляете, господа! В последнее время я вынужден тренироваться со своим слугой, с этим увальнем-курдом. Научить его играть в теннис было, право же, не легче, чем быка.

— А как же английский клуб с его прекрасными теннисистами? — спросила мадам Ланжу с подчеркнутой заинтересованностью.

— Разве вы не знаете, моя дорогая, что попасть в английский клуб куда труднее, чем в английский парламент, — ответил герр Хюгель и посмотрел вокруг, рассчитывая на эффект. Мадам Ланжу рассмеялась, Андрей улыбнулся, Аскар-Нияз мрачно хмыкнул.

— Прошу к ломберному столу, господа, — пропела мадам Ланжу. — Я думаю, господин Долматов не откажется составить нам компанию, так же как дорогой Аскар-Нияз.

— Я — пас, господа, — Андрей развел руками. — Не смею рисковать. Как говорят у нас на Руси — гол как сокол.

Герр Хюгель бросил на Андрея сочувствующий взгляд. Он хотел что-то сказать, но Аскар-Нияз опередил его.

— Пустяки, — бросил он Андрею. — Я поставлю за нас обоих. Все равно мы выиграем.

Герр Хюгель усмехнулся.

— Самонадеянность — не лучший союзник, — произнес он наставительно и обратился к Андрею: — Я вам поверю в кредит, господин Долматов, поскольку вы проиграете.

— Господа, господа, — вмешалась мадам Ланжу. — У вас имеется блестящая возможность разрешить спор. Сдавайте, ваше превосходительство, — она передала колоду Андрею.

— Вы мне льстите! — возразил Андрей с улыбкой. А закончил серьезно и даже несколько грустно: — Я всего лишь скромный наследник его превосходительства.

Они действительно выиграли.

Герр Хюгель тут же вручил Аскар-Ниязу чек.

— Вам повезло, как всем новичкам, — сказал герр Хюгель, все так же участливо глядя Андрею в глаза. — Но берегитесь! — он шутливо погрозил пальцем и сдержанно пожал Андрею руку. — Счастлив был, господин Долматов! Надеюсь, наше знакомство продолжится. Загляните как-нибудь ко мне. Рад буду показать мою скромную коллекцию.

— Непременно, — пообещал Андрей.

— Теперь нам остается одно — выпить за здоровье немца, — сказал Аскар-Нияз, когда они поднялись к себе наверх. — Сволочь он, но мы с ним играем и благодаря этому можем позволить себе что-либо получше, чем эта бурда на жженой пробке. — Аскар-Нияз с ненавистью пнул валявшуюся на лестничной клетке бутылку из-под рома. — Может, мартини?

— Полагаюсь на ваш вкус, — ответил Андрей. — Предпочитаю отечественные напитки, но здесь их, очевидно, не найти!

— А может, завалимся куда-нибудь на ночь? — предложил Аскар-Нияз, сохраняя на лице все ту же неподвижную угрюмость. — Есть здесь несколько дыр, куда пускают и нашего миропомазанного брата.

Андрей замялся.

— Брезгуете или обет блюдете? — спросил Аскар-Нияз и сам себе ответил: — Да-а, у вас же невеста где-то в Париже? Что-то мне болтала об этом наша несравненная мадам Ланжу.

— Не совсем невеста... — невесело сказал Андрей. — В двух словах и не объяснишь...

— Что это мы здесь, на этой лестнице! — Аскар-Нияз спохватился. — Пошли ко мне. Там выпьем и, кстати, поговорим. Давно пора.

Длинный приземистый автомобиль мягко соскользнул с шоссе и остановился. Фары погасли, и мир исчез. Только грохотала невдалеке горная речушка, заглушая треск ночных насекомых.

Человек, сидевший за рулем, поднял стекло и тщательно захлопнул дверцу.

— Итак, ваше заключение, капитан? — спросил он сухо.

— Боже, к чему так требовательно? — Тот, кого

назвали «капитан», засмеялся. — Впрочем, это, кажется, ваша национальная черта?

— Вы не лишены наблюдательности, но деньги, которые я вам плачу, не становятся из-за моей требовательности хуже. Извините, но вы меня сами вынудили, капитан, сделать вам замечание. Мне нужны конкретные сведения, а не ваши рассуждения. Я повторяю: ваши выводы?

— Извольте, — сказал капитан. — Он без начинки. Я считаю, что ему можно верить.

— А открытый переход границы — не демонстрация? А чемоданчик с инструментами, заметьте — не для ремонта примусов, а для радио, — это что, наивность, простота душевная или тонкий расчет на то, чтобы сбить с толку всех — и местную жандармерию, и националистов, и нас? И поселился тоже не где-нибудь, а у Мирахмедбая!

— За ним надо наблюдать, не возражаю, — откликнулся капитан после долгой паузы. В высоком тягучем голосе его чувствовалась раздраженность бесконечно уставшего человека, которого мучают расспросами вместо того, чтобы дать отдохнуть. — Он один — это точно. Никаких явок, никаких попыток установить связь. И к нему — никаких сигналов с той стороны.

— Досье вы, конечно, не потрудились найти?

— Нашим о нем ничего не известно. Двое-трое помнят его отца — человека репутации не безупречной. Впрочем, это относится только к коммерческой деятельности генерала Долматова. Он неумело занялся ею после петербургского переворота. Торговал смушками, открыл кинотеатр на окраине столицы, организовал производство конфет, неизменно прогорал и в конце концов перешел обратно в Россию, оставив здесь кучу безутешных кредиторов.

— Под чужим именем?

— Под своим собственным. С большевиками он не воевал, каяться ему было не в чем, но его все же взяли, и он исчез. По одним сведениям — расстрелян. По другим — засекречен чекистами. Вот это и вызывает сомнения. Но сын его с ним почти не жил. Он пропал вскоре после того, как они с отцом вернулись в Ташкент, и лишь теперь объявился на нашей стороне.

— Все-таки сын? — переспросил человек за рулем. — Я в этом не уверен.

— Значит, вам больше известно, чем мне, и разговор наш становится бесполезным. Я пока воздерживаюсь от выводов на этот счет. Можете снизить мой гонорар.

— Не язвите. Мы не только партнеры, но, кажется, и единомышленники.

— Как сказать, — все так же нехотя возразил капитан. — Слава богу, не единоверцы. Вы же, очевидно, лютеранин! А я — православный. — Капитан зевнул и осенил открытый рот небрежным крестным знамением.

— Мы снова отвлеклись. Кому вы его поручили?

— Я сам за ним слежу. — Капитан чиркнул, прикуривая. — А еще — князь Владислав Синяев. Но этот — сугубо доброхотно, из личной антипатии ко всем, кто с «той стороны».

— Вы не могли бы потерпеть? Покурите на обратном пути. Я дам вам настоящую сигару вместо этой вонючей дряни.

— Это меня вдохновляет, — меланхолично откликнулся капитан и погасил папиросу.

— А как Синяев — надежен?

— Разумнее спросить у Синяева, надежен ли ваш покорный слуга. — Капитан снова засмеялся тем же нервным смехом, будто закашлялся. — Покажите Синяеву красного, он его задушит. Обратите внимание: не зарежет и не отравит, а именно задушит, упиваясь предсмертными хрипами.

— А вы поэт, — снисходительно заметил человек у руля и включил зажигание.

Тревожно мигнул красный огонек на пульте, заурчал мотор.

— Благодарю вас, — откликнулся капитан. — Я полагал, вы этого не оцените.

* * *

— Сперва я о себе, — сказал Аскар-Нияз и снова наполнил доверху стаканы. — Так велят обычаи предков, а я их чту свято, как все узбеки. Вот с этого, пожалуй, и начнем. Сознайтесь, вас тоже удивляет кое-что во мне! Азиатская физиономия в сочетании с дешевеньким гвардейским жаргоном и прочее. Не возражайте: я знаю. Поэтому с места — в карьер. Я выкормыш

Омского кадетского корпуса. С легкой руки Чокана Валиханова * туда открыли доступ инородцам. Правда, позаботились, чтобы дворянская нива не засорялась репейником. А проще говоря, исключение делали для тех, в ком были заинтересованы. К примеру — в моем отце. Его звали Ходжа-Нияз, да пошлет аллах блаженство его праведной душе! Он был главным военным поставщиком при дворе светлейшего эмира, да икнется и тому легко. — Аскар-Нияз опрокинул еще стакан и задумчиво пожевал маслину. — Отец закупал для бухарского воинства оружие. От него зависело, с кем заключить сделку — с русскими или с англичанами — и что закупить: ржавые фузеи или скорострельные «виккерсы». Впрочем, оказалось, что практическая разница невелика, но об этом, мой друг, ниже. Итак, отец искренне чтил веру и преданно любил свою несчастную страну, но он многого не знал, и не по своей вине: Европа оставалась для Бухары по-прежнему «терра инкогнита». Как умный человек, отец понимал это. Потому-то он и послал меня, своего младшего сына, в стан кяфиров. — Аскар-Нияз откинулся на подушки. Мундир он снял давно, а сейчас расстегнул на одну пуговицу нижнюю сорочку. Ноги в тонких носках положил на мягкую вылинявшую табуретку. Он много выпил, но говорил тихо, только борозды у глаз стали глубже, да в уголках губ застыла горькая усмешка. — Итак, алльон! Поехали дальше. — Аскар-Нияз задумался. — Что же было дальше? Обыкновенное дерьмо: серое казарменное детство, курение в уборных, муштра и прыщи. Потом в Петербурге — парады, балы — нелепые, мучительные спектакли и, наконец, упоительная офицерская жизнь: пьянки до блевотины, карты до одурения, пошлейшие флирты. Дважды стрелялся: на дуэли, тайком, конечно, а другой раз — сам в себя. Выходили, и снова — бессмыслица, мрак... Потом, слава богу, началась война.

Чадолюбивейший родитель быстро вытребовал меня на персидский фронт. Там я и околачивался, пока большевички не устроили вселенскую заваруху. Выпьем-ка за их погибель. Это пока единственная неприят-

---

* Валиханов Чокан (1835—1865) — казахский просветитель, ученый, этнограф. Окончил в свое время Омский кадетский корпус.

ность, которую мы им можем доставить. Кстати, мне бы хотелось именно от вас услышать, как там сейчас топчут святую Русь комиссары.

— Ну а теперь? — спросил Андрей. Он впервые подал голос с той поры, как Аскар-Нияз начал рассказывать.

Аскар-Нияз фыркнул в ответ:

— Стал, видите ли, негоциантом. Торгую каракулем на подрядных началах. Облапошиваю нищих крестьян, скупаю за полцены шкурки, а с меня сдирает собственную шкуру почтенный Мирахмедбай, да икнется ему спросонья. — Аскар-Нияз откупорил новую бутылку. — Газетам здешним не верю, а западные почти ничего не пишут. Кто-то пустил здесь слух, что медресе у Ляби-хауза большевики или эти, как их, комсомольцы взорвали.

Андрей пожал плечами.

— Я был там недавно, — сказал он. — Все на месте, и базар с куполами, и мавзолей Самани.

— А на минаретах по-прежнему аисты?

— Стоят все так же, поджав ногу.

Впервые за время беседы лицо Аскар-Нияза потеплело. И вдруг он поднял на Андрея изрядно отяжелевший взгляд.

— А вы не пьянеете, — сказал он, словно изобличая в нечестности.

Андрей усмехнулся.

— Счастливая особенность, — ответил он. — Мне самому кажется, я лыка не вяжу, а внешне ничего не заметно.

— Тогда еще по одной. — Аскар-Нияз взял бутылку.

— Ладно, — согласился Андрей. — Только если буду сбиваться, не обессудьте.

В тот поздний час, когда в большом доме Мирахмедбая светилось единственное окно и на занавеске были видны две тени — всклокоченная голова Аскар-Нияза и другой профиль, четкий, нездешний, — в жандармском управлении плотный офицер встал навытяжку перед столом, погруженным в полумрак. Свет, падающий из-под абажура, выхватывал лишь нервные руки человека, который сидел за столом, вертя в паль-

цах тонкий карандаш. Офицер стоял давно. Он был грузен и покачивался от усталости, но присесть без позволения не решался. Он только вытащил из кармана платок и торопливо отер лоб и полные щеки.

— Значит, радиолампы? — задумчиво произнес тот, кто сидел за столом.

— И детали, и инструменты, эффенди, — подтвердил офицер.

— Так, — карандаш на миг остановился. — За незаконный перенос через границу этих вещей полагается уголовное наказание.

Офицер едва заметно пожал крутыми плечами.

— К сожалению, эффенди, в перечень еще не успели внести радиолампы. Но если бы они и были внесены, Долматова не следовало бы судить. — Он помолчал и добавил: — По крайней мере — пока, эффенди.

— А если он завтра взорвет шахские казармы или отравит воду в канале?

— Вы пугаете меня, эффенди, — сказал офицер. — Здесь полным-полно русских и всяких иностранцев, но никто из них ничем подобным не занимался. Даже те, кого мы повесили как шпионов.

— Кто следит за Долматовым?

— Мне удалось привлечь к этому самого Мирахмедбая. Я сумел сделать так, что русский поселился именно у него.

— Это не вызвало подозрений у Долматова?

— Нисколько, эффенди! У Мирахмедбая живут самые благородные беженцы из русского Туркестана, осевшие в городе. — Офицер несмело улыбнулся, дрогнув литой щекой. — Узбекскую знать не надо настраивать, — сказал он. — Глотку перегрызут любому, едва узнают, что он продался Советам.

Нервные пальцы уперлись в стол. Человек приподнялся.

— Змею убивают, не дожидаясь, пока она докажет, что ядовита.

— Я это знаю, эффенди. Но прежде терпеливо дожидаются, чтобы она доползла до своего гнезда и показала, где змееныши.

— Что вы предпринимаете, помимо наблюдения? Или ждете, пока Долматов сделает первый ход?

— Мы решили проверить его на Гусейне-заде.

— Это еще кто такой?

— Обыкновенный подонок, официант из «Розы Ширака». Попался на торговле гашишем и поддельными бриллиантами. Пустим его в дело, а потом — дюжина подзатыльников, и пошел вон!

— Каким образом может помочь вам этот ничтожный?

— Он жил прежде в русском Азербайджане, знает язык и некоторые обычаи. В частности, усвоил, что русские, а большевики тем более, в беде своих людей не оставляют.

— Понятно. Но надо, чтоб этот ваш Гусейн сыграл натурально.

— О, будьте спокойны, эффенди! Мы подготовим его так, что он сыграет свою роль лучше любого артиста из шахской труппы.

Карандаш лег на стол.

— Можете идти, майор, — сказал голос.

Офицер поклонился и отступил к двери.

— Я доволен вами.

— Я слушал вас, и мне казалось, что в детстве мы поменялись судьбами, — начал Андрей. — Мой отец отдал меня в здешний лицей, хотя я ожидал, что меня отправят в Россию в военное заведение. Я учился с сыновьями местной знати. К слову: вчера, что ли, встретил я Шахруха Исмаили. Родитель его, помнится, владел огромными нефтеносными участками на юге. Когда-то в лицее этот самый Шахрух Исмаили научил меня играть в нарды, и мы, бывало, ночи напролет резались с ним, тайком от воспитателя, разумеется... Так вот: вчера этот Шахрух вышел из автомобиля, почувствовал мой взгляд (я-то сразу его узнал) и словно споткнулся. Я все ждал — подойдет ли? Но он лишь остановился на мгновение и тут же скрылся за дверью своей виллы.

— Шахрух Исмаили сейчас большой чин в департаменте иностранных дел, — вставил Аскар-Нияз. — На прошлой неделе газеты писали, что он вернулся из Германии: ездил туда с какой-то миссией.

— Вот как, — сказал Андрей. — Впрочем, бог с ним. Карьера была ему обеспечена с колыбели. Но я отвлекся. Итак, обучали нас в лицее и разговаривали с нами на трех языках. В быту — на местном, на уроках

богословия — на арабском, а историю, математику, гимнастику преподавали англичане. Я пробыл в лицее восемь лет и к окончанию его прилично владел тремя языками. Лицей считался сугубо светским, но все же я смог там познакомиться с кораном, с ритуалами и, бывало, повергал в изумление мусульман — друзей отца, когда шутки ради начинал подражать богословам, спорящим о толковании той или иной суры.

Я лишь догадывался, какое будущее прочил мне отец. Он часто говорил об исторической роли России на Востоке, о том, что нужно создать сильную оппозицию англичанам. Он продолжал повторять это, хотя в Петербурге давно произошел большевистский переворот, русское представительство при дворе было упразднено, и Дмитрию Павловичу Долматову, недавно произведенному в генералы, пришлось снять погоны и заняться коммерцией.

К этой деятельности отец, конечно, оказался мало приспособленным. Все его начинания рушились. Он метался из города в город, иногда брал меня в свои поездки, и я с болью наблюдал, как беспомощен он, волевой генерал, среди мелкого жулья, понаторевшего на подлости.

Он, кажется, судился, получил жалкую неустойку и вскоре решил вернуться в Россию. Я учился тогда в выпускном классе. Мне шел шестнадцатый год.

...С улицы донесся сдавленный вопль. Андрей вглядедся в кромешную тьму.

— Обычное дело, — произнес Аскар-Нияз, — кого-то укокошили. Утром явится полиция, уберет на свалку труп и составит протокол. Убийце — конечно же, неизвестному! — удалось, как всегда, скрыться от бдительного ока закона. — Он поежился и попросил: — Закройте, пожалуйста, окно: ночи тут ледяные. — Глаза Аскар-Нияза стали трезвее, и теперь Андрей заметил, что они янтарны.

Аскар-Нияз уже не предлагал выпить. Было очень поздно; и все же никому из двоих не хотелось спать.

— Я не сказал ни слова о своей матери. Наверное, потому, что я ее почти не помню. Как я узнал много лет спустя, она была полячка, дочь ссыльного шляхтича, родившегося в России. Однажды я рылся в отцовской библиотеке и нашел фотографию женщины с красивым, но по-мужски волевым лицом и спросил у отца,

кто это. Он сперва растерялся, что было на него непохоже, но тут же рассердился и отчитал меня за то, что я без спросу беру его книги.

До сих пор не знаю, что между ними произошло, почему она оставила отца, когда мне исполнилось три года? Почему не взяла меня с собой?

Отец так и не женился вновь. Воспитывала меня нянька, затем гувернер-швейцарец, милейший господин Кон. Он, кстати, научил меня стрелять из лука, играть в теннис и болтать по-французски. Уже обучаясь в лицее, я проводил с господином Коном воскресные дни и каникулы...

Андрей на секунду умолк.

— Хотите, Андрей Дмитриевич, я заварю чаю по-нашему, по-бухарски? — спросил Аскар-Нияз. — Всего десять минут. — Он вышел на кухню, а Андрей застыл в кресле, прикрыв глаза. Брови его были сведены к переносице, уголки губ изредка вздрагивали. Впрочем, вернувшись с чайником, Аскар-Нияз не заметил этого.

— Прошу, Андрей Дмитриевич, — сказал он, протягивая пиалу и сделав левой рукой едва заметное движение к сердцу. — Скажу по чести: вкуснее напитка не знаю. — Он налил себе и, смакуя, отпил глоточек.

— Итак, отец решил вернуться в Россию. Здесь, пожалуй, начинается самое главное и, не скрою, самое печальное, и самое радостное, что было пока в моей жизни.

Мы перешли границу на удивление свободно. Я даже не заметил, как это произошло. Долго ехали по пересохшему руслу, затем по пескам, к вечеру спешились у чайханы, присели на помост, и я обратил внимание на портрет Ленина в траурной ленте. Отец перехватил мой удивленный взгляд.

— Вот мы и дома, — сказал он.

Как сейчас, вижу отца. В белой полотняной рубашке без ворота, с загорелой грудью, с русой короткой бородой, он был похож на агронома или землемера — на русского интеллигента, давно живущего в Азии.

В ту пору в Ташкенте нетрудно было выправить документы на чужое имя и жить беспечно. Кое-кто так и сделал. Сын митрополита туркестанского, к примеру, вступил в партию и до сих пор, никем не узнанный, преподает в комвузе политэкономию.

Отец не терпел масок. Он сказал:

— Такое не по мне.

В первый же день он продал на рынке золотые часы, единственное, что у него осталось. Мы сняли комнатку в доме у одного узбека на Шейхантауре и прожили там неделю. Хозяин наш прежде не знал отца, но отнесся к нему очень участливо. По вечерам они о чем-то подолгу беседовали.

Во вторник утром отец ушел, не сказав, как всегда, куда и зачем. Больше я его не видел.

В отцовском пиджаке я нашел несколько рублей и уже знакомую мне фотографию. Теперь я не сомневался, что это — моя мать. На обороте фотографии появилась надпись, сделанная рукой отца: «Париж. Госпиталь Сент-Себастьян. Доктор Августина Валевская».

Отец, очевидно, догадывался, что может не вернуться. Я все-таки заплакал. Вошел хозяин и сказал:

— Зачем плакать будешь? Папашка, наверное, поехал куда-нибудь. Скоро обратно придет. А ты живи здесь. Я тебя гнать не буду, и деньги платить не надо. Жалко, что ли? Утром тебе лепешку, чай дам. Вечером — шурпа.

...Аскар-Нияз вздохнул и восхищенно покачал кудрявой головой.

— Наши узбеки — золотые сердца!

— Да, узбеки, — задумчиво произнес Андрей. — Только ли? Слушайте, что было дальше.

Кое-что я все-таки сокращу. Начинается не лучшая в моей биографии страница. Я отправился в Москву. И сразу же на Казанском вокзале попал в облаву. Милиция искала, конечно, не меня, но я все-таки бежал и, само собой, оказался вместе со спасавшимися уркаганами — вокзальным жульем. Они меня мгновенно приняли за своего и укрыли у себя на хазе — в каком-то заброшенном депо, а приглядевшись, сочли малахольным — уж очень не по-ихнему я разговаривал.

Как-то мы пьянствовали в ресторанчике на Сретенке, и я даже не помню, как меня забрали. Было следствие, суд. Я получил шесть лет, но как несовершеннолетний был помещен в трудовую воспитательную колонию имени Дзержинского. Да, да! Имени того самого Дзержинского, который руководил пресловутой ЧК. Я видел и самого Дзержинского незадолго до его смерти. Детские дома и заведения принудительного вос-

питания создавали после революции чекисты. Нашу колонию организовал сам Дзержинский. Он был нашим шефом и изредка приезжал. Сознаюсь, он поразил меня: интеллигентностью и, можете не верить, обаянием.

Вскоре я числился одним из примернейших воспитанников. В школе мне учиться было незачем: сами учителя порой обращались за справкой ко мне, и вот одна пожилая преподавательница иностранных языков, звали ее Ольга Павловна, уговорила начальство, и мне разрешили поступить на рабфак, хотя я не скрывал, что мой отец — генерал. Безусловно, помогло то, что Ольга Павловна пользовалась повсюду безграничным доверием. Муж ее был приближенным Ленина. Он умер вскоре после Октябрьского переворота.

Я был единственный аристократ среди рабочих парней и девушек, и приходилось мне туго, но я выдержал и два года спустя стал студентом Бауманского технического училища. Меня торжественно проводили из колонии, выдали на прощание бумажный костюм и фанерный чемодан, назначили стипендию, правда, такую скромную, что едва на обеды в студенческой столовке хватало. Ольга Павловна тоже не забывала и время от времени поддерживала то посылками, то деньгами.

— Если бы вы поливали большевиков грязью, я, пожалуй, усомнился бы в вас, — ответил Аскар-Нияз. Он слушал, смежив веки. Смуглое лицо его было неподвижно. Только жилка у седого виска билась часто-часто.

— Слушайте дальше, — продолжал Андрей, — вы убедитесь, что из чаши горечи я тоже хлебнул там сполна. Три года учился я на радиотехническом факультете, только что открытом, самом, на мой взгляд, интересном. Учился успешно, что тоже сослужило мне добрую службу.

Почему я решил уйти? Клянусь, не потому, что не люблю Россию. Впрочем, клятвы звучат неубедительно. Просто я понял, что в России у меня нет будущего. И потом, мне нужно попасть в Париж. Вы понимаете, почему.

Меня выручило радио. Я был специалистом, и очень скоро обо мне узнали по всей длинной дороге от Красноводска до Ташкента и на пограничных заставах — тоже.

Полтора месяца назад судьба улыбнулась мне.

Командир одной из застав, кстати, весьма симпатичный человек, жаль, что из-за меня его накажут, попросил исправить его домашний приемник. Он только что привез этот семиламповый аппарат из Москвы, очень гордился им, но приемник тут же вышел из строя. Поломка была пустяковая: пробило конденсатор, и все-таки я умышленно возился до вечера, пока командир не уехал на посты. Тогда я решился. Дома комсостава не охранялись. Я сказал супруге командира, что обещал заглянуть в сельсовет, взял свои инструменты и пошел в темноте тем самым путем, который мысленно проделал многократно. Ночь я провел уже на этой стороне, зарывшись в песок, а на рассвете вышел к посту, где меня и арестовал бдительный сержант с усами, как у тигра.

Остальное вам известно...

...Андрей посмотрел на окно, бледно посиневшее, и произнес по-арабски:

— И тут Шехеразаду застало утро, и она прекратила дозволенные речи.

— У нас в запасе еще тысяча ночей, Андрей Дмитриевич, — откликнулся Аскар-Нияз. Помолчал и добавил: — И тысяча дней.

Кларнетист откинул напомаженную голову. Казалось, он спит. Лишь короткие пальцы ловко прыгали по блестящим клапанам, и мелодия танго, знакомая всему миру, но окрашенная здешней, восточной, печалью, лилась в низкий зал.

Рядом с кларнетистом, почти лежа грудью на клавишах, старался пожилой тапер.

Шесть столиков стояло в сумрачном зале ресторана «Роза Ширака», принадлежащего Селиму Мавджуди. В углу, справа от двери, сидели Андрей, Аскар-Нияз и Семен Ильич Терский, тоже жилец Мирахмедбая, бывший зарубежный сотрудник газеты «Русь», усталый человек средних лет, с ироническим губастым лицом. Чем добывал себе хлеб Семен Ильич, ныне для многих было загадкой. Взгляды его на жизнь были тоже туманны. Одинаково желчно отзывался он и о большевиках, и о местных набобах, и о здешних европейцах, которых он любил рисовать на салфетках в виде воронов во фраках, напоминающих скрещенные позади крылья,

в раздутых, похожих на зобы, манишках. Эмигрантов он называл «господа-босяки». («Господин-босяк! Спички у вас, конечно, по бедности не найдется. Тогда позвольте прикурить по-пролетарски, от вашей».)

Время от времени Семен Ильич исчезал месяца на три, а то и на полгода, что, впрочем, было не в диковинку для всех обитателей дома, владельцем которого был Мирахмедбай. Появлялся Семен Ильич еще более подавленным, растерянным, но вскоре вновь обретал свой язвительный тон, тем более что после возвращения у него появлялись деньги, и он тратил их с безрассудной поспешностью, словно торопясь избавиться от них.

Сейчас было как раз такое время, потому-то Аскар-Нияз, едва они присели, предупредил Терского:

— Рассчитываемся по-немецки, Семен Ильич.

Замечание это позабавило Терского.

— Как вы сказали? — переспросил он и задохнулся от злого смеха. — Немецкий счет? Я согласен... — Он едва мог выговорить последние слова. Из покрасневших глаз его текли слезы.

Аскар-Нияз заерзал на стуле, но Андрей остановил его осторожным прикосновением.

— Счет-то у нас и впрямь немецкий. — Андрей доверительно наклонился к Терскому, который сразу перестал смеяться. — Да, — продолжал Андрей, отвечая на недоуменный и даже испуганный взгляд Терского, — мы с господином поручиком на днях сняли приличный банчок у одного мецената из Германии.

— У Хюгеля?

— У него, — Аскар-Нияз кивнул курчавой головой. Он почему-то счел необходимым оправдаться. — Не обеднеет немец. Вы знаете, господа, полгода назад купил этот Хюгель вазочку у одного лепешечника. Маленькая такая вещичка, да еще с отбитым краем. Нарисован на ней какой-то верховой: едва-едва заметно. Так вот, я не поленился, выписал из Дрездена каталог. — Аскар-Нияз достал книжечку и подчеркнул ногтем одну строчку: «Ваза Минаи» из Нишапура, VII век, — прочитал он. — Оценочная стоимость пять тысяч марок».

— А сколько уплатил за нее Хюгель? — поинтересовался Андрей.

— В лучшем случае, полсотни, — ответил Аскар-Нияз.

— Охота вам заниматься этой ерундой? — Терский зевнул.

— Не могу! — Аскар-Нияз стукнул по столу так, что бокалы подпрыгнули. — Грабят, шакалы, народ только потому, что он темен.

— Боже мой, господа-босяки! — простонал Терский. — В этой ли несчастной ночной вазе дело? А нефть? Вы прикинули бы, сколько ее высасывают из здешних гиблых песков! Целая стая воронов у разлагающегося трупа восточной цивилизации. Не правда ли, хорошо сказано! И ляд с ними! Мы будем пить и на все это плевать. Потому что политика — для полнокровных и широкогрудых, а мы с вами, увы... — он пошарил взглядом по залу, слабо освещенному несколькими лампочками в желтых плафонах. — Где же этот проклятый официант, черт возьми? Гусейн! Что происходит в этой яме?

В зале появился арендатор. Длинноносое лицо его было серо.

— Не гневайтесь, высокочтимые, — произнес он, сложив руки на груди. — Сейчас я сам обслужу вас. Гусейн-заде немного прихворнул.

— А хоть бы и издох, — сказал Терский. Он умело заказал закуску, рыбу, горячее и велел принести прежде всего коньяк и лимон. Потом он чуть скосил глаза на соседний столик, за которым молча застыли белокурый князь Владислав Синяев, молодой человек с нервным, надменным красивым лицом и бледная, большеглазая Ася Антонова — пара, которую Андрей ежевечерне встречал в салоне у мадам Ланжу.

— Цветы принесите, — велел Терский арендатору. — Белые.

Арендатор кивнул и удалился, пятясь.

Владик вышел из оцепенения. Он пошевелил длинными сильными ногами в блестящих кавалерийских сапогах и внятно произнес:

— Наконец-то взяли негодяя.

Терский не откликнулся, но Аскар-Нияз поинтересовался:

— Кого?

— Азербайджанца этого, Гусейна, — Владик почесал горбинку на переносье, — давно я чувствовал, что от него разит комиссарским душком! За три версты чую. — Он внимательно посмотрел на Андрея и про-

чел в табачиых глазах спокойиую заиитересоваииость. — Обратите виимаиие, господа. Даже турки сообщили об этой красиой мрази, а тутошияя жаидармерия только-только очухалась. Пардои, ма шер! — Владик слегка поклонился Асе.

Оиа безучастио курила. Лишь глубже затяиулась дымом.

— Позвольте, киязь, — Аскар-Нияз взял газету. — Гм-м, — произиес ои, пробежав глазами иесколько строк, и перевел: — «Как стало известно из иеофициальиых источииков, одии из ииформаторов, регулярио поставляющий сведения русской разведке, — иекий Гусейи-заде, выходец из Советского Азербайджаиа, человек средиих лет, работающий официаитом...» — Аскар-Нияз швыриул иа пол газету и порыскал злыми глазами по залу. — Скотииа, а я его жалел! Думал, земляк, помогать иадо. Задушить такого, и то мало!

— Теперь-то задушат, — откликиулся Владик. — Вы лучше о другом подумайте, поручик: сколько времеии лизал этот пес иам иоги, а мы и ие догадались, что ои бешеиый. Грош цеиа иашей иеиависти к большевичкам, господа, ежели мы и впредь вот так будем хлопать ушами.

— Как ловко прикииулся, проклятый! — Аскар-Нияз ударил ладоиью по колеиу.

— Вот я и говорю, — процедил Владик. — Наше время — время оборотией. — Ои выдержал паузу, выпил и спросил: — Иитересио бы зиать, что думает по этому поводу господии Долматов-фис? *

Музыка смолкла. Все смотрели иа Аидрея. Два лохматых, презираемых всеми коитрабаидиста, сидевшие, впрочем, в почтительиом отдалеиии, тоже оторвались от иакрашеииых подруг и уставились иа русского.

Аидрей отпил из рюмки.

— Я ие силеи в философии, — сказал ои, — ио коль вы иастаиваете, извольте: оборотии характериы для любого века, и иаш, к сожалеиию, ие является исключеиием. Но не это самое страшиое иынешиее зло.

— А что же? — Владик хмыкиул, раздув тоикие, глубоко вырезаииые иоздри.

— Я думаю, господии Сиияев, гораздо хуже, сохраияя благородиый профиль, жрать из грязиых рук... —

* Фис — сын *(франц.)*.

Андрей выдержал долгий взгляд Владика. — Простите, но я пользуюсь вашим жаргоном.

— Я вас не понял, господин Долматов, — зловеще процедил Владик. — Извольте объясниться.

— Боже, господа-босяки! — Терский вскочил и деланно застонал, вскинув руки. — Не смешите кур. Вы еще друг друга на дуэль вызовете! Давайте лучше выпьем. — Он опрокинул в губастый рот рюмку и опять посмотрел на Асю. На неподвижном лице ее не было ни морщинки, ни складки. Густо накрашенный рот. Каштановые распущенные волосы легли на плечи. Зрачки в темных глазах неразличимы. Она смотрела сквозь Терского. Мужским движением Ася смяла в пепельнице недокуренную папиросу и поднялась.

— Мы здесь без церемоний, господин Долматов, — сказала она. — Пригласите меня танцевать. — И попросила: — Танго.

— Да, мадемуазель, — поспешно откликнулся кларнетист и прикусил мундштук.

— А вы — чужой, — сказала Ася.

Андрей смотрел на нее сверху, видел веки с синевой и неподкрашенные ресницы. Он прижал ее к себе, увел, послушную музыке и его воле, ближе к оркестру и спросил:

— Кому чужой?

— Всем этим. И мне — тоже.

— Не люблю загадок, — сказал Андрей.

Ася подняла темные внимательные глаза.

— Вы — сами для всех загадка.

Андрей наклонился и, коснувшись щекою Асиных волос, произнес:

— Мне льстит этот неожиданный ореол. Но я разочарую вас: я прост. До обидного прост.

— Владик вас сразу же возненавидел, — сказала Ася. — Вы это поняли. Он туп, но нюх у него, как у гончей.

— Вы слишком зло отзываетесь о своем друге.

— Я давно забыла, что означает это слово. Так вот, учтите. Князь Синяев способен на все и не медлит с решениями.

— Благодарю. Но чем я обязан?

— Не знаю.

— Чем же все-таки я прогневил его?

— Вам это отлично известно. Именно потому вы и ударили князя по самому больному. Синяев вам этого не простит.

— Досадно, — сказал Андрей. — Тем более что я не хотел обидеть князя Синяева. Теперь он зарежет меня или застрелит? Надеюсь, все-таки не из-за угла? Это не в обычаях русской аристократии.

— Вы безумец, — сказала Ася.

— Ну вот, видите, как все просто?

Он танцевал спиной к залу. Ася смотрела через его плечо на Владика. На лице ее появился испуг. Она остановилась, хотя музыка еще стонала и контрабандисты с подругами, повисшими на их шеях, едва вошли в раж.

— Пойдемте отсюда, — быстро произнесла Ася, — я возьму сумочку и выйду к мадам Ланжу, а вы посидите немного здесь, потом поднимитесь к себе, и через полчаса мы встретимся у мечети, и вы проводите меня. Только, ради бога, не приходите ни минутой раньше!

— Хорошо! — сказал Андрей. — Я принимаю условия вашей игры. Все это довольно забавно!

Она только вздохнула и сняла руку с его плеча.

— Как он отнесся к тому, что вы ушли? — спросил Андрей.

— Это случается часто и не удивляет ни его, ни кого другого. «Здесь нет ни долга, ни печали, ни вдохновенья, ни любви...»

— Чьи это стихи?

— Ничьи. Тут все — ничье.

— Тоскливо, — сказал Андрей. — Тоскливо и трудно. Я не имею права ни о чем расспрашивать вас, но там, в России, я представлял это себе иначе.

— Что?

— Да эту эмигрантскую жизнь. Мне казалось, что общая беда объединяет.

— «Господа-босяки», — Ася вздохнула. — Чего от нас ждать? Дайте-ка папироску.

Они присели на камень у разрушенной ограды. Улица была темна и пустынна. Воздух уже прохладен, но по-прежнему насыщен пылью. В свете ущербной лу-

ны едва угадывалось скопище плоских крыш, а над ними — большой купол старинной мечети.

— Вы носите папиросы в пачке, — сказала Ася. — Придется подарить вам портсигар.

— Я оставил свой в пограничном городе, — сказал Андрей. — Вам не холодно?

— Если хотите обнять меня, не стесняйтесь; можете даже пригласить меня к себе. Я привыкла.

— Зачем вы так...

Ася вздрогнула, но тут же засмеялась, тихонько, но по-девичьи заливисто.

— Так и знала, что вас это шокирует, — сказала она. — Успокойтесь. Я, слава богу, еще не продаюсь, хотя недалеко и до этого. — Голос ее снова стал глухим. — «Вы лишаете себя своего счастья, милая», — упрекнула меня одна доброжелательная дама. Это после того, как я отказалась пойти в содержанки к одному тутошнему сардару. А он обещал райские кущи: этаж в своем европейском доме, «ролс-ройс», правда, подержанный, и жалованье, которому позавидует самая шикарная местная кокотка, я уже не говорю о дочери русского маляра.

— Сколько вам лет? — прервал ее Андрей.

Она растерялась и ответила просто:

— Много. Уже двадцать три.

— Девочка, — сказал Андрей. — Вам нельзя оставаться здесь.

— А где и кому я нужна? — зло спросила Ася. — Может, вы это знаете? Вам-то легко: вы здесь долго не задержитесь.

— Почему?

— Я же сказала, вы — чужой, — теперь она произнесла это с вызовом.

Они подошли к особняку, белевшему в темноте. Фонарь у чугунных решетчатых ворот не горел. Глухое ворчание послышалось во дворе, когда Андрей с Асей остановились у ограды.

— Кажется, друзья герра Хюгеля недовольны, — шепнула Ася. — У него — три пса. Чудесный сенбернар и две громадные овчарки. Все — гораздо симпатичнее своего хозяина. — Она просунула тонкую руку сквозь прутья и тихонько позвала:

— Галл, Галл, ко мне!

В три гигантских прыжка пес приблизился. Он вски-

нулся было на задние лапы и залаял на Андрея, но Ася положила руку на лохматую голову пса, и тот заурчал, повизгивая по-щенячьи.

— У вас дар укротительницы, — сказал Андрей.

Галл метнулся к нему и трижды набатно пролаял.

— Бежим! — по-детски испуганно вскрикнула Ася. Она схватила Андрея на руку.

За углом они остановились. Со стороны особняка доносились голоса. Четкий, словно отдающий команды, голос Хюгеля и другой — сердитый, глухой.

— Это курд, — сказала Ася. — Хорошо, что мы успели убежать.

— Спасибо вам, — сказал Андрей.

— Опять вы смеетесь. А он ударил бы кинжалом безо всяких разговоров. Чудовище волосатое!

— Обыкновенный дворник, наверное. На Кавказе полным-полно курдов-дворников, и никого они не убивают.

— Ошибаетесь, Андрей Дмитриевич, — сказала Ася. — Этот монстр предан Хюгелю еще больше, чем псы. Собаки меня узнают, а этот только шипит, как змей. Спит у порога на циновке. Рука всегда на кинжале.

— Вы начитались страшных сказок, девочка, — сказал Андрей. Он посмотрел прямо в глаза Асе, и впервые она не отвела их. Ему показалось, что обычная бледность исчезла с ее лица.

— Придумала я все, — сказала Ася. — Всю свою жизнь придумала. — Она вздохнула. — И герра Хюгеля — тоже. Когда бы так...

— Пойдемте, — сказал Андрей.

— Мы уже пришли, — ответила Ася. Она показала глазами на окно в маленьком двухэтажном домике, примыкавшем к саду Хюгеля.

— Да вы, оказывается, соседи с немцем! — сказал Андрей.

— Так получилось случайно, — сказала Ася. — Мы поселились здесь давно, а он всего лишь год назад снял этот особняк у Шахруха Исмаили. Есть тут такой аристократ, тяготеющий к европейцам.

— Я знаю его, — сказал Андрей. — Мы вместе учились когда-то в столичном лицее. Давно это было... Двенадцать лет назад.

— С вами тоже что-то стряслось, Андрей Дмитрие-

вич, — сказала Ася. — Я же вижу: жизнь вам совсем недорога.

— Напротив, — сказал Андрей. — Мне еще очень много надо сделать.

— Жениться?

— Само собой разумеется. Но прежде я должен выиграть в нарды пятьдесят тысяч и научиться пускать дым из носа. Вот видите: никак не получается! — Он попытался выпустить дым носом.

— Опять вы дурачите меня, — сказала Ася. — А я не девочка. Я, если хотите знать... — Она оборвала себя и воскликнула с отчаянием: — Ладно, идите! Пусть бог вам поможет.

— А вот теперь-то мне не хочется уходить, — сказал Андрей. — Может, угостите меня чаем. По-русски, с вареньем...

Ася смутилась.

— Как? — переспросила она непонимающе. — Я же не одна.

— Слышал, — сказал Андрей. — И был бы рад познакомиться с вашим отцом, хотя время для визитов неподходящее.

— А что... — сказала Ася. — Отец ложится поздно... — Она, видно, никак не могла решиться. — Что ж, если хотите... Если вас это не испугает... Прошу.

Почти всю свою жизнь Алексей Львович Антонов — Асин отец — провел на Востоке. Война застала его за границей. В который уж раз он пытался удержать на полотне зыбкие краски заката, тонущего в сером Каспии.

Незадолго до этого одну из ранних картин Антонова приобрела Дрезденская галерея. После долгих лет подвижничества и мытарств забрезжила надежда на признание и благополучие. Алексей Львович уже мечтал о том, как поедет осенью в Египет, а вернувшись, поселится окончательно в Ташкенте, где в родительском доме жила его небольшая семья — жена, недавно окончившая Бестужевские курсы, и трехлетняя дочь Ася.

Тридцатилетний русский художник остался за рубежом. Граница закрылась, жена и дочь остались по ту сторону. Лучшие работы Антонова, отправленные им на венский аукцион, потерялись в пути. Жить стало

трудно, и Алексей Львович отступил от священных правил, усвоенных в Петербургской академии художеств: он согласился расписать стены в светском дворце, недавно выстроенном на юге. Жена его, как стало ему известно, добровольно пошла работать в холерный барак, заразилась и умерла, оставив Асю на попечение семьи иерея Ташкентского. Девочке в ту пору исполнилось семь лет. Священник забрал ее с собой в Баку, а оттуда он вместе с англичанами бежал за границу. Туда, в пыльный старый город, приехал Алексей Львович, чтобы забрать Асю, и остался здесь навсегда.

Несколько лет Ася служила у Хюгеля, исправно являясь к половине девятого, но неожиданно для всех ушла со службы. Пересуды мгновенно взбудоражили тесный эмигрантский мирок. Даже Алексей Львович осмелился спросить заплетающимся языком: «Немец тебя обидел? Да, Асенька?» — «Я обидела его, — ответила Ася. — И не будем никогда возвращаться к этому. Умоляю тебя, папа!»

Однажды в полночь Ася ушла вместе с князем Владиславом Синяевым, до той поры откровенно презираемым ею.

Незадачливый, хотя и сохранивший великолепную осанку, отпрыск князей Синяевых задохнулся от счастья. Теперь по вечерам он сидел на скамеечке у Асиных ног, бережно держа ее за руку, и гораздо реже выбегал в прихожую нюхнуть кокаину.

Но вскоре Владик надолго исчез, а вернувшись, все в той же кофейне «Роза Ширака» сильно напился, расплакался, смешал коньяк с ликером, выпил и произнес речь о том, что в Асе нет ничего хорошего, что она холодна, как лягушка. Аскар-Нияз тоже был изрядно пьян, однако он взял Владика за грудки и потребовал, чтобы он замолчал.

Владик сдерживал себя. Ася нередко не замечала его либо вовсе забывала о его присутствии, и он прощал ей это.

Пока в тот вечер она не ушла с Андреем.

— Спасибо, — сказал Андрей, вставая из-за стола. — Давно я не пил такого вкусного чаю.

Алексей Львович смахнул слезу.

— Утешили, Андрей Дмитриевич! Видит бог, утешили и просветлили. Это такое счастье, что вы не погнушались заглянуть в нашу сирую обитель! — Он обвел взглядом низкую гостиную: тахту, покрытую вытертой полостью, пожухлый буфет, продавленные кресла у ломберного столика, и патетически поднял палец. — Но я не ропщу! Мытарства каждому русскому художнику на роду написаны!

— Папочка! — укоризненно и устало попросила Ася.

— У вас легко дышится, Алексей Львович, — сказал Андрей. — И варенье вишневое с косточками. Я с детства не пробовал такого. За это вас благодарить надо, Ася Алексеевна. — Он на миг задержал холодные Асины пальцы и сказал: — Я засиделся, извините.

— Да что вы, Андрей Дмитриевич! — воскликнул Алексей Львович. — Может, заночуете у нас?

Ася прижала пальцы к вискам.

— Оставайтесь, — не унимался Алексей Львович. — Час поздний. Мы бы вас устроили, конечно, не так удобно, как вы привыкли, но все же...

Ася молчала.

— Спасибо, — сказал Андрей, — но я пойду.

— Идите, — сказала Ася. — И что бы ни случилось, будьте, ради бога, осторожны, — поспешно добавила она и скрылась.

Едва он сделал два десятка шагов, как из-за деревьев выскользнула тень и двинулась вслед за ним. Андрей продолжал идти не оглядываясь. Луна скрылась за минаретами. В бледном свете ее они казались столбами, подпиравшими темное небо. Андрей тихо ступал по вытертому кирпичному тротуару, но еще тише двигался тот, кто следовал сзади. Андрей миновал длинную улицу, пересек площадь и, так и не встретив никого, свернул в переулок, где стоял дом Мирахмедбая. Ночная птица захлопала крыльями, забеспокоилась в ветвях платана, и тут же послышался стон: кто-то лежал у широкого подножия дерева.

Андрей наклонился и узнал одутловатое лицо официанта Гусейна-заде. Натужно замычав, Гусейн-заде попытался привстать, опираясь о толстый ствол, но сполз по нему и упал навзничь.

— Очень прошу тебя, дорогой, потише немножко,

пожалуйста, — произнес он с трудом. — Я из грузовика выскочил, когда в тюрьму они меня везли. Упал только, разбился совсем. Везде болит. Дышать прямо невозможно. Еле, еле сюда дополз.

— Почему сюда?

— К тебе добирался, Долматов. К тебе, дорогой.

— Вот что, — сказал Андрей, — я оставлю вас под этим деревом и буду молчать.

— Не уходи, пожалуйста, Долматов, — быстро проговорил официант, — забери меня, спрячь. Умоляю тебя! Они меня мучат, понимаешь? — добавил он совсем уже тихо и застонал.

На миг из-за туч вышла луна, и оба они заметили, как вжалась в стену темная человеческая фигура. Тогда, превозмогая, очевидно, и впрямь невыносимую боль, официант проговорил, неожиданно перейдя на «вы»:

— Долматов, вы обязаны меня укрыть. Это приказ самого хозяина. — Он затих, скорчившись.

— Никаких хозяев у меня нет, слышите! — четко произнес Андрей. — И вообще — ничего общего с вами. Играйте сами в свою игру. Я здесь человек временный. — Он открыто обращался теперь не к официанту, а к тому или тем, кто прятался во тьме, следя за ними и ловя каждый звук. Спокойным шагом дошел Андрей до угла, а затем стремительно обежал квартал и вернулся к тому же дереву, но уже с другой стороны. Над Гусейном-заде стоял Синяев. Слышался его брезгливый, раздраженный голос:

— Ты что ж это, скотина, не смог или не захотел вывести на чистую воду большевичка! Тебе жить надоело? Я тебе помогу, коли так, — блеснул наган.

— Ладно, стреляй, — выдавил из себя официант, — все равно жить не буду: все поотбивали, все поломали мне...

— Еще не так нужно было отделать тебя, подлеца. Три слова произнести не мог, как я тебя учил, дубина! — Синяев резко повернулся и направил дуло нагана на человека, появившегося сзади.

— Какая встреча, князь, — с обычной своей иронией произнес Семен Ильич Терский.

— А-а, это вы, Мефистофель... Как всегда, появляетесь из мрака.

— Понимаю, я некстати. Вы, князь, разумеется, шли

по пятам за своим счастливым соперником, а на это гнусное тело наткнулись совершенно случайно.

Наутро Андрей встретился в коридоре с Аскар-Ниязом. Бывший поручик был на удивление трезв и чем-то обеспокоен. С Андреем он поздоровался рассеянно, но очень долго смотрел вслед ему, а когда Андрей был уже у выхода, окликнул его:

— Господин Долматов! У меня новости для вас. Я только что вспомнил, что господин Шахрух Исмаили просил меня передать вам его приглашение. Он прослышал о вашем прибытии и ждет вас.

— Зачем я понадобился ему?

— Кажется, что-то стряслось с радиоприемником.— Аскар-Нияз догнал Андрея, извлек из наружного кармана визитную карточку и отдал ему.

«Высокочтимый господин Долматов, — было начертано уверенным почерком на оборотной стороне карточки, — буду счастлив видеть вас у себя в доме в среду после полудня».

На лицевой стороне было обозначено: «Шахрух Исмаили, советник департамента иностранных дел».

— Благодарю вас, поручик, — Андрей спрятал карточку.

— Кстати, — поинтересовался Аскар-Нияз, — вы вчера вернулись без особых приключений?

— Не понимаю вас.

— Здесь нужно, Андрей Дмитриевич, беречься ударов в спину. В грудь здесь не бьют.

Уже две недели Андрей служил в торговой фирме «Электро», на складе которой скопилось много неисправных радиоприемников и телефонных аппаратов. Он хотел было открыть небольшую мастерскую в сарайчике, прилепившемся к дому Мирахмедбая, но хозяин, узнав об этом намерении, сам посоветовал Андрею пойти на службу к Султанбеку.

Султанбеком звали владельца фирмы «Электро». Это был моложавый золотозубый узбек, тоже выходец из Коканда. Он по-честному признался Андрею, что в технике не силен и потому назначает Андрею сдельную плату: пять процентов стоимости каждого исправленного аппарата.

Работал Андрей по собственному желанию с утра

до темноты. Торговля кончалась в восемь, а он еще долго возился на складе. Иногда к нему походя заглядывал хозяин.

— Э-э, Андрей-джан, зачем столько работаешь? — спрашивал он по-русски, сияя золотозубой улыбкой и успевая охватить мгновенным взглядом все вокруг: закуток, где Андрей устроил мастерскую, складское помещение, тонущее в полумраке. — Куда спешишь, зачем спешишь?

— Уезжать надо, хозяин, — отвечал Андрей. — Далеко уезжать.

— Зачем ехать? Сиди здесь. Работу тебе даю, жену захочешь — две найдем.

Андрей отмалчивался, улыбаясь, прищурив глаз, и продолжал копаться в паутине проводов.

Случалось, Андрей отправлялся к клиентам на дом. Однажды он попросил Султанбека, чтобы тот разрешил ему взять с собой подростка-слугу, который поможет нести инструменты. Мальчик этот, хозяин называл его Касымом, был крутолоб и весьма высок для своих четырнадцати лет. Иногда он украдкой следил за работой Андрея. Он уже знал не только названия деталей, но и их назначение, тем более что Андрей охотно рассказывал ему, что к чему.

Золотозубый Султанбек однажды с неудовольствием сказал Андрею:

— Зачем малая к своему делу приучаете? У нас говорят: из петуха муэдзин не получится.

И все же Андрей продолжал просвещать Касыма, обучать его премудростям радиотехники.

Каким-то образом о дружбе этой прослышал Аскар-Нияз; отнесся он к ней совсем по-иному.

— Э, Андрей Дмитриевич, Андрей Дмитриевич! Голуба душа, — расчувствованно произнес подвыпивший поручик. — Дать бы вам в обучение полсотни таких гололобых Касымов...

— Там, — Андрей показал на север, — это называется — техникум.

Янтарные глаза Аскар-Нияза смотрели добро, но недоверчиво.

Больше он не разговаривал с Андреем о Касыме. Но вскоре судьба свела вместе всех троих. Случилось это после визита к Шахруху Исмаили.

Слуга встретил Андрея у решетчатых ворот особняка, вежливо пропустил его, затем взял чемодан из рук Касыма и жестом преградил мальчику путь.

— Он пойдет со мной, — сказал Андрей. — Это мой помощник. Он нужен мне.

Слуга был в затруднении, но перечить не посмел.

Из глубины прихожей навстречу Андрею уже шел с распростертыми объятиями советник департамента иностранных дел господин Шахрух Исмаили.

— Не скрою, — произнес он, показывая великолепные зубы, — я счастлив, что этот дрянной немецкий ящик умолк. Благодаря этому я обрел счастье услышать ваш голос, дорогой господин Долматов. — Он театрально погрозил пальцем. — Нужно ли было ждать повода? Неужто нельзя было запросто навестить старого приятеля? — Шахрух приблизился, легонько обнял Андрея за плечи и чрезмерно внимательно заглянул ему в глаза. — Вы ли это, дорогой Андре? — спросил он и после этой, такой обычной, фразы многозначительно умолк. — Как недавно и как давно это было, — сказал он, убедившись, что Андрей выдержал его взгляд. — Наш лицей, наши наставники... Наши проказы.

Шахрух Исмаили подвел Андрея к маленькому столику и налил в рюмки коньяк.

— За нашу юность! — патетически произнес Шахрух, все так же вглядываясь в лицо Андрея.

Андрей выпил и спросил:

— Я, наверное, мало изменился за это время?

— Мы были мальчиками в те счастливые годы, — уклончиво ответил Шахрух. — Теперь мы мужчины, и даже усатые. — Он коротко хохотнул и провел пальцем по губе, украшенной тонкой черной полоской. — По скольку нам было в ту блаженную пору?

— По пятнадцати, не больше. Вот как Касыму сейчас. — Андрей приветливо кивнул мальчику, который еще не двигался с места. — Вы разрешите ему, господин Исмаили, присесть у вашего приемника. Не беспокойтесь, во всяком случае, он ничего не повредит.

— Да-да, конечно, — поспешно произнес Шахрух. Он перехватил полный обожания и благодарности взгляд, который бросил Касым на русского, и помрачнел, но сказал сдержанно: — Не забудь прочитать очищающую молитву.

— Да-да, господин, — торопливо согласился мальчик, и прежде чем прикоснуться к вещи, созданной неверными, пробормотал фразу из корана.

Шахрух поморщился.

— Ты плохо молишься, — сказал он. — Произнеси трижды всю молитву от начала до конца. — Он повернулся к Андрею: — Вы помните, конечно, дорогой Андре, нашего арабиста? Вот кто умел привить любовь к корану, понять всю неисчерпаемость этой великой книги! Как, кстати, его звали?

— Я тоже забыл, — сказал Андрей.

— М-да, — произнес Шахрух.

— Помню только — круглый, пыхтящий, как самовар, — продолжал Андрей. — «Омин облогу акбар», — пропел он дребезжащим тенорком.

Шахрух вздрогнул от удивления, но тут же овладел собой:

— Как живой! — воскликнул он, рассмеялся и тут же посерьезнел. — А драку нашу вы мне простили? — спросил он со значением.

— Какую? — Андрей задумался. — Чего не бывает по мальчишеству? — Он махнул рукой.

— Но след-то, наверное, до сих пор остался? — настойчиво продолжал Шахрух.

Наступила тишина. Только слышно было похожее на всхлипывание бормотание Касыма. Андрей отпил из рюмки и похвалил коньяк.

— За те двенадцать лет, что прошли после лицея, — сказал он, — я был во множестве переделок. На теле моем появилось немало зарубок на память. Ваша, наверное, не самая глубокая, хотя зубы у вас были острые. Может, сами узнаете? — Андрей закатал рукав. Повыше локтя виднелся белый искривленный след от зубов.

Шахрух с деланной небрежностью взглянул на него.

— Извините, дорогой господин Долматов, — сказал он сочувственно. — Я каюсь, что пригласил вас к себе не только как старого друга, но и по ничтожнейшему поводу: из-за этого радио. — Он кивнул в сторону приемника, у которого возился Касым. — Но в нашей глуши, — заключил Шахрух, — не сыщешь специалиста.

— Вот растет ваш собственный радиотехник, —

Андрей вновь показал на Касыма. — Ну-ка, парень хороший, что там? Доложи-ка.

Круглые глаза Касыма смотрели недоуменно.

— Всего-навсего проводок оборвался, мастер, — запинаясь, произнес он.

Андрей поднялся, заглянул в аппарат и сказал, потрепав мальчика по затылку:

— Ты прав! Из-за такого пустяка все ваши волнения, господин Шахрух.

— Надо же! — воскликнул Шахрух. — Тысяча извинений, господин Долматов! Дорогой Андре...

Громко заговорило радио. Это Касым уже успел припаять провод и включил приемник. Передавалась политическая беседа.

«...Как хорошо известно нашей уважаемой общественности, — с деланной заинтересованностью произносил высокий голос, — курды не способны к самоуправлению...»

Касым застыл, оставив руку на рычажке.

«...Главари их фанатичны и столь же ленивы, сколь и жестоки. Напомню вам, господа, что во время последних курдских волнений, которые, хвала аллаху, были быстро прекращены нашим мудрым правительством, свирепый, не ведающий жалости даже к своим близким шейх Гариби-Сеид собственноручно умертвил свою жену только потому, что она во имя спасения малолетних детей желала сдаться с ними на милость правительственных войск...»

Полуоткрытый рот Касыма чернел на бледном лице.

Шахрух вскочил, чтобы выключить аппарат, но то ли по незнанию, то ли от волнения повернул ручку в другую сторону, и радио завопило:

«...Изверг не пощадил и детей своих. Все они, окровавленные, были найдены у трупа несчастной матери...»

— Нет, — сдавленно произнес Касым. И вдруг закричал отчаянно: — Нет! Неправда! — Слова мешались с истерическими всхлипами... — Она есть... Не умерла... Он не такой. Нет!

Шахрух с остервенением выдернул вилку из розетки.

— Они лгут, лгут, — сквозь всхлипы повторял Касым. Шахрух не дал ему продолжать. Лицо Шахруха по-прежнему было ласково, а холеные пальцы сжали губы Касыма так, что мальчик застонал.

Вбежали двое слуг.

— Отведите мальчика в комнату для гостей, — сказал им хозяин. — Угостите его, развлеките. Я потом приду, проведаю тебя, дорогой.

Но Касым, едва Шахрух отпустил его, кинулся к двери.

— Стой! Куда? — закричал Шахрух, на миг потеряв себя.

Отчаянный вопль донесся уже с улицы.

— Мастер! Спасите! Они убьют меня, убьют...

Секунду спустя все уже были внизу. Там дюжий дворник деловито заламывал Касыму руки за спину. Мальчик укусил его за руку, но детина только поморщился и поволок Касыма к решетчатым воротам особняка.

Мимо проезжал извозчик. Желая, очевидно, узнать, что происходит у дома самого знатного в этом городе человека, он придержал коней.

Тут же Андрей вырвал Касыма из лап дворника, подхватил мальчика под мышки, бросил его в экипаж, вскочил на подножку, взял у опешившего извозчика кнут и стегнул коней так, что они понесли.

— Стойте, — повелительно закричал вслед Шахрух. — Стойте, господин Долматов. Вы — в чужой стране. Извольте чтить ее законы!

Андрей не оглянулся.

Тогда Шахрух жестом подозвал к себе нескольких, будто по заказу появившихся зевак, и, хотя лицо его было перекошено от гнева, спросил четким голосом:

— Вы все видели?

— Да, господин, — ответили хором люди.

— Тогда хорошенько запомните, что произошло похищение мусульманского отрока неверным. Вам придется еще рассказывать об этом — я уверен.

Он резко повернулся и пошел к своему автомобилю.

У площади Андрей придержал коней, отдал кнут остолбеневшему, ничего не понимающему кучеру, подхватил Касыма на руки — мальчик был в беспамятстве, — пересел на другого извозчика, и через четверть часа оказался у дома Мирахмедбая. Он уложил Касыма в постель, раздобыл у мадам Ланжу кое-какие лекарства, и вскоре мальчик открыл глаза.

— Ну как ты? — спросил Андрей

— Хорошо, господин Долмат, — ответил Касым и вдруг расплакался. — Он убить меня хотел. Я знаю, знаю!

— За что тебя убивать? — спросил Андрей.

Қасым не успел ответить. Тяжелые кулаки забарабанили в дверь. Андрей едва успел открыть; в комнату ворвался возбужденный торговец Султанбек. Вместе с ним был здоровенный бритоголовый детина — один из приказчиков Султанбека. Султанбек пошарил глазами по комнате, увидел Қасыма и, облегченно вздохнув, велел мальчику:

— Ну-ка, собирайся! Поедем домой. Я напою тебя чаем, позову муллу и табиба.

Бритоголовый детина грозно двинулся вперед. Андрей закрыл собой мальчика.

— Господин Султанбек, — произнес он, с трудом сдерживая себя, — в этой комнате хозяин — я. Извольте выйти!

— Кудрат! — крикнул Султанбек, зло сверкнув глазами. — Возьми щенка!

Бритоголовый вытащил из-за голенища нагайку, но Андрей перехватил волосатую руку, и в тоже мгновение здоровенный мужчина с воплем рухнул на пол. Андрей толчком отправил за дверь торговца Султанбека, а вслед за ним вышвырнул едва поднявшегося на четвереньки слугу.

Тут же дверь затряслась снова. Султанбек сыпал проклятиями и угрозами.

Послышалось еще несколько взволнованных голосов, и наконец все покрыл бас Мирахмедбая.

— Пророк праведный, — рокотал он. — Что за наваждение на мой дом? — Он, по-видимому, тут же понял, что к чему, и прошипел по-узбекски. — Не будь бараном, Султанбек! Не хватает, чтобы полиция вмешалась в это дело. Убирайся из моего дома со своим малаем. Я сам все улажу.

— Простите, почтенный, — пробормотал торговец. — Я бы сам не посмел, но господин Шахрух велел доставить мальчишку живым или мертвым. Если этот проклятый Долмат узнает, что Қасым...

— Умолкни! Да не откроется твой рот вовеки!

Шаги удалились.

Андрей посмотрел на Қасыма. Глаза мальчика светились неожиданным восторгом.

— Қак вы их ловко выбросили, господин Долмат! — произнес он дрожа. — Вот бы мне так научиться!

— Научишься, — пообещал Андрей. Он налил в пиа-

лу чаю, капнул туда несколько капель из флакончика. — Вот выпей. И рассказывай обо всем без утайки. Это не для меня нужно, а для тебя. Если я все буду знать, все, ты понял, тогда мне легче будет защищать тебя.

Мальчик выпил, но молчал.

— Как тебя зовут? — спросил Андрей.

— Касым... Газими, — сказал мальчик, побледнев. — Так меня называли прежде, — несмело продолжал он.

— Где?

— На севере. Я жил в горах с отцом и матерью. — Мальчик всхлипнул. — И братьев было много.

— Ты курд?

Газими вздрогнул.

— Я слышал, как ты бормотал по-курдски, когда тебя тащили.

— Да, — еле слышно ответил мальчик. — Я курд.

— Как ты попал в этот город?

— Не помню. Я был совсем маленький.

— Где ты жил?

— У разных людей, пока был мал, а потом меня отвезли к толстому Абдурашиду, который смушки у крестьян собирает. Абдурашидбай сказал мне, что я — его племянник, а родители мои умерли. Я так и жил у него, работал тоже. Меня кормили вместе с рабочими на складе и чай давали. Только бил меня Абдурашидбай почти каждый день. Один раз я взял без спросу горсть орехов, так он меня даже ногами топтал. Я сознание потерял, очнулся, слышу, он шепчет: «Только бы не умер. Спаси его аллах!» Вроде бы испугался за меня. А чего ему пугаться? «Одним ртом меньше — остальным жратвы больше» — это старшая ханум Абдурашидбая так говорила всегда.

Мальчик умолк, опустив голову. Андрей налил ему еще чаю.

— Потом я понял, почему он за меня боялся, — продолжал Газими. — Это после того, как меня украли.

— Как — украли?

— Очень просто. Меня со двора никуда не выпускали, а однажды случился пожар на соседнем дворе. Все побежали туда, воду таскали, чтоб к нам огонь не перекинулся, ну и забыли про меня. Я у раскрытых ворот стоял, на пожар смотрел, и тут сзади — мешок мне на голову и поволокли. Я испугался. Кто-то посадил меня впереди себя в седло, застучали копыта.

Увезли меня далеко-далеко, за степь, к самым горам. Потом пришел человек, высокий такой, с усами. Усадил меня за стол, а на нем всякие угощения, и говорит: «Ты ничего не бойся. Я твой старший брат. Зовут меня Рашиди. Теперь, — говорит, — никому тебя не отдам. Будем жить вместе, пока отца не освободим». А я спрашиваю: «Где наш отец?» — Газими поднял на Андрея взгляд, полный ужаса и надежды.

— Не бойся, — Андрей обнял его за плечи.

— Ладно, — согласился Газими и продолжал шепотом: — Отец наш, сказал тогда Рашиди, самый большой курдский вождь. Он весь наш народ против врагов поднял, хотел, чтобы мы свободными стали. Но у врагов были английские винтовки и пулеметы, а у курдов — только охотничьи ружья и кинжалы. И многие курды погибли. Нас враги схватили, но Рашиди от них сумел убежать. Он сильный и ловкий и ничего не боится. Как вы, господин Долмат! А отец... Ой, господин Долмат, сколько я вам наговорил!—в страхе воскликнул Газими.

— Ты же веришь, что я — твой друг.

— Верю, — горячо сказал мальчик.

— Так что ж ты? — мягко ободрил его Андрей.

— Отец у немца служит, — шепотом произнес Газими. — У того самого, который за всякие черепки большие деньги дает. Кроме немца, никто не знает, что отец— курдский вождь. Узнали бы, сразу бы убили отца.

— Та-ак, — протянул Андрей. — Почему же тебя твой брат Рашиди торговцу Султанбеку отдал?

— Он не отдавал меня, — сказал мальчик. — Я у Рашиди две недели прожил. Мы далеко в горы забрались и ехали еще дальше, но утром к речке спустились, а на нас со всех сторон солдаты как кинутся. Рашиди троих из винтовки застрелил, я сам видел, как они повалились. Ей-богу! И сам он упал тоже... А меня солдаты схватили, привезли в этот город, долго держали в какой-то конуре. Потом пришел Султанбек, у которого все зубы золотые. Принес всяких гостинцев, начал со мной говорить. Спрашивал, что за люди, которые меня увезли, о чем они мне рассказывали, нет ли среди них моих родственников. А я, вы не смотрите, господин Долмат, что я неграмотный! Я ой, какой хитрый! Я сказал, ничего никто мне не рассказывал, никаких родственников у меня нет, но, говорю, кормили меня хорошо те люди. А кто они — не знаю.

Султанбек пришел и на другой день и еще. А как-то говорит: «Ты меня слушай. Открою тебе всю правду. Ты, — говорит, — узбек из Коканда. Тебя привезли маленьким с советской стороны, а твоих отца и мать большевики убили, они всех убивают, кто не хочет от аллаха отречься. Я тебя, — говорит, — возьму к себе, потому что все узбеки — братья, и значит, ты мой брат. И зовут тебя, ты же знаешь! — тоже по-узбекски — Касым».

А я уже знал, что я Газими. Только молчал.

И начал я жить у Султанбека вместе со сторожами. Они и склад сторожили, и меня — тоже. И никуда меня не отпускали, пока вы не появились.

— Почему же со мной начали отпускать?

— Они все время за нами следили, господин Долмат. Вы-то не замечали, наверное, этого?

— Нет, — простодушно сообщил Андрей.

— И когда мы к господину Шахруху Исмаили этому ходили, двое тоже за нами все время тайком шли, я видел. И еще я вам хотел сказать...

— О чем?

— Господин Шахрух Исмаили один раз, уже темно было, на своем автомобиле к Султанбеку приехал. Я услышал — окно было открыто — он Султанбеку говорит: «Надоумило вас с вашим Мирахмедбаем. Держали бы щенка под замком, как прежде, так нет: решили на этого живца поймать Долматова! А мальчишка нам ой как нужен...» А Султанбек спросил: «Что же делать, эффенди?» А господин Шахрух отвечает: «Аллах велик. А если мальчишка раскроется — уберем его». Тут Султанбек поднялся и пошел к окну посмотреть, не подслушивает ли кто, и я убежал.

Газими опустил голову и тут же вздрогнул, потому что в дверь постучали. На этот раз — сдержанно.

— Кто там? — спросил Андрей.

— Это я, Андрей Дмитриевич, — ответил Аскар-Нияз. — Я безоружен, и у меня с собой бутылочка настоящего коньяку. — Он появился на пороге и развел руками. — Не скрою, я с миссией от достопочтенного нашего Мирахмедбая. Пустите?

— Милости прошу, — сказал Андрей.

Аскар-Нияз потрепал по затылку Газими, бросил на ходу: «Жив, джигит?» — присел к столу, откупорил бутылку, налил себе и Андрею и выпил, как всегда, не дожидаясь. Он начал, казалось бы, издалека:

— Потрясающая способность у вас, Андрей Дмитриевич, наживать врагов. Синяев, к примеру. У князя и ненависть к вам, и вдобавок ревность. И то и другое по вашей вине. Теперь вот работы лишились и Шахруха восстановили против себя. А Шахрух Исмаили — личность сильная и, не скрою, весьма опасная. — Аскар-Нияз пожевал лимон и, отвечая своим мыслям, покачал седеющей головой. — Нет, так не ведут себя, — сказал он и спохватился, что произнес это вслух.

— Разве человек может себя вести по-другому! — Андрей посмотрел на Газими. Мальчик не понимал, о чем беседуют взрослые, потому что говорили они порусски, но был весь в напряжении.

— Ты ляг, подремли, — сказал ему Андрей. — Мы здесь с дядей о своих делах поговорим.

Газими подчинился и даже глаза прикрыл вздрагивающими веками. Аскар-Нияз посмотрел на Газими и ответил Андрею:

— Вы правы. Человек иначе поступить не может. Я, как и вы, имею в виду то, что произошло сегодня в доме Шахруха Исмаили. Мне рассказали об этом, а я легко представил, зная эту публику, как все происходило на самом деле. Вы вступились за мальчишку, чужого вам по крови, по вере. Нищего, забитого, никому не нужного. И навлекли на себя кучу неприятностей. Шахрух Исмаили — человек крайностей и к тому же в ярости слепнет.

— Вы на моем месте, поручик, поступили бы так же. Я убежден.

— Спасибо, — сказал Аскар-Нияз и опустил глаза.— Впрочем, вы переоцениваете меня. Я не уверен, что вступился бы за этого маленького раба. В былые времена — может быть. В ту пору, когда я относился к породе людей. Но вся наша проклятая жизнь убивает эту породу. В войнах, революциях гибнут единицы. Проклятая повседневность убивает человеческое в миллионах душ, и это самое страшное.

— Нет, — возразил Андрей. — Все не так мрачно. К счастью, люди не только тупеют, но и поднимаются. Целые народы возрождаются. И мы оба живы. Вот за это и выпьем.

— Дай бог, чтоб так, — тихо произнес Аскар-Нияз. Он выпил торопливо и сказал: — Сейчас вы подумаете обо мне иначе, Андрей Дмитриевич. Я хочу увезти мальчишку.

— Куда?

— Это неважно, — уклончиво ответил Аскар-Нияз.— Суть в другом: ни вас, ни его в покое они не оставят. Слава богу, Шахрух почему-то не вмешивает в это дело полицию. Или того хуже — жандармерию. Но так или иначе, не мытьем, так катаньем мальчишку они у вас отнимут.

— Я уже говорил, что верю вам, поручик. Знаю, что зла мальчику вы не причините. А остальное уладится. Я сам скажу ему, пусть идет с вами. Только не сейчас, наверное. — Андрей посмотрел на окно. — Уже стемнело.

— Вы-то не боитесь ходить по ночам, — многозначительно возразил Аскар-Нияз. — Ну и я не робкого десятка.

— Касым! — решительно позвал Андрей. — Пойдешь с господином Аскар-Ниязом. Он отведет тебя к хорошим людям и позаботится о тебе. — Он помолчал и добавил: — Это все равно, что ты пошел бы со мной. Ты понял?

— Да, — тихо ответил Газими, опустив голову.

— Вы гений, — сказал Аскар-Нияз, ухмыльнувшись. — Будь я даже подлецом, у меня не оставалось бы иного выхода — только порядочность! — закончил он вполне серьезно и положил руку на голову Газими. — Пойдем, мальчик. Ты увидишь, все будет так, как сказал господин Долматов.

На улице стоял экипаж. Всхрапывала лошадь, и возница поругивал ее. В слабом свете, падающем из окон, была видна грузная фигура Мирахмедбая.

— Молодцом, господин юзбаши! — похвалил он, открыл дверцу и пропустил Аскар-Нияза, державшего мальчика за руку.

Экипаж помчался по освещенному бульвару и свернул в кривой темный переулок. Стук копыт стал глух: экипаж катил по разъезженной пыльной колее. Он проехал двести метров, и тут черная фигура, похожая на огромную птицу, обрушилась сверху на кучера и сшибла его с облучка. Возница даже не вскрикнул. Лошадь шарахнулась в сторону, фаэтон попал колесами в арык и опрокинулся. Минуту спустя из него выбрался Аскар-Нияз. Он вытащил вслед за собой мальчика, прижал его

к стене и хрипло приказал тому, кто прятался в темноте, выжидая:

— Ни с места! Пристрелю!

Все было тихо. Вспыхнул карманный фонарь. Тонким лучом Аскар-Нияз быстро нащупал темную фигуру, прислонившуюся к дереву. На миг явилось заросшее лицо и рука, сжимавшая кинжал. Аскар-Нияз выстрелил дважды подряд, но оба раза в землю. Кто-то сзади ударил его по руке, и она бессильно повисла. Аскар-Нияз опустился на колени и начал шарить вокруг в надежде найти свое оружие. Темная фигура бросилась на Аскар-Нияза. В то же мгновение раздался голос Андрея Долматова: «Остановитесь!» — тут же глухой удар и стон.

Неизвестный успел схватить мальчика и ринулся в боковую улицу. За ним помчался, бормоча проклятия, Аскар-Нияз. Андрей бежал позади всех, прижимая ладонь к плечу и раскачиваясь на ходу. Оба они, Аскар-Нияз и Андрей, едва поспевали за могучим похитителем. Неожиданно шаги впереди стихли. Тяжко дыша, остановились и Андрей с Аскар-Ниязом.

— Так-то, дорогой! — Аскар-Нияз все-таки гмыкнул по-своему. — Отдаю вам должное: обезоружили вы меня мастерски. — Он попытался пошевелить кистью правой руки, но вскрикнул от боли.

Андрей молчал. Аскар-Нияз зажег фонарик, посмотрел на Андрея и произнес:

— Ого! Да у вас все плечо в крови.

— Погасите фонарь, — с трудом произнес Андрей. — Укроемся где-нибудь, потом во всем разберемся.

Издалека донесся полицейский свисток.

Андрей с трудом поднялся.

— Бежим, поручик, — произнес он глухо.

Аскар-Нияз все-таки ухитрился оторвать длинный лоскут от своей рубашки.

Теперь уже стал слышен топот сапог.

— Оставьте меня, поручик, — превозмогая боль, попросил Андрей, — зачем вам попадать в полицию?

Аскар-Нияз кое-как закончил перевязку.

— На кой черт вы закрыли меня собой? — спросил он.

— Вам нужно жить, — ответил Андрей.

— Благодарю! — воскликнул Аскар-Нияз. — Вы что, знаете бандита, который напал на меня?

— Догадываюсь, кто он.

— Тогда я спокоен, — сказал Аскар-Нияз. — Доберитесь до какой-нибудь аптеки и будьте пока здоровы. Счеты успеем свести.

И он пошел навстречу полицейским.

Они вернулись все вместе: князь Владислав Синяев, Семен Ильич Терский и бывший поручик Аскар-Нияз.

Владик потребовал бутылку рому, выцедил ее стакан за стаканом, разбил бутылку о стену и пошел к себе спать. Терский переоделся и быстро умчался из дому, а поручик Аскар-Нияз зашел в кабинет к Мирахмедбаю.

— Утащили у меня мальчишку, — сказал он с порога. — Но я найду его, клянусь.

Мирахмедбай встал, прошелся по своему кабинету с массивным письменным столом на львиных лапах. К Аскар-Ниязу он, однако, не приблизился, руки ему не подал, а уронил жестко:

— Знаю. Но ваши клятвы даже на позеленевшие медяки не разменяешь.

— За что же обижаете меня, почтенный? — спросил Аскар-Нияз. — Слово мое твердо.

— Кто же утащил щенка?

— Мальчишку уволок высокий, здоровый, как бык, человек с замотанной рожей. Но я отыщу его.

— Именно на это мы и надеемся, юзбаши. Но не только этим вы подтвердите свою верность исламу.

Глаза Аскар-Нияза угрожающе сузились. Он вскочил.

— Сядьте, — велел Мирахмедбай. — И успокойтесь. Я только предлагаю искупить вину. Не возмущайтесь, все произошло из-за вашего упрямства. Я же советовал вам — оставить Касыма у меня и держать его здесь взаперти.

— Долматов поверил, что я передам мальчика хорошим людям. Касым послушался его. А у вас в подвале, простите, не лучшее место на свете.

На этот раз передернулось лицо Мирахмедбая.

— Нашли перед кем отстаивать свою честь, — произнес он презрительно. — Я считал, что ваша дружба с этим Долматовым — всего лишь игра, что вы хотите прощупать его, узнать, чем он дышит.

— Ошиблись, почтенный, — сказал Аскар-Нияз. — Я не жандарм. Я солдат и привык драться в открытую.

— Вы слуга ислама! И не забывайте, что я и подоб-

ные мне мусульмане создаем казну, из которой вам выплачивают пособие.

Аскар-Нияз с подчеркнутым почтением наклонил кудрявую седеющую голову.

— Простите, — сказал он, — я позабыл, что явился в эту благословенную страну в рваных штанах — это единственное, что я унес с собой с нашей дорогой родины. — Голос его неожиданно зазвенел. — А вы, кажется, тоже запамятовали, почтеннейший, что я и такие же дурни, как я, умирали за пулеметами, пока вы перебирались через границу со своими гаремами и мешками, набитыми золотом! А сейчас вы мне отсыпаете оттуда полдесятка монет и требуете, чтобы я ваши руки целовал!

— Вай-бой! — с подчеркнутым огорчением воскликнул Мирахмедбай. — Вы как красавица: от взгляда вспыхиваете. — Он присел рядом с Аскар-Ниязом и примирительно дотронулся пальцами до его правой руки. — Слуга мой, дурень, обалдел от страха, — сказал он. — Но все-таки он слышал, как вы стреляли в похитителя. Почему же не попали? — Он опять посмотрел на руку Аскар-Нияза.

Аскар-Нияз усмехнулся.

— А вы догадливы.

— Догадаться нетрудно: кому неизвестно, что вы муху на лету сшибаете? Так кто же вам помешал?

— Я изложил его приметы в полицейском протоколе, — сухо ответил Аскар-Нияз. — Он среднего роста, судя по голосу — не старый.

Мирахмедбай поджал губы.

— Я все-таки спрошу еще кое о чем, — произнес он недобро. — Я спрошу с вас как со своего служащего. На это я, надеюсь, имею право? И учтите, что вы сами своим поведением вынудили меня призвать вас к ответу.

— За что? — В голосе Аскар-Нияза звучало недоверие. — За что и к какому ответу можете призвать меня вы?

Мирахмедбай сбросил последнюю маску. Он открыл затрещавший ящик, порылся в бумагах и наконец протянул один листок Аскар-Ниязу.

— Вот почитайте, только повнимательней, — сказал он, потрясая листком. — Эту справку я получил от своего поставщика Абдурашида давно, но скрывал ее от вас, думал, как всегда, все сам улажу, но теперь — хватит!

Аскар-Нияз равнодушно пробежал глазами традици-

онные строки приветствий, и вдруг лицо его стало напряженно-тревожным. Вот что было написано дальше: «Каракуль, сданный мне вашим поверенным, господином юзбаши Аскар-Ниязом, скупленный им, по его словам, у крестьян Пограничного уезда, оказался на одну треть гнилым, что и подтверждено прилагаемой мною запиской, составленной, как вы убедитесь, лицами полномочными, сведущими и уважаемыми...» Ниже значилась цифра «900», обведенная красным карандашом, — сумма убытков.

— Не может этого быть... — растерянно произнес Аскар-Нияз.

— В каждом тюке имеется купчая ведомость с вашей росписью, дражайший. На каждой шкурке — ваше клеймо! — не скрывая злобного торжества, сказал Мирахмедбай. — Два тюка Абдурашид прислал в качестве доказательства. Вот и полюбуйтесь. — Мирахмедбай извлек откуда-то снизу шкурку, растянул ее на руках и брезгливо сморщился: шкурка расползлась. — Это ваше клеймо, если не ошибаюсь? — он швырнул шкурку Аскар-Ниязу.

Аскар-Нияз не взглянул на каракуль.

— Я рассчитаюсь, — сказал он тихо и встал. — Постараюсь как можно скорей.

— Могу вам помочь добрым советом. — Мирахмедбай тоже поднялся. — Найдите мальчишку...

— Что он вам всем дался? Вы хоть мне об этом можете сказать?

— Нет, — жестко ответил Мирахмедбай. — Заслужите, чтобы вас посвящали в дела преданных ревнителей веры, борцов за отчизну.

Аскар-Нияз бросил на Мирахмедбая взгляд, полный ненависти.

— Постойте, юзбаши! — Мирахмедбай пошел за ним вдогонку. — Успокойтесь. Мы оба погорячились. Вы сделаете следующее: вспомните, кто выбил из вашей руки пистолет, найдете Касыма, и я опять возьму вас на службу, а это досадное недоразумение с гнилым каракулем мы со временем уладим полюбовно.

Аскар-Нияз молчал.

— Я вам даю последнюю возможность. Не пренебрегайте ею, ибо сказано: когда сердишься — оставляй место для примирения. — Мирахмедбай сделал движение рукой к сердцу.

— И еще сказано, — откликнулся Аскар-Нияз, помолчав: — Когда тебя гладят по голове — остерегайся, чтоб не выкололи глаз.

— Две недели сроку, чтоб деньги были, — раздельно произнес Мирахмедбай. Глаза его расширились.

— Я постараюсь справиться раньше, — ответил Аскар-Нияз и носком сапога толкнул дверь.

Могучий человек мигом дотащил Андрея до дома Хюгеля. Особняк белел за чугунной оградой.

— Я не войду туда, — сказал Андрей.

— Будь мужчиной, урус, — шепотом упрекнул незнакомец. Он бесшумно отпер ключом высокие ворота. Три огромных пса бросились навстречу, но он прикрикнул, и собаки убрались в глубь двора.

— Вы слуга господина Хюгеля? — спросил Андрей и застонал, превозмогая боль в плече.

— Другу я раб, врагу — хозяин.

— Мне не хочется сейчас встречаться с господином Хюгелем.

Курд снял платок. Сплошь заросшее волосами лицо его казалось в темноте черной маской. Но голос его прозвучал ободряюще:

— Кошки нет дома, у мышей свадьба, — сказал он. И добавил: — Болтать будем потом, урус. А сейчас тебя надо лечить, не то горячку схватишь. Ну-ка, обопрись на меня покрепче!

Они прошли в вестибюль, оттуда по запутанным коридорам — в чулан. Здесь стоял сундук. Курд поднял крышку и щелкнул выключателем. Дна в сундуке не было: осветилась лестница, уходящая вниз.

— Я сойду первым, — сказал курд, — а ты, урус, будешь спускаться за мной. Я помогу.

Минуту спустя они оказались в небольшом помещении, застеленном паласами. У стен лежали толстые ковровые подушки, в углу стоял небольшой столик, на нем — кувшин с водой.

— Здесь можешь быть спокоен, — сказал курд. Черные глаза на его заросшем лице светились совсем по-доброму. — Ни один скорпион сюда не заползет.

— А Хюгель?

— Это уж моя забота. Я скоро вернусь.

Он принес бинты, какие-то мази в глиняных горшоч-

ках, пиалу, накрытую лепешкой, и чайник. Осмотрев рану, смазав и перевязав ее, курд произнес удовлетворенно:

— Хвала аллаху, не будет лишнего греха на мне. Ты будешь жить сто лет, урус! Отдохни и поешь. — Он собрался уходить.

— Нам нужно поговорить, — сказал Андрей.

— Успеем, — коротко заключил курд. — Беседуют с другом и любят женщину на здоровую голову.

Курд оказался прав. Утром Андрей почувствовал себя лучше, хотя двигать рукой еще не мог. Он проснулся рано и долго сидел, опершись на подушки и прислушиваясь к тому, что происходит в доме.

Все было тихо: ни звука. Даже собак не было слышно.

Неожиданно крышка поднялась. Курд принес завтрак. На подносе стоял горячий чайник, рядом с ним на черном лаке блестел мокрый кружок — след от второго чайника. Курд поспешно стер его полотенцем.

— Как спал, урус? — спросил он.

— Хвала аллаху, недурно, — ответил Андрей покурдски.

Шейх не удивился.

— Я давно знаю о тебе, урус, — сказал он, сохраняя на заросшем лице все то же выражение спокойного достоинства. — Говорят, ты — сын генерала Долматова.

— Вы знали генерала, шейх? — спросил Андрей.

— Будь трижды прокляты большевики! — зло выкрикнул шейх вместо ответа и вперил в Андрея взгляд угольно-черных глаз. — Ты — друг моего сына, — сказал он. — Газими любит тебя, я твой должник; ты спас моего сына от беды, а меня — от смерти: юзбаши Аскар-Нияз бьет без промаха даже в кромешной тьме. И его ты тоже закрыл своей грудью. Ты человек и мужчина. Я не спрашиваю, для чего ты вмешался в наши дела...

— Вы же знаете, как все получилось, — сказал Андрей. — Сын вам рассказал.

— Да, — сказал шейх. — Газими здесь. Я знал, что он живет у торговца Султанбека. Моему старшему, Рашиди, пришлось уплатить жизнью за то, чтобы я об этом узнал. — Шейх помрачнел, но голос его вскоре вновь обрел твердость. — Мне казалось, эти проклятые не пронюхали, что Газими мой наследник, я ждал до поры, не хотел навлекать на него подозрения, а, выходит, им давно все было известно.

— Понимаю, — сказал Андрей. — Им надо было сделать Газими своим человеком. Потом убрать вас, и тогда единственный оставшийся в живых курдский вождь стал бы покорным исполнителем их воли.

— Ты все знаешь, урус, — задумчиво произнес курд. — И даже не скрываешь этого... — Он помолчал, потом снова поднял на Андрея свои проницательные глаза. — Но того, кто много знает, стараются убрать. Ты не боишься, что я убью тебя?

— Нет, — сказал Андрей. — Ваш кинжал разит врагов.

— И то правда, — произнес задумчиво шейх. — Хитер ты, урус.

— Незачем мне хитрить с вами, — сказал Андрей. — И не все я понимаю. Как случилось, что вы, могучий вождь, стали слугой у немца?

— Зачем тебе это знать?

— Вдруг судьба сведет нас опять?

— Да, — сказал шейх. — Ты прав. Тот, кто открыл коран, должен прочитать молитву. Слушай, урус!

Восемь лет назад ты был сосунком и, наверное, не помнишь, что как раз в то время курды опять поднялись против притеснителей. Нас разбили. Шесть лет прятался я в горах, перебирался от одного верного человека к другому, и все же шахские ищейки добрались и до меня. Они хотели убить меня, потому что понимали: если я кликну клич, мой народ снова пойдет за мной. — Шейх вдруг прервал себя: — Я слишком много рассказываю тебе, урус.

— Я спросил не любопытства ради, — откликнулся Андрей. — Может, я сумею вам помочь.

— Кому?

— Вам. Курдам.

Шейх гордо усмехнулся.

— Кем бы ты ни был, урус, ты не наместник аллаха. Ладно, слушай, как было с немцем.

Теперь я знаю, что он меня нарочно искал и нашел-таки! А тогда я думал, что в горы его занесла блажь: там, у крестьян, много всяких старых черепков, а он скупает их. Такое у него занятие — для посторонних. Я говорю тебе об этом прямо, потому что не сомневаюсь, ты знаешь, кто такой Хюгель, а играть по-бабьи в прятки я не привык... Да, так вот, стужа была невиданная. Я с несколькими своими людьми прятался в пещере, но мы

замерзли, изголодались и решили спуститься на ночь в селение. Я отправился к мулле.

Едва согрелся под одеялом, как мулла растолкал меня. Лица не было на нем от страха. «Твоих людей схватили, — сказал он. — Беги!»

Я выскочил на улицу, услышал выстрелы, крики, конь мой валялся на земле с перерезанным горлом. Я кинулся в темноту, навстречу ударили из винтовок. И тут кто-то тихо окликнул меня сзади: «Эй, иди-ка сюда. Я — твой друг».

За деревьями был спрятан автомобиль.

Жандармы долго гнались за нами, но дорога пошла в гору, кони отстали, и мы скрылись.

Спаситель мой привез меня в город, вот в этот благословенный дом.

«Только идя рядом с великой Германией, курды станут свободны» — это он сказал мне в первый же день.

Он частенько напоминает об этом, но я и сам полагаю, что другого пути для нас пока нет. Немцы и англичане, я думаю, скоро схватятся, и немцы победят. Хюгель дает мне свои газеты, и я понемногу разбираю, о чем в них пишут. Гитлер быстро создает могучую армию. Немцы верят ему, идут за ним. У англичан подобного и в помине нет.

— Немцы ли, англичане ли — для вас какая разница? — вставил Андрей.

— Ты не глуп, урус. Значит, должен понять, что такое — сыграть на противоречиях. Пока немцы — враги англичанам, они нас поддержат.

— Но ведь не вы им нужны. Не курды, не ваша свобода. Им нужна нефть и граница с Советской Россией.

— Опять ты прав! — Шейх хлопнул Андрея по колену. — Но немцы пока далеко, а англичане уже здесь. Нас из английских винтовок убивают. Они умеют делать винтовки.

— А у немцев лучшие в мире цепи, — сказал Андрей. — Их выковывают из золингенской стали.

Шейх долго молчал.

— Теперь и ты знаешь, кто я, — сказал он. — Ты и немец... Да... А больше никто. Они думали, как начнут новый газават против большевиков, так и пошлют курдов, чтоб вместо них умирали. А Газими как знамя был им нужен.

— Да, — произнес Андрей. — Все у них хитро продумано.

— Ладно! — Шейх снова хлопнул Андрея по колену. — Чем больше воды, тем лучше для мельницы. Поправляйся, урус, и помни: когда я узнал, что ты защитил моего сына, я поклялся тебе бахтом *. Но я верю: ты не употребишь во зло то, что узнал обо мне и сыне. Не то...

Андрей потрогал повязку на плече.

— Не то — кинжал войдет на ладонь левее? — спросил он.

— С тобой легко разговаривать, — сказал шейх.

— Вам клятвы нужны? — спросил Андрей. — Что ж: пусть и род мой рассеется по ветру! Только для меня не в клятве сила.

— А в чем?

— В вере.

Шейх долго смотрел на Андрея.

— Я уйду ночью, — сказал Андрей. — И не тревожьтесь: я вас не выдам.

— Оставайся, пока поправишься, — сказал шейх. — Искать тебя здесь не станут.

— Там сейчас туго приходится одному человеку.

— Юзбаши твоему? — спросил шейх. — Дурень он: и большевиков ненавидит, и своих не жалует. Вот они его и мучают. — Он покачал головой. — Уходить тебе можно не раньше пятницы.

— Тогда вот что... — начал Андрей.

— Говори, урус.

— По соседству с вами живут русские. Антоновы. Художник с дочерью.

— Фрейлейн Ася? — Шейх наклонил голову.

— Да. Я буду благодарен, если вы сообщите ей, что я жив.

— Хорошо, — сказал шейх и быстро поднялся наверх.

Прошло около часу. Андрей забылся: усталость и потеря крови давали себя знать. Легкое прикосновение заставило его вздрогнуть. Он приподнялся, широко раскрыв глаза. Рядом была Ася.

— Ну и ну! — только и произнес Андрей.

— Вам больно? — спросила Ася, указав на его плечо.

— Проходит.

* У курдов клятва «бахтом» — обещание спасти человека от смерти.

— Я осмотрю и перевяжу как следует, — решительно сказала Ася. Она достала из сумочки бинты и лекарства.

— Не надо, — сказал Андрей. — Я рад, что вы здесь. Посидите рядом.

— Нет! — возразила Ася, быстро сняла повязку и поднесла поближе лампу. — Чем он вас лечит? — воскликнула она удивленно. Глаза ее смотрели на Андрея участливо и радостно. — Чудесные снадобья у этих туземцев, рана уже заживает, — сказала она и спросила, вздохнув: — Что же это вы натворили, Андрей Дмитриевич? А!

Он улыбался.

— Теперь даже князь Синяев усомнится.

— В чем?

— В том, что вы красный. Разве стал бы большевик ни за что ни про что впутываться в эту историю с мальчишкой?

— Вы хорошо знаете большевиков, Асенька, — сказал Андрей и усмехнулся, скривив, как всегда, угол рта. — Вы читали в тутошних газетах о комиссарах в кожаных штанах — как они на кострах зажаривали дворянских младенцев.

Впервые Ася посмотрела прямо в лицо ему.

— Боже! — воскликнула она. — Почему это у вас — человеческий взгляд? У вас, а не у князя Синяева, не у Терского — интеллигента и сноба?

— Не забывайте, Асенька: я — генеральских кровей.

— Я, кажется, тоже начинаю этому верить.

— А кто еще?

— Поручик Аскар-Нияз — прежде всех. Слышали бы вы, как спорил с ним из-за этого князь Синяев! Он даже клятву с поручика взял.

— Какую?

— Сейчас я могу рассказать. Все равно это звучит смешно: поручик поклялся, что если он ошибся в вас, то собственноручно вас убьет.

— Задушит? — спросил Андрей. — Или отрубит голову, как здесь принято?

— Не шутите этим, — Ася вздохнула. — Вы не представляете, сколько ужасов произошло здесь, у меня на глазах...

— Чего мне бояться? — спросил Андрей. — Я радиотехник, коплю деньги, чтобы перебраться в Париж. Ну, вступился за мальчика, которого едва не погубили злые

люди. Предположим, меня по тутошним законам за это должны наказать. Ну и пусть! — И попросил. — Пощадите меня сегодня, Асенька. Давайте поговорим о более приятном.

У дома Мирахмедбая Андрея ожидал жандарм. Это был молодой учтивый человек в каракулевой феске. Он предполагал, что, увидев его, Андрей бросится в сторону, и сделал предупредительное движение рукой, но Андрей двинулся прямо на жандарма и спросил:

— Я нужен вам?

— Не мне, — ответил жандарм. Он хотел отвернуть лацкан, но Андрей отмахнулся.

В большой комнате сидел в кресле офицер.

— Господин Долматов! — произнес он. — Рад, что вы нашлись. — Он поднял от бумаг лицо с твердыми бронзовыми щеками.

— Мы уже встречались, — сказал Андрей. — Приветствую вас! Но не понимаю, почему меня пригласили сюда, в жандармерию, а не в полицию? — спросил Андрей.

— Любопытно, что вы сами предполагаете?

— Я думаю, речь пойдет об этой печальной истории с мальчиком, моим помощником.

— Да, это очень прискорбно, — согласился офицер.

— Я ранен в правое плечо, но убийца хотел всадить мне нож под левую лопатку. Счастье мое — я вовремя повернулся.

— И кого же вы увидели?

— Лицо убийцы было закрыто белой повязкой, а папаха надвинута почти на глаза...

— Прямо как в страшном романе, — чуть усмехаясь, сказал офицер и бросил четки на стол. — Довольно играть в жмурки, господин Долматов! Где вы провели ночь? Кто оказал вам помощь?

— Вот об этом, господин офицер, я не скажу.

Офицер гмыкнул:

— Дама! — произнес он с вызовом. — Кодекс аристократической чести велит вам молчать. Но я помогу вам кое-что понять. — Офицер позвонил и приказал вошедшему помощнику: — Поручика Аскар-Нияза — сюда!

Аскар-Нияз подал правую руку и поморщился, когда Андрей пожал ее.

— У вас болит рука? — спросил Андрей.

Аскар-Нияз буркнул что-то неопределенное.

— Какого черта всем вам — от грязного купчика до жандармерии дался этот сопливый мальчишка Касым? — спросил он.

— Вынужден напомнить, господин юзбаши, что здесь спрашиваю я. Лишь из уважения к сану вашего отца я отвечу. Произошло ритуальное похищение. Город, вся страна возмущены. Вот! — Офицер потряс пачкой газет. Он прочитал вслух один заголовок: — «Мусульманский отрок в лапах у неверных!» Мы обязаны принять меры и успокоить народ. Мальчишка должен быть найден! — Офицер пристукнул по газетам ладонью. — Вот вы показали, — обратился он к Аскар-Ниязу, — что кто-то вышиб из вашей руки пистолет. Я спрошу еще раз у вас теперь в присутствии господина Долматова: кто?

— Я говорил однажды: высокий худой человек.

— Лицо его было закрыто белой чалмой?

— Может, темной, — ответил Аскар-Нияз. — Я стоял к нему спиной. Мог и не разглядеть.

— Почему спиной?

— Я говорил: впереди, в темноте, прятался тот самый верзила, который уволок мальчишку. Я искал его, чтобы застрелить, но меня сзади стукнули по руке. — Аскар-Нияз сердился. — Сто раз я повторял это!

— Так, — сказал офицер, помассировал свои литые щеки и посмотрел на Андрея. — А что делал в это время господин Долматов? Только не говорите, ради бога, что после того, как вы проводили юзбаши Аскар-Нияза и мальчика, вы легли в постель и уснули сном праведника!

— Именно так я и поступил бы, если бы знал, что мое времяпрепровождение заинтересует жандармерию,— ответил Андрей. — Но меня дома не было. Это все, что я вам могу сказать.

Офицер изобразил на лице недоумение.

— Если человек ведет себя по-человечески, а не поскотски, то уже одно это вызывает подозрение, — пояснил Аскар-Нияз.

— Ох, юзбаши, юзбаши... — офицер вздохнул. — Во всем вы орел, а зрение у вас, извините, куриное.

Аскар-Нияз вскочил. Андрей попросил его:

— Сядьте, поручик. — Он обратился к офицеру: — Я требую, чтобы мне сообщили определенно, в чем меня обвиняют.

— Хорошо! — голос офицера зазвенел. — Андрей Долматов! Вы обвиняетесь в том, что в ночь на третье ноября совершили нападение на юзбаши Аскар-Нияза, сидящего сейчас напротив вас, и вместе со своими, пока еще не найденными, сообщниками похитили в неизвестных целях мусульманского мальчика по имени Кязим, которого по-узбекски называют Қасым. На основании этого обвинения я беру вас под арест. А вы, юзбаши, можете быть свободны. Только распишитесь вот здесь.

— Я утверждаю, что Қасыма похитил не Долматов, а совсем другой человек! — Аскар-Нияз встал.

— Ценю ваше благородство, но оно ни к чему, — офицер опять улыбался.

— Я протестую! — сказал Андрей.

— Я тоже сожалею о случившемся, — произнес офицер. — Постарайтесь вспомнить, где вы были ночью, и все уладится. — Он приказал вошедшему солдату: — Уведите арестованного!

Вечером того же дня в гостиной у мадам Ланжу поручик Аскар-Нияз в стороне от всех пил горькую. Он был лохмат, мрачен, и никто не решался приблизиться к нему. За ломберным столом разыгрывали бесконечную партию в вист аристократические старички и старушки. Мадам Ланжу беседовала с герром Хюгелем. Они устроились у камина и разговаривали, наклонив головы близко друг к другу. Терский — он появился недавно — листал журнал и время от времени нехотя пытался вывести Владика Синяева из пьяного оцепенения.

Пришла Ася, и это встряхнуло всех. Она была обеспокоена. Это не укрылось ни от кого.

Владик икнул:

— У мадемуазель Антоновой имеются надежные и небескорыстные покровители.

Ася посмотрела на Владика сухими глазами.

— Спасибо, — сказала она. — Я полагала, меня уже невозможно оскорбить. Оказывается, это не так. — Ася направилась к двери, не обращая внимания на мадам Ланжу и Хюгеля, пытавшихся ее удержать, но на середину гостиной вышел, уверенно ступая ногами, обутыми в сапоги тонкой кожи, поручик Аскар-Нияз. Он осторожно остановил Асю, дотронувшись до ее локтя, и обратился к Владику:

— Извольте, князь, принести свои извинения мадемуазель Антоновой. Иначе вам придется иметь дело со мной.

Владик вскочил. Лицо его задергалось.

— Вы! — закричал он. — Какое право имеете вы, азиат и хам, требовать чего-то от меня, русского князя? Пусть с вами имеют дело вшивые большевички! Я достаточно брезглив, чтобы общаться с вами.

— Вы по-скотски пьяны, и поэтому я пренебрегаю вашими оскорблениями, — сказал Аскар-Нияз, — но я все же заставлю вас встать на колени перед мадемуазель Асей. Вы сделаете это, или я вас побью.

— Хватит, господа! — Хюгель встал между ними. — Вы оба зашли слишком далеко. Перенесем на завтра выяснение ваших отношений.

— Нет! — Владик упрямо пристукнул ногой. — Сейчас. Мы еще посмотрим, кому перед кем придется встать на колени. Читайте. Только вслух. — Он сунул Аскар-Ниязу синий конверт. — И погромче, чтобы мадемуазель Асенька слышала каждое слово. — Он сел, не скрывая торжества, положив ногу на ногу.

— Дайте мне! — герр Хюгель поспешно протянул руку.

— Это не по-немецки, — сказал Аскар-Нияз. — Так что уж разрешите я сам как-нибудь. — Он поостыл, потому что успел пробежать глазами первые строки небольшого письма.

— Боже! Наверное, какая-нибудь гадость... Я уведу дам, — сказала Ланжу.

— Нет, — возразил Аскар-Нияз. — Это можно и даже необходимо послушать всем. — И он громко прочел:

«Город Ташкент.

Народному комиссару просвещения Узбекской республики.

Уважаемый гражданин комиссар!

Находясь за границей по личным причинам, не имеющим в данном случае значения, я узнал, что в июне 1914 года через Ташкент в Вену на международный аукцион были отправлены картины, написанные талантливым русским художником Алексеем Львовичем Антоновым, учеником Верещагина. Эти полотна назывались: «Закат в Бендер-шахе», «Озеро Урмия весной», «Долина Сефидруда». Картины, по свидетельству специалистов того времени, представляют большую художественную

ценность. Вначале Антонов А. Л. беспокоился о судьбе своих произведенний, но впоследствии отчаялся их найтн. Тем не менее, по собранным им сведениям, его работы находятся в запасниках Ташкентской картинной галереи и числятся в каталоге как произведения, напнсанные неизвестным художником.

Я с болью наблюдаю, в каком состоянии угнетенности находится в настоящее время большой художник. Если картины будут обнаружены и займут достойное место в экспозицин, это в буквальном смысле спасет талантливого русского живописца.

Понимаю, что имя мое ннчего вам не скажет. Более того — вызовет недоверие, потому что я — сын царского генерала, репрессированного ЧК, перебежчик и пр. И все же, зная о бережном и уважительном отношении советских властей к культурным ценностям, я не сомневаюсь, что письмо мое будет прннято со вниманием.

О результатах розыска убедительно прошу сообщить самому А. Л. Антонову, адрес которого указываю ниже. Долматов Андрей Дмитриевич».

Наступило молчание.

— Ну-кась, что вы скажете теперь, господа? — пьяно выкрикнул Владик. — Что скажет дочь великого русского живописца? Впустили-таки в свой дом змею!

Терский торопливо переводил Хюгелю места, которые тот недопонял.

— Это подлинник? — спросил Аскар-Нияз.

— Еще бы! — Владик не скрывал торжества. — На нем значится личная подпись товарища большевичка Долматова, или не знаю уж, как там его назвать!

— Здесь штамп местной почты, — сказал Терский, рассматривая конверт. — Что ж, он совсем дурак: открытой почтой свои шифровки отправляет?

— Именно так! — Владик был в восторге. — Мадемуазель Асенька и ее достопочтенный папочка с его наследием интересуют месье Долматова так же, как меня — здоровье китайского императора. Долматов сознательно валяет дурачка и в своем стиле послал ЧК собранные сведения не таясь.

Мадам Ланжу умоляюще закатила глаза.

— Господа, господа! Миллион извинений, но это не тема для салона.

— Вполне согласен с вами, мадам, — герр Хюгель прикоснулся к ее ручке. — С появлением этого русского

наше общество, к сожалению, расстроилось. Возникли ссоры, появились ненужные и, простите за прямоту, князь, совершенно чуждые нам интересы. Для меня в Долматове важнее всего то, что он хорошо играет в теннис. А посему, — закончил герр Хюгель, — я передам это письмо на почту, где ему и надлежит быть; все мы, надеюсь, останемся довольны.

Терский подхватил Владика под мышки и с помощью герра Хюгеля доволок его до двери. Неимоверным усилием Владик оттолкнул обоих и пообещал с порога, запинаясь, но весьма решительно:

— Я вам докажу. Всем вам — неверные и невежды. Я сам пойду по следам этого оборотня, будь он трижды проклят. Вы все убедитесь, что он такой же генеральский отпрыск, как наша мадам Ланжу — орлеанская девственница...

С порога послышался голос, который всех заставил вскинуться.

— Добрый вечер, господа, — сказал Андрей Долматов. Никем не замечаемый, он уже давно стоял у двери. Правая рука его висела на свежей перевязи.

— Как... Как вам удалось... — пролепетала мадам Ланжу.

— Вас отпустили? — спросил Аскар-Нияз.

— К моему удивлению, очень быстро, — ответил Андрей. — И даже доставили сюда в казенном экипаже.

— Да хранит вас бог, — сказал Хюгель. — Но то, что вас отпустили, может обернуться для вас весьма худо. Мусульмане слепы и свирепы. — Он, словно извиняясь, посмотрел на Аскар-Нияза. — Я имею в виду — фанатичные мусульмане!

Мадам Ланжу часто-часто заморгала.

— Мне так неловко, дорогой Андре! Видит бог, как я сожалею, но уважаемый Мирахмедбай опечатал вашу комнату и запретил пускать вас в дом. Простите меня, но я всего лишь слабая женщина.

— Вы зря волнуетесь, мадам, — сказал Андрей, — я ухожу. — Он толкнул ногой дверь.

— Я с вами, — сказал Аскар-Нияз и затянул ремень на френче.

— И я, — тихо произнесла Ася.

— Не делайте глупостей, фрейлейн. — Хюгель хотел задержать Асю, но она отстранила его.

Здоровой рукой Андрей пожал ее пальцы.

— Я же завороженный, Асенька, — сказал он так, чтобы слышала только она, решительно повернулся и попал в объятия Мирахмедбая.

— Хвала аллаху! — протрубил Мирахмедбай, вталкивая Андрея обратно в гостиную. — Возвращайтесь, садитесь и не помните зла, ибо сказано, что только шайтан живет без надежды на лучшее.

— Что случилось, почтенный? — спросил Аскар-Нияз.

— То, что должно было случиться, — ответил Мирахмедбай, садясь и отирая лицо и шею. — Мусульманский отрок Касым нашелся.

— Где мальчик? — спросил Хюгель. Он не смог скрыть изумления.

— В мечети Янги-Ай под опекой непорочного имама Азиз-ходжи. — Мирахмедбай воспользовался паузой, отдышался и сказал, доверительно наклонившись к Андрею и положив на его плечо свою руку, украшенную перстнями и кольцами: — Именно в эту святую обитель я и сам поместил бы бедного отрока, ежели бы вы, господин Долматов, так не упорствовали и не препятствовали мне. Вот за то и наказал вас аллах. Но ушедшее — как ночь. Будем жить без злобы. Вот ваши ключи.

Он торжественно протянул ключи Андрею.

— Боже! — воскликнула Ася. — Какое счастье!

— Откуда взялся мальчишка? — спросил Аскар-Нияз.

Мирахмедбай ответил не Аскар-Ниязу, а Хюгелю:

— Непорочный Азиз-ходжа направился к вечернему намазу и увидел во дворе мечети отрока Касыма, словно с небес сошедшего, живого и невредимого. Велик аллах.

Он помолчал и, глянув на Аскар-Нияза, добавил:

— Но убытки, которые я понес из-за гнилых смушек, прощать не собираюсь...

— Лучше бы напомнить мне об этом наедине, почтенный, — вспыхнул Аскар-Нияз.

Мирахмедбай молитвенно поднял руки, давая понять, что разговоры окончены, и скрылся.

Аскар-Нияз поднял покрасневшие глаза.

— Скотина, — сказал он по-узбекски, — грязная толстая скотина! — стукнул кулаком по столу и беспомощно посмотрел на Андрея. — Запутался я, — произнес он горько. — Тысяча гнилых смушек, и на каждой — мое клеймо. Облапошили меня! Как — не пойму! Я, конечно,

не специалист по этому проклятому каракулю, но уж дерьмо от конфеты все-таки отличаю.

— Слушайте, поручик, — спросил Андрей, — вы не помните, при каких обстоятельствах сообщил вам Мирахмедбай об убытках?

— Да ничего особенного, — ответил Аскар-Нияз, — хотя погодите! — Лицо его из сосредоточенного едва ли не сразу стало свирепым. — Он предложил мне выход, шакал! — произнес Аскар-Нияз задыхаясь. — Предложил искупить мою вину перед исламом верной службой. Какой именно службой, не сказал, но сперва сунул мне под нос вонючую шкурку с моим клеймом. Это же шантаж! Как я сразу не понял!

— Тише! — предупредил Андрей, покосившись на мадам Ланжу. — Я не спрашиваю, чего от вас хотел добиться Мирахмедбай, меня это волнует мало. Но, несомненно, вас хотели запугать.

— Я убью его, — спокойно произнес Аскар-Нияз, — сейчас убью.

— Успеете, — Андрей остановил его, — если завтра найдут труп Мирахмедбая — это вашей чести не спасет.

Аскар-Нияз в бессильном бешенстве мотал головой. Внезапно его осенило:

— Значит, все это провокация? Значит, здоровые шкурки, принятые мной, должны сейчас лежать на пограничном складе у толстого Абдурашида? Так?

Хюгель поспешно запер гараж и прошел в дом. Шейх ожидал его в вестибюле. Он поклонился Хюгелю, сохраняя достоинство, хотя и видел, как негодует хозяин.

— Ты с ума сошел, — воскликнул Хюгель, усаживаясь в кресло. Он отстриг кончик у сигары; шейх поднес огонь. — Мальчишка в мечети. Я узнал об этом, но не от тебя узнал! Сперва ты скрыл от меня, своего друга, что этот Касым — твой младший сын. Затем — историю с похищением. Ты не дал мне знать ни о чем, хотя хорошо понимаешь, как интересует меня все, что связано с этим проклятым русским. Да и с узбеком-офицером — не меньше. Ты молчишь, Гариби, а я требую ответа, и ты хорошо знаешь, по какому праву я требую, чтобы ты был откровенен со мной, как с богом. Не бойся, не стану напоминать, что я спас тебя. Это было бы неблагородно. Я напомню тебе только, что здесь, на Востоке, я

представитель фюрера и великой Германии. — Хюгель встал, с треском вытащил ящик из стола, извлек пакет, украшенный свастикой, обрезал краешек, достал плотный лист с машинописным текстом и протянул его шейху.

— Надеюсь, мои уроки не прошли даром, — произнес он небрежно, — немецкий ты разберешь? Я хочу, чтобы тебе стало стыдно: за доверие, заботу ты платишь изменой. Да-да! И не пяль на меня глаза! Сейчас ты будешь каяться. Держи!

Шейх пытался разобрать строки, напечатанные четким шрифтом.

— Что означает «ауф-эр-леген»? — с трудом прочел он по складам.

— Дай сюда! — Хюгель отобрал у него бумагу. — Я тебе сам все переведу. Слушай и вникай, ибо это голос самого фюрера. Яволь, — и он прочел торжественно и резко:

— «Герру Гельмуту Хюгелю — действительному тайному советнику рейхсканцелярии. Для секретного сообщения шейху северных курдов Гарибы Второму...» Так... Это тебя не интересует. Вот! «...считать, что санкционированной фюрером, важнейшей заботой великой Германии после грядущей очистки Среднего Востока от засилья английской плутократии и тлетворного влияния русского большевизма явится освобождение северных курдов и предоставление им полной самостоятельности под знаменем шейха Гариби и под моральной эгидой «третьего рейха».

В свою очередь, в священной борьбе за новый правопорядок и достойное будущее человечества рейх рассчитывает на посильную помощь: со стороны шейха Гариби и иных курдских вождей, преданных фюреру и Германии. Хайль Гитлер!

Берлин — Потсдам,
11 июля 1935 г.».

Хюгель окончил чтение и торжественно поднял над головой плотный глянцевитый листок.

— Я вижу, ты все еще сомневаешься, — он развел большие ладони в стороны и запрокинул голову. — О майн готт! Чем еще убедить этот дремучий Восток? — Хюгель бросился к сейфу, бесшумно отпер его и вытащил хрустящую голубую бумажку. — Смотри, — сказал он, — наверное, это произведет на тебя большее впечат-

ление, чем имперский документ! Ты видишь? Это чек. Чек на солидную сумму — полмиллиона! Вот посмотри, убедись и возьми этот чек себе. Он твой, он для твоего народа, в который Германия верит.

Шейх озабоченно осмотрел голубую бумажку, погладил ее шершавой ладонью и спрятал на груди под халатом.

— Когда можно получить деньги? — спросил он глухо.

— Хоть завтра в любом банке, — резко выкрикнул Хюгель. — Нет! Именно завтра. Зо! Завтра, потому что послезавтра надо действовать.

— ...Ты спас меня, господин Хюгель. Русский защитил моего сына. И тебе, и ему поклялся я бахтом своим. А жизнь у меня одна. Так кому из вас платить вперед? Не скрою, я, которого называли железным вождем, колебался: нужно ли выручать этого русского? Но Газими, мальчишка, пристыдил меня. Он настоящий курд. Он понимает, что такое долг. Он сказал, что сбежит или погибнет, но сделает так, чтобы все узнали: Долмат не похитил его, не убил. Тогда я сам отвел сына в мечеть Янги-Ай. Отвел и сказал преподобному Азиз-ходже, если с Газими, да не допустит того аллах, случится худое, я оторву башку имаму и выброшу ее грязным псам. Имам знает, что слово мое — кремень.

Что поделаешь: пришлось раскрыться перед Азиз-ходжой и, выходит, перед всей узбекской знатью. Но у меня не было иного выхода. Кому-то захотелось сдуру убрать Долмата. Не иначе господину Шахруху. Вот он и взбудоражил мусульман. Если бы Газими не показался вчера с минарета взбудораженной толпе, русскому был бы конец.

— Ослиная голова этот Шахрух, — сказал по-немецки Хюгель, — политик из него, как из бабы фельдфебель. Да и ты хорош. Спасибо, хоть теперь рассказал обо всем по чести. Я, конечно, высоко ценю благородство, но только не по отношению к врагу, мой дорогой.

— Русский — настоящий мужчина.

— Слепец! — вскричал Хюгель. — Он водит вас всех за нос, как не понимаешь ты этого? Ты — мудрец, вождь!

— Зачем понадобилось ему дурачить меня? Да подлецы и не закрывают никого грудью своей.

Хюгель смешался. Ярость душила его. Но он не на-

ходил слов, чтобы возразить шейху. Он долго молчал и курил сигару.

— Надо кончать, — произнес он хмуро. — Кончать со всем. Жив еще этот задрипанный Гусейн-заде?

— Самым простым делом для меня было — утащить его.

— Ладно! — перебил Хюгель. — То, что ты средь бела дня шахского наследника из спальни украдешь, мне известно.

—Что делать с Гусейном? — спросил шейх.

— Выгони на все четыре стороны. А для стратегии я только что дал тебе немалые деньги.

— Зачем они сейчас?

— Собери курдов, которые скитаются без крова и пищи, таких в этой стране наберется не одна тысяча. — Глаза Хюгеля заблестели. Он повел шейха к карте, висевшей на стене, и обвел пальцем кружок. — Пусть разобьют лагерь в долине.

— Там, где развалины крепости? — спросил шейх.

— Да! — обрадованно подтвердил Хюгель. — У этой старой крепости они будут жить с женами и детьми. Ты понял? Бедные курды со своими семьями.

— К чему там женщины и дети?

— Пусть живут, пусть кормятся на наши деньги, пусть молятся аллаху и ждут Большого дня. И они, и ты узнаете о нем позже, а пока делай, как я говорю.

— Жандармы опознают меня, едва я начну созывать курдов, а веревка для моей шеи уже давно намылена.

— Чудак, — Хюгель усмехнулся, — я же тебе говорил не раз: шейх Гариби погиб. Это официально подтверждено мною и тремя жандармскими чиновниками ровно год назад. Труп твой опознан нами и зарыт в глухом месте, без каких бы то ни было указаний на могилу, чтобы не разжигать стадных и религиозных чувств у курдов. Да и физиономия у тебя теперь неузнаваема. Я ведь не зря пригласил к тебе лучшего хирурга из немецкого госпиталя. — Хюгель бесцеремонно раздвинул пальцами растительность на лице у шейха и погладил розовый рубец у него за ухом. — Не больно? — спросил он с чрезмерной участливостью.

— Больно, — ответил шейх, держа голову все так же неподвижно.

Абдурашнд не знал, что в это время в нх погранчном селенин уже объявился Аскар-Нияз.

Юзбаши промчался по улице галопом на коне, одолженном у своего бывшего подчнненного узбека: тот встретнл Аскар-Нняза на станции. Аскар-Нияз спешился у склада, быстро привязал коня к столбу и, сбивая на ходу нагайкой пыль с сапог, вошел во двор.

— Спишь, малай худородный? — крикнул нздалека Абдурашид слуге, которого небрежно оттолкнул Аскар-Нияз. — Сколько раз говорено тебе: никого во двор не пускать!

— Это я, почтенный Абдурашид-ака, — сказал Аскар-Нияз и без церемоний подошел к супе. Кряхтя и всем своим видом выказывая недовольство, Абдурашид сел н свесил голые ноги в чувяках.

— Как здоровье досточтнмого Мирахмедбая, да пошлет аллах благополучне его дому? — вяло произнес Абдурашнд.

— Здоров как мул, — ответил Аскар-Нияз н приступил к делу. Он достал из походного мешка шкурку, остро пахнущую гнилью, и кинул ее на колени Абдурашиду.

— А-а, — сказал Абдурашнд и снова смежил очи. — Надули вас эти голодранцы. Надули, как последнего мальчишку. Ай-ай-ай! — Он даже языком прнщелкнул от огорчения, понюхал, не поморщившись, даже вроде бы с удовольствием, шкурку и потер пальцем фиолетовое клеймо, хорошо заметное на белой мездре... — Вот он здесь ваш знак, юзбаши. — Абдурашид развел толстыми рукамн. — Ничего не поделаешь.

Аскар-Нияз глубоко втянул в себя воздух, раздув тонкие ноздри. Янтарные глаза его обшарили огромный двор и остановнлись на распахнутой двери. Это был хозяйский вход на склад. Не говоря ни слова, Аскар-Нняз побежал туда. Размахивая нагайкой, он разогнал рабочих, которые устронлись на складском полу за скудной трапезой, и взобрался на гору тюков. Он начал швырять тюки вниз, едва не угоднв одним нз них в Абдурашида, который вкатился на склад, возмущенно вопя. Вслед за толстяком появился свирепый усач Селим Мавджуди.

— А ну, постой-ка, парень! — крикнул он хорошо поставленным командирским голосом. — Ты что, сдурел?

— Заткнись, падаль! — хрипя от натуги, ответил Аскар-Нняз. — Не забывай, баран, что ты обращаешься

к юзбаши и к сыну святого Ходжи-Нияза. — Он нашел то, что искал. Это были шесть тюков, помеченных его клеймом. Все шесть лежали один к одному точно так же, как он их оставил здесь три недели назад. Аскар-Нияз наступил ногой на свои тюки, вытащил платок и вытер мокрое лицо, шею и грудь. Он дышал, как загнанный конь.

— Я еще спущу толстую шкуру с того, кто посмел выставить меня жуликом, — пообещал Аскар-Нияз.

— Слезай сейчас же, шайтан! — завопил Абдурашид.

— Взять его! — начальственно велел рабочим Селим Мавджуди. Но люди в лохмотьях сбились в кучу и не шевелились, наблюдая испуганными глазами за всем происходящим на складе.

Сыпля ругательства, толстый Абдурашид сам полез наверх. Вслед за ним, гневно сверкнув глазами в сторону рабочих, начал подниматься и сержант Селим Мавджуди.

— Именем закона и шаха вы арестованы, — крикнул он.

Аскар-Нияз только усмехнулся. Он подождал, пока Абдурашид поднимется, и умело хлестнул нагайкой по его широкой физиономии.

— Вой-бой! — закричал Абдурашид. — Он погубил меня, шайтан. Он вышиб мне глаз! Что же вы, мусульмане! Хватайте его!

Селим Мавджуди вытащил из кобуры наган и приказал:

— Руки вверх!

Аскар-Нияз сделал шаг к нему и взмахнул нагайкой. Выстрел грохнул, отдавшись под потолком. Наган Селима Мавджуди полетел в сторону, а сам сержант, ухватившись за локоть, сполз на пол. Двумя прыжками Аскар-Нияз догнал Абдурашида и начал методично хлестать нагайкой по его покатой спине и шее. Толстяк упал, закрыв своим телом проход. Аскар-Нияз перешагнул через Абдурашида, плюнул на него, вышел, вскочил на коня и умчался.

За полночь он вернулся в город. Дом Мирахмедбая спал. По внутреннему переходу Аскар-Нияз прошел на половину, где жил хозяин. Сонный слуга приоткрыл входную дверь.

— Подними Мирахмедбая, — велел Аскар-Нияз.

Ворча и кашляя, в коридоре появился Мирахмедбай в толстом халате, накинутом на голые плечи.

Аскар-Нияз вошел в коридор, достал из-за пазухи шкурку и подал ее Мирахмедбаю.

— На клеймо взгляните, почтеннейший, — прошипел Аскар-Нияз. — Чье оно? Не сына ли Ходжи-Нияза, которого вы обрызгали своей грязной слюной?

— Пошел вон! — велел Мирахмедбай. — Ты пьян.

Тогда Аскар-Нияз распял шкурку и прижал ее к лицу Мирахмедбая. Слуга бросился на Аскар-Нияза сзади, но поручик лягнул его в живот. Захлопали двери. На вопли слуги и хрипение Мирахмедбая выскочили из многочисленных комнат люди. Аскар-Нияз отбивался от них, пока не упал, сбитый с ног чьим-то могучим кулаком.

— Запереть в подвал! — приказал Мирахмедбай. Халат сполз с него, и он стоял перед сыновьями и слугами в постыдном виде, но не замечал этого: ярость душила его.

Трое дюжих мужчин повели Аскар-Нияза к двери.

— Погодите! — крикнул вдогонку Мирахмедбай. — Вот фонарь. Возьмите. — Он торопливо зажег «летучую мышь» и подал ее одному из своих сыновей. Парень убавил пламя и подтолкнул Аскар-Нияза в спину.

В то же мгновение Аскар-Нияз вскинул ногу и ударил носком сапога по фонарю. Фонарь вылетел из рук опешившего парня, стукнулся о стену и разбился. Вспыхнул разлившийся керосин, раздались растерянные крики, загорелись обои и ковер, покрывавший пол.

Аскар-Нияз сквозь огонь рванулся к двери и выскочил на улицу. За ним погнались, но он выиграл несколько секунд. Этого оказалось достаточно, чтобы скрыться.

* * *

Аскар-Нияз не впервые уходил от погони и потому быстро запутал преследователей. Час спустя он постучался в ворота мечети Янги-Ай. Сонный служка не решился его впустить.

— Именем пророка! Подними самого Азиз-ходжу, — сказал Аскар-Нияз. — Передай, что здесь сын Ходжа-Нияза Бухарского.

Скрипнул засов.

— Что стряслось, юзбаши? — спокойно спросил

Азиз-ходжа. Настоятель узбекской мечети был еще не стар. Жесткая красивая бородка окаймляла его мужественное лицо. — Входи! — Азиз-ходжа двинулся к темному порталу мечети. Аскар-Нияз следовал за ним. Они поднялись по стертым кирпичным ступеням. Имам остановился у невысокой двери, погремел ключами и впустил Аскар-Нияза в сводчатую узкую хиджру.

* * *

Толпа молящихся, похожих друг на друга как близнецы, — все они были в белых чалмах — влилась во двор мечети Янги-Ай. Люди шли, поглощенные мыслями о себе и о боге, и никто, конечно, не заметил человека в таком же одеянии, как и у всех, который под сумеречными сводами отстал, боком втиснулся в узкую щель в стене и исчез.

Молчаливый служка уже ждал Хюгеля. Он взял немца за руку, повел по пустынным, темным переходам, наконец оставил одного в просторной комнате. Хюгель не успел оглядеться, как из-за полога появился имам Азиз-ходжа. Сам того не замечая, Хюгель нагнулся в поклоне, прижав по-мусульмански руку к сердцу, а имам так же естественно благословил его жестом и предложил сесть на ковер.

— Я буду предельно краток, — сказал Хюгель, — я должен знать, кто поведет узбекских мусульман к святой могиле.

— Мусульман поведет священное негодование, возмущение тем, что большевики оскверняют могилу Ходжа-Нияза Бухарского, принявшего двенадцать лет назад мученическую смерть от рук неверных.

— Ходжа-Нияз похоронен рядом с усыпальницей курдского святого... Как его?

— Блаженного Латифи, — строго произнес имам.

— И об этом до сих пор никто не знал?

— Даже мне об этом стало известно не так давно, — сказал имам. Он помолчал, перебирая четки, и продолжил, не глядя на Хюгеля, а как бы общаясь сразу с целым миром: — Вчера ночью в мечеть явился юзбаши Аскар-Нияз. Он бежал сюда от мирской суеты, заму[illegible]ившей его. Я сообщил Аскар-Ниязу о том, что его праведный отец объявлен святым, что преданные люди отыска-

ли могилу, но она, увы, осквернена неверными, продолжающими свои надругательства.

Хюгель с восхищением посмотрел на имама и даже сдвинул набок чалму. Красивое лицо Азиз-ходжи было по-прежнему непроницаемо.

— Как же он воспринял все это? — спросил Хюгель об Аскар-Ниязе.

— Так, как воспринимает на Востоке каждый мужчина весть о святотатстве по отношению к праху отца, — сказал имам и все-таки добавил: — Мои люди разыскали нескольких сподвижников Ходжа-Нияза. Эти седобородые рассказали Аскар-Ниязу о мученической смерти его отца. К тому же сегодня утром явился истерзанный перебежчик с советской стороны. Он принес фотографию из русского журнала: рядом с мусульманской гробницей — железная вышка! — глаза имама возмущенно сверкнули: — Большевики бурят святую землю. Грязным железным прутом пронзили они еще не истлевший прах Ходжа-Нияза.

Хюгель не сдержался и подмигнул имаму, но тот и бровью не повел.

— «Если это даже могила не моего отца, все равно в отместку за подобное кощунство мало крови всех комиссаров» — так сказал Аскар-Нияз. — Имам сложил руки на коленях.

— Значит, Аскар-Нияз поведет мусульман? — спросил Хюгель.

— Я уже сказал вам: праведный гнев поведет людей.

— Да, да, — согласился Хюгель. Он вытащил из-под ватного халата хрустящий чек и сказал: — У мечети возникли, как я понимаю, непредвиденные расходы? — Он протянул чек имаму.

Тот едва скосил глаза, на миг они сверкнули, но тут же он овладел собой и произнес:

— Положите на блюдо. Мой служитель разберется.

Хюгель вышел, пятясь, но у порога кинул на имама одобряющий взгляд и бесшумно похлопал пальцами о пальцы.

— Прошу! — Хюгель открыл дверцу, и Шахрух юркнул в автомобиль. Молча доехали до бульвара, и лишь потом, когда машина выскочила на шоссе, Шахрух произнес не без раздражения:

— Герр Хюгель, неужели нельзя избавить меня от необходимости играть в ваших спектаклях? Можно ведь было открыто встретиться в моем доме или в кафе?

Хюгель кивнул напомаженной головой.

— Яволь, — сказал он. — Я согласился бы с вами, если бы не прошел в свое время прекрасной специальной школы в Мюнхене. Да-да. — Он взглянул через плечо на Шахруха. — Перед вами, майн герр, один из тех, на кого опирался Адольф Гитлер еще в ту пору, когда наши либералы спорили, что лучше — коммунизм или национал-социализм. Теперь они уже не устраивают дискуссий. Зо! И у вас, очевидно, на этот счет сомнений тоже нет?

— Национал-социализм на Востоке отнюдь не то же самое, что на Западе, — не очень уверенно возразил Шахрух.

— Да! — с неожиданной горячностью воскликнул Хюгель. — Сто раз — да! Но вы — один из предводителей нового спасительного для вашей страны движения. Вы ли не обязаны учитывать наш немецкий опыт? Ну, довольно дискуссий. Мы отвлеклись.

— Надо убрать Долматова, — как давно обдуманное, произнес Шахрух.

— Глупо, — бросил Хюгель. — Убрать только потому, что он вам несимпатичен!

— Курды не лучше, — мрачно вставил Шахрух.

— Вы опять уходите от главного. Мне тоже подозрителен Долматов, но я сам готов оберегать его даже от простуды, пока не узнаю, какое задание он выполняет. Вот в этом деле я рассчитывал на вашу помощь. Но на помощь разумную, — он подчеркнул голосом последнее слово.

Шахрух молчал, почесывая наманикюренным мизинцем тонкую полосочку усиков.

— Прежде всего, коль мы уже заговорили о Долматове, суммируйте, пожалуйста, ваши доказательства, убеждающие в том, что он — большевистский агент.

— Извольте... Вам, надеюсь, известно, что современной разведке не так уж трудно подготовить любого двойника: моего, вашего, даже копию шахини с родинками на соответствующих местах.

— Допустим, но и в этом случае доказательством служит несовпадение. А вы всегда отмечали лишь сходство этого Долматова с тем, которого знали вы. Ну, хо-

рошо, допустим так. Он — двойник. Он пришел сюда с заданием. Зачем же в таком случае, — размеренно спросил Хюгель, — вам, господин Шахрух, понадобилось вызывать ярость черни по отношению к Долматову, распускать слухи о ритуальном похищении мусульманского ребенка? Ну, растоптали бы Долматова науськанные вами фанатики. А дальше? Для чего он появился здесь, с кем он связан? Кто бы ответил нам на эти вопросы?

Шахрух молчал, надувшись.

— Да-а, труп врага хорошо пахнет... — Хюгель хмыкнул. — Но сдерживайте свои восточные страсти, коли взялись за большое, общенациональное дело. Думайте о спасении вашей несчастной страны, а для этого нужно быть стратегом.

Шахрух хотел что-то сказать, но Хюгель остановил его повелительным жестом.

— Пусть Долматов пока пребывает на свободе. Не он нас должен заботить теперь. Главное — поход оскорбленной и разгневанной орды мусульман, курдов и узбеков к советской границе. Выстрелы по безоружным борцам за веру должен услышать весь Восток. Именно поэтому Берлин вновь настойчиво запрашивает, обеспечена ли этому походу поддержка властей? — Хюгель говорил по-немецки, и Шахрух, с удовольствием произнося чужие слова, отвечал на том же языке:

— Можете успокоить Берлин.

— Значит, если я вас правильно понял, на самом верху поддержат нашу акцию? Я имею в виду, разумеется, стихийно возникшее шествие оскорбленных мусульман...

— На самом верху обещают не препятствовать.

Хюгель наклонил голову:

— А если русские не откроют огонь?

— Увы! — Шахрух сокрушенно развел руками, хотя глаза его были все так же сощурены. — Подчиняясь уставу, наши посты все равно вынуждены будут открыть огонь по черни с фланга. Чтобы отсечь толпу от границы и отогнать ее прочь.

Они успели объехать гору и приблизились к особняку Шахруха с восточной стороны. Не доезжая до белокаменного дома, Хюгель бесшумно притормозил.

— Благодарю вас, господин Исмаили, — произнес он несколько напыщенно и продолжил: — От имени рейха... — Хюгель отогнул накрахмаленный лацкан у пид-

жака Шахруха и приколол с внутренней стороны крохотный значок.

Скосив глаза, Шахрух посмотрел на свастику в желтом кружке и улыбнулся.

Сержант Селим Мавджуди собрался возвращаться к месту службы — на границу. Он стоял посреди пустого зала «Розы Ширака» и отдавал последние приказания буфетчику.

В углу в одиночестве сидел за своим обедом русский радиотехник Долматов.

— Уезжаете в Пограничный? — спросил он у сержанта и добавил, вздохнув: — Мне туда просто позарез надо...

— За кладом? — Селим Мавджуди покрутил пальцем у виска.

— Да... — сказал Андрей, решительно взмахнув рукой. Он взял салфетку и быстро начертил на ней незамысловатый план. — У самой стены против третьей двери, — объяснил он. — Полагаюсь на вашу честность, господин сержант, пятнадцать тысяч вам, пятнадцать — мне. Все лучше, чем пропадать добру.

Селим Мавджуди побагровел.

— Вот что, Долмат, — произнес он зловеще. — Ты меня хуже чем за дурака принимаешь. — Он взревел: — Я тебе не сосунок какой-то! Я мужчина и не позволю, чтобы каждый мне в лицо плевал.

— Против третьей двери, не забудьте, — сказал вдогонку сержанту Андрей. Он расплатился с растерянным буфетчиком и ушел по своим делам.

* * *

Кривая улица, ведущая к складу Султанбека, была еще светла; в последних лучах солнца струилась блестящая пыль. Из-за глиняных дувалов возносились дымки. В воздухе стоял запах жареного мяса. Был час мусульманской трапезы. И тут показался сержант Селим Мавджуди; он был весь в поту, даже усы обмякли.

Он заглянул в приоткрытую дверь склада.

— Долмат! — позвал он; возбужденные глаза его горели. — Выйди на пару слов.

— Что тебе? — спокойно спросил Андрей.

— Долмат, я всю свою жизнь на карту поставил, — проникновенно зашептал Селнм, — первый раз за пятнадцать лет бросил пост. — Он оглянулся. — Всего на одни сутки броснл. Через два часа поезд, я обратно поеду. Вот твоя доля. — Он достал из кармана тряпичный узелок и протянул его Андрею. — Здесь пятнадцать тысяч. Можешь проверить. Пятнадцать — тебе, пятнадцать — мне. А толстый Абдурашид и так не сдохнет.

— Нет, — сказал Андрей. — Отдай ему, как обещали. — Он развернул тряпицу и вытащил одну бумажку.

— Стой! — придержал его за руку сержант. — Из своих отдам, — сказал он, заискивающе заглядывая в глаза Андрею. — Ты не врал, Долмат, — произнес он торжественно и вдруг взмолился. — Но это же не все? Скажи, ради аллаха! У тебя же, наверное, еще немало осталось.

— Там мон деньги остались! — Андрей показал глазами на север и вздохнул. — Все равно не достанешь.

— Нет! — взволнованно возразил сержант и зашептал: — Наши ходят туда. Часто ходят. Ты только скажи, куда зайти, где найти, а остальное — моя забота.

— Обманешь, — сказал Андрей. И вдруг его словно прорвало. Он схватил сержанта за отвороты кителя и притянул к себе. — Смотри, Селим, ты дал мне надежду. Какую надежду! Если будут деньги, значит, я уже завтра — человек! Но еслн ты у меня их отнимешь, мне терять нечего. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Сколько там? — спросил сержант, тяжело дыша.

— Пятьсот тысяч в долларах, — ответил Андрей, не глядя на Селима. — Десять бумажек, по пятьдесят тысяч каждая.

— Вот тебе, — сержант достал из сумки чековую книжку. — На! Пусть я буду у тебя в кабале. Здесь все мое состояние. Все, что я скопил за мою каторжную жизнь. Ну, давай, пнши адрес.

Андрей достал блокнот и быстро черкнул: «6-й Саларский проезд, дом 3. Плотникова Антонина Семеновна».

— Пусть только твой человек выучит адрес наизусть, а бумажку уничтожит.

— Не беспокойся! — Селим дрожал от возбуждения. — Стреляный волк собирается туда.

— Не хочу знать, кто он, твой стреляный волк, — сказал Андрей и небрежно прикоснулся к карману, в ко-

тором спрятал только что полученные от сержанта чеки. — Мы теперь с тобой одной веревочкой связаны. Надежный человек — твоя забота. Запомни, к Плотниковым надо постучаться ровно в шесть утра. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Это условный знак, что человек пришел надежный. Тогда откроет пожилая женщина.

— А потом? — нетерпеливо спросил сержант.

— А потом нужно сказать: «Наследник делит наследство». — «Когда?» — спросит Антонина Семеновна. Пусть ей ответят: «В начале осени». После этого Плотникова вынесет деньги. Десять купюр по пятьдесят тысяч долларов.

— Я запомнил! — поспешно заверил Андрея Селим Мавджуди. Он пожал руку Андрею и пошел прочь, но, сделав несколько шагов, вернулся.

— Да, Долмат, учти, — произнес он, пряча глаза, — делить придется на троих. Тому, кто пойдет, — тоже равная доля.

— Торговаться не будем, — сказал Андрей. — Был бы человек посноровистей, чтобы не попался чекистам. А обо мне ему лучше не говорить.

Селим Мавджуди взглянул обиженно, так, будто хотел возразить:«Ну что я, маленький?» Нетерпение подстегивало его. Он юркнул в первый переулок и исчез.

Одному ему известным ходом Селим Мавджуди прошел в ресторан, а оттуда, никем не замеченный, пробрался к спальне мадам Ланжу.

— Безумная голова! — упрекнула мадам восторженным шепотом и втащила сержанта в маленькую боковую комнатку. — Ты прибежал ко мне тайком? — спросила она с девичьим восторгом.

Сержант сопел. Глаза его беспокойно бегали.

— Я очень спешу, мадам Шарлотта. В семь вечера поезд, а если меня завтра не будет на посту, капитан мне башку с плеч снимет.

— Когда это кончится. — Мадам Ланжу вздохнула. — Когда ты наконец бросишь свою службу и будешь совсем, совсем рядом. — Она прижалась к сержанту, к счастью, не заметила тоскливого и отчаянного взгляда, который он бросил поверх ее обнаженного плеча на часы, стоящие на комоде... Сержант механически поцеловал это плечо, приторно пахнущее кремом, и произнес как мог спокойнее:

— Повезет мне с одним делом, мадам Шарлотта, и я поселюсь на веки вечные здесь, в доме Мирахмеда.

— Ты мне, конечно, как всегда, не скажешь, что за дело, — мадам приложила пальчик к губам сержанта. — Ну и не надо. Я буду молиться, чтоб тебе повезло.

— Ладно, — сказал Селим и зашептал горячо: — Никакой политики, дело сугубо денежное. В Ташкенте, у мадам Плотниковой, спрятаны деньги Андрея Долматова. Вернее, не его, а старого генерала Долматова.

— И много? — скептически поинтересовалась мадам.

— М-м... в долларах пятьсот тысяч.

— Боже, Селим, — мадам погладила его по небритой щеке, — как ты все-таки наивен, друг мой. Неужели Андрей Долматов не мог бы пронести несколько бумажек через границу?

— Он правильно сделал, он не баран, — не без бахвальства сержант добавил: — Долмат переходил на моем участке в открытую. От меня бы он свои доллары не утаил, нет... И потом, есть еще доказательство. Вот. — Не без колебания извлек он из потайного кармашка бумажную купюру и показал ее мадам Ланжу. — Это из тех, что старый Долматов спрятал в Пограничном городе.

Теперь мадам посерьезнела и сразу превратилась в стареющую деловую женщину.

— Один человек собирается идти на ту сторону как раз для того, чтобы вывести Долматова на чистую воду, — произнесла она будто про себя и вновь внимательно осмотрела купюру. — Да, сомнений не вызывает... Что ж, пусть он заглянет и к этой Плотниковой. Опасность, конечно, имеется, но человеку этому обычно помогает фортуна.

— Кто такой — человек? — Селим пытался изобразить неведение, но удавалось ему это плохо.

— Князь Синяев. Будто ты не знаешь! — Мадам Ланжу продолжала рассуждать вслух: — Не может быть, чтоб Долматов все так тонко рассчитал... С другой же стороны, если открыть Синяеву, что к деньгам причастен Долматов, он к Плотниковой не пойдет... Но это же полмиллиона... Да, чтобы выиграть, надо, как всегда, рискнуть, — и вполне профессиональным тоном мадам потребовала: — Пароль!

На следующий день князь Владислав Синяев исчез. Последним, кто видел его, был эмигрант Терский. Он столкнулся нос к носу с Синяевым, когда тот выходил из жандармского управления.

— Я полагал, князь, вы осуществляете сугубо приватный сыск, — с присущим ему ехидством произнес Терский, показав глазами на чугунные ворота.

— Идите вы к дьяволу! — выругался Владик.

Одет был Синяев как обычно: белые галифе и начищенные хромовые сапоги.

— Маскарадный костюм у вас припрятан на границе? — Терский задумчиво почмокал губами и пошел к особняку Хюгеля.

Сам хозяин открыл ему дверь и поспешно провел его в гостиную.

— Ушел, — сказал Терский о Синяеве, — получил, конечно, жандармское благословение, хотя и хвастался, что все делает самостоятельно.

— Не только благословение, — сказал Хюгель, — жандармерия тоже решила устроить окончательную проверку и получить улики. Так что в случае успеха Синяева ждет приличный гонорар. — Упомянув о деньгах, Хюгель подошел к сейфу, вмурованному в стену, бесшумно отпер его, достал несколько бумажек, отложил две обратно, а оставшиеся небрежно протянул Терскому.

— Итак, следить за Долматовым, обнаружить, наконец, связь. В центре внимания — отношения с Аскар-Ниязом и с фрейлейн Антоновой.

Терский с деланной небрежностью спрятал деньги.

— От последнего поручения увольте, — произнес он, вздохнув. — За отношениями Долматова с дамами я, увы, уследить не в состоянии. Видите ли, существует такое понятие, как мужская порядочность.

— Бросьте кривляться! — остановил его Хюгель. — Вы хорошо понимаете, что меня интересует.

— Как говорят на Востоке: я вам верный пес. — Терский уже дошел до порога, но остановился и сказал вполне серьезно: — Если я вам, герр Хюгель, верный пес, это значит — я немецкая овчарка? Так, что ли?

— Да, если вам угодно, — раздраженно ответил Хюгель. — Вы мне надоели своим фиглярством. И постарайтесь не являться ко мне среди бела дня! Только в самых экстренных случаях.

— Хорошо, — Терский кивнул головой. Он вышел за

ворота, огляиулся на особияк, белевший за оградой из жасмина, и произнес виятио: — Так тебе и иадо, Семен Ильич! — пошел по улице, опустив плечи, словно на иих давил иепосильиый груз.

В доме у Антоиовых был праздиик. Аидрей понял это сразу, хотя в иизкой комнате было по-прежиему темио и ромашки иа столе увяли. Но Алексей Львович так молодцевато выбежал иавстречу Андрею, так крепко обиял его, что Андрей, догадавшись, спросил:

— Пришел ответ?

— Вот он! — торжествеиио возгласил Алексей Львович и показал Андрею бумагу, украшеиную советским гербом. — Асенька! — позвал он, — встречай Андрея Дмитриевича.

Аидрей быстро пробежал глазами написаиные иа машинке строки:

«Уважаемый Алексей Львович!

Полотиа, упомянутые в письме Долматова А. Д., действительно хранятся в запасииках нашего музея. Не экспонировались они по той причиие, что были сомнеиия отиосительио авторства, хотя иекоторые специалисты предполагали, что принадлежат они Вашей кисти. Теперь благодаря тем даиным, которые сообщил Долматов А. Д., экспертиза иеопровержимо устаиовила, что картины иаписаны именно Вами. Они присоединеиы к Вашей экспозиции, которая давио открыта в музее. В иее входят шесть картин и иесколько этюдов. Каталог мы Вам посылаем с иастоящим письмом. Просим сообщить, на какой баик перечислить вам гоиорар за три полотиа, которые были оценеиы комиссией соответственно в двеиадцать тысяч, в девять и в пять тысяч рублей. Возвратить Вам картины, даже в случае Вашего желания, мы не можем, так как по советскому закоиу они являются народным достояиием, как и все значительиые произведеиия искусства, иаходящиеся иа территории СССР. Мы полагаем, что Вы и сами предпочтете, чтобы Ваши произведеиия иаходились иа родине.

Искреиие желаем Вам здоровья и творческих успехов!

Директор музея Ш. Рахмаикулов,
ученый секретарь Л. Иванов».

— Ну, каково? — воскликнул Алексей Львович.

Из своей комнаты вышла Ася. Она тоже была радостна, большие глаза ее влажно поблескивали.

— Я не могла поверить, пока не увидела сама это письмо, — сказала она, сияя. — Какое счастье для отца, для меня! Оказывается, им это нужно.

— Что и кому? — спросил Андрей, целуя Асе руку.

— Большевикам — искусство. Подумать только: целая экспозиция отцовских картин! Здесь даже слушать о них не хотят, а в Дрездене три лучших полотна пылятся в запасниках: «Курдский праздник» и две «Горянки». Так, папа?

— Боже мой, — воскликнул Алексей Львович, — чего же я жду? Надо послать за шампанским, за тортом! Нет, лучше я сам схожу. Ты только, Асенька, не отпускай, ради бога, Андрея Дмитриевича. — На ходу поправляя длинную седую шевелюру, Алексей Львович убежал.

— Андрей Дмитриевич, — сказала она, помолчав. — Я не должна говорить о многом, но не могу ничего от вас скрывать. Особенно теперь. Я все скажу. Какое мне дело, в конце концов, до всей этой политики!

— Мне не хотелось бы, чтобы из-за меня...

— Слушайте! — перебила Ася. — Синяев пошел специально затем, чтобы изобличить вас.

Лицо Андрея выразило искреннее недоумение.

— Как вы не понимаете! Синяев проберется в Ташкент, в Москву, там есть люди, которые помогут ему узнать, тот ли вы человек, Андрей Дмитриевич, за которого себя выдаете.

— Вы должны уехать, Ася, — твердо сказал Андрей. — И вы, и Алексей Львович. Здесь вы погибнете. Вы — люди, они погубят вас. Вы знаете, о ком я говорю.

— Да, знаю, — и она с отчаянной надеждой спросила: — Вы возьмете нас с собой? Мы уедем в Париж?

— Нет, — ответил Андрей. — Вы должны уехать в Россию.

Что-то грохнуло в соседней комнате, будто нечаянно уронили тяжелую вещь.

Андрей рывком открыл дверь и вошел в мастерскую Алексея Львовича. Это была низкая двусветная комнатка, сплошь заставленная мольбертами, пыльными полотнами в подрамниках, ящиками из-под красок. В углу, у широкого окна, небрежно листая толстую

книгу, сидел на раскладном табурете Семен Ильич Терский. Он привстал и вежливо поклонился.

— Как вы смели... — в ужасе произнесла Ася.

— Вернее, я не смел, — произнес Терский, — не смел помешать вашему воркованию. — Он заметно волновался, лицо у него пошло пятнами, и появилось на нем, кроме обычной желчной раздраженности, откровенное выражение страха и, что было более странно, гòря — обыкновенного человеческого чувства, которое, казалось, недоступно Терскому.

— Вы все слышали? — спросил Андрей. Он стоял на пороге не двигаясь, и Терский тоже напряженно застыл.

— Да, — ответил Терский. Он смотрел в потолок.

— Ну и что же вы намерены делать?

— Доносить, — ответил Терский. — Доносить своим хозяевам. Разве это вызывает сомнение? — Он отвечал Андрею, но обращался к Асе. — Вы, конечно, господин Долматов или «товарищ», простите, не знаю, как уж вас назвать, постараетесь меня ликвидировать? Но не здесь, наверное, чтоб не компрометировать благородный дом.

— Нет, — сказал Андрей. — Вы мне не страшны. Да и убивать вас незачем. Вы уже давно мертвы.

— Эффектно! Хоть в мелодраму вставляй! — Терский попытался ехидно улыбнуться, но толстые губы его дрожали и кривились.

— Идите! — Андрей отступил, открыв дверь.

— О-ля-ля. — Терский боком пробрался мимо Андрея. — Вы ведете себя здесь как хозяин.

— Мерзость! — сказала Ася. — Ничтожество.

Терский втянул голову в плечи, будто его хлестнули кнутом. Он вышел пятясь.

Ася схватила Андрея за руку и на миг прижалась к нему.

— Теперь все, — сказала она глухо и поспешно начала сама себе возражать: — Нет, нет, нет! Надо что-то придумать. Надо действовать! Что же вы молчите, Андрей?

— Все идет как надо, — ответил он.

Три дня спустя ночью у герра Хюгеля раздался звонок. Хозяин сам подошел к аппарату, Шейх Гариби

уже две недели отсутствовал, Хюгель был несколько встревожен: неурочный звонок свидетельствовал о том, что произошло чрезвычайное, номер этого телефона был известен лишь узкому кругу особо доверенных лиц.

Звонила мадам Ланжу.

— Я в ужасе, герр Хюгель, — произнесла она дрожащим голосом, — этот русский журналист, господин Терский, с воскресенья не выходил из своей комнаты. Я полагала, он пьянствует. С ним это случалось. Но вот минуту назад я шла по коридору... Я не могу, герр Хюгель. Это жутко.

— Да говорите вы, черт побери! — Хюгель окончательно отбросил этикет.

— Из-под двери вытекла кровь, — простонала она. — Прямо мне на туфли. Кто-то убил его!

— Следите. Запомните все досконально! — коротко бросил Хюгель. — И скажите там вашим идиотам, пусть не вздумают звать полицию. Да! Где Долматов?

— Я точно не знаю, но, кажется, спит у себя.

— Кажется! — передразнил Хюгель в сердцах. — Сходите и убедитесь в этом и не выпускайте из виду ни его, ни остальных.

У комнаты Терского уже стояли Мирахмедбай и несколько обитателей дома. Мирахмедбай повернулся к мадам Ланжу.

— Запомните, ханум: вы услышали крик и позвали меня. Вы поняли? Я вынужден был взломать дверь, желая помочь господину Терскому. — Мирахмедбай достал нож и вставил его в зазор между дверью и косяком. Раздался щелчок. Дверь отворилась. Комната была ярко освещена лампой, висевшей под потолком. Семен Ильич лежал, уронив на стол голову. У ног Терского валялась окровавленная подушка. Мирахмедбай снял туфли, в одних носках вошел в комнату и окинул ее быстрым цепким взглядом. Комната была почти пуста. Жалкая смятая постель в углу и кучка пепла на полу у печки.

— Он все сжег! — Мирахмедбай выругался по-узбекски. — Свинья, а тоже что-то чувствует.

— Эй, люди, кто там? — крикнул он вниз. — Бегите за полицией. Слышите, у нас убийство. Будь прокляты до седьмого колена все эти скоты, которых я из милости приютил под своей крышей. Всех разгоню, всех!

Дверь из крайней комнаты отворилась. В коридоре показался Андрей. Он был заспан и сердит.

— Что за шум, господа? — спросил он, приблизившись. Заглянул в комнату и отшатнулся. — Бедняга, — искренне произнес Андрей.

Вскоре явилась полиция.

— Придется открыть в вашем доме отделение, — мрачно пошутил капрал, — нет дня, чтобы у вас, почтенный Мирахмед, чего-то не случилось.

Осмотр трупа и комнаты занял несколько минут. Карманы Терского были пусты. Чемодан и шкаф тоже. Револьвер с гильзой в барабане валялся справа на полу, рядом с подушкой.

— Бедно жил человек, — Мирахмедбай вздохнул, — а сам весь в сухих колючках был, как репейник без воды. Его убили, господин капрал, учтите это, — веско подсказал он.

Капрал поднял недовольный взгляд.

— Следствие определит, — сказал он.

Утром почтальон принес Антоновым объемистый пакет. Ася вскрыла его и достала кипу газетных вырезок и письмо, написанное на тонкой бумаге прыгающими буквами:

«Милая Ася!

Впервые решился назвать вас так, как давно хотелось. Вы были правы: я окончательно пал. Я — мерзавец и ничтожество, и, значит, жить бессмысленно. Прав и А. Д.! Рука не хочет выводить его полное имя, хотя понимаю, что я несправедлив. И все же мой совет вам, милая моя: не связывайте с ним свою судьбу. Он не принесет вам счастья. Простите, что осмеливаюсь давать вам советы. К тому же я избрал вас своей душеприказчицей: посылаю вам немногие дорогие мне публикации. Относятся они, главным образом, к годам моей юности, когда я был искренен и, кажется, чист. Потом все кончилось, вы догадываетесь, когда? Уверен, что горевать обо мне ни вы, ни кто другой не станет. Да и незачем: я умер давно. Снова прав А. Д. Ничего не попишешь...

P. S. Письмо это только для вас. Зная Хюгеля и пр., я предвидел, как смогут использовать они даже смерть мою. Прежде всего против Д., а он вам дорог,

как ни больно мне сознавать это... Поэтому я и послал в жандармское управление и в иммиграционный комитет письма, в которых сообщаю, что ухожу из жизни по собственной воле и даже описываю способ самоубийства, весьма немудреный и бесшумный.

Целую вас.

Семен Терский».

Она взяла груду вырезок и машинально взглянула на один заголовок. То была рецензия на столичный спектакль. «И жизни торжество!» — было набрано крупным елизаветинским шрифтом.

Отец Аскар-Нияза — Ходжа-Нияз Бухарский — был одним из немногих, кто считал бегство с родной земли равносильным смерти. Бывший эмирский вельможа Ходжа-Нияз под чужим именем жил несколько лет в кишлаке неподалеку от Термеза в безвестии и бедности, храня надежду и собирая по одному своих людей. В назначенный день все они собрались в горах за Ширабадом и в праздник Первого мая нагрянули сразу на три сельсовета. Они перерезали активистов и женщин, скинувших паранджи и надевших красные косынки... Учителей и учительниц сожгли вместе со школой дотла. После этого Ходжа-Нияз вновь скрылся, но что-то уже необратимо изменилось.

Надежнейшие мусульмане отказывали ему в ночлеге. Вчерашний преданный раб смотрел, не скрывая злости.

В конце концов он затаился в доме у бывшего ишана, но и оттуда пришлось бежать: Ходжа-Нияз, не веря ушам, услышал, как ишан сказал своему сыну: «Завтра приведу милицию, и пусть заберут этого бродягу».

В печали ушел Ходжа-Нияз в степь. Он скитался от колодца к колодцу, выдавая себя за дервиша. С болью в сердце наблюдал, как чабаны забывают аллаха и молятся на Ленина. Борода Ходжа-Нияза седела от печали, но он не мог смириться с мыслью, что наступил конец, гибель куда более страшная, чем собственная смерть.

Где-то за Тедженом его обложили, как волка, и поймали.

Ходжа-Нияз полагал, что теперь ему все безраз-

лично, и все же не выдержал и повесился ночью в пустой конюшне, куда его заперли до прибытия милиции. Старые вожжи, которые отыскал Ходжа-Нияз в навозе, не выдержали веса семипудового тела. Уже задохнувшись, Ходжа-Нияз упал на мокрый от конской мочи глиняный пол. Многие видели, как труп Ходжа-Нияза увезли, то ли в Бухару, то ли в Ашхабад, но люди, совсем недавно рассказавшие Аскар-Ниязу о гибели отца, твердили упорно, что, хотя русский начальник и приказал зарыть тело на сельском кладбище, два человека, которым это было поручено, ослушались, увезли мертвого Ходжа-Нияза в урочище Джар-Кудук и похоронили, совершив тайно все, что полагается по мусульманскому обычаю, рядом с курдским зийаратом — двуглавым священным камнем. Так утверждал и имам Азиз-ходжа.

— Ходжа-Нияз Бухарский — вот кто был борцом за родину и веру, истинным и мудрым, — говорил имам. — Ты был всегда верен его памяти, Аскар-Нияз, но ты не видишь цели. А она есть, Аскар-Нияз, есть! Поведи народ свой к опозоренной могиле отца! Поведи, невзирая на то, что русские, стоящие на границе, будут стрелять. Пусть погибнет кто-то, но ведь и смерть во славу пророка — счастье для мусульманина!

Слух о походе, потопленном в крови, всколыхнет весь Советский Восток, оттолкнет народ от большевиков и их приспешников.

В янтарных глазах Аскар-Нияза металось сомнение.

— Разве могу я повести на гибель сотни безоружных?

— Ты военный, — жестко возражал имам. — Вспомни, мало ли людей отправлял ты на смерть?

— Но тогда шла война!

— Кто тебе сказал, что война кончилась? Твой отец рассуждал не так.

И настал день, когда Аскар-Нияз сдался.

С той поры все его заботы были об одном: собрать узбеков — и тех, кто бежал от Советов, и тех, кто испокон веков жил на этой стороне, — поднять их на священный поход.

В чайханах, на постоялых дворах, на базарах то оборванцы, то солидные купцы с одинаковой болью рассказывали о Ходжа-Ниязе, память о котором мучит

мусульманские души, рождая ярость. Были среди слушателей и равнодушные, усталые, изверившиеся, которые в лицо поносили проповедников, напоминая им о гибели тысяч узбеков, брошенных без пищи и воды в пограничных пустынях.

Но были и такие, которые негодовали. Они шли к самой большой из узбекских мечетей Янги-Ай. Навстречу им выходил имам Азиз-ходжа.

— Сейчас я приглашу того, чье сердце кровоточит денно и нощно, — говорил он. — Я приведу сына святого Ходжа-Нияза. С вами будет говорить Аскар-Нияз.

Аскар-Нияз являлся толпе. Живое воплощение скорби и гнева. Искренность его действовала, как подожженный фитиль.

— Ждите, братья, — говорил он глухо. — Ждите, пока я позову вас.

Сотни глаз, глядевших на него, вспыхивали преданной верой и жаждой мести. Лишь однажды встретил Аскар-Нияз иной взгляд: сожалеющий и сочувственный, неожиданный среди фанатического костра, который он сам возжег на площади, до боли знакомый и отрезвляющий взгляд.

В стороне от толпы стоял Андрей Долматов. Он не прятался, как должно было ожидать. Не надел ни халат, ни тюбетейку. На нем была все та же белая в полоску рубашка с широко расстегнутым воротом, открывавшим загорелую грудь. Андрей тряхнул головой, откинул назад выгоревшие светлые волосы и посмотрел на Аскар-Нияза уже по-иному: испытующе, словно приглашая к разговору. Достаточно было бы Аскар-Ниязу произнести три слова: «Вон стоит советский», — и раскаленная толпа растерзала бы Андрея. Аскар-Нияз молча удалился во двор мечети. Он понимал, что Андрей ищет встречи с ним, но впервые в жизни испугался. Сам не знал чего.

Поход был назначен на первую пятницу осеннего месяца мизана. Об этом знала лишь верхушка.

— Силы наши растут, — уверял на тайных сборищах имам Азиз-ходжа. Аскар-Нияз поверил в это, когда побывал на курулуше — сходке, устроенной землячеством узбекских беженцев. Они собрались в большом дворе, примыкавшем к дому торговца Султанбека, и чинно уселись на землю, поджав ноги. Все

они были в чустских тюбетейках, обвязанных белыми чалмами. Лица были сосредоточенны и напряженны. Один лишь Султанбек, сидевший в почетном первом ряду, золотозубо улыбался Аскар-Ниязу. Рядом с ним сидел сдержанный Мирахмедбай, простивший, судя по всему, Аскар-Ниязу все его прегрешения перед лицом священной миссии, выпавшей на долю бывшего жильца и нерадивого служащего.

Богачей тут было немало. Аскар-Нияз легко угадывал их, хотя все они были одеты одинаково скромно. Они ждали откровения, и, произнеся уже ставшую привычной речь о прахе отца, взывающем к мести, Аскар-Нияз добавил:

— Братья, с горечью скажу, что не суждено будет нам увидеть победу. Силы неравны. Но лучше умереть, чем жить оплеванным! — Он помолчал и тяжко уронил последние слова: — Первым пойду я, братья, и первым лягу костьми у святой могилы моего... нашего общего отца Ходжа-Нияза Бухарского...

— Да ниспошлет аллах такое счастье каждому праведному мусульманину! Омин! — истово, но без истерических ноток, к которым в последнее время привык Аскар-Нияз, произнес Мирахмедбай, и собрание загудело сдержанно, а потом могуче.

— Ждите часа! — воскликнул Аскар-Нияз призывно и осекся, потому что снова увидел табачные сочувственные глаза.

Андрей Долматов стоял у двери. Лишь один он был здесь не мусульманин. И снова же он не боялся, что его убьют! Он шел в открытую. Как всегда. И это обезоруживало. Странно, но ни Мирахмедбай, ни торговец Султанбек будто не понимали, что рядом стоит ненавистный им и непонятный гяур. Они словно ослепли, настолько невероятным казалось, что тут может появиться русский, да еще перешедший недавно с советской стороны!

«Долматов верен себе», — Аскар-Нияз вспомнил о нем под утро. Ему трудно было дышать под нависшим сводчатым потолком хиджры. Он открыл настежь стрельчатую низенькую дверцу, но уснуть все равно не мог. «Зачем понадобился я ему? — думал он и решил: — Конечно, Долматов — красный, значит, о нашем походе большевики узнают загодя: он сообщит». Аскар-Нияз вдруг снова почувствовал себя офицером.

Он закурил и спокойно рассудил: «Надо убить его. Пусть даже останется сомнение: может, он и впрямь белая ворона, единственный человек среди волков. Да, я ему обязан: жизнью, честью, тем, что он ие давал угаснуть в моей душе дорогим искрам. Но если он чужой? Если советские пограничники заранее узнают о демонстрации зарубежных мусульман и будут готовы к этому?» Простая мысль вдруг открылась Аскар-Ниязу, и он вскочил, потрясенный: если советские пограничники будут предупреждены Долматовым, тогда они наверняка не откроют огонь по беззащитным людям! «Он спасет нас, спасет, — лихорадочно соображал Аскар-Нияз и вдруг снова осекся. — Если не прольется кровь, если все кончится тихо и мирно, если толпе дадут перейти границу, помолиться у святынь и вернуться обратно, если все будет так, то никакого возмущения среди узбеков не возникнет, и затея окажется напрасной...»

Глядя на шейха, трудно было предположить, что этот могучий, осанистый человек, каждое движение которого исполнено достоинства, еще недавно прислуживал Хюгелю. Сейчас шейх Гарибы, привычно сдерживая рвущегося скакуна, объезжал родное курдское стойбище, собравшееся по его зову в одной из приграничных долин. Курдские аулы, насчитывающие всего по нескольку семей, спустились сюда с гор, где они таились до сих пор за неведомыми перевалами. Иные пришли из безводных степей, куда шахские солдаты опасались забираться. От некогда могучего ашира шейха Гариби осталась едва двенадцатая часть. Все вымерли: в тюрьмах, в изгнании. Убиты вместе с сыновьями и внуками, вместе с красавицами хатум ага Мехо али Хемдин и Усо Ходар Темиран. Горечью полнилась душа шейха Гариби-Сеида. Всего сотни три людей: женщины, дети, старики. Мужчин десятка два, не больше...

Тонкие дымки курились над стойбищем. Хозяйки разожгли мангалы, готовили похлебку на ужин. Красное солнце скатилось за горы, загораживающие вход в долину. В сумрачном свете чернел шатер на четырех столбах, поставленный слугами для шейха Гариби. Вокруг него — несколько белых маленьких шатров для

слуг. Все, как прежде. Будто не было кровавых ручьев, оросивших три года назад склоны Курдистана. Будто он сам, могущественный шейх великого курдского аширата, не прятался все эти годы, не таил от людей славное имя свое. Будто не подавал он туфли неверному немцу, не был псом его...

Он пережил все это, все вытерпел и снес бы еще большие мучения во имя того, чтобы настал наконец великий день мести.

В ту страшную ночь, когда карательный отряд расстрелял всех мужчин, не пощадив даже мальчиков, в ту ночь, когда сам шейх Гариби только благодаря немцу сумел спастись, он принес богу клятву: возродить свой аширaт любой ценой. Другой цели шейх Гариби не знал. Но не было пути к ней иного, кроме того, который предлагал сейчас Хюгель.

Немец был хозяином и теперь. Если бы не деньги, присланные из Берлина, не курились бы сейчас дымки над очагами, не поблескивали бы за спинами у мужчин стволы карабинов. А разве власти потерпели бы курдское сборище у самой границы?

Опять — немец. Он всюду вхож, и все слушаются его, потому что за ним — великая Германия. Дождаться только, пока столкнется она с англичанами и русскими, да еще, даст бог, здешний владыка с войском своим тоже в этой войне увязнет, тогда-то можно возродить Курдистан! Пусть даже под немецкой опекой. Германия — далеко, давние притеснители близко. Дурень сообразит, какое зло из двух выбирать. Тем паче, аллах милостив: когда-нибудь поможет и от немцев избавиться.

Так рассуждал шейх Гариби. Он не замечал, что мыслит так, как велел немец. Ему уже давно казалось, что все это — его собственная политика.

А пока надо было расплачиваться: делать то, что велел немец. Он же потребовал на удивление немного: собрать курдов у русской границы, и пусть покричат об осквернении зийарата — священного двухголового камня, у которого еще предки свершали молитвы. Большевики разрыли землю и поставили у зийарата вышку, из которой бьет грязная нефть. Все залито грязью: священный камень, могилы узбекских святых, расположенные неподалеку. Узбеки тоже возмущены. В первую пятницу мизана они будут рядом с курдами.

Курды и узбеки — все мусульмане вместе покажут большевистской России, что у защитников ислама силы не иссякли, и праведный гнев переполняет их сердца, грозя испепелить неверных.

Немец сам показал шейху Гарибн на карте тот холм, на который взойдут курды в условленный час на рассвете. Бугор высился посреди степи сразу за высохшей речкой. Хюгель сказал, что с вершины хорошо видна русская сторона и священное урочище. Но, значит, и с русской стороны они будут видны как на ладони и, если двинуться через границу, станут живыми мишенями.

— Не бойся, — сказал ему немец. — Великая Германия гарантирует безопасность твоим людям. А после демонстрации у границы правительство дарует вам амнистию. Оно убедится: курды — оплот мусульманства и положиться на них можно. Вот тогда вам вернут родину.

Все было по-немецки, рассудительно, все внушало доверие, и шейх гнал прочь мрачные мысли и предчувствия, глушил их повседневными заботами.

Он легко соскочил с коня, вновь ощутив уверенность и силу. Вошел в шатер, разделенный пологом на две части. Заглянул на другую половину. Там сидел Газими — наследник шейхского рода, чудом найденный и спасенный. «Да, если бы не этот русский, не Долмат...» В который раз шейх вспоминал о нем.

Шейх опустился рядом с сыном. Мальчик точил кинжал. Блестящее лезвие со свистом бегало по оселку. Шейх Гариби сам задал сыну урок, выбрав тупой кинжал и не из лучшей стали. Сейчас он взял из рук сына оружие. Газими смотрел на шейха во все глаза. Они светились преданностью, восхищением и опаской. Шейх вскинул платок и на лету рубанул по нему, отрезал тонкий лоскут, но удовольствия не выразил. Он провел пальцем по лезвию.

— Ни одна зазубрина не должна быть видна, сын мой, — сказал он строго. — Я поздно начинаю учить тебя, но ты — моя плоть: скоро ты будешь скакать, рубиться, стрелять так, как это умели делать все твои предки.

Все началось хорошо. Все шло так, как предсказывал Хюгель. У них были деньги, оружие, пища. Никто не тревожил их. Вот только узбеки почему-то за-

держивались. Их должен был привести в эту долину юзбаши Аскар-Нияз — наследник святого Ходжа-Нияза, того самого, который был похоронен рядом с курдским знйаратом.

Аскар-Нияз был теперь союзником, а ведь совсем недавно, той памятной ночью, обезумев от тревоги за сына, шейх едва пе всадил Аскар-Ниязу кннжал в грудь. Аллах тогда прислал этого русского, Долматова. Снова его! Не подставь Долмат плечо, и тяжкий грех лег бы на душу шейха: от его руки погиб бы наследник мусульманского святого.

...Газимн на мнг оставил свое занятне, отложил кннжал н поднял на шейха уже взрослые глаза. Он словно прочел его мысли.

— Отец, — спросил Газнми, — что сделалось с русскнм, с Долматом?

— Он жив, — коротко ответил шейх. Воспоминанне о русском и вопрос сына вновь растревожнли его и почему-то связались с мыслями, мучившими его с того самого дня, когда он принял из рук немца деньги и затеял этот поход к граннце.

— Русский — неверный, — сказал шейх.

— Бахтом своим я поклялся — спасать русского от любой беды. — Газнмн покраснел.

— Так, сын мой, — сказал шейх. — Но почему ты вспомннл сейчас о русском? Почему ты решнл, будто ему грознт беда?

— Не знаю, — ответил Газими, — вот тут... — Он показал на грудь.

— Пойди в Зома-Ало. Найдн там тетушку Зоре. Пусть погадает тебе на чашке с водой. — Шейху хотелось не столько успоконть сына, сколько отвлечь его от мрачных мыслей.

— Хорошо, отец. — Газими заткнул за пояс кинжал и вышел нз палатки.

Долина уже была залнта бледным, словно неживым, лунным светом. Над грохочущей рекой чернели низкие шатры. Газими без труда отыскал стоянку Зома-Ало. Шатер Аги-Ало возвышался над остальными. Газнми направился к нему, чтобы расспросить о тетушке Зоре. Он и сам давно хотел, чтобы ему погадали, неясная тоска не отпускала мальчика.

Гремела река, и горьковатый запах дыма будил щемящие воспомннания о детстве, недавнем и далеком.

Газими прошел через засыпающий лагерь. Шатер тетушки Зоре стоял шагах в пятидесяти от других, справа от тропы, в лощинке. Грохот реки почти не доносился сюда, и потому Газими явственно расслышал знакомый голос. Так говорил лишь один человек на свете.

* * *

Князь Владислав Синяев не впервые переходил советскую границу. В последние годы он возвращался, не выполнив задания, — явки проваливались, связные нервно озирались, люди, когда-то преданные престолу и отечеству, прятали глаза. Добрые знакомые не узнавали Владика.

В последний раз Синяев едва ушел от чекистов. Проводника задержали, а Владик успел под пулями перейти границу. Опять он был тогда лишен вознаграждения. Приходилось жить на скудное жалованье, получаемое в русском отделе местной контрразведки. Идти в услужение к немцу Хюгелю Владик не хотел: это ставило его на одну доску с Терским, — для английской же разведки князь Синяев был фигурой, скомпрометированной неоднократно.

Сейчас он пришел в Союз, как он настойчиво внушал себе, лишь по собственной воле, на свой страх и риск, движимый сугубо личным желанием разоблачить ненавистного им Долматова. Владику очень хотелось восстановить себя в собственных глазах. Потому он гнал соблазнительную мысль о том, что за разоблачение Долматова можно будет сорвать немалый куш и с жандармерии, а если скрепя сердце прибегнуть к услугам Терского, то и с немца Хюгеля, которого Долматов тоже очень интересует. Закрывал Владик глаза и на то, что именно жандармское управление снарядило его и назначило пункт перехода и возвращения: пост сержанта Селима Мавджуди.

Сержант проводил его до границы и долго смотрел ему вслед со странной надеждой.

Границу он перешел легко, наутро сел в мягкий вагон поезда и к вечеру другого дня вышел на мощенную булыжником привокзальную площадь в Ташкенте.

Владик вышел у большого базара и смешался с толпой. Нашел баню, вымылся, сбрил бороду, усы,

переоделся в полувоенное. Затем выбрал пустынное место на берегу арыка. Связал рукава у белой сорочки, в которой переходил границу, сунул внутрь сорочки светлые брюки, набил ее камнями и утопил.

В маленькой гостинице он предъявил документы на имя Синицына В. М., инструктора конного спорта из Ашхабада, получил место в комнате, заставленной стоящими впритык кроватями; рядом с другими командированными, людьми озабоченными и молчаливыми, поужинал в скромном буфете, распил в одиночестве четвертинку русской водки и лег спать.

На рассвете он отправился на улицу Жуковского, хорошо знакомую ему, без труда нашел третий Саларский проезд и постучал в окно приветливого особнячка с крылечком-нишей.

Было ровно шесть утра. Дворник с аккуратно подбритой бородой, в кальсонах и калошах на босу ногу подметал тротуар. Он взял ведро и начал выплескивать воду на булыжники, встретился взглядом с Владиком и правой рукой обозначил движение к сердцу. Владик потоптался и постучал еще раз по стеклу.

— Сейчас, — ответил заспанный высокий голос.

Рыхлая женщина в ярком атласном халате выглянула на улицу из окна, зевнула и посмотрела на Владика.

— Наследник делит наследство, — произнес Владик, побледнев.

Она молчала и смотрела сквозь него.

Положение было глупейшее.

— Что вы сказали, я не расслышала.

— Наследник делит наследство, — повторил Владик фразу, которая показалась ему до ужаса нелепой, и добавил совсем уже потерянно: — В начале осени...

— Я вас не понимаю — сказала женщина, — я сейчас оденусь и выйду, — и скрылась в комнате.

На минуту Владик оцепенел. Ему почудилось, что женщина сняла телефонную трубку и назвала какой-то номер. Ноги готовы были сорваться с места, но Владик пересилил себя. Он достал портсигар и закурил. Дворник двигался прямо на Владика: высокий, костистый, с ведром в руке, тогда Владик не выдержал и пошел прочь из переулка. Панический страх окончательно охватил его, едва он очутился на людной улице. «Бежать, — единственная мысль завладела им. — Не медля ни ми-

нуты. Черт с ним, с этим Долматовым, своя шкура дороже!»

Владик поспешно рассчитался в гостинице, сел в первый поезд, который уходил на юг, и благополучно прибыл в Ашхабад. В ночь он перешел границу в месте, хорошо известном ему и по всем приметам счастливом, и на рассвете подошел к посту сержанта Селима Мавджуди.

Сержант встретил Владика с нетерпением, напоминающим волнение любовника.

— Скоро ты вернулся, — сказал он. — Сходил хорошо? — Он с вожделением посмотрел на внутренний карман. Френч у Владика был расстегнут.

— Тебе что за дело? — грубо ответил Владик. — Дай-ка лучше воды. Хоть ополоснусь чуток, а то облип всякой дрянью.

— Вода есть у нас, — благожелательно откликнулся сержант, словно не заметив грубости. — Много воды есть. Недавно три бочки привезли. Хотите, господин Синяев, можете искупаться?

— Что-то ты очень добрый и разговорчивый нынче, — сказал Владик, но снял френч и брюки и кинул одежду на единственную табуретку.

— Мехти! — зычно позвал сержант, и в дежурку не сразу вошел кривоногий солдат в больших, не по ноге, ботинках. — Возьми кувшин и слей господину.

С трудом ступая босыми ногами по раскаленному песку, Владик пошел вслед за ковыляющим солдатом к бочке, стоявшей в тени, но по дороге спохватился и вернулся в дежурку. Произошло то, что он предполагал: сержант Селим Мавджуди рылся в его брюках. Френч он, очевидно, уже успел прощупать. На усатом лице сержанта отражались то надежда, то жестокое разочарование. Он не слышал Владика, подошедшего босиком.

— Ага! — сказал с порога Владик. — Так вот почему ты нынче так любезен, скотина! — Он приблизился к опешившему сержанту и вкатил ему звонкую пощечину. Схватил свою одежду и пошел к двери.

— Стой! — Селим Мавджуди загородил собой вход.

— Прочь с дороги, мразь! — Владик нащупал в кармане браунинг.

Сержант не отступал.

— Врешь! Долмат правду сказал. Где деньги? Где спрятал их, говори! — Сержант застыл на пороге наподобие распятия. Рассерженный вконец, Владик схватил его за плечи и отшвырнул от двери.

Селим Мавджуди упал, стукнувшись грудью о стол. Владик вышел, отряхнулся и не спеша направился к дороге.

Из дежурки выскочил Селим Мавджуди.

— Мехти! Задержать нарушителя! — голос Селима Мавджуди загремел медью.

Маленький солдатик схватил винтовку.

— Стой, стрелять буду! — проговорил он, как заклинание, и в ту же секунду спустил курок.

Это был единственный случай, когда солдат-первогодок Мехти попал в цель.

Владик остановился, повернулся, посмотрел недоумевающе на солдата, опустившегося на одно колено, на сержанта, все еще разъяренного, и рухнул лицом в горячий песок.

В два часа и восемнадцать минут по местному времени Хюгель включил передатчик.

Сообщения, которые он передавал, можно было скорее всего принять за позывные любителей-коротковолновиков, которые уже в те годы начали нащупывать друга друга в эфире.

Все было надежно продумано, и Хюгель мог не тревожиться. Вот только Долматов беспокоил его. Но ни разу в то время, когда Хюгель вел свои передачи, — агентурой это было установлено точно, — Долматова не было на радиоскладе, а дома приемника у него не имелось. Он бывал частенько у Антоновых, но и у них не было ни аппаратов, ни антенны. «Почему же так тянет Долматова к этому дому?» — раздумывал Гельмут Хюгель — доктор искусств, очи и уши фашистской разведки в далекой от Германии, забытой богом стране, единственные достоинства которой — нефть и граница с Советской Россией, достоинства, правда, немалые, почему игра и стоила свеч.

Остановиться на мысли о том, что у Долматова с Асей тривиальный роман, Хюгель не мог, и не только потому, что ему мешало уязвленное мужское самолюбие. Если Долматов разведчик — а Хюгель в этом не

сомневался — он — в сражении, а настоящему солдату в бою не до амуров. Что ж тогда? Выведать у Аси о прошлогодней акции на границе, участником которой был и Шахрух Исмаили? Но советским органам об этом известно досконально, да и разведчик, отправляясь сюда, должен был получить полную информацию обо всем. «Он хочет быть рядом с моим домом», — рассудил в конце концов Хюгель, но не очень обеспокоился: дом его был надежной крепостью, охраняемой и запорами, и слугой-курдом, и свирепыми псами.

Секундная стрелка сделала последний круг. Хюгель отправил в эфир свои позывные и начал передавать текст особой важности и потому зашифрованный с особой тщательностью.

«Двадцатого сентября на рассвете — начало операции «Протест». Линию перейдет толпа курдов и узбеков. Хозяева сами заинтересованы в том, чтобы шашлык был с кровью. Гостей ждет горячий прием. Успех гарантирован. Позаботьтесь об огласке. Макс».

Хюгель дождался подтверждения о приеме, выключил передатчик, потянулся и посмотрел в окно. Осенняя тьма залила город, но зоркие глаза Хюгеля все же заметили фигуру, пробиравшуюся к дому, где жили Антоновы.

Час назад звонила мадам Ланжу и условной фразой сообщила, что Долматов спит у себя. В такую позднюю пору он из дому вообще не выходил.

Человек был в белой мусульманской одежде. Он застыл на минуту, и Хюгель вздрогнул от неожиданности, узнав Аскар-Нияза.

Раздался легкий стук: рама ударилась о стену. Тень скользнула в дом.

Хюгель хотел остановить себя, но вспыхнувшее любопытство, и не только профессиональное, было свыше его сил. В мгновение ока взобрался он наверх вслед за Аскар-Ниязом, оперся о подоконник и заглянул внутрь.

Это была студия Алексея Львовича. Аскар-Нияз возился у двери, ведущей из студии в спальню Аси. Хюгель тихонько опустился на пол.

Дверь не поддавалась. Аскар-Нияз отступил от нее на миг и замер, почуяв кого-то. Ярко вспыхнул свет. Хюгель увидел посреди студии разгневанного Алексея Львовича Антонова, а у двери оцепеневшего Аскар-Ни-

яза. В руке у Алексея Львовича был браунинг. Он направил его на Хюгеля.

— Ни с места! — твердо произнес Антонов.

Из вороха мыслей, завертевшихся в его голове, Хюгель выбрал самую важную.

— Простите, — сказал он, — я действую из лучших побуждений. Я заметил, что посторонний забрался к вам в дом, и как сосед я счел своим долгом...

— Руки вверх, — велел Антонов.

Хюгель подчинился.

— Это всего-навсего вы, поручик! — Хюгель посмотрел на Аскар-Нияза и попытался вернуть голосу светский тон. — Боже мой! А я-то думал... Значит, ничего страшного. — Хюгель повернул лицо к Алексею Львовичу. — Я полагаю, господин Антонов, вы напрасно волнуетесь. Молодые люди, то есть поручик и ваша уважаемая дочь, выяснят свои отношения без нашего участия. А нам, очевидно, лучше всего удалиться. Вы не возражаете? — он попятился к выходу.

— Ни с места! — не повышая голоса, повторил Антонов. Он был трезв и весьма решителен. Хюгель понял это и мысленно ругнул себя: выйти из дома без оружия! И вообще — впутаться в такую глупую историю... Такого с ним никогда не случалось. И вдруг весь ужас свершившегося раскрылся перед ним: если разразится скандал, а до этого недалеко, — все пропало. Аскар-Нияз, сын и наследник святого, представитель возмущенных мусульман, пойман в спальне у русской потаскухи ее отцом! Насмарку вся тщательная подготовка, все, что было достигнуто ценой огромных усилий! Мусульмане не пойдут за таким вождем. А он же только что сообщил в Берлин, что успех гарантирован. Нет, воистину никогда нельзя верить азиатам!

Хюгель лихорадочно соображал, забыв, что находится в глупейшем положении: в пижаме и босиком под дулом пистолета, с поднятыми руками.

И тут заговорил Аскар-Нияз. Он с трудом вышел из оцепенения, будто пробуждался от кошмарного сна.

— Я виноват, Алексей Львович, — сказал он глухо. — Я скомпрометировал Асю Алексеевну, но, верьте, я не хотел этого. Я ищу одного человека. Дома у себя его нет.

— В спальне у моей дочери? Вы отдаете себе отчет в том, что говорите, милостивый государь?

Дверь из Асиной комнаты приоткрылась. Хюгелю показалось, что мелькнул Асин встревоженный взгляд. Сейчас неизбежно раздастся крик.

И тут Хюгеля осенило. Если сын святого, Аскар-Нияз, будет убит русским и в русском доме, это вызовет уже не бурю, а ураган! Мертвый Аскар-Нияз сейчас стоит гораздо больше живого.

Хюгель начал незаметно приближаться к Аскар-Ниязу. «Если толкнуть его на Антонова, старик непроизвольно выстрелит. Не попадет — можно будет закончить самому...»

Миг наступил. Хюгель отклонился, по-гимнастически выбросил ногу в сторону Аскар-Нияза и уже достал его, но упал сам, сбитый резким ударом под колено сзади и стукнулся головой о тумбу, на которой стояла накрытая чехлом скульптура.

Не сразу Хюгель пришел в себя, а очнувшись, увидел всех остальных и Долматова.

Алексей Львович уже спрятал свой браунинг. Испуганная Ася держала за локоть Андрея. Аскар-Нияз прислонился к стене, откинувшись и прикрыв глаза ладонью.

— А... — произнес Андрей, заметив, что Хюгель шевелится, — вы пришли в себя, майн герр. — Он повернулся к Аскар-Ниязу и сказал ему: — Мы оставим вас вдвоем, поручик... У вас найдется, очевидно, о чем поговорить с герром Хюгелем с глазу на глаз.

Прошло несколько минут, и в гостиную, где сидели в немом ожидании Антоновы и Андрей, пошатываясь вошел Аскар-Нияз.

— Вы родились в сорочке, Долматов, — с трудом произнес Аскар-Нияз. Он вытер нож о полу своей рубахи и добавил: — Я ведь пришел, чтобы убить вас...

— О боже! — простонал Алексей Львович.

— Что же это такое? — проговорила Ася.

Теперь приказывал Андрей.

— Найдите для поручика костюм! — велел он Алексею Львовичу.

Андрей был решителен и собран. Он шагнул в студию, зажег карманный фонарь и осветил труп Хюгеля. Немец лежал, раскинув ноги. Аскар-Нияз убил его мастерски, крови почти не было видно. Хюгель даже вскрикнуть не успел. Андрей погасил фонарь.

— Ася! — сказал он. — Делать нечего: без вашей

помощи нам сейчас не обойтись. Надо идти в дом Хюгеля. Кто там есть?

— Я думаю, только собаки.

— Они вас помнят?

— Наверное, — сказала Ася.

— Заприте их понадежнее.

— Ворота на замке, — сказала Ася. Решительность Андрея передалась ей. — Я отыщу калитку. Я помню, где-то у кривого дерева в тайничке — ключи.

— Торопитесь! Я жду. И старайтесь не шуметь.

Андрей напряженно прислушивался к каждому звуку, который доносился с той стороны, где был дом Хюгеля — умного, расчетливого немца. Все ходы Хюгель взвесил наперед. Он бы и выиграл, если бы двигал пешки по доске, расчерченной на аккуратные квадраты...

Свирепое ворчание донеслось снизу и смолкло. Андрей облегченно вздохнул. Вот еще один проигрыш немца — Ася. Она была для него лишь второстепенной фигурой, и он утратил интерес к ней, едва она была снята с доски. А она человек, она живая.

— Что делать... с трупом? — спросил Алексей Львович, с трудом выговорив последнее слово.

— Принесите перчатки поручику и мне, — велел Андрей.

— Что вы задумали? — спросил Аскар-Нияз.

— Будем действовать вместе, поручик. Одному мне не справиться.

— Да, — согласился Аскар-Нияз, тяжело наклонив голову. — В доме у Антоновых его оставлять нельзя. Они и так настрадались, бедные, из-за нас... из-за меня. — Он заметил в поставце у Алексея Львовича графинчик, налил стакан и опрокинул в рот.

Легкие шаги послышались на лестнице. Поспешно вошла Ася. Она была бледна, но двигалась спокойно.

— Я сделала, Андрей Дмитриевич, все, как вы велели, — сказала она. — И ворота открыла.

Андрей кивнул.

— Надевайте перчатки, — велел он Аскар-Ниязу. — Мы возьмем труп и перетащим в автомобиль.

— Мудро! — Аскар-Нияз пьяненько усмехнулся.

Хюгель сидел теперь в своей машине, уронив голову на грудь. Со стороны могло показаться, что он пьян.

Аскар-Нияз снял перчатки и с брезгливостью заткнул их за пояс своих полотняных штанов.

— А меня увлекла ваша игра, Андрей Дмитриевич. Ей-богу! — сказал он.

— Идите к Антоновым, поручик, и переоденьтесь побыстрей! — сказал Андрей. — Костюм для вас уже, наверное, приготовили. И не пейте больше.

— Выпью, — сказал Аскар-Нияз упрямо. — Непременно выпью и вам принесу. И ему — тоже. — Он показал тяжелой головой на мертвого Хюгеля и ушел пошатываясь.

Андрей выждал минуту-другую, затем, не снимая перчаток, извлек из бокового кармана Хюгеля связку блестящих плоских ключей и, бесшумно открыв дверь, скользнул в дом.

Он прошел коридором так уверенно, будто бывал здесь не раз. Дверь в кабинет была распахнута. Не зажигая света, Андрей нашел сейф, вставил ключ и потянул дверцу на себя. Под толстой пачкой банкнот он нащупал два плотных пакета и стопку бумаг, взял их, запер сейф, вышел в гостиную и осветил карманным фонариком коллекцию раритетов, собранную немцем. Она могла привести в восторг даже неискушенного человека. Андрей отыскал глазами одну небольшую вещицу и вышел, захватив ее с собой.

Аскар-Нияз все в том же монастырском полотняном костюме ожидал его у автомобиля. Пьяная ухмылка бродила по лицу поручика.

— Вот я и сцапал вас, — сказал он, попытался погрозить пальцем и едва не упал вперед. — Что вам понадобилось в доме у Хюгеля? Деньги? Допустим. Неблагородно, но понять можно. Итак, покажите деньги, и вы прощены мною.

— Сейчас недосуг, поручик, — сказал Андрей, — но так и быть: деньги я оставил в сейфе. Я взял вот что. — Он показал маленькую вазочку. — Это та самая, которую немец приобрел за гроши, а ей, как вы говорите, цены нет. Вы удовлетворены, поручик? Тогда торопитесь.

— Не-ет, — Аскар-Нияз все еще не отступал. — Вы себе ее возьмете?

— Я отдам ее вам, когда вы протрезвитесь... А вы, очевидно, по принадлежности — в национальный музей. — Андрей взял Аскар-Нияза под руку. — Пойдем-

те, — сказал он. — Переоденьтесь, ради бога. И побыстрей.

— Торопиться некуда и незачем, — наставительно произнес Аскар-Нияз. — Все было совершенно тихо, по всем правилам, а полиция в этом великом городе даже предсмертных воплей не слышит. Не волнуйтесь, все хорошо. Все хорошо, — повторял он, пока Андрей вел его под руку к дому Антоновых.

На лестнице их встретил Алексей Львович.

— Уведите поручика к себе и помогите ему переодеться, — сказал Андрей и бросил вдогонку. — Не забудьте сжечь его одежду в печи!

Ася уже успела сделать все так, как ей, уходя, велел Андрей. Подоконники вымыла, а кровавое пятно на полу залила суриком. Среди других похожих пятен оно не выделялось.

— Вам придется пойти со мной, — сказал Андрей. — Я выведу на улицу автомобиль, а вы запрете за мной ворота, выпустите собак и выйдете ко мне через калитку.

Ася только кивнула и пошла за Андреем, держась неестественно прямо. Проходя мимо комнаты Алексея Львовича, из-за двери которой доносилось бормотание Аскар-Нияза, Андрей внятно произнес:

— Мы ждем вас внизу. Закройте дом и выходите.

— Я готов, Андрей Дмитриевич, готов, — донесся дрожащий голос Алексея Львовича. — Вот только никак не найду для поручика обувь. Он же босой.

— Поторопитесь, умоляю вас, — сказал Андрей. Он взял Асю за руку и повел ее вниз.

Автомобиль уже стоял на улице, и псы, время от времени подвывая (чутье не обманывало их), носились по двору. В комнате у Алексея Львовича еще горела лампа.

— Слушайте меня внимательно, Асенька, — сказал Андрей. — Вы и отец сядете в автомобиль вместе с нами.

— И с этим? — Ася закрыла лицо. Волнение ее все-таки прорвалось наружу. — Я чувствовала, все время чувствовала: что-то должно случиться ужасное, — проговорила она, тщетно пытаясь сдержать всхлипы.

— Идет война, Ася, — сказал Андрей. — Вы оказались втянутой в нее. А на войне убивают. — Он прижал ее голову к своему плечу. — Прошу вас, успокой-

тесь и запомните все, что я сейчас скажу. — Он погладил ее волосы, и она по-детски всхлипнула.

— Тише, — шепнул ей на ухо Андрей. — Слушайте. Мы обгоним поезд, который ушел от границы на юг нынче вечером. Вы с отцом войдете на разъезде в мягкий вагон — он всегда свободен, — а проводнику скажете, что едете давно, но он по невнимательности вас не заметил. Будет хорошо, если вы еще и отругаете проводника. На юге поселитесь в небольшом пансионате и постараетесь обеспечить себе дополнительное алиби. Вы знаете, что это такое?

Ася молчала.

— Сделайте так, чтобы все окружающие были убеждены, будто вы с отцом приехали на этюды хотя бы на день назад. Поняли?

Он дважды повторил это, пока услышал утвердительный ответ.

Алексей Львович и Аскар-Нияз приблизились к ним.

— Садитесь в автомобиль. Вы, поручик, сзади вместе с Антоновыми. Поведу я.

Аскар-Нияз пропустил вперед Алексея Львовича, сам сел посередине и отгородил собой от Аси мертвого Хюгеля.

Мотор завелся почти без шума. «Мерседес» свернул за угол и помчался по бульвару.

Могучие псы глядели вслед автомобилю, положив толстые лапы на ограду и по-щенячьи скуля.

На миг «мерседес» задержался у железнодорожного полустанка и притаился во мгле. Вскоре подошел поезд. Он постоял недолго и с трудом тронулся, лязгнув буферами.

«Мерседес» резко набрал скорость и устремился на север.

Перед рассветом он был в горах. Два человека вышли из автомобиля, а третий остался в нем, уронив голову на грудь. Переваливаясь, пополз «мерседес» вниз и вправо к пропасти, словно раздумывая, навис над бездной и вдруг рухнул в ущелье, по дну которого несся грохочущий поток.

— Во второй раз спасли вы мне жизнь и честь. Впрочем, на жизнь мою мне начхать. Но все-таки скажите, зачем вы это сделали? Зачем нужно вам, чтобы коптил небо отпетый людьми и богом поручик из тюрков? Я же понимаю: вы не благотворитель. На этот раз вы

тоже появнлись вовремя. Только не говорите, что вы оказалнсь в доме у Антоновых случайно именно в тот миг, когда проклятый немец хотел сбить меня с ног. Хюгель, подлец, все точненько рассчитал. Но черт с ним, с дохлым колбасннком! Я о другом. — Аскар-Нияз выжидательно наклонил набок голову. На изможденном лице его появнлось подобие улыбкн.

— Вы правы, поручнк, — сказал Андрей. События прошедшей ночи и для него не прошлн бесследно. Он устало опустился на камень и долго постукивал папнроской о портснгар, прежде чем прикурил. — Я пошел следом за вамн.

— Но вас же не было в комнате! — растерянно произнес Аскар-Нияз. — Я ощупал постель н все вокруг...

— Вы были слншком возбуждены, поручик. Я услышал, как вы забралнсь к себе, как загремели кувшином, и проснулся. Вы бредили вслух, н я уловил свое имя. Тогда я вскочил и встал у двери, увидел лезвие, которым вы пытались сбросить крючок, и все понял. Перебраться к вам в комнату через окно не составляло труда. А потом я начал следнть за вами. То же самое сделал бы на моем месте любой человек, которому грозит смерть. Правда, я не понял и до сих пор не представляю, зачем вам понадобилось убивать меня, но в таком состояннн сперва действуют, а потом рассуждают. Ну а когда вы забралнсь в дом к Антоновым, а вслед за вами — Хюгель, я решил, что обязан вмешаться. Вот и все, — Андрей глубоко затянулся. — Вы сами началн этот разговор, поручик. И давайте на этом окончим. Мне объяснения не нужны.

Аскар-Нияз долго молчал, прнслушнваясь к тому, как внизу, в ущелье, гремит река.

— Я запутался, Андрей Дмитриевич, — произнес он наконец. — Совсем запутался. Я решил, что все нзза вас... Вы уж простите. Сам не знаю почему. Наверное, потому, что вы — как совесть. Как второе «я». Оно всегда жило во мне, но просыпалось нечасто, и тогда я глушил его водкой.

Андрей положил руку на плечо Аскар-Нияза.

— Вы обязаны сейчас сделать то, чего не сможет никто другой.

— Что бы это могло быть? — вяло поинтересовался Аскар-Нняз.

Андрей вытащил из кармана сложенный вчетверо лист.

— Читайте, — сказал он.

Это был черновик текста, который Хюгель готовил для кого-то, кто должен был передать указ на высочайшее утверждение и подпись.

— Горло перехватывает от ярости, — сказал Аскар-Нияз. — Витиеватость я опускаю, — добавил он глухо и начал читать: — «...вызванная благородными религиозными чувствами смута, учиненная на границе мусульманами — узбеками и курдами, не имеющими чести являться нашими подданными, а лишь пользующимися приютом, который мы им милостиво даровали в наших владениях, — не может быть одобрена нами, ибо:

Мы никогда не разрешали отдельным лицам, тем паче — скопищу, приближаться к нашим границам с сопредельными странами;

Мы безусловно запрещали и запрещаем вообще какие бы то ни было собрания и походы, возникшие без нашего ведома и ведома местных властей;

А посему мы повелеваем примерно наказать всех, участвовавших в незаконном и недостойном сборище, повлекшем за собой невинные жертвы, для чего:

расселяем курдов в отдаленных местах;

лишаем узбеков, не имеющих чести быть нашими подданными, свободы передвижения и изымаем их имущество в пользу казны, дабы возместить ущерб, причиненный их действиями нашей стране;

приказываем схватить и публично казнить ранее приговоренного к смерти курдского главаря Гариби, арестовать Аскар-Нияза Бухарского, как единственного подстрекателя и предводителя узбеков, и судить его по всей строгости», — голос Аскар-Нияза прервался. — Дурень! Баран безмозглый! — он в ярости стучал кулаком по лбу.

Андрей не успокаивал его.

— Я же готов был повести их, как стадо на убой...

— Советские пограничники не открыли бы огонь, — сказал Андрей.

— Вы предупредили их?

Андрей пожал плечами.

— Я знаю, как мыслят и как ведут себя на той стороне.

Аскар-Нияз кусал губы.

— Бог с ним, — сказал он. — Не буду доискиваться..: Но вот же: вы рисковали собой ради кого? Ради пьяницы-поручика, за спиной у которого сотни убитых красных. Ради орды, чужой вам по вере и крови... Что греет вас? А может, вы правы? Может, на земле еще остался человечек-другой? Просто-напросто — человек... — Аскар-Нияз вздрогнул, будто сбросил с себя что-то, и спросил другим голосом, по-деловому: — Далеко отсюда до курдского стойбища?

Андрей улыбнулся.

— Откуда мне знать, поручик? Я гнал машину наугад.

Аскар-Нияз вгляделся в даль.

— Куда вы теперь?

— Все туда же, — ответил Андрей. Табачные глаза его были теплы. — В дом к Мирахмеду.

— А если заподозрят?

— Бог не выдаст.

— Пойдемте со мной, — решительно предложил Аскар-Нияз. Он даже руку протянул, хотя не мог достать Андрея. — Я вас наряжу курдом, ни одна собака не узнает! А там — выход найдется.

— Вот это уж, извините, не по мне. Прятаться не умею.

— Простите, — сказал Аскар-Нияз. Он постоял мгновение, колеблясь, и вдруг спрыгнул вниз, побежал к стойбищу, но остановился на миг и махнул Андрею рукой.

— Мальчика пришлите ко мне, — крикнул Андрей. — Газими. Скажите, Долмат его хочет увидеть. Пусть берет коня и едет. Я жду.

Аскар-Нияз взмахнул по-военному ладонью.

* * *

Вскоре произошли события, которые встревожили всю страну и были официально расценены как «новые курдские волнения».

В течение часа курды, стоявшие табором в Приграничье, исчезли. Небольшой отряд стрелков, издали наблюдавший по поручению командования за курдами, смог перехватить десятка два стариков и старух. Все они показывали одно и то же: «Надоело здесь. Возвра-

щаемся к себе, в горы. Там хоть какой-никакой, но очаг».

Брожение возникло и среди узбеков, которые, казалось, готовы были вот-вот ринуться на заграждения, только бы спасти священную могилу Ходжа-Нияза. Люди в открытую говорили о том, что их предали имам и богачи, что их хотели толкнуть на смерть и нажиться на их крови. Доносчики сообщили, что в мечетях и чайханах вновь выступал Аскар-Нияз. Он каялся перед единоверцами, говорил, что был опутан ложью, замучен подлостью и потому едва не повел на гибель братьев по крови.

На окраине города, на постоялом дворе, Аскар-Нияза схватили, но разъяренные люди вступились за него, скопище немедля раскололось на два враждебных лагеря, и между ними возникла свирепая драка. Дело дошло до ножей. Несколько человек было ранено, в том числе переодетые жандармы, которые пытались задержать Аскар-Нияза.

Он возникал как из-под земли то тут, то там и сеял теперь смуту — гнев против духовников и знати. Дошло до того, что Аскар-Нияз был громогласно объявлен государственным преступником и за поимку его была обещана награда.

К вящему недовольству властей, левая печать в соседних мусульманских странах рассказала о том, что у советских границ неизвестные политические круги хотели осуществить враждебную акцию, вызвать кровопролитие и восстановить мусульман против всевозрастающего влияния Советов.

Местные газеты печатали опровержения, но звучали они неубедительно.

Тогда с самого верха было велено, чтобы в столичной мечети выступил с нужным заявлением сам Аскар-Нияз, имя которого было сейчас у всех на устах.

* * *

— Входите, Николай Николаевич! Я жду вас.

— Я привез документы, товарищ комиссар.

— Отлично! Давай-ка их. Та-ак... Большое дело сделано. Не скрою. Да вы-то и сами знаете, как не хватало нам этих доказательств. А сейчас неопровержимо: фашисты готовят плацдарм против нас и с юга тоже.

Шутка ли — распоряжения самого Гиммлера. В подлиннике. Наследник передал без помех?

— Так точно, товарищ комиссар. Единственный раз послали мы к нему своего человека. Наследник оставил на прилавке свой пиджак и сделал это, по всему судя, незаметно.

— Здесь гриф: «По прочтении уничтожить немедля». Правильно я перевожу?

— Именно так, товарищ комиссар.

— Как же ему удалось добыть все это?

— Подробности пока неизвестны. Но ясно: Наследник сумел опередить немецкого резидента.

— Мне уже докладывали, что Наследник сейчас в тюрьме. Сам явился в полицию. В открытую... Повинился в том, что нарушил предписанный ему режим. Отчаянно рискует собой парень... Но с другой стороны: именно это и сбивает всех с толку.

— Его стиль, товарищ комиссар.

— Ваш стиль, Николай Николаевич!

— Молчу, товарищ комиссар.

— Повторите-ка, о чем он сообщает в своей докладной.

— Очень кратко. Провокация у советской границы сорвана. Курды рассеялись в горах. Узбекские эмигранты возмущены предательством своей верхушки. Хюгель убит. Документы из канцелярии Гиммлера и Риббентропа — в подлиннике. Все.

— Может, и впрямь достаточно для одного? А, Николай Николаевич? Впрочем, там, за кордоном, Наследник поставил последнюю точку. Главное было сделано здесь. Благодарю вас всех от имени правительства. Представление я уже подписал.

— Обычная наша работа, товарищ комиссар.

— Многое нам неясно. Но узнаем. Обо всем узнаем. Я уверен: Наследник найдет выход. Более того: возможно, явка в полицию и есть сейчас самый разумный выход для него. Ну а осложнится положение — поможем.

Петр ПРОСКУРИН

Тайга

1

Все началось с того, что в диких, малообследованных Медвежьих сопках исчез почтовый самолет с трехмесячной зарплатой рабочих леспромхозов, звероводческих совхозов и других предприятий в верховьях Игрень-реки, и весть эта быстро распространилась по всей округе на сотни километров; назывались большие цифры — свыше миллиона рублей, а некоторые говорили о трех. Поиски с воздуха ничего не дали, и тот, кто хоть немного представлял себе Медвежьи сопки, не видел в этом ничего удивительного. Горный массив, захвативший сотни безлюдных квадратных километров, дикие, неприступные скалистые ущелья, распадки и склоны; тайга, заваленная вековым буреломом, метровыми снегами удивительной голубоватой чистоты; бездонные провалы, скрытые под той же слепящей и, казалось бы, совершенно безопасной белизной, на которой каждая черточка осыпавшейся хвои радует — все-таки что-то живое, понятное, просто земное, тогда как эта сверхъестественная белизна была откуда-то из-за той грани, какую никогда не переступает живой человек, и живой зверь, и даже живая трава. Иван Рогачев, большой здоровый мужчина тридцати пяти лет, любивший пожить сладко и привольно (особенно если это касалось второй — слабой половины рода человеческого), лежал на деревянной широкой кровати в своем совершенно пустом доме и переживал. Его жену, молодую женщину двадцати семи лет, на прошлой неделе отправили на самолете в область; врачи обнаружили у нее какую-то непонятную болезнь, и теперь Иван Рогачев уже вторую неделю проводил в одиночестве. Характера он был общительного, широкого и доброго, и быть в одиночестве, одному есть, и растапливать печь, и стелить себе постель было для него чистым мучением. Так уж выпало, что, когда жена заболела (а Рогачев тайно любил свою

Тасю и здорово ее ревновал), он взял отпуск, чтобы ухаживать за ней, — первый за три года, до этого они отпуск с женой не брали (здесь, разумеется, был свой расчет: хотели взять сразу за три года и поехать на родину Рогачева, «на материк», на Смоленщину). Отпуск ему неожиданно легко дали, хотя был самый сезон лесозаготовок и рабочих не хватало. И вот теперь Рогачев, оказавшись совершенно не при деле, мучительно раздумывал, пойти ли завтра к мастеру и попросить наряд, или поехать в область, к жене в больницу, или выкинуть что-нибудь такое, позаковыристей; он вспомнил, как перед вечером ходил в столовую, пытался подъехать к знакомой буфетчице, но попал, очевидно, не в добрую минуту — буфетчица не приняла его заигрываний, и вот теперь он лежал и злился. Он был очень сердит на Зинку-буфетчицу, зная определенно, что она не обделяла своим радушием многих в поселке, а ему, здоровому, сильному и хорошо знавшему о своей мужской силе и привлекательности, она наотрез отказала, и он никак не мог этого стерпеть; он даже встал и, прошлепав босиком по настывшему полу, напился у порога ледяной воды и, несколько успокоившись, лег опять; сон не шел, лунные квадраты медленно передвигались по стене, побледнели и совсем истаяли; и тут в голову пришла замечательная, как ему показалось, мысль; он даже вскочил, обдумывая эту мысль со всех сторон, — чего там, все проще простого — в Медвежьих сопках он не раз бывал и зимой и летом, исходил их вдоль и поперек, бывало, до пятнадцати соболишек там брал, выкроив недельку-другую где-нибудь в разгар зимы. Тоже прибыльное дело, соболь в Медвежьих сопках красивый, крупный, идет высшим сортом; ничего особенного, если он на пару недель оторвется в тайгу, сколько раз так бывало, и жена не удерживала, наоборот, весело и домовито собирала его в дорогу. Рогачев довольно завозился в постели, вспоминая свою маленькую, крепко сбитую кареглазую жену. Он решил завтра же написать Тасе сразу два письма, собраться и к вечеру отмахать верст этак сорок на своих старых охотничьих лыжах; приняв решение, Иван Рогачев успокоился и сразу же уснул. Утро было ясное и морозное; придя утром завтракать в столовую, сложенную из смолистых крепких бревен (столовую срубили прошлым летом — бревенчатый дом с просторным

залом и низкими потолками, длинным рядом столов, сбитых из крепких досок, деревянным высоким буфетом местного же производства), Рогачев плотно поел, выпил два стакана компота и, покосившись на засиженные мухами плакаты о технике безопасности, заговорщически подмигнул хмурой буфетчице, с грохотом передвигавшей ящики в своем углу и как пить дать жалевшей сейчас о своей вчерашней холодности к нему, Рогачеву.

— Жалеешь, Зинок? Ну признайся, жалеешь.

— Помог бы лучше, чем зря языком-то чесать, видишь, товар принимаю.

— И пожалеешь, да поздно уже, — притворно вздохнул Рогачев.

— Всех не пережалеешь, много тут вашего брата шлендрает, — искоса метнула Зинка в сторону Рогачева любопытный, оценивающий взгляд. — Свою-то заездил, в больницу свез?

— Да нешто этим бабе можно повредить? — искренне удивился Иван Рогачев. — От этого она только распышнеет. А ты погляди-ка вон на себя, Зинок, в буфете среди всякой сласти сидишь, а сама точно дрючок высушенный.

Буфетчица разозлилась наконец по-настоящему и пошла на него грудью, схватив попавшееся под руку грязное полотенце. Рогачев выскочил на крыльцо, очень довольный, что вывел все-таки ее из себя. Дойти по морозцу до дому через поселок в другой конец было делом нескольких минут. Весь день до вечера Рогачев собирался сосредоточенно и неторопливо, раза два еще сбегал в магазин и спать лег рано, спал крепко и без сновидений. Встал он затемно, вынес на крыльцо тяжелый, пуда в два с половиной, рюкзак, винтовку, охотничьи лыжи, сходил к почте и опустил в ящик сразу два письма жене (почта была рядом, через три дома), затем, несмотря на сильный мороз, неторопливо покурил на крылечке, обдумывая, не упустил ли чего в сборах, затем крепко подпоясался, запер дом, сунул ключ в потайную щель, известную лишь ему да жене, и, навьючив на себя рюкзак и приладив винтовку, взял широкие лыжи под мышку и тронулся. Было безветренно, и снег остро хрустел, а когда Рогачев вышел за поселок, рассветный мороз стал жечь сильнее, и у него мелькнула короткая мысль вернуться, он даже приоста-

новился на минуту, но тут же двинулся дальше, говоря себе, что никто его в спину не гонит, но, думая так, он уже знал, что не вернется, какое-то ложное, но сильное чувство не позволило бы ему это сделать; Рогачев посерьезнел, и это вызвало нечто неприятное, это было словно ощущение приближающейся тяжелой болезни или вообще какого-то большого перелома в жизни; он шел ходко, ему явно некстати вспомнилось совсем далекое, еще с той довоенной поры, когда он был пятилетним мальчиком и были живы отец с матерью, вспомнились зубцы старой крепостной стены в древнем городе Смоленске, у которой отец любил с ним гулять: отец сильно подбрасывал его вверх длинными мосластыми руками и что-то говорил, улыбаясь; потом было лето и осень сорок первого года, грохот и стон умирающего города; из этой поры Рогачев помнил неясно, отрывочно, смутно. И мать и отец были связаны с подпольем, и оба были расстреляны; это Рогачев уже хорошо помнит, тогда ему было восемь лет. Он помнит замученную весеннюю ночь, когда мать в темноте (он навсегда запомнил ее белое испуганное худое лицо с сумасшедшими глазами) быстро одела его и, выталкивая во двор через заднюю дверь, твердила быстрым, пропадающим шепотом:

— Беги! Беги! Беги, сынок! Милый, родной, скорей! Скорей!

— Куда, мама? — спросил он тогда, оглушенный происходящим, улавливая в темноте какое-то бесшумное, напряженное движение в доме и замечая темную фигуру отца с автоматом у светлевшего пролома окна.

Он не закричал и сразу подчинился матери и, замирая перед сырой весенней тьмой, побежал через двор к уборной, за которой знал дыру в заборе, унося на лице ощущение дрожащих теплых рук матери; именно они, эти руки, все его маленькое тело впервые наполнили животной, смертной тоской, и он, не останавливаясь, бежал и бежал, проваливаясь в какие-то ямы, перелезая через груды развалин и заборы, и, наконец, обессилевший, забился под обломок стены в рухнувшем здании и, размазывая слезы, начал безудержно, беззвучно плакать. Потом он больше никогда не видел ни отца, ни матери и лишь позднее, шестнадцатилетним парнем, уже будучи в ФЗО, узнал об их кончине. Захоронение их не

было известно, и Рогачев, сидя перед усатым капитаном из КГБ, выслушал его рассказ в каком-то заторможенном состоянии: ему лишь хотелось как можно скорее вернуться в общежитие, к ребятам. Когда рассказ пришел к концу, Рогачев поблагодарил капитана и, встретившись с его внимательными глазами, вышел из кабинета все в том же заторможенном, отупелом состоянии, а очутившись на улице, тут же свернул в пустынный, безлюдный переулок; ему все казалось, что на него смотрят, отовсюду смотрят, и он не мог избавиться от этого ощущения. В тот день он плакал последний раз в жизни, и было так, будто на сердце ему кто-то сыплет колючую холодную пыль, — в один час он ступил из детства в иной мир, в иное пространство и равновесие.

Рогачев глубоко и растроганно вздохнул и, свернув с дороги, приладил лыжи; перед ним стояла снежная тайга без конца и края; начинался звонкий от мороза февральский день, и солнце косо скользило по верхушкам самых высоких деревьев; Рогачев шел легко и свободно, плотно слежавшийся снег хорошо держал его и лишь изредка проседал под лыжней; все мысли отошли от него, и он весь отдался свободному непрерывному движению, белой оглушительной тишине; по-прежнему не было ни малейшего шевеления воздуха, и старые высокие ели стояли часто, голые в полствола, почти совершенно закрывая небо. Часа через два он минул эту полоску, и начался лиственный лес, теперь уже с елями вперемежку, и сразу стал чувствоваться некрутой, непрерывный подъем, и небо посветлело и раздвинулось, голубое молодое сияние ударило в глаза, такое небо всегда бывает в конце февраля. Вскоре и ветер потянул со стороны сопок, безмолвно поднявших свои острые вершины, сиявшие впереди нестерпимой белизной; Рогачев старался не смотреть в их сторону. За день он останавливался лишь однажды — поесть, согреть чаю и напиться — и к ночи вышел к знакомой горной речке, густо поросшей по берегам ольхой и тальником. Он немного не рассчитал, и до заброшенной охотничьей избушки на берегу ему пришлось добираться уже в темноте; за весь день он не встретил на своем пути ни одного следа, вполне вероятно, что в эту зиму сюда никто из охотников не забредал.

Расчистив от снега сколоченную из тесаных досок и

расшатанную дверь, Рогачев поставил снаружи стоймя к стене лыжи, затащил в избушку значительно потяжелевший к вечеру рюкзак и присел иа голые нары, иащупав их по памяти; впервые за весь день, сняв шапку, он закурил. Огонек спички осветил черные бревенчатые стены с лохмотьями копоти в пазах, груду сухих сучьев у очага, сложенного из дикого камня, низкий бревенчатый потолок, тяжелую лавку и стол в углу; окиа вообще не было. Не спеша докуривая и чувствуя, как отходят уставшие ноги, Рогачев посидел еще, отдыхая, затем стал быстро устраиваться. Разжег огонь, поставил таять снег, достал крупу и кусок сухого мяса; после бескоиечной утомительной белизны глаза отдыхали; он сварил крупяной суп и приготовил место для спанья; воздух в избушке постепенно нагревался, но стены оставались холодными, и именно через эти стены к иему пришло чувство отъединения от всего остального мира; по еле слышно звучавшим стенам он понял, что мороз в иочь еще усиливается; он с жадиым аппетитом съел суп и мясо, вычистил снегом котелок и поставил греть чай; дрова горели дружно и ярко, старый запас их был иевелик, но на ночь должно хватить; Рогачев подбросил в огонь три полена потолще и с тяжелой, расслабляющей сонливостью в теле прошел к нарам, через силу бросил на нары полушубок и лег. Заснул он еще в движении, когда ложился, и стал слышен одии только негромкий голос огня в очаге — треснет перегоревший сучок, осыплется раскаленный уголь. Настывшие за зиму бревна в стенах постепенно прогревались изнутри, и потолок начинал сыреть. Рогачев спал крепко, несколько часов подряд на одном боку, и просиулся в самое иачало рассвета от холода бодрым, отдохнувшим; полежав минуты две, соображая, вскочил, принялся весело разводить погасший огонь. Камни очага были теплыми, и он задержался на них ладонями, посматривая на слабый огонек, постепенно набиравший силу.

Поставив котелок на огонь, Рогачев вышел из избушки и задохнулся сухим веселым морозом, тайга уже выступила из белесой, предрассветной мглы, и раскаленный восток взбух и придвинулся к земле, а дальше, к северу, снова отчетливо прорезались острые вершины сопок. «Наверное, на все полсотни натянуло», — подумал Рогачев, пряча в карманы застывшие руки и подергивая мускулами лица, сразу схваченного морозом. Ему хоте-

лось увидеть момент восхода солнца, и он потоптался на месте, с неосознанным удовольствием чувствуя, что прочная и легкая оленья одежда хорошо держит тепло. Он громко и протяжно закричал, пораженный своим одиночеством, и, вслушиваясь в ответный гул тайги, бездумно засмеялся. «Вот пошел, и хорошо, хорошо, такого нигде больше не испытаешь, только здесь, на Севере», — подумал он.

Светлело с каждой минутой, деревья вокруг проступали в чистейшей тишине, краем показался огромный и бледный диск солнца, и Рогачев, весь напрягшись, ждал, пока колючий холодный сноп его лучей ударит в глаза; зажмурившись, он отвернулся; в глазах расходились черные круги. Он вернулся в избушку, позавтракал, затем, взяв маленький походный топорик, пополнил запас дров; на снегу вокруг избушки появилось живое кружево следов, и Рогачев, внезапно затосковав, все медлил и не решался отойти от места своего короткого ночлега в белую, нетронутую даль, но идти было нужно, и он, скользя по твердому насту, пересек речку, не торопясь поднялся по распадку между двумя сопками, редко поросшему ельником и березкой, и шел опять не останавливаясь до трех часов. Отмерив себе остановку у сломанной старой березы, он в начале четвертого с размаху остановился, так что снежная пыль веером поднялась над лыжней, сбросил рюкзак и стал готовить место для ночлега. Он выбрал отвесную каменистую скалу, расчистил у ее основания снег до самой земли, свалил две сухостоины, разрубил их и, перетащив к скале, разжег огонь; еще нужно было приготовить поесть, нарубить еловых лап для спанья, и Рогачев заторопился; силы ему было не занимать, и он работал споро и с удовольствием. Хотя он и устал, но его усталость была легкой, привычной, как после обычного рабочего дня, и, засыпая после всех хлопот и чувствуя у себя на лице приятную теплоту от ровного огня, он подумал, что уже успел за эти два дня соскучиться по живому человеческому голосу, нужно было бы взять с собой собаку, но ведь ее нужно кормить, тут же сонно подумал он, окончательно засыпая; слабое чувство тоски и подавленности от безмолвия осталось в нем и во сне и в следующие третий, четвертый и пятый дни усилилось; Рогачев иногда даже останавливался и, освобождая уши от шапки, пытался уловить хотя бы какой-нибудь звук.

В начале второй недели запас продуктов уменьшился вполовину; Рогачев исходил район Медвежьих сопок вдоль и поперек и успел до самых глаз зарасти черной густой щетиной; пора уже было думать о возвращении, и он, радуясь предстоящей встрече с Тасей, довольно посмеивался. Пора, пора и домой, говорил он, кого это я удивлю своими подвигами, разве что буфетчицу Зинку; тайная мысль, которую он гнал от самого себя, — найти остатки разбившегося самолета, казалась теперь смешной посреди всего этого огромного, бесконечного, равнодушного безмолвия. Нет, надо же подумать, захотел найти какой-то паршивый самолетишко среди этого страха, да тут тысячу лет будешь ползать, костей своих не соберешь, не то что самолет. И живность вся точно вымерла, хоть бы в насмешку баран какой завалящий попался или олешек, да ведь все словно вымерло, точно чума какая прошла, один только раз и видел каменного соболя.

Рогачев открыл глаза сразу после полуночи от холода, поправил костер и теперь никак не мог заснуть, пялился в черное, с ледяными колкими звездами небо, думал о жене; теперь она уже дома наверняка, зря ее, наверное, в область и таскали, какая там болезнь, баба кровь с молоком, в ней каждая жилочка играет; Рогачев засопел, заворочался, вспомнив жену, так, блажь какая-то, что хочешь отыщут эти доктора, дайся только им в руки. Недаром он, Рогачев, за семь верст их обходит. Но дело не в этом. Вот вернется Таська домой, а его нет как нет, и на столе лежит путаная записка, и в ней сказано, что ему-де захотелось побродить по сопкам, ну, она подумает-подумает и пойдет с подружками в клуб, а в поселке полно молодых парней, голодных, как волки по весне. Долго ли перемигнуться да столковаться, да, заслышав тихий стукоток в окошко, встать и откинуть крючок, а там разбирайся, как случилось, дело живое, горячее. Вот он тут загорает возле костра, а там небось...

От такой невероятной, незаслуженной обиды Рогачев окончательно разволновался и расхотел спать, решив утром, затемно, возвращаться обратно, тем более что харчей оставалось ровно на шесть-семь дней, как раз впритык дойти; довольно накручивать и взвинчивать себя, ну даже нашел бы он эти миллионы, ну и что дальше? Куда бы он их дел? В банк не положишь, детям (которых, кстати, пока тоже нет) не оставишь по отход-

ной, можно было, конечно, уехать с Таськой куда-нибудь к теплому морю и прокутить все в два-три года, было бы что вспомнить, да ведь кто в Тулу со своим самоваром ездит? Дурак дураком ты, Иван, герой без крылышек, больше ничего по такому случаю и не скажешь. Государству этот твой подвиг тоже не нужен, государство крутанет машинку, сколько хочешь миллионов отстучит, успевай мешки подставлять. А те несчастные миллиончики вместе с самолетом и одним-двумя бедолагами спишутся в графу убытка по случаю несчастья и суровой северной местности, и дело с концом, точка. И кончай бродить; каждый должен свое родимое дело знать: пахарь — ковыряй себе землю, слесарь — возись с железом, а если ты лесоруб — у тебя в руках тоже своя профессия, не хуже иных прочих. А пропавшие самолеты пусть ищут те, кто к этому делу приставлен, а то, пока ты геройства ищешь, собственную жену уведут, днем с огнем потом не вернешь.

Настроившись таким образом, обрадованный и освобожденный от сомнений, Рогачев перед самым утром забылся коротким сном и еще затемно, точно от толчка, проснулся, быстро, без суеты собрался, позавтракал слегка, лишь только заглушил чуть-чуть чувство голода, чтобы легче было идти, и отправился в обратный путь. Тело было легким, по-молодому подобранным; он наметил себе путь напрямик и, пробежав километров пятнадцать под уклон, остановился поправить лыжи, но внезапно, охваченный каким-то предчувствием, взял винтовку в руки. Это странное предчувствие опять хлынуло на него, когда он уже собрался двинуться дальше, и он долго и напряженно осматривался, затем пробежал немного назад, метров двести, и остановился как вкопанный: точно — след его лыжин пересекал другой, чужой след, который он сразу не заметил, но который все же каким-то образом сказался и заставил его вернуться. Чудеса, подумал Рогачев, больше озадаченный, чем обрадованный, машинально отмечая про себя, что чужие лыжи чуть у́же его собственных и короче, и что человек, видно, сильно устал и потому шел неровно, и что весил он немного и был небольшого роста. «Надо же угораздить», — сказал Рогачев, озадаченный еще больше тем, что неизвестный прошел недавно, ну, может, даже сегодня рано утром, и что шел он в сторону совершенно безлюдную и дикую, к юго-западному побережью, где лишь

в периоды сельдяной путины можно было наткнуться на людей. Или он спятил, подумал Рогачев, даже ведь до пустых бараков не дотянет, верст шестьсот-семьсот с гаком придется отмахать. Рогачев растерялся: во-первых, ему хотелось узнать, почему лыжня протянулась из безлюдных Медвежьих сопок и что там делал человек; а во-вторых, ему хотелось, несмотря на все ночные доводы, во что бы то ни стало пойти по следу, догнать незнакомца и убедиться своими глазами, что он есть на самом деле, что он существует, очень уж неожиданной была на нетронутом снегу эта лыжня.

Рогачев пробежал по следу назад километра три, поднялся на склон высокой сопки и остановился в раздумье — лыжня огибала склон и терялась в редкой тайге, в распадке. По-прежнему ослепительно сияли снега, было безветренно и оглушительно тихо, глаза начинали побаливать, и Рогачев все время напряженно щурился. Он прикинул в уме, на сколько еще ему хватит продуктов, и решил, что дней пять вполне можно протянуть; он принадлежал к характерам сильным и не терпел неопределенности ни в чем; ему показалось, он чего-то не доделал, хотя мог бы. В той стороне, откуда тянулась лыжня, находилась самая глухая и непроходимая часть Медвежьих сопок, и было непонятно, что там делать человеку, разве какой-нибудь отчаянный охотник из местных приходил пострелять соболей, соболь тут водился знатный. Рогачев тут же отбросил эту мысль: сезон давно кончился, еще с месяц назад областная газета писала, что план добычи мягкого золота, в том числе и соболей, выполнен на двести тридцать процентов. Хотя, конечно, и это ничего не значило — мог охотиться какой-нибудь сорвиголова-одиночка, но тогда какого черта его понесло к юго-западному побережью? Может, там кочевье? И все равно, ни один охотник не решится идти на охоту почти за тысячу верст, здесь что-то не то. Рогачеву уже до невозможности хотелось размотать этот запутанный клубочек, и, так как он был твердо уверен, что больше сорока-пятидесяти километров в ту сторону, откуда тянулся след чужой лыжни, пройти невозможно, он решил потратить на это сегодняшний день. Поправив тощий мешок за спиной, он пустился в путь в остром предчувствии каких-то новых открытий, подспудно в нем брезжила потаенная мысль, но он гнал ее, а она возвращалась, усиливалась, и Рогачев уже окончательно уверил-

ся, что эта чужая лыжня связана с исчезнувшим самолетом; он бежал, разгорячившись, быстрее, не пропуская, однако, ни одной мелочи по пути. Мелькнула мимо молоденькая елочка под неправдоподобно огромной шапкой снега; он, отметив про себя остановку чужого, внимательно на ходу осмотрел снег кругом, не брошено ли чего.

Скатываясь со склонов и замедляя движение на подъемах, Рогачев заметно напрягался (пройденное расстояние уже давало себя знать ощутимо), и километров через двадцать останавливался; след лесенкой уходил круто вниз, в заросшее густой неровной тайгой ущелье. Солнце клонилось к вершинам сопок, и Рогачев видел сверху дружно заполнившую ущелье тайгу, спокойно сиявшую под косым холодным солнцем; снегу-то, снегу там, безразлично и вяло подумал он и начал осторожно спускаться. Еще одна мысль мучила его: ведь должен же был этот чужой откуда-то прийти, несомненно, но откуда?

Уже метров через двести, еще издали, Рогачев все понял и сам удивился, как у него может так сильно биться сердце; перед ним было место крушения, узкая, сбитая силой падения самолета, проплешиной искалеченная тайга, куски покореженного железа и два изуродованных трупа, один почти перебитый пополам, со смятой головой, другой, вообще как мешок с перемолотыми костями, свисал с расщепленной пополам толстой ели метрах в пяти от земли; на той же высоте был обломок самолета. Видать, тянули до последнего и почти дотянули — помешали деревья; ну что бы ровная площадка, полянка какая-нибудь! Рогачев с ожесточением пнул попавшуюся под ноги корягу.

Рогачев уже знал, что денег, если они даже уцелели в катастрофе, здесь больше нет: тот, чужой, побывал здесь; и то, что он не позаботился о трупах летчиков, бросив их на произвол равнодушному безмолвию, как бы празднующему свое превосходство, на съедение таежному зверю и птице, обожгло его, Рогачева, и он скованно озирался в беззвучном сумраке глубокого ущелья, пораженный не только разрушительной силой маленького самолета, — смерть пахнула ему в сердце, последний час, последняя минута людей, еще думавших долго жить; в какой-то момент ему даже послышался крик, метнувшийся по елям и застрявший в толстом метровом

снегу. Освободившись от лыж, поставив рядом с ними ружье и сбросив мешок, проваливаясь в снежные заносы с головой и отчаянно ругаясь, Рогачев внимательно исследовал место катастрофы, стараясь все запомнить. Мертвых летчиков, вернее, их останки, он собрал вместе и сложил в вырытую им в снегу яму, завалил их валежником, сверху приладил длинный шест с большой тряпкой на конце, примотав ее найденной проволокой намертво. В смерзшихся от крови и прикипевших к телу комбинезонах Рогачев не стал отыскивать каких-либо бумаг. Выбившись окончательно из сил, измученный близостью этих изуродованных, совсем еще недавно полных жизни тел и невозможностью что-либо изменить, Рогачев начал торопиться, след чужой лыжни не шел из головы. Хотя было уже поздно и лучше было остаться в ущелье на ночлег, Рогачев решил во что бы то ни стало сегодня вернуться к тому месту, где его лыжня впервые пересекла чужой след, и поэтому через силу, тяжело, надсадно, отдыхая на особо крутых местах, он выбрался из ущелья и, не останавливаясь, повернул назад, предварительно замотав лицо теплым шарфом и оставив лишь узкую щель для глаз. Мороз к вечеру усилился, и встречный ветер жег; сопки на западе, охваченные предзакатным огнем, горели в таком ожесточенном холоде, что Рогачев нет-нет да и поглядывал на них украдкой, чем-то смутно встревоженный.

2

Погоню за собой Горяев почувствовал на вторые, вернее — третьи сутки, хотя вокруг беззвучно, как и вчера, расстилалась слепая вездесущая белизна; остановившись как-то для очередной передышки и оглянувшись назад, на уменьшившиеся проклятые сопки, из каменных объятий которых он наконец вырвался, Горяев сначала не поверил, решил, что ему просто мерещится — слишком напряжены были нервы не только от невероятной удачи, но и от мыслей, схвативших в цепкое кольцо позже; случившееся представилось ему с другой стороны, и его впервые пробрала тоскливая дрожь. Жил себе, как все люди, работал, находил время и на спирт, и на баб, и вот теперь у него за спиной в рюкзаке десять тысяч в крупных купюрах, в банковской упаковке, осталь-

ное (он даже боится представить себе эту цифру) надежно упрятано в резиновом мешке в приметном месте, известном ему одному. Ну, дело сделано, допустим, и что дальше, что ему делать дальше с этаким-то богатством? Да ничего, тут же постарался он успокоить разгоряченные мысли. Только бы добратся до места, не вызвав подозрений, понадежней упрятать взятые с собой деньги, о сберкассе пока думать нечего, надо затаиться и выждать, уляжется шумиха с самолетом, утихнут страсти, схлынет острота, а там дело покажет. Всегда можно затеряться, не здесь, конечно, где каждый человек наперечет, зато уж потом он поживет в свое удовольствие, один раз за всю жизнь, пусть теперь другие осваивают этот дикий Север, он и без этого отдал ему больше шести лет; раз ему сверкнула сумасшедшая удача, можно и пожить по-человечески.

Все эти несвязные мысли промелькнули у Горяева, пока он стоял, встревоженный необъяснимым чувством опасности; он знал Север и привык к нему. Вот так не раз приходилось бродить по тайге или тундре, обычно он всегда использовал свой отпуск в зимнее время, приурочивая его к соболиному сезону, облавливая распадки Медвежьих сопок и сбывая потом шкурки в частные руки; и вдруг ему действительно в первый раз по-настоящему повезло. Нехорошо, конечно, нужно сообщить людям о месте катастрофы, но мертвым ведь все равно, мертвым не больно, он, кажется, где-то читал об этом. Скорей бы, скорей прийти на место, пока его не хватились, впрочем, кто станет его искать? Кому он нужен, скромный бухгалтер, взявший две недели отпуска за свой счет? Никто даже не подумает искать его в Медвежьих сопках, в двухстах километрах от того места, где он тихо жил и работал в конторе, составлял ведомости на зарплату рабочим сплаврейда, подсчитывал количество поступающей древесины и рубли, десятки, сотни тысяч рублей, особенно в осенние месяцы; у него на глазах сплавщики сотнями швыряли деньги направо и налево; он и за год не мог заработать столько, сколько выплачивалось им за сорок-пятьдесят рабочих дней. Не отказываться же от своего счастья, и ему удача не с неба свалилась; сколько раз он слышал, что Медвежьи сопки с востока недоступны, а вот он нашел проход и сам сколько раз оказывался над обледенелыми пропастями, а однажды почти два часа отодвигался еле за-

метными микроскопическими движениями от неожиданно открывшейся прорвы, отодвигался и чувствовал, как она держит его и при малейшем неосторожном движении мускулов тянет назад, вниз, он этого ощущения до сих пор не может забыть.

Сверившись по компасу, Горяев пошел дальше, точно на юго-запад; местность все время понижалась, и бежать было легко. Хорошо, поднялась бы пурга, неожиданно подумалось ему, сразу бы все сомнения и страхи кончились; невероятно для этой местности — вот уже месяц жарят морозы, а стоит ясная, безветренная тишь. А может, вернуться, прослыть героем, пропечатают в газетах, гляди, и главбухом станешь, а то и в трест возьмут, подумал он, зло насмехаясь над собой, будешь аккуратно, за исключением, разумеется, двух выходных, надевать ровно к девяти нарукавники, считать чужие деньги, ездить с отчетами в область, женишься в конце концов на какой-нибудь самке, привыкнешь к тому, что ты серость и ничего больше; а сложись твоя жизнь по-иному, может, и явился бы миру второй Наполеон или какое другое историческое лицо, оставил бы после себя память. А так что? Работай до честной пенсии, может, и расщедрится судьба на медаль, а то и на орден, придет время, отнесут его вместе с тобой на кладбище два-три человека, если выпадет хорошая погода, скажут речь в предвкушении выпивки и забудут на другой же день. А в мире всего довольно, и до сих пор есть полководцы, гаремы, и где-нибудь на экваторе люди все еще ходят голыми.

Разгоряченный бессвязными и отрывистыми мыслями, Горяев забыл на время об испугавшем его предчувствии, но к вечеру, когда пора было останавливаться на ночлег, тревога опять охватила его, и он, взобравшись на возвышенное место, недоверчиво и долго осматривал белые безмолвные окрестности; сюда он никогда не забредал; низкорослая тайга тянулась редкими островами среди гольцов и низин, что указывало на близость тундры; безотчетная жалость к себе и страх перед этой бесстрастной, пронизывающей мощью пространства сковали его, и он не сразу смог двинуться с места, хотя надо было спешить к ночлегу, укрыться на ночь.

Выбрав расщелину между двумя гольцами, Горяев кое-как очистил необходимое место от снега, наломал

сушняку и, хотя раньше думал обойтись эту ночь без костра, все-таки разжег огонь и, содрав с лица обледенелый шарф, повесил его на корягу просушить. Затем, чувствуя от тепла еще большую усталость, пересмотрел оставшийся запас пищи, разделил ее мысленно на десять дней (на большее при всем желании не хватало), жадно, обжигаясь, напился кипятку и съел, не чувствуя вкуса, часть сухарей, предназначенную на сегодняшний день. Внутри отошло, отогрелось, и, хотя есть захотелось больше, он позволил себе лишь еще котелок кипятку и, поправив дрова, задремал в тепле, отражаемом от гольцов; доставать и разворачивать спальный мешок у него недостало сил, хотя обязательно нужно было снять торбаса и просушить отсыревшие портянки. Он проснулся часа через два от холода — костер догорел до углей; он быстро наладил огонь, достал и развернул спальный мешок, снял торбаса и юркнул в настывший густой мех — необходимо во что бы то ни стало выспаться перед неизвестностью завтрашнего дня; согревшись, он даже не вспомнил о своих вчерашних страхах, но наутро, одевшись и уже приготовившись встать на лыжню, Горяев замер; в чудовищной давящей тишине он уловил далекий, может, за километр или за два, скрип снега и вначале подумал, что ему просто почудилось. Через несколько минут скрип повторился ближе и явственней. Кровь застучала в висках. Горяев метнулся в сторону, скрываясь за гольцами. В глаза ему ударило солнце, он переменил место и теперь, заслоняя глаза, мог смотреть в ту сторону, откуда шел и сам, и вскоре на склоне одного из распадков, километрах в двух от себя, увидел быстро катящуюся вниз, и, несомненно, по его, Горяева, следу, человеческую фигурку, и хотя она была вполовину меньше обычной, он тотчас определил, что путник этот высок и молод.

Минуту или две Горяев думал, затем быстро спустился вниз, взялся за лямки мешка, но тотчас бросил его наземь. Уходить было бессмысленно; Горяев задохнулся от подступившей к сердцу ненависти. Не дадут ведь уйти, проклятые, один раз человеку повезло, так ведь не оставят в покое, всю душу вытрясут, сам с повинной придешь... И откуда его принесло, ишь торопится, с ненавистью смотрел Горяев на увеличивающуюся, ходко вымахивающую фигуру, — охотник из местных или так, бродяга, искатель приключений? Ишь торопится, Одис-

сей; нет, не в добрый час ты сюда сунулся, если бы можно было по-человечьи договориться — и в разные стороны. Так ведь нет же, кодекс. Ах, сволочи, сволочи, бессильно ругался Горяев, чувствуя, что мешок за спиной жжет лопатки. Так вот взять и отдать свой единственный шанс слепому случаю? Но ведь этого верзилы могло и не оказаться на дороге, и тогда он, Горяев, вышел бы победителем, тогда до конца дней своих он мог бы диктовать судьбе, и никто бы не посмел ему приказывать. Значит, все дело в том, что их дороги скрестились. Его, горяевская, и этого верзилы? Но кто его просил лезть, тайга велика, здесь и разминуться и потеряться недолго, был человек — и нету человека, ищи иголку в сене. Находят потом обглоданные кости, да и те не соберешь. Все эти бессвязные мысли путано промчались в одну секунду; что делать, что делать? Каменея лицом, Горяев почувствовал пальцами затвор (исстывшее железо обожгло); холодно и бесстрастно, как если бы за него думал кто-то совсем сторонний, другой, Горяев рассчитал, что незнакомец по его лыжне пройдет мимо гольцов, почти рядом, ветра нет, он не учует. Более удобного момента не представится. Горяев приготовил лыжи, в любой момент можно было встать на них и покатиться в сторону, вниз, и стал ждать, и по тому, как размашисто и ходко шел незнакомец, Горяев окончательно понял, что он один и совершенно ничего не подозревает. Легонько пошевелив затвором, проверяя и примериваясь, он еще глубже втиснулся в расщелину; вот уже пронзительно-резкий скрип снега совсем рядом, и тут же Горяев увидел выкатившегося из-за гольца высокого, умело и прочно одетого человека; мешок и винтовка были у него за спиной, и на мгновение руки у Горяева дрогнули, но только на мгновение; он выступил из расщелины, повел мушкой, ловя левую сторону спины, в тот же момент незнакомец оглянулся. Что дальше произошло, Горяев не мог потом понять, он выстрелил раз и другой, но незнакомец проявил удивительную подвижность и прыть, понесся сумасшедшими зигзагами и на глазах у растерявшегося Горяева влетел, пригнувшись, в таежную глухомань, заполнившую один из распадков, и пропал. Вскинуть за спину и закрепить мешок — дело нескольких секунд; руки дрожали и не попадали в лямки; проклиная себя и свою торопливость, Горяев бросился в другую сторону, не выпуская винтовки из рук. А мо-

жет, все-таки этот («этот» Горяев выговаривал с ненавистью и страхом, то и дело липкой волной приливавшими к телу и ногам), этот подстрелен и теперь отстанет? В сущности, он и хотел только пугнуть, ненароком все вышло, ведь раньше он и о существовании его ничего не подозревал, зачем он ему сдался, ах, если бы ударила пурга, почти молил он, я бы от него в два счета оторвался, поминай как звали. Подожди, тут же остановил он себя, пурга-то пургой, но ведь он, этот, молчать не будет, а может, уже и у самолета был, а если нет, побывать может. Хватая легкими сухой, обжигающий воздух, Горяев спустя час или полтора непрерывного петлянья по распадкам на минуту приостановился, освободил от меха уши, которые тотчас схватило пронзительным морозом, и прислушался; ничего не указывало, что за ним кто-то идет, и все же Горяев до самого вечера продолжал бежать, бросаясь то в одну, то в другую сторону, а перед самым вечером, сделав огромный крюк, вернулся к намеченному заранее месту у своего следа и затаился, решив ждать здесь хоть сутки и теперь уже бить наверняка. Мучила жажда, он не решался развести даже небольшой огонек, который сразу бы выдал его. Пришла ночь, все было спокойно; к полуночи Горяев почувствовал, что, если сейчас не напьется, сойдет с ума или околеет, хватая обжигающий снег и пытаясь утолить им жажду. Обламывая нижние, омертвевшие сучья старой низкорослой ели, он развел под ее прикрытием небольшой огонек и, натопив снегу, выпил сразу целый котелок обжигающей, пахнущей дымом воды, сжевал сухарь и стал ждать рассвета; спать ему не хотелось, и когда прошел остаток ночи, и утро, и потом еще полдня, он почти поверил, что незнакомец и встреча с ним — всего лишь случайность, так неожиданно закончившаяся для обоих; ему даже мучительно захотелось вернуться назад к каменным гольцам, посмотреть по снегу, не ранил ли он этого; пересилив себя, усмехаясь припухшими губами, он быстро собрался и, затоптав следы костерка, пошел дальше не оглядываясь; была все та же безлюдная, слепящая белизна вокруг и маленькое злое солнце, катящееся низко над горизонтом. Горяев подумал, что потерял почти двое суток, и шел теперь присматриваясь — в этих местах должны были попадаться дикие олени, может быть, и снежный баран или кабарга подвернется, потому что все еще тянулись предгорья.

Выстрела почти в упор, в спину, Рогачев, разумеется, не ждал, и если бы не интуиция, заставившая его в последний момент оглянуться, его Тася да и никто в поселке так никогда бы и не узнали, где он сгинул; через десять или двадцать лет кто-нибудь, вероятно, и натолкнулся бы на его кости, если бы их к тому времени песцы не растащили и не изгрызли в голодные зимы; долгое время после встречи с Горяевым Рогачев, не в силах успокоиться, ругался последними словами. «Ты думаешь, так ты и ушел? — спрашивал он. — Нет, брат, черта с два я тебя теперь выпущу, сволочь, ведь ты меня убить хотел и убил бы, не промахнись, это я точно знаю, я твои глаза подлые запомнил; уж я за это над тобой похохочу, не будь я Иван Рогачев».

Все-таки одна из пуль задела его, прошла под мышкой, порвав кожу, но крови было мало, и она сама остановилась; Рогачев обнаружил это лишь вечером, устраиваясь на ночь, и его ненависть к человеку, которого он никогда не видел, не знал и знать не хотел и который чуть не убил его ни за что ни про что, усилилась. «Сволочь, — ругался Рогачев, — мог бы по-другому. Вот, мол, у меня миллион, давай по-братски потолкуем, вот тебе треть или даже четверть, и ступай откуда пришел, я тебя не знаю, ты меня». Задумавшись над таким забавным оборотом дела, Рогачев прикинул, как бы он поступил, и тут же почувствовал загоревшееся от стыда лицо; он вспомнил заледеневшие, окровавленные мешки — все, что осталось от двух летчиков, и ощущение возможной и даже близкой смерти, бродившей где-то в белых снегах, совсем неподалеку, в облике заросшего, неопрятного и нестарого еще человека с цепкими глазами, сжало сердце. Здоровый и сильный, никогда не знавший раньше ни больниц, ни болезней, он сейчас напряженно вглядывался в темноту, она уже не казалась принадлежащей единственно ему, когда, прочищая легкие, он радостно кричал на заре, встречая солнце и чувствуя себя в этот момент его единственным властелином. И хотя внешне как будто бы ничего не изменилось: и небо было то же, что вчера, и холодные, крупные звезды все те же — он никак не мог заснуть и все прислушивался к мягкому треску дров в костре, и удивительные, непривычные мысли рушились на него. Незаметно

мысли его перекинулись на другое, и он в который раз задумался над тем, почему остался в этом чужом диком краю, бросил завод и почти десять лет работает в леспромхозе.

Сначала после армии хотелось погулять, повидать новые края да и подзаработать, потом вскоре и пила нашлась, первая жена Настюха, худая злющая баба, все пилила, мечтала сколотить денег на домок: она была из гжатских, землячка, это на первых порах их и сблизило, да и что молодому парню было надо, надоело скитаться по общежитиям, он, сколько помнил себя, другого жилища не знал: из ремесленного на завод, с завода в армию, затем — Север. Чисто выдраенными желтыми полами, да лоскутными разноцветными половичками, да пышной геранью пленила его сердце Настюха, только все это быстро кончилось, и растащила их жизнь клещами в разные стороны. Ничего, расстались мирно, похорошему, в чем был Рогачев, в том и ушел из Настюхиных хором, все нажитое оставил ей, чем, видно, и улестил ненасытное Настюхино сердце. Ничего, в ее хомут охотники найдутся, не у всех ведь ветер в голове и душа нараспашку, только ж... голая, говаривала частенько Настя, суча шерсть или меся тесто, руки ее всегда были заняты, язык — тоже. Всем вышла Настюха, все у нее на месте, кроме сердца, вместо него, наверное, исписанная до корочек сберегательная книжка.

Рогачев перевернулся на другой бок, поворочался, устраиваясь удобнее. И черт его знает, как она складывается, жизнь, с Тасей все было по-другому, вроде и он, Рогачев, был тот же, и в начальство не вылез, по-прежнему гонял до седьмого пота на своих лесосеках, а радость из их дома не выходила. Характер у Таси был легкий, все у нее спорилось, и звонкий голос ее слышался в доме с утра до вечера, с тряпкой она за ним по дому не ходила, подбирая следы от его сапожищ, и зарплату проверять не бегала. Но и Тася тоже стала частенько заговаривать об отъезде, о возвращении «на материк», в Россию. «Я уже, Ваня, забыла, как вишня-то цветет, — жаловалась она ему, и при этом глаза ее становились детскими и круглыми. — Или мы не люди, и на солнышке погреться хочется, раздевшись походить, из шерсти ведь не вылезаем круглый год, кроме консервов, не видим ничего». Рогачев с ней соглашался, и самому хотелось побаловаться морем и песочком, поесть

заморских апельсинов, которых, говорят, в Москве на каждом шагу, как в тайге грибов, пройтись чертом по ресторанам, но какой-то внутренний бес держал и не отпускал его сердце от Севера. В прошлый раз, еще до Таси, он ездил на родину, на Смоленщину, но никто не ждал, не встречал его, все казалось ему чужим, а вернее, он сам был здесь всем чужой, ненужный, неинтересный. Да и разные перелески показались ему до смешного маленькими, тесными, обжитыми настолько, что негде, казалось бы, походить здесь с ружьишком, все трещало и лопалось по своим швам, потому что швы оказались узкими и тесными для раздавшегося, привыкшего к немереным тундровым просторам Рогачева. И он затосковал, не дождавшись окончания отпуска, и, растратив с попутными, всегда к такому случаю многочисленными дружками отпускные, он кое-как наскреб деньги на самолет до Игреньска и рад был без памяти, очутившись в игреньском знакомом дощатом аэропорту, и пил без просыпу на радостях (уже на чужие, угощал кто-то совсем ему неизвестный, из соседнего леспромхоза, летевший в отпуск «на материк»), а потом добирался на попутных к себе в леспромхоз.

За этими приятными воспоминаниями Рогачев заснул.

Несколько раз за ночь он просыпался, высовывал голову из спального мешка и прислушивался; теперь уже не было ощущения всепоглощающей, безраздельной тишины — где-то недалеко был человек, и Рогачев чувствовал его и напряженно ждал в этом залитом звездным мраком огромном пространстве, к утру он даже решил все бросить и вернуться домой; теперь, наверное, и Тася с ума сходит. Да и что ему? Вернется, заявит обо всем в милицию, пусть ищут, как ни мал человек, не затеряется бесследно, да еще с миллионами в придачу. А то, что он хотел тебя прихлопнуть? — тут же поймал он себя. — Так и проглотишь? Обидно ведь, какой-то хмырь, не оглянись, и не было бы на свете Ивана Рогачева. Да ведь у тебя продуктов на несколько дней, тут же подумалось ему, только-только домой добежать. Подстрелит он ведь тебя из-за какой-нибудь кочки, этот, видать, ни перед чем не остановится, если его брать, так только хитростью и не голыми руками. И все же наутро Рогачев опять пошел по чужой лыжне, зорко всматриваясь во все стороны, и, если видел впереди навалы кам-

ней, гольцы или заросли кустарника, то есть все то, за чем можно было укрыться, делал большой крюк и поэтому не дошел в этот день до того места, где Горяев ждал его, но на второй день к полудню он сразу нашел это место среди развесистых низкорослых елей, лыжня снова повернула прямо на юго-запад; ровная полоска лыжни уводила дальше и дальше. «Решил, что отстал, — усмехнулся Рогачев, — проворный гад, резво мечется».

Прошел день и второй в беспрерывном скольжении по ослепительно одинаковым снегам; местами пространство переходило в совершенно ровную плоскость, и идти было легко, но на третий день незнакомец стал забирать все больше к югу, что озадачило Рогачева совершенно; он подумал, что если так пойдет дело, то они опять вернутся к Медвежьим сопкам; или с ним что-то стряслось, решил Рогачев, или опять коленце выкинуть задумал; да и вообще он, кажется, начинает крутить не в ту сторону; тут же начинаются Хитрые Гольцы; зимой по ним разве сумасшедший отважится пройти. Но Рогачев стал двигаться осторожнее, размереннее, с внутренней готовностью столкнуться в любую минуту с какой-нибудь неожиданностью, и, переночевав еще раз в удобном, защищенном от ветров месте, с утра опять отправился по чужой лыжне; теперь он до мельчайших подробностей знал характер этой чужой лыжни, знал, когда человек начинал уставать, знал, когда он особенно нервничал, а когда был настроен уверенно и свободно. Вскоре, как он выступил с места ночлега, его охватило неясное, тревожное предчувствие; он часто останавливался, пристально вглядывался в причудливые формы гольцов, часто покрытых широкими шапками снега, и начинал все упорнее думать, что как раз и пришла пора все бросить и вернуться. Он увидел впереди, километрах в двух, голец, торчащий много выше остальных, и решил дойти до него и возвращаться.

4

Горяев остановился на ночлег именно у этого гольца, с трудом набрал немного сушняку, выдергивая его из-под снега в зарослях стланика и карликовой березы рядом. В предвкушении недолгого необходимого отды-

ха, теплоты огня и кипятка он заторопился, сходил за сушняком раз, другой; он был почти уверен, что его преследователь теперь отвязался, и собирался хорошенько отдохнуть. Можно было еще с час идти, но сил осталось слишком мало; он нарочно пошел через Хитрые Гольцы и теперь не знал, выберется ли из них сам.

Случайно взглянув вверх, Горяев выпрямился, потянул руку к глазам. Голец, странной, причудливой формы, похожий на вставшего на дыбы медведя, возвышался над остальными метров на пятьдесят; пятясь задом, Горяев медленно обходил его, стараясь рассмотреть его вершину. Из глаз выметнулось небо; цепляясь за снег и обрушивая его вслед за собой, он скользнул по какому-то косому склону, оборвался и полетел вниз; снег забил ему глаза, снежная масса, летевшая с ним вместе, издавала искрящийся холодный шорох, и это наряду с мучительным ощущением останавливающегося сердца было последнее, что Горяев помнил. Последовал тяжелый удар о слежавшийся многометровый снег на дне провала, и этот скопившийся за долгую зиму снег спас его, но минут десять Горяев лежал без сознания, а когда очнулся, некоторое время никак не мог вспомнить, где он и что произошло, — тьма была вокруг, и он, с трудом высвободив руку, отодвинул снег от лица. Было холодно; Горяев попытался встать и неожиданно легко высунулся из снега; серый полумрак ударил по глазам, и он, привыкнув, увидел каменные отвесные стены вокруг и высоко вверху небольшое продолговатое отверстие в слое снега, которое он пробил, сорвавшись в провал; светилось недостигаемо далеко небо вверху, и Горяеву казалось, что он различает даже искорки звезд. Выбравшись из рухнувшего сверху снега, Горяев задрал голову; лицо его от исступленного ожидания чуда пылало.

— Люди, эй, люди! — кричал он. — Там у меня в мешке веревка есть — должно хватить! К краю близко не подходи! За что-нибудь закрепись сначала. Люди, люди, эй!

Корка слежавшегося снега в провале была крепкой и свободно держала его; он ходил в каменной западне, метров двадцать в длину и пятнадцать в ширину, из конца в конец, согреваясь, и кричал вверх; его голос гулко отдавался назад — от камня вокруг и снега вверху; страх, что никто его здесь вовсе не услышит,

сменился ужасом, и Горяев, сразу обессилев, почувствовал выступивший по всему телу холодный пот. Минут на пять он ослабел и обмяк, боясь даже подумать, что теперь с ним будет. Он еще, уже без всякой надежды, покричал и стал тупо обходить и разглядывать отвесные стены провала. «Ночью конец», — подумал он почти безразлично, в то же время припоминая до мельчайших подробностей последние дни; дурак, дурак, бессильно ругал он себя, подыхай, раз тебе так захотелось. Сам себя в могилу загнал, ты тут сто лет, как мамонт, пролежишь, ведь снег, видно сразу, до конца в этой прорве не тает.

В одном месте он нашел забитую снегом щель и стал бешено разгребать снег и, пробившись метра на два, безнадежно опустил руки. Это была всего лишь выбоина в скале, у самого дна провала, он словно попал в ледяную пещеру с острым сводом; выбравшись из нее, Горяев опустился на корточки, прислонился спиной к холодному, тяжелому камню; ноги не держали. Прежде всего успокоиться, приказал он себе, хотя ясно понимал, что это конец. Нужно успокоиться, под снегом обязательно должно быть какое-нибудь топливо, а спички у него с собой. Только бы докопаться, хотя бы небольшой огонек, он бы дня два-три продержался, ведь мало ли, могут его хватиться, искать пойдут, а тут — дымок. Он ведь, кажется, писал в заявлении на имя начальника сплаврейда Кунина, человека удивительно энергичного и вспыльчивого, что отправляется побродить в Медвежьи сопки на одну-две недели, кажется, писал... Писал или нет? Писал, писал, теперь он точно вспомнил, писал и даже обещал обрадовать его парой первосортных каменных соболишек на разные там бабьи выдумки; ухватившись за эту призрачную мысль, Горяев уже думал, что, если бы топливо, он бы и всю неделю продержался, а там бы его обязательно нашли. Он наметил место, куда, по его мнению, по весне и летом в дожди должно было сверху нести всякий сор, и стал разгребать снег, углубляясь в него все больше и больше; он разбрасывал его руками и ногами, как зверь, всей тяжестью тела отодвигал в стороны грудью и пробился метра на два вниз; под руки ему стали попадаться камни, и скоро он наткнулся на старый толстый лиственничный сук, затем попалась какая-то измочаленная щепка; по коре он определил — еловая. Когда он добрался до

самого дна, он едва не заплакал от радости. Все дно в этом месте было устлано толстым слоем старой травы, битых веток и даже каких-то обмызганных обломков бревен; укрепившись после острого, обессиливающего приступа радости, Горяев стал рвать их из-под снега и через час натаскал большую груду дров; дрова, как он чувствовал, были сырые, но он был уверен в своем искусстве и скоро стал ладить костер, отщипывая от выбранного материала тонкие щепочки охотничьим ножом, который всегда находился с ним в походах у пояса. Он священнодействовал, складывая щепочки на плоский камень, освобожденный им от снега, и когда все было готово, извлек из внутреннего нагрудного кармана спички, заложенные в презерватив и несколько раз перевязанные, неприкосновенный запас, которому были не страшны вода и сырость. Он не любил эти резиновые штучки и пользовался ими лишь в своих охотничьих походах вот для таких целей, но сейчас он без удержу расхваливал неизвестного ему изобретателя; это его даже несколько развеселило, и он зажег спичку уже спокойно, дождался, пока не загорится тоненькая острая щепка, и, наслаждаясь самим видом огонька, бережно поднес его к сложенному костру. Он знал, что все будет в порядке, он испытал странное чувство страха и удовольствия, наблюдая, как огонь переходит со щепки на щепку, наконец начинает одолевать и более трудные сучья, и все это время старался тише дышать. Несмотря на усталость и подступившее чувство голода, он не удержался и сделал вокруг костра несколько диких прыжков, затем сел и стал думать, как ему теперь напиться; в одном месте на камне было небольшое углубление, и туда ползла темная струйка воды, а когда костер разгорелся вовсю, Горяев придвинул к нему снегу побольше и скоро пил с камня теплую, пахнущую дымом воду, стараясь наполнить ею пустой желудок. Ну теперь жить можно, думал он расслабленно, как бы сливаясь с вязким сухим теплом, распространявшимся вокруг костра; преодолев усталость и неожиданную сонливость от тепла, Горяев встал, из сучьев и поленьев устроил место рядом с костром, где он мог бы лечь. Часы показывали третий час, даже в провале, перекрытом толстым слоем снега, было еще достаточно светло; скользя взглядом по стенам провала, Горяев обнаружил, что они кверху сходятся, остается лишь длинная щель метра в четыре; вот

ее-то каким-то образом и перемело, а он и влетел в этот каменный мешок. Огонь есть, вода тоже, он ведь давно уже привык довольствоваться малым, можно было отрезать от верха торбасов полоску кожи, опалить и пожевать, а большего человеку в его положении и желать нечего. Завтра с утра дело покажет, и осмотрится внимательнее, а сейчас нужно заняться ужином.

Горяев отвернул во всю длину голенище левого торбаса, выбрал остроконечную щепку, проткнул ею отрезанную полоску оленьей кожи и поднес к огню. Шерсть вспыхнула мгновенно, и в ноздри ударил едкий запах паленой шерсти и жира; Горяев опалил кожу до чистоты, соскоблил ножом, счистил с нее гарь, затем еще несколько минут подержал на огне. Кожа вздулась, стала толще, и от нее теперь шел совершенно уже раздражающий вкусный запах. Горяев резал ее горячую на мелкие куски и ел; когда полоска кончилась, чувство голода лишь усилилось, но он твердо решил, что на сегодня хватит, и поправил костер. Кстати, и рукавицы успели высохнуть, и было совершенно тепло; он свернулся у огонька и, не думая больше ни о чем, попытался уснуть; какие-то судороги в желудке мешали, и Горяев, поворочавшись, приподнялся, напился с камня и опять сжался на сучьях; нужно еще было просушить носки, но он решил, что успеет, и закрыл глаза; в теле стояла слабость, и мысли были рваными, беспомощными. Он вспомнил давнее, институтское, полузабытое: сверкающий в вечерних огнях город, мокрый асфальт, свою первую и последнюю привязанность к женщине. Они столкнулись у входа в театр, и тотчас, едва взглянув в ее широко распахнувшиеся, безжалостные глаза, он понял, что погиб, и от этого непривычного, удивительного предчувствия собственной беды у него закружилась голова, хотя он продолжал бессмысленно улыбаться.

Он был молод и, несмотря на заурядную внешность, заносчив, он хотел пройти мимо, но против воли остановился, как от сильного встречного удара; женщина все с тем же торжествующе-отсутствующим выражением обошла его (он хотел и не мог посторониться) и исчезла среди колонн, а он все стоял в каком-то странном оцепенении и уже знал, что она хоть однажды будет принадлежать ему, и готов был заплатить за это любой ценой; он был согласен на все. И он не ошибся, но и сейчас, оказавшись заброшенным на другой конец стра-

ны, в иные совершенно условия, ни разу не пожалел и не пожалеет; то, что с ним случилось, было великой радостью и великим счастьем. С тех пор как он уехал сюда, на край земли, прошло больше десяти лет; он не писал и не получал писем и не знал, что с ней, да и не хотел знать. Было бы больно, стань известно о ее счастье, а наоборот — было бы еще поганей.

«Вот и прошла жизнь», — неожиданно произнес Горяев с коротким смешком, от которого он еще больше стал противен себе, — ни детей в мир не пустил, ни памяти о себе не оставил. «Прошла?» — тут же переспросил он себя. Ну это мы еще посмотрим, его час подводить черту еще не наступил.

5

Они уже встречались больше месяца, и он медленно привыкал к ее странному характеру, а она — к его заурядному облику и его ординарности, как она любила говорить, особь мужского пола, ничем не отличающаяся от других, но это было неправдой, иначе бы она оставила его тут же, среди колонн, в безжалостном желтом свете догорающего дня; она в нем чувствовала тот скрытый огонь, что обязательно когда-нибудь прорвется. Горяев знал, что он не один у нее и ему она уделяет как раз крохи своего времени и в основном тогда, когда ей плохо. Он принимал эти отношения с внешней покорностью и терпением, ничем не выдавая своих терзаний, он ждал в надежде взять реванш; она догадывалась и умело поддразнивала его, не подпуская близко. Ей нравилось чувствовать свою власть над этим неотвязчивым, тихим парнем со светлыми глазами, в которых плясала иногда тысяча чертей, и пусть он заканчивал всего лишь какой-то там финансово-экономический и будет, самое большее, прозябать где-нибудь главбухом, он ей становился необходим.

Горяев ждал своего часа, и он наступил; однажды она пришла к нему чем-то расстроенная и обозленная; он вышел на кухню сварить, как обычно, кофе; в огромной коммунальной кухне (на пятом курсе он позволил себе роскошь снять комнату) судачили несколько соседок, они обшарили его любопытными глазами и понимающе переглянулись. Когда он вернулся, Лида плака-

ла, опустив голову на стол; он тихо поставил чайник и два стакана и все это время смотрел на ее затылок, волосы у нее здесь были мягкие, шелковистые, не съеденные краской. Да, сегодня мой день, подумал он и не почувствовал радости.

— Да брось, Лида, — он слегка притронулся к ее волосам, чтобы ощутить их мягкость, и тотчас отдернул руку. — Брось, не плачь.

— Я не плачу, — сказала она, поднимая голову, и он увидел ее светящиеся ненавистью золотистые глаза.

— Вот и отлично, все ведь, ты знаешь, трын-трава, — сфальшивил он, потому что именно в этот момент думал как раз обратное.

— Не надо, — коротко остановила она его руки, достала из сумочки тяжелую серебряную с чернью пудреницу.

Он ничего ей не сказал, он с самого ее появления сегодня знал другое: будет так, как он захочет, сегодня он нужен ей. И он, как всегда, аккуратно резал колбасу складным ножом, наливал в стаканы какой-то скверный портвейн (на большее у него не было денег) и по тому, как Лида пила, видел, что пьет она редко, она опьянела почти сразу и сделалась милее, проще, по-детски смеялась над своей беспомощностью.

— Пьяна, — сказала она, — совсем пьяна. Вася, Вася, точно тебя толкают из стороны в сторону. — Она засмеялась, взглянула на Горяева и попросила поцеловать ее.

Горяев осторожно обошел ее и открыл окно, с улицы ворвался теплый ветер и захлопал шторой; Горяев долго не мог справиться с ней.

— Ты не хочешь меня поцеловать? — Глаза Лиды удивленно раскрылись. — Но это же чудесно, тогда я тебя сама поцелую!

Она поцеловала его сильно, почти по-мужски, больно и, не отпуская от себя, показала глазами на свет, хотя теперь ничто не остановило бы их.

Ближе к утру он на короткое время забылся; открыв глаза, испуганно приподнялся и тотчас откинулся назад, улыбнулся — она была рядом, он своим телом чувствовал ее ровное, бесшумное дыхание; это были лучшие часы его жизни, он это знал, и теперь безразлично, что будет дальше. А дальше было все то же, и много хуже, потому что привязанность Лиды к нему скоро переросла

в ее откровенную ненависть и страдание: ей нравилось и хотелось с ним бывать, но она считала его слишком ничтожным, чтобы связывать с ним свою жизнь.

— Боже мой, как я тебя ненавижу! — сказала она как-то в минуту откровенности. — Ну почему, почему именно ты?

Горяев во время этих вспышек молчал, стараясь чем-нибудь занять руки, он мог ее ударить; да, он знал, что им недолго осталось быть вместе и скоро все это кончится, но так же точно он знал, что всю свою жизнь она его не забудет, и со всегдашней своей тихой улыбкой смотрел на нее, точно на ребенка.

— Ну почему ты молчишь, скажи что-нибудь, скажи!

— А что говорить, Лидок, все же сказано, я — воинствующая серость, ты ждешь принца с алыми парусами. Остается лишь узнать — мы встретимся, как обычно, в пятницу?

Никогда, хотелось ей крикнуть, никогда, но сил уже не было, объяснения изматывали их обоих; и она ведь столько раз давала себе слово не приходить.

Все же время наступило, когда она перестала приходить, и Горяев, хотя был готов к этому, потерял голову, часами простаивал у ее дома, почти преследовал ее. Он понимал, что этим ничего не исправишь, и не мог остановить себя.

Горяев задремал незаметно и, как ему показалось, тотчас открыл глаза; костер ровно горел, и темнота уже сгустилась, дальних стен провала не было видно. Горяев вскочил на ноги и в следующую минуту почувствовал судорожную длинную боль в сердце.

— Эй, — донеслось сверху. — Там есть кто-нибудь живой?

Немного переждав, дав сердцу успокоиться, Горяев, стараясь не выдать волнения, отозвался.

— Слышу... Есть, провалился ненароком.

— У тебя все в порядке? — высоким криком спросили сверху, и было странно слышать живой человеческий голос.

— Кажется, все...

— Сейчас веревку спущу... Черт, запуталась, ничего, у меня крепкая, капрон...

Горяев почувствовал, насколько взволнован человек наверху, и испугался какой-нибудь неуклюжести с его стороны.

— К провалу ие подходи близко! — предупредил он криком. — За камень привязывайся... там у меня в мешке тоже веревка осталась, достань, одной, пожалуй, ие хватит.

Прошло еще минут десять, прежде чем коиец тоикой капроновой веревки оказался в руках у Горяева; ои обвязался под мышками, еще раз все проверил, в последний момент ему даже стало жалко собраниых зря дров, он ухмыльнулся и крикиул вверх, чтоб начииать подъем, и, услышав утвердительный ответ и почувствовав натянувшуюся веревку, стал карабкаться на стену. Рукавицы он сиял и засунул за пазуху; он уже ие думал о том, что тот, чужой, может отпустить веревку где-то у самого верха, но на всякий случай лез так, чтобы в случае чего можио было грохнуться в глубокий сиег; веревка то иатягивалась, то ослабевала; цепляясь за малейшие иеровности и выступы, Горяев время от времени отдыхал и давал отдохиуть Рогачеву. Примерио на полпути ему попался выступ, и Горяев, предупредив Рогачева, отдыхал мииуты две, все время чувствуя под собой пустоту и придерживавшую его сверху веревку; ноги подрагивали, и было жарко, даже изодраииые о камень руки были горячими; вторая половииа подъема оказалась легче, стеиа теперь ие обрывалась отвесно, а шла кверху с иебольшим уклоном, и подниматься стало проще; минут через двадцать Горяев отполз от края провала и долго лежал, приходя в себя. Рогачев, ие теряя времени, стал раскладывать костер, варить мясо. В иебе горели холодиые, частые звезды; Горяев подошел к костру и сел, протянул к теплу руки, ои иикак ие мог заставить себя взглянуть на Рогачева, но, когда мясо сварилось, поднял голову.

— Вот такие дела, — скупо уронил ои и сразу же увидел дико блесиувшие в свете костра глаза Рогачева.

— Оии, дела, всегда такие, — иепонятно отозвался Рогачев, раздумывая, что же ему делать дальше; после целого дия почти беспрерывиой ходьбы зверски хотелось есть. Рогачев осторожно сиял котелок с огня, достал мясо и заметил, как Горяев отвериулся.

— Послушай, ты, — сказал Рогачев с усмешкой в голосе. — Давай, что ли, знакомиться. Меня Иваном звать; по фамилии — Рогачев. Тот самый, которого ты иа днях чуть на тот свет ие отправил.

— Ерунду ие мели, — услышал Рогачев простужеи-

ный, низкий голос. — Никого я на тот свет не отправлял... Ну а с тобой как-то странно вышло, и лица не успел различить.

— А на тот свет всегда странно отправляют, — Рогачев присвистнул, деля мясо на две части. — У тебя кружка есть?

— Была. Меня Василием звать. Горяев.

— Может, и так.

Он поел, но успокоиться не мог; над ним теперь было в льдистых искрах звезд небо, был свободный простор, иди куда хочешь, и в ужасающей тишине темнели в небе старые вершины гольцов; привычный и все-таки какой-то новый, по-другому воспринимаемый мир; провал в пятидесяти метрах от него все время чувствовался, и казалось, что из него порывами тянуло пронизывающим сквозняком.

— А ты бы меня ведь бросил там, случись наоборот, — Рогачев говорил убежденно, с каким-то детским обиженным удивлением, словно сейчас только уверился в этом, увидев собственными глазами Горяева. Он с любопытством и без стеснения рассматривал его и видел, что Горяев еще не пришел в себя и не знает, как ему держаться. — Подлец ты невероятный, Горяев, — сказал он озадаченно и даже весело, — чуть на тот свет меня не отправил...

— Не отправил же, что об этом поминать...

— Значит, не поминать, ишь ты, мягкозубый какой выискался! — удивился еще больше Рогачев, он все всматривался в своего собеседника.

— Напрасно привязываешься, случайно вышло, от неожиданности, — закачалась на снегу большая, резкая тень Горяева. — Кто же думал в такой пустоте наткнуться? Один шанс из тысячи. — Горяев все так же прямо глядел на Рогачева, стараясь не выпустить его глаз. — Один раз не попал, а вторично, когда выпало, не смог, видишь. Слушай, ты прости меня, я сам не понимаю, что это со мной стряслось. Прости, ну вот, прости, слышишь, я ведь только человек, не бог, ничего лишнего не хотел.

— Лишнего не хотел? Стряслось? — переспросил Рогачев и крикнул: — Хватит! Сядь ты по-людски. Что ты качаешься, как гидра? И без того в глазах рябит. Думаешь, кто-нибудь тебе поверит? Ты с меня дурачка

не строй, мозги не завинчивай, высветлился до самого донышка.

Горяев сел на место, взял рукавицы и спрятал в них замерзающие руки; сделал он это машинально и сидел, похожий на крючок, пригнув голову к коленям; он понимал, чувствовал, что ему важнее всего сейчас заставить понять именно этого человека, в которого он стрелял, который случайно оказался на его пути и был не виноват в этом.

— Ты действительно не виноват, Иван Рогачев, — машинально выговорил он вслух свою мысль. — В чужую шкуру не влезешь. Ты вот сидишь, судишь меня, а по какому праву? Что ты обо мне знаешь?

— Чего? Чего? Я сужу? — запоздало изумился Рогачев. — Ты, часом, не псих? Может, случайно не в ту дверь выпустили?

— Подожди, Рогачев, успокойся. Не псих, на учете не состою и ниоткуда не сбежал, — остановил его Горяев с возбуждением, у него все росло желание переломить сидящего рядом, пусть совершенно чужого и ненужного ему человека. — Ты послушай, это нам только внушили, что все вершины доступны, что жизнь как линейка. Собачья чушь это, Рогачев, в жизни не так...

— Зря митинг открыл, — остановил его начинавший утихать Рогачев. — Да у тебя что, с собою склад с продтоварами? Мне каждый час дорог...

— Час ничего не изменит, Рогачев. Уж в этом ты можешь быть уверен. Продуктов у меня на два дня, если их есть теперь по чайной ложке. Да ты, верно, проверил, а спрашиваешь.

— Не успел, — Рогачев сощурился на костер, втягивая ноздрями запах талого от огня снега. — Тебя спасать кинулся, только вот затвор и успел у тебя вынуть... А то, думаю, второй раз не промахнется.

— Ничего, ничего, — равнодушно сказал Горяев, все так же размеренно покачиваясь перед костром. — И подохну, ничего в мире не случится, никто не заметит... Людей слишком много развелось, они друг другу и мешают, хоть нас только двое среди всего этого. — Он теперь с явным выражением какого-то отчаяния и отрешенности на лице повел головой вокруг, на просторно и беспорядочно расставленные гольцы, купающиеся в жидкой жесткой высоте. Тишина, ясность и пустота были столь ощутимыми, что нельзя было не подумать о

чем-то всесильном; нельзя было представить себе, что эта торжественная и ужасающая картина могла организоваться сама по себе, без разумного вмешательства. Низкое солнце давно уже скрылось за горами, и это наполнило все пространство вокруг гольцов чем-то новым; оно теперь не было столь отрешенным и чистым, и все-таки по-прежнему это была особая, подавляющая мощь, разлившаяся над творением великого мастера, и чувствовалось, как глубоки и обширны пропасти вокруг, не предусмотренные и не рассчитанные для живого; но ведь и это смертно, подумал Горяев с каким-то мучительным восторгом, почти в бешенстве от желания внести в этот каменный, равнодушный, замкнутый в своей гармонии мир живую краску; хотя с ним рядом был живой человек, он задыхался от одиночества.

— Рогачев, Рогачев, — пробормотал он почти скороговоркой, но Рогачев его понял. — Послушай, давай разделим эти деньги. У меня с собой немного, там они все, в ущелье, в каменном мешке, я их хорошо запрятал. Я тебе скажу где, там много, достаточно, чтобы многих сделать счастливыми, но ведь нас только двое. Ты только не молчи, — добавил он, встретив посерьезневший, жесткий взгляд Рогачева. — Кричи или ругайся, а то я с ума сойду, слышишь, Рогачев...

— Что? Что? — спросил Рогачев, придвинулся ближе, так и не дождавшись окончания всей этой полубредовой речи. Потом Горяев спал сидя, с неприятно открытым ртом, и лицо его во сне не смягчалось, морщины и складки словно стали суше и проступили отчетливее и резче.

6

После разрыва с Лидой Горяев за несколько дней сдал, он почти не ел и не спал; он знал, что нужно пересилить себя, все бросить и уехать подальше, продраться сквозь эту липкую паутину в другую жизнь, опомниться; повидать другие края, ведь он, в сущности, ничего не видел — учился, работал и снова учился в своем финансовом, подрабатывал летом на стройке; родители у него умерли, и заботиться о нем было некому. Но он был раздавлен. Несколько суток пролежал он, поднимаясь лишь при последней крайности. Когда же встал, с жад-

ным удивлением разглядывал свое изменившееся лицо. Он снял с него наросшую щетину, вымылся под ледяным душем, оделся и вышел поесть; стояло душное лето, и сокурсники разъезжались по стране, меняясь друг с другом адресами. Горяев отлично помнил сейчас, как отрешенно шел по хорошо знакомым улицам, с необычной остротой и жадностью всматриваясь во встречные лица, точно после тяжелой болезни, и ему хотелось всех остановить и все сказать, как ему сейчас хорошо оттого, что есть этот город, вот они, эти люди; в его истончившемся лице светились теплота и радость, и на него смотрели, и ему было приятно. Лида для него теперь умерла раз и навсегда, так ему думалось; все положенное свершилось и прошло, и надо было жить, и можно было жить. Он шел по городу, опустошенный и светлый, словно впервые в жизни видя этот мокрый глянцевитый асфальт, дымящийся от только что прошедшего дождичка, и полощущиеся под ветром стяги на стадионе, и свежую листву на деревьях. Он освободился от цепкой, тягостной власти над ним и радовался своему освобождению. Увидев афишу, извещавшую о новой премьере, Горяев решил непременно пойти вечером в театр. И пошел, хотя ни за что бы не признался, что привело туда его одно лишь желание — увидеть Лиду; и он увидел ее — в сопровождении высокого, темноволосого, интересного мужчины; несомненно, и этот был влюблен без памяти, но держался с достоинством, и Горяев мгновенно почувствовал это. Ну что ж, вот и прекрасно, и увидел, и ничего страшного, и не за чем было гоняться, теперь он знает наверняка, и так гораздо лучше. Лида увидела Горяева еще издали, и тотчас лицо ее приобрело равнодушное, знакомое ему победно-жестокое выражение. Сильно побледнев, Горяев посторонился, пропуская мимо себя высокого военного.

Скользнув по лицу Горяева, как по чему-то наскучившему, незначительному, набившему оскомину, Лида отвернулась и сказала что-то своему спутнику и отошла к витрине с фотографиями артистов.

Сволочь, бездушная сволочь, думал Горяев, уже не в силах оставаться больше в одном здании с нею; он стянул с себя галстук, сунул его в карман и пошел к выходу. Узнать бы фамилию этого черноволосого, думал он опять в какой-то горячке. Руку дам отрубить, непременно что-нибудь выгодное: влиятельные родители, долж-

ность; судя по ее виду, добыча немалая, вцепится намертво, теперь уж не отпустит, а может быть, какой-нибудь жизнерадостный идиот с бицепсами боксера.

Дома он, не раздеваясь, свалился на кровать; кажется, все начиналось сначала, нужно было что-то делать, немедленно, сейчас же, уезжать вон из города; он так и заснул, не раздеваясь, не гася света, и все вздрагивал во сне; ему казалось, что лампочка под потолком лихорадочно дрожит и от нее идет отвратительный звон, и он все силился протянуть руку к выключателю и все не дотягивался.

Ошалело открыв глаза, Горяев вначале не мог понять, где он и что происходит, затем приподнялся, сбросил ноги с кровати. Непрерывно, с надсадными перебоями над дверью трещал звонок; чувствовалось, что звонят безнадежно давно; Горяев пригладил волосы ладонями, встал и открыл дверь; Лида тотчас перешагнула порог, и так как он все стоял столбом, держась за ручку открытой двери, она поморщилась и сама закрыла дверь, стараясь не щелкнуть замком, но он все равно натужно щелкнул, замок был старый, и жильцы все рядились между собой, кому его покупать.

— Можно ли так спать, Василий, день на дворе. Ну что же, так и будем в коридоре стоять на радость соседям?

Она так и сказала: «Василий», очевидно, показывая, что они совершенно чужие друг другу люди и что зашла она лишь по крайней необходимости. Не говоря ни слова, он выключил свет в коридоре, счетчик был общий, и прошел в комнату.

— Мне необходимо поговорить с тобой. — Лида поискала глазами пустое место на столе для своей сумочки из ярко-голубой искусственной клееики, она любила яркие цвета. Стол был сплошь уставлен грязной посудой с засохшими остатками еды. Лида снова поморщилась, но ничего не сказала, села на одинокий стул посреди комнаты и оставила сумочку у себя на коленях. Горяев безучастно наблюдал за ней, она нашла его глаза и покраснела.

— Я пришла поговорить с тобой, Василий, — повторила Лида, и краска ярче проступила на ее щеках и шее. — Я была не права, уклоняясь от разговора... видишь, я пришла.

— Да, я слушаю, — Горяев опустил глаза, потому

что по его глазам она поняла, что не только не прошла, но обострилась любовь к ней; если бы мог, он бы избил ее до полусмерти. — Я слушаю, — повторил он все так же безучастно, найдя какую-то, видимую только ему, точку в полу, — хозяйка — жила, дерет такие деньги за комнату и не может привести пол в порядок — одни щели.

— Знаешь, Василий, — сказала Лида быстро, с болезненным оживлением. — Не надо притворства, оно никогда тебе не удавалось. У-у, как я ненавижу эту твою тихую гордость. В общем, так, Василий, прошу тебя забыть, что между нами было. Я виновата, не сумела справиться с собой, позволила тебе привязаться, но мы ведь были честными друг перед другом, ведь так? Помнишь наш уговор — не связывать друг друга, ну помнишь?

И потому, что Горяев молчал, по-прежнему безучастно рассматривая расшатанные половицы, она заговорила еще торопливее, проглатывая слова.

— Ну в общем, понимаешь, я встретила человека, Вася, не сердись, ведь ты же все понимаешь, такого, как я хочу. Я его, может быть, даже люблю...

— Не надо, — с трудом выдавил он из себя. — Пожалуйста, без подробностей. Все и так ясно. Мы и без того можем понять друг друга, — сказал он, чувствуя, что его подхватил и понес куда-то мутный поток и он не в силах из него выбраться, хотя это было необходимо.

— Значит, все, да? — метнулось к нему просветленное лицо Лиды. — Я так боялась, я же знала, что ты не такой, как все.

Горяев отчетливо, как-то замедленно видел, как она сжимает сумочку в руке; сейчас она уйдет, думал он с тупой болью, появившейся где-то в висках.

— Только у меня одно условие, — сказал Горяев, теперь совершенно не в силах остановить себя, и умолк, увидев совсем близко перед собой ее глаза, они почти жгли его.

— Я подозревала, что ты подлец, но до такой степени... — прозвучал где-то в пустоте голос Лиды, и в следующую минуту он увидел ее уже возле двери и бросился к ней.

— Лида! Лида! Прости меня, я сам не знаю, что говорю, прости. — Он прижался лицом к ее платью и вдруг почувствовал, что Лида беззвучно плачет; это бы-

ло так неожиданно, что непривычная нежность охватила его; и он понял, что, вероятно, в первый и единственный раз он одержал победу.

* * *

— Ну так и что ж, — сказал Рогачев, старательно обкладывая костер. — Мало ли... Баба, она хоть какая цивильная, силу любит. Мало ли баб на свете, а ты к одной прилип, в том и беда.

— Нет, не то, — как-то вяло не согласился с ним Горяев. — Потом их у меня много было, баб, так, конечно, на случай. Ни к одной больше не прикипел. Они все одинаковы, бабе только надо сразу ее место указать. Что там, разве дело в них, бабы — второстепенное дело в жизни, частность, на них серое вещество тратить не стоит. Это я на первой по неопытности обжегся, потому в памяти и осталась, а вот целое, целое, Рогачев, из рук выпускать нельзя, с самого начала, — с каким-то напряженным, холодным блеском в глазах подчеркнул Горяев.

Рогачев, с интересом слушавший, искоса взглянул на него и ничего не ответил; хотел бы он увидеть свою Таську рядом с Горяевым в этот момент. Верно, она бы ничего не сказала, но уж поглядеть бы поглядела на этого товарища. Не так он прост, под свое тощее брюхо целую продовольственную базу подстегивает, вот ведь как некоторые умеют.

— Ты, Рогачев, не слушаешь меня.

— Отчего же, почему ученого человека не послушать. Охотно, — отозвался Рогачев своим сильным, раскатистым голосом, неторопливо укладывая мешок; Горяев теперь неотрывно следил за его руками.

— Собираешься, Рогачев? — спросил наконец он. — А что, не хочешь пригласить в попутчики?

— Пора, брат, Горяев, наш митинг закрывать, гляди вон, поземка. Слов ты много набросал, все кругом да около, а бывалые люди недаром говорят: кто в солдатах не потопал, хорошим генералом не станет. Ты, может, повыше, чем в генералы, метишь, гляди, корень твой не выдержит, неглубоко торчит. — Остановившись взглядом на Горяеве, Рогачев помедлил, крупные, обветренные губы шевельнулись в усмешке. — Прощай покуда, а богатство свое при себе оставь, тебе нужнее. Тут уж

на двоих никак не разложишь. У меня своя дорога, у тебя — своя, вот и поступай как знаешь. Достаточно я за тобой погонялся, было бы за кем. Вот тебе твой затвор, а я пошел, да и тебе то же самое советую.

Рогачев встал, достал из кармана затвор, отдал его Горяеву; тот взял молча, без всякого движения в лице; он, казалось, еще больше сгорбился у огня и не проявлял больше ни малейшего интереса к собравшемуся в обратный путь Рогачеву. И только когда тот приладил мешок и, пробормотав неразборчивое что-то, вроде «ну, пошел», Горяев проводил его холодными глазами, но с места так и не стронулся.

7

Дня через три со значительно потощавшим мешком Рогачев выбрался на прямую дорогу к дому и шел по одному из верхних краев распадка, теперь уже всерьез поругивая себя, а затем и Горяева и удивляясь, как это все могло с ним получиться. Глубокий, метра в полтора снег (Рогачев определил это по верхушкам каменных берез, оставшихся сверху) плотно слежался, и лыжи оставляли на нем лишь едва приметные царапины; выбравшись наверх, Рогачев тут же попятился. Километрах в четырех от себя он увидел маленькую движущуюся точку среди раскаленной белизны; она медленно приближалась к гребню очередной возвышенности, и за ней в беспорядочном нагромождении высились острые, горящие под солнцем вершины Медвежьих сопок, на фоне чистого, густой синевы неба они проступили резко и неприступно, и Рогачева пробрала дрожь при мысли, что неделю назад он облазил их сверху донизу. Он, теперь уже по привычке к осторожности укрывшись за валуном, стал наблюдать за движущейся точкой в белом пространстве и смотрел до рези в глазах до тех самых пор, пока она не перевалила за гребень и не исчезла. Вполне вероятно, что это был кто-то другой, не Горяев, не мог же он опередить. Рогачев встал, но едва удержался на ногах, белое пространство перед ним поплыло; он почувствовал судорожную звенящую пустоту в голове и медленно обволакивающую тело слабость. И тут он подумал, что за все время ни разу не встретил живого следа, правда, он мог его и не заметить в этой

сумасшедшей гонке, и твердо решил в первом же удобном месте попытать счастья. Такое место он приметил лишь назавтра, в начинавшихся опять предгорьях Медвежьих сопок, поросших елью и лиственницей, и не колеблясь сбросил с себя легкий мешок с десятком сухарей и остатками крупы, которую он варил теперь по полгорсти в день. Нарубив молодых елок, он быстро слепил шалаш, заготовил дров на ночь и, проверив винтовку, стал обходить распадок за распадком; азарт погони увлек его слишком далеко, он переоценил свои силы и не рассчитал продукты, нужно было что-то срочно предпринимать — неделю на кипятке не выдержать, если даже пустить в ход еловый отвар. По прежнему своему опыту он знал, что предгорья Медвежьих сопок богаты зверем, здесь спасались от стужи и находили пищу дикие олени, водились белка и соболь, раньше попадалось много коз, а иногда удавалось увидеть и снежных баранов; мысль о куске свежего теплого мяса его захватила, и в глазах опять потемнело, потом слабость прошла, и Рогачев двинулся дальше.

Надежды вскоре оправдались, и если он, занятый раньше одним, ничего не замечал вокруг, то теперь он внимательно приглядывался, стараясь ничего не пропустить. Раза четыре тут пробегали соболь или куница, два раза ему попались старые оленьи лежки; он снял с камня клок шерсти и понюхал. Вымороженная, она ничем не пахла, но у Рогачева мучительно свело скулы, и он про себя выругался. Ветра по-прежнему не ощущалось, застывший, какой-то тяжелый воздух был заметен только в быстром движении. Рогачеву мучительно хотелось курить, но он боялся. Уже под вечер он заметил с гребня одного из распадков стиснутый со всех сторон высокими скалами небольшой островок старых раскидистых елей и решил наведаться туда, хотя для этого пришлось бы обогнуть нагромождения гольцов километра в полтора; он пересилил слабость и пошел, хотя ему сейчас хотелось одного: вернуться к шалашу, напиться кипятку и лечь. Иссиня-темные изнанки лап, пригнувшиеся под тяжестью снега, издали тянули к себе измученные изнурительной белизной глаза; Рогачев не спешил показаться в открытую и шел стороной, в обход, под прикрытием стены можжевеловых зарослей, плотно забитых доверху снегом; дальше начиналось голое пространство, и он еще издали увидел на снегу темные не-

ровные латки, здесь совсем недавно паслись олени, взрывали снег и доставали мох из-под твердого наста. Боясь поверить в свою удачу, таясь и стараясь не дышать, Рогачев продвинулся еще метров на двадцать и, выглянув из-за можжевельника, увидел их, около двух десятков; старый бык с ветвистой тяжелой головой стоял чуть в стороне, словно застывшее изваяние, но стоял он к Рогачеву задом. Пересиливая волнение, Рогачев выбрал двухлетка, доставshего мох из-под снега, и, сосчитав до двадцати, чтобы успокоиться окончательно, бесшумно лег и, прицелившись, словно срастаясь с винтовкой, нажал на крючок. Выстрел хлопнул оглушительно звонко, и тотчас топот взметнувшегося, пронесшегося мимо стада, испуганный храп животных раскололи тишину; Рогачев передернул затвор и в азарте лишь в последний момент удержал руку: в пятидесяти метрах от него на снегу, завалившись на бок, билось красивое, сильное животное, высоко вскидывая голову и ноги. Проваливаясь в снегу, Рогачев подбежал к нему и, прижав голову оленя к земле, одним ударом охотничьего ножа перехватил горло и, сразу опьянев от теплого густого запаха крови, без сил опустился рядом на снег. Глаза оленя подернулись холодной пленкой, тело дрогнуло последний раз. Рогачев, отдышавшись, огляделся; лучше места для дневки нельзя было себе представить, но времени до темноты оставалось мало, нужно успеть освежевать оленя, пока он не застыл, перетащить сюда сумку и прочий припас, устроиться на ночь; надо было спешить, Рогачев хрипло, с надсадом перевел дыхание — дышать становилось все труднее, в желудке от запаха мяса начались спазмы; умело и ловко сняв шкуру, он выбросил внутренности, отделил окорока, несмотря на усталость и усилившийся мороз, ему хотелось сейчас петь. За работой он не заметил, как солнце скрылось в сопках, темнело здесь быстро, но еще оставалось время, чтобы сбегать на лыжах за спальным мешком и остальными вещами; возвращался Рогачев уже в темноте, в темноте и варил мясо. Заснул он окончательно счастливый, ему здорово повезло с оленем. Весь следующий день Рогачев только и делал, что ел и спал. Проснется, поест, заготовит дров и опять поскорее ныряет в нагретый спальный мешок. Он уже твердо решил завтра возвращаться прямо домой, хотя пищи у него теперь было на две-три недели. Отоспавшись и чувствуя себя

свежим и сильным, он открыл глаза; из предрассветной мглы, заполнявшей предгорья и распадки, он увидел далекое небо, и его неспокойный, беловатый оттенок сразу встревожил; он быстро вскочил, разжег костер и стал готовиться в дорогу. Мясо он еще вчера разделил на порции, и его розовато-льдистые кирпичи плотно уложил в мешок. Получалось тяжеловато: килограммов на тридцать, но он подобрал все до последнего кусочка; остатками сердца и печенки решил позавтракать, и скоро ароматный парок потянул от котелка.

Чуть погодя вершины сопок беспокойно зажглись от невидимого еще солнца, но их неровное, неспокойное сияние вызывало тревогу; торопливо приканчивая завтрак, Рогачев косился на сопки, и тревога его все росла; мимо острых белых вершин проносились и гасли какие-то тяжелые, стремительные потоки; солнце, поднимаясь и отвоевывая все новые пространства, казалось, пронизывало все насквозь естественным нестерпимым светом. Рогачев заметил, что мороз сильно сдал и дышать стало легче, но какая-то тяжесть нависала в воздухе. Н-да, допрыгался, с досадой сморщился Рогачев, еще и еще оглядывая сопки и небо.

Он оглядел удобный, защищенный почти со всех сторон еловый распадок, в котором ему удалось добыть оленя. С таким запасом пищи можно вполне переждать ненастье, хотя бы и здесь, ну три-четыре дня, ну пусть неделю-полторы. Правда, бывает и так, что всякие приметы обманывают; там, вверху, покрутится, покрутится, а до земли и не дойдет или в сторону оттянет.

Да и потом, пока небо раскачается во всю силу, верст сорок свободно отмахать можно. Рогачев решил идти; после сытной пищи и крепкого сна он чувствовал себя уверенным; раза два мелькнула мысль о Тасе, которая, видно, его уже заждалась. Пора, давно пора ему быть дома. Со стоявшей рядом ели сполз пласт снега, и в воздух облаком взлетела сухая снежная пыль. Ага, сказал Рогачев, значит, в самом деле стронулось, ну да ничего страшного, дорога знакомая, через три дня он доберется до охотничьей избушки, а там и до дома рукой подать. В крайнем случае остановиться на полдороге, слепить шалаш да заготовить дров недолго.

Рогачев стал приспосабливать за спину мешок с мясом, как вдруг, выпустив лямки, одним гибким движением схватил винтовку и, пятясь, почти втиснулся на-

угад за ствол большой ели, под которой недавно вытоптал снег, обламывая омертвевшие нижние ветви. Почти сразу же из зарослей можжевельника выдвинулся, с трудом переставляя лыжи, человек; Рогачев узнал его и поднял винтовку, но тотчас опустил ее; Горяев еле шел последние метры до костра, крошечный подъем он осилил, спотыкаясь, путаясь ногами и руками, тяжело опираясь на винтовку, как на костыль, и подтягивая грузно обвисшее тело. Он шел прямо на костер, не сводя глаз с котелка, стоявшего рядом, на земле, Рогачев не успел выплеснуть из него воду, в которой варил сердце и печенку. Дотащившись до костра, Горяев упал на колени, схватил котелок и, задыхаясь, кашляя, стал пить; стоя все там же под елью, Рогачев видел его исхудавшие, дрожащие руки, воспаленные, с блеском глаза, обтянутое, казалось, одной кожей, заросшее до самых глаз лицо, судорожно ходивший кадык; Горяев пил со стоном, захлебываясь.

Рогачев вышел из-под ели и остановился в двух шагах от Горяева; а тот все пил, высасывая из котелка последние капли. Мешок за его спиной, схваченный лямками на груди, мешал; винтовка валялась рядом; Рогачев ногой отодвинул винтовку Горяева в сторону, тот даже не пошевелился. Теперь Рогачев мог хорошо разглядеть его. Отставив в сторону опорожненный котелок, Горяев, грузно обмякнув, сидел на коленях, не в силах шевельнуться и только чувствуя, как начинает от тепла отходить и болеть лицо, обмороженное на лбу и с правой стороны; распухшие и потрескавшиеся губы тоже зашлись; Горяев осторожно потрогал их, покосился на Рогачева, который не очень-то дружелюбно глядел в этот момент на неожиданного гостя. Горяев, устраиваясь удобнее, равнодушно закрыл глаза, с наслаждением ощущая в желудке сытую теплоту, медленно расходящуюся по всему телу; неудержимо хотелось спать. Рогачев сел по другую сторону костра, тревожно прислушиваясь к менявшейся погоде; вершины сопок были теперь в постоянном беспокойном переменчивом движении, и Рогачев внутренним чутьем слышал их непрерывный, тревожный звон, упругой, яростной струей льющийся с вершин; до старых елей, с которых теперь то и дело с шумом срывался снег, этот зов дошел раньше, и они хлопотливо оживали от долгого зимнего оцепенения; готовилось что-то грозное, неостановимое. Рогачев

(в который раз уж!) сжался перед мощью солиечиого, проиизаииого исполинской силой пространства. «Гаах!» — еще с одиой ели иа глазах у Рогачева оползсиег, и оиа стремительио рваиулась в иебо освобождеииой хвоей.

Можио бросить этого иепрошеного товарища и уйти, думал Рогачев, оставить ему еды, отсидится, ио ои зиал, что ие сделает этого; с любопытством наблюдая за человеком, который хотел его убить и иаверияка бы убил, если бы ие промашка, и который уже вторичио оказывается в зависимом от него положеиии, Рогачев ие знал, как поступить дальше; ои подошел к Горяеву и присел с иим рядом иа корточки, разглядывая его сухое, почериевшее от мороза лицо, заросшее иссиия-чериой щетииой.

— Оио меия одолело, — сказал Горяев совершеиио ясио, ие отрывая пристальиого взгляда от догорающих, подериутых тоичайшим седоватым пеплом углей.

— Кто? — от иеожидаиности Рогачев слегка отодвииулся.

— Оио, — все так же осозиаиио и убеждеиио повторил Горяев, и Рогачев поиял. — Коиечио... Теперь уже совершеиио все одио, делай что хочешь.

Рогачев иичего ие ответил, медлеиио подиял глаза к вершииам сопок; Горяев сиова забылся в дремоте; Рогачев подбросил в костер иемного сучьев, огляделся, иаметил подходящее место и, ие обращая виимаиия иа Горяева, стал быстро делать шалаш, рубить кусты и молодые ели; ои двигался собраиио, скупо размечая движеиия и поглядывая иа сопки, вокруг вершии которых все гуще струились белые, взвихреииые потоки. Наладив шалаш и иастлав в иего еловых лап, Рогачев взялся готовить дрова, складывая их рядом с шалашом, и провозился почти до двух. Заметио потемиело. Рогачев перенес в шалаш мешок с мясом, собрал все кости, с которых дием раиьше обрезал мясо, сложил их иа замерзшую олеиью шкуру вместе с головой и все переволок к шалашу, кстати, и голову привалил коряжииой у входа, а шкуру размял и расстелил в шалаше поверх еловых лап, мехом вверх. Затем разложил у входа в шалаш иебольшой костер, иа четырех высоких кольях сделал над иим иавес — защиту от сиега, тоже из еловых лап и куска брезента, который всегда иосил с собой. Колья забивал он уже под сильными порывами ветра.

Теперь высоко в сопках отчетливо слышался тяжелый непрерывный гул; небо потемнело и снизилось, солнце с трудом пробивалось сквозь красновато-серую мглу; старые ели под напором ветра глухо заговорили. Горяев очнулся. Рогачев подошел к нему и, с невольной усмешкой глядя в его встревоженные, ждущие, влажно блестевшие глаза, помолчал.

— Ну что, снайпер, — сказал он наконец, — вставай, что ли? Тут рядом шалаш тебе приготовлен и постель постелена. Может, еще шашлык закажешь?

Горяева совсем развезло, он был весь как раскисшая жижа; Рогачев перетащил его к шалашу, перенес туда же его лыжи с винтовкой; ему противно было прикасаться к Горяеву, но тот неотступно следил за ним все теми же ждущими, светлыми и благодарными глазами. Рогачев даже сплюнул и про себя потихоньку выругался. Поставив варить мясо, он подумал, что надо бы посмотреть, что у Горяева с ногами, но тот точно почувствовал и стал жаловаться на рези в желудке — последние три дня он ничего не ел, а с ногами ничего, с ногами ему повезло, вот только лицо и руки прихватило, а с ногами ничего, унты у него крепкие, невыношенные.

— У тебя деньга хорошая, — сказал ему в ответ на это Рогачев. — Вот тебе бы сейчас в ресторан, бульончику из благородной птицы — для желудка оно полезно. — Рогачев поставил перед Горяевым кружку с кипятком.

— Ну бей, добивай, твоя взяла. — Горяев попробовал подтянуть ближе свой мешок, в распухших пальцах появилась боль, и он бросил лямки. — Оно меня одолело. Если даже бросишь, уйдешь один, никто не узнает и не осудит, и первый я; твоя взяла.

— Дурак, — брезгливо сплюнул Рогачев подальше от костра.

— Меня дым от твоего костра спас, а это — что, — Горяев снова пихнул мешок, — бумага. Нет, ты не поймешь, я боялся не успеть. Ну, думаю, пока доберусь, его и след простынет. Ногами двигаю — и ни с места, у меня всего несколько сухарей оставалось... На день, на два, иду и шатаюсь... Когда я тебя увидел, мне на колени хотелось стать. Да нет, не то подумал... я человека увидел. Да разве ты поймешь, здоровый индивидуум, ты только не обижайся. Оно, — Горяев поднял черный корявый палец, прислушиваясь к грохотавшей тайге, как

будто ворочавшей огромные валуны. — Слышишь, теперь вот грохочет, подает голос, а то ведь в ушах звенело от тишины, хоть ты лопни, даже сучок не треснет. Не-ет, неспроста это, попомнишь мое слово, неспроста! — Горяев погрозил кому-то темным скрюченным пальцем.

Рогачев по-прежнему ничего не отвечал, помешивая деревянной ложкой в котелке, он сам ее вырезал и с ней не расставался. Он любил работать с деревом, это передалось ему от отца, смоленского плотника и кровельщика. Тася любила его фигурки, которые он вырезал из мягкой ели, и уставляла ими подоконники. Как она там, Тася, задумчиво и растроганно подумал Рогачев о жене, и дров нарубить ей сейчас некому, а вдруг она еще слаба после больницы, наверняка слаба, а он здесь прохлаждается, байки слушает да еще под пулю чуть не попал. Расскажи кому, так ведь не поверят, на смех поднимут.

Горяев тоже затих, пригрелся в теплом сытном воздухе, откинулся назад и лежал не шевелясь, лишь обмороженные ноздри его дергались от запаха варившегося мяса. По распадку с елями и шалашу в это время ударил, словно рухнул обвал, бешеный порыв ветра, выдувал из-под котелка пламя, и тотчас сплошная белая муть закрыла небо и землю; Рогачев высунул голову из укрытия и торопливо подался назад. Ревущая белая мгла валом рушилась с сопок; Рогачев, закрыв голову брезентом, опять высунулся из шалаша, отворачивая лицо от режущего снега, как мог, защитил еще костер, поправил навес, колья были укреплены надежно, недаром он больше всего над ними трудился, и, прихватив котелок, полузасыпанный золой, разделил дымящееся мясо на две части.

— Ешь, — сказал он, положив перед Горяевым горячее мясо. — Смотри, не сразу, не жадничай, здесь докторов нет и скоро не предвидится. Сначала самую малость съешь, часа через два — еще. Черт, как продувает... Ну ничего, снегом забьет, теплее станет, отлежимся. Ешь, ешь, кипяток сейчас поспеет. С мясом обязательно пить надо.

Горяев съел небольшой кусок сочного, теплого мяса, и хотя ему неудержимо хотелось еще, он пересилил себя, замотал оставшееся мясо в шарф, чтобы оно не замерзло, зажал его под мышку и лег навзничь, закрыв

глаза; болевые спазмы в желудке усилились. Горяев вспомнил слова Рогачева о докторах. Да, в два счета согнешься здесь. И что? Что сделают килограммы этих бесполезных бумажек в мешке? Только костер ими подправить. И, странное дело, Горяеву мучительно захотелось, чтобы непогода никогда не кончалась, чтобы остаться здесь насовсем, принимать теплую, дымящуюся пищу из рук этого человека, имени которого он даже не помнил. Дома Горяева никто не ждал... Ну вот все и кончилось, думал Горяев расслабленно в полусне. Оказывается, одиночество всего хуже, не надо ни денег, ни счастья, ни карьеры, все тонет в этой кромешной белой тьме, сколько таких заблудших, потерянных душ нашло свое успокоение в этой бесконечной ненасытной ледяной могиле. А она, эта прорва, все тянет к себе, засасывает звенящей тишиной и начинает потом вот так неистовствовать и бушевать, когда жертва от нее уходит. А человеку немного надо. Немного тепла и дымящийся кусок мяса в руках пусть даже незнакомца. Горяеву, как когда-то в далеком, забытом детстве, не хотелось думать ни о чем дурном, помнить ничего дурного. Вот он поел немного — и счастлив, и рад чужому человеку, возящемуся с костром, рад шалашу, укрывшему его от неминуемой смерти, вот как воет и дрожит вокруг, опоздай он на четверть часа, и для него бы все кончилось.

Горяев открыл глаза, судорожно приподнял голову; ему показалось, что он совершенно один, а все остальное он просто придумал; он увидел Рогачева, по-прежнему копавшегося у выхода шалаша с огнем (костер задувало), и успокоился, опять закрыл глаза, в глазах металась белая мгла, о чем бы он ни начинал думать, совсем посторонним, стараясь обмануть ее, мгла упорно возвращалась. В затишье все сильнее болело обмороженное лицо; Горяев осторожно, кончиками пальцев, притрагивался к обмороженным местам, страдал от боли и все равно был счастлив. Он чувствовал присутствие Рогачева.

— Вот сейчас вода закипит, сала немного растоплю, помажешься, — услышал он голос Рогачева, и лицо его дернулось, его бы сейчас под пулей не заставили взглянуть в глаза этому человеку.

— Что творится! — опять сказал Рогачев весело и возбужденно. — Тьма, хорошо, шалаш в затишке, ветер

сюда почти не доходит, один снег валом валит. Ну ладно, сейчас кипяточку перехватим, можно будет и поспать. Завалит нас сейчас, как медведей в берлоге, ни в жизнь никто не отыщет, зато и теплей станет. — Рогачев необычно для себя разговорился, не ожидая ответа, приятно было самому слышать свой голос, за неделю-то намолчался.

8

Зверь был необычный, черный и лохматый, с медвежьей головой и мягкими лапами, он не рычал, не кусался, он молча наползал на Горяева, и тот сквозь плотный свалявшийся слой шерсти чувствовал руками его горячую душную плоть; когда зверь вплотную приближал свою пасть, Горяева начинало тошнить от его шумного влажного дыхания, и он, открывая глаза, постепенно приходил в себя, но жар снова усиливался, и он впадал в забытье и начинал бредить. Зверь снова наползал на него, наваливался и давил. Рогачев, сонно кряхтя и бормоча себе под нос ругательства, вылезал из мешка и давал Горяеву напиться, клал ему ладонь на лоб. «Вот поднесла нелегкая, рассказать кому, обхохочешься. Сестра милосердия, да и только».

Снежная буря не прекращалась уже третьи сутки, и Горяев то лежал неподвижно, то начинал метаться и вскрикивать в своем мешке, отбиваясь от кого-то. На четвертый день ему полегчало. Два раза в сутки Рогачев варил мясо и грел кипяток; они почти не разговаривали, но уже привыкли друг к другу; Рогачев за хозяйственными заботами как-то не думал о том, что станет делать, когда буря стихнет и им нужно будет расходиться. Мешок с деньгами лежал в шалаше, в головах у Горяева, и Рогачев ловил себя на мысли, что его давит вроде бы беспричинное беспокойство; от такого количества денег исходила какая-то неприятная тягостная сила, Рогачев даже хотел выставить их из шалаша, но, подумав о том, что Горяев расценит это не так, оставил на месте; на четвертые сутки Горяев совсем отошел и все делал попытки заговорить; Рогачев не отзывался, оба чувствовали, что им невозможно быть дальше рядом, если они все так же будут молчать; Рогачев думал об этом и все время старался отвлечь себя воспоминаниями; особенно часто ему вспоминалось поче-

му-то, как он впервые увиделся с Тасей, и это было ему приятно; он опять и опять припоминал, как три года назад, после развода с Настей, пошел на сплав, и была веселая, тяжелая работа от зари до зари, просторная и быстрая река, солнце и комары. Было приятно вспоминать о тепле, и хоть ему не совсем тогда и повезло, все равно приятно. На сплаве со всяким может случиться, да и сколько он там пролежал? Дней десять, сейчас уж только к сильной непогоде помятое тогда колено поламывает, да и то все меньше и меньше. А потом что ж, потом он Тасю увидел, а как увидел, так и почуял, что вот она, его доля и петля, и никуда он от нее не денется.

9

Рогачева тогда встретили весело, и его друг Семен Волобуев сразу же выложил, что наряды закрыты хорошо, есть и прогрессивка и премиальные будут.

— Завтра-послезавтра обещают деньги. Ты как раз вовремя подоспел, в самую точку. Ты как, наличными или через почту?

Рогачев пожал плечами.

— А ты, Семен?

— Да мы с Колькой решили наличными. Чего там путаться, что-то около пяти тысчонок. — Семен покосился на хозяйку, хлопотавшую над столом тут же в комнате, и Рогачев отметил про себя, что уж что-то очень часто внимание Семена сосредоточивается на хозяйке; все трое они были тогда «вдовые» — Семен Волобуев, Колька Афанасьев и он сам. Рогачев уважал Семена, его всегда удивляли в Волобуеве его природная сметка и ровность характера и вот эта, неосознанная и неизвестно откуда берущаяся уверенность в себе — человек говорит о пяти тысячах, словно о пятидесяти копейках и словно они ему ничего не стоят, и не он за них десятки раз висел на волоске от смерти.

Хозяйка в летах, крепкая (она напоминала Рогачеву кряжистую здоровую березу ранней осенью, когда листья на ней еще все целы и еще все зеленые, даже темноватые кое-где от избытка сил, только вот именно этот оттенок избытка и наводит на грустные мысли о зиме), накрыла по просьбе Семена стол, и на нем появились маринованные грибы, сало желтыми ломтями, вареное

мясо краба и маленькие, длиной в ладонь, жирные копченые рыбки, которых хозяйка ласково называла «окуньки», с припаданием на первую букву.

— Сейчас Колька прибежит, — сказал Семен, выкатывая откуда-то из-под стула большой резиновый мяч, расписанный розовыми облаками и белыми стрелами.

— Чудо, — сказал Рогачев. — А где Колька?

— Да рядом, в соседях. Ты бы, Сонь, сходила за ним, а? — ласково попросил Семен, и Рогачев еще раз отметил, что тут что-то та́кое есть.

— Схожу, слыхала, — сказала хозяйка и сразу же вышла.

Семен проводил ее взглядом, толкнул мяч носком сапога, поглядел на Рогачева.

— Одна баба живет. Мужик рыбак был, в прошлом году утоп. Я их давно знаю. Хорошая баба, а вот поди тебе — утоп. А жиличка у нее еще лучше. Сейчас с работы придет. Тоже из наших краев. А мать твоя жива?

— Померла, — сказал Рогачев, хотя видел, что спрашивает его Семен только ради приличия и что на самом деле ему хочется поговорить об этой самой бабе, у которой прошлым годом утоп мужик.

— Старая будет?

— Сейчас бы шестьдесят один был... Я ее плохо помню... вот лицо да руки, это как вчера.

— Все там будем, тут уж ничего не попишешь, — сказал Семен, задумываясь. — Поедешь, значит, после договора домой?

— Поеду.

— Так. Остаться, значит, не желаешь? А что тебе там, дома, а? Семьи у тебя сейчас нет... Нет или скрываешь?

— Долго ли завести, — ушел Рогачев от ответа. — Дело нехитрое.

Семен поглядел на Рогачева остро, вприщур, и тихо, как-то про себя, повторил:

— Оно дело, конечно, нехитрое, да ведь и без него как? А я бы на твоем месте еще подумал, Иван, еще бы один срок оттрубил. Тебе еще есть время, обдомоводиться успеешь.

Он глядел на Рогачева с грустью, и от этого тот злился. Можно ли было спрашивать об этом, поедет или нет? Да он не поедет, а полетит.

— Можно ведь и на год еще продлить, ты смотри, Иван.

— Ладно, Семен, погляжу, мне и без того еще почти год. — Рогачев больше ничего не сказал, покосился на стол, ему хотелось есть с дороги, настроение было веселое и легкое. Давно ему не было так хорошо, как здесь, в жарко натопленной комнате с веселыми солнечными бликами на полу.

В это время в коридоре послышались голоса, шаги. Колька Афанасьев широко распахнул дверь — он, видно, только что встал с постели. За ним вошла хозяйка и еще женщина, помоложе, и Рогачев заметил ее мгновенный тревожный взгляд, брошенный на него еще из двери, и вот в этот момент от серых, широко распахнувшихся ему навстречу глаз и дрогнуло у Рогачева где-то в самой глубине, и он уже больше ни на минуту не мог забыть этого своего ощущения.

— Заждались? — засмеялась хозяйка, проворно снимая с полок у плиты какие-то банки и расставляя их по столу; Рогачев не верил своим глазам; бутылки на столе не было.

— Подожди, подожди, — сказал Волобуев, перехватывая его удивленный взгляд, и поднял глаза на Кольку. — А ты что один?

— Настя на работе, записку оставила. У нее сегодня, оказывается, смена. Проснулся, шарю возле, нету. Да опять заснул. Хорошо вот Софья Ильинична разбудила, до вечера бы проспал.

Колька говорил и глядел на Рогачева, он хотел, чтобы все понимали, почему он так долго спал, и это желание до того было откровенным, что все действительно понимали, почему он так долго спал, и Колька это видел.

— Вот съезжу, рассчитаюсь, да и сюда. Хватит голышом перекатываться, обрастать надо мхом-травой, надоело.

— Решил, значит?

— Решил, Семен. А чего ждать? Баба хорошая, здоровая. Чего-то я к ней сразу прилип. — Колька застеснялся своих последних слов, и Волобуев стал улыбаться.

— Рассчитываться-то зачем, по правилам она должна. Не муж к жене, а жена к мужу — давний закон.

— Работы и здесь хватит. Ты чего, Иван, стоишь, не садишься?

Рогачев подошел, сел рядом; Волобуев следил за ним своими маленькими ясными глазками. Он терпеливо ждал, когда все рассядутся и когда освободится все время что-то хлопотавшая хозяйка.

— Садись, Сонь, — не выдержал он, и она послушно села рядом с ним на табуретку, откинула светлую прядку волос со лба.

— За возвращение Ванькино надо бы? — спросил Колька Афанасьев.

— Ничего, потерпишь до денег.

— Я потерплю... Ну с богом!

Вкусная еда на пустой желудок сразу ударила в голову, но Рогачев подумал, что он все-таки здорово ослаб в больнице, ноги стали словно из ваты.

Софья Ильинична, помолодевшая и разрумянившаяся от плиты, налила настоящие щи из свежей капусты и положила в них большие куски оленины, Рогачев жадно втянул в себя вкусный запах жареного лука, мяса и придвинул тарелку. Он опорожнил ее дважды и все не мог понять, в чем секрет — это были щи невероятно вкусные, и чем больше он их ел, тем больше хотелось, хотя в поясе становилось все туже и дышать было трудно. Какой-то незнакомый ему запах так и тянул к себе, он отодвинулся от стола, смущенный своим обжорством, и больше для Таси, сидевшей тут же, у краешка стола, и осторожно хлебавшей те же щи, сказал:

— Чу-удо!

Софья Ильинична засмеялась, довольная, оказалось, что все они наблюдали за Рогачевым.

— Тут грибки пережаренные да морской капусты чуток, — сказала хозяйка. — У нас все так варят. А мясо чего ж, не нравится?

— Не могу больше, лопну.

— Не лопнешь, — пообещал Колька, придвигая к нему налитый до краев стакан холодного, ледяного кваса. — Я вначале тоже объедался, здешние бабы умеют. Вот еще подожди, крабов тебе надо попробовать, здесь их тоже по-особому варят, с кожурой проглотишь. Да только после этого...

— Ну-ну, — Софья Ильинична шутливо повысила голос, Колька наклонился и зашептал, жарко дыша в ухо, Рогачев отодвинулся.

— Кончай свою бодягу, — недовольно остановил его

Волобуев; голос Кольки никак не мог перейти на шепот, и все хорошо слышали то, что он говорил.

— И не пьянеешь от такой закуски, вот чудо. Ну попей кваску.

Рогачев отпил квасу и придвинул к себе оленину, и все они были рады, что он хорошо ел, что они могут сделать приятное, особенно хозяйка. Оленина была сварена, видать, с какими-то травами, была сочна, и от нее неуловимо пахло ароматом весенней тайги. Рогачеву вспомнились дикие распадки сопок в цветущем разнотравье, где он побывал прошлой весной, увязавшись с геологами на неделю.

Хотя их за столом было пятеро, шум стоял изрядный. Колька Афанасьев все порывался что-то рассказать, его не слушали, и он внезапно загрустил и вспомнил, как в прошлом году на сплаве погиб его старый дружок. Волобуев сразу нахмурился, а Софья Ильинична стала толкать Кольку в бок, и, махнув рукой, он пошел к двери. Его не стали удерживать, каждый делал что хотел; Рогачев заметил, что Софья Ильинична глядит на Волобуева с нежностью, с той бабьей нежностью, которую невозможно упрятать ни за шуткой, ни за резковатым словом, и порадовался за него; простым глазом видно, что тут все хорошо и жизнь его будет лучше, чем была до сих пор, и Васятке его будет хорошо; Рогачеву определенно нравилась Софья Ильинична, в ней была какая-то домовитость и чистота, но, по правде сказать, его больше всего занимала Тася, просидевшая весь обед без единого слова, а потом, когда все встали, собравшая посуду и унесшая ее мыть.

— Она у вас всегда такая? — спросил Рогачев у хозяйки, и Софья Ильинична, не сдерживая голоса, засмеялась.

— А ты не смотри, не смотри! — сказала она. — Тихий огонек, он хоть и не горяч, зато дорог, в нем своя особица. Как привыкнешь, так и не оторвешься.

Рогачев уже перечистил котелок, ножи и кружки, больше чистить было нечего, винтовку за эти долгие дни он тоже не один раз разобрал, вычистил и собрал, он стал думать, как, переждав бурю, вернется домой и его встретит Таська, здоровая и веселая, и как он позовет своих друзей, Волобуева Семку и Афанасьева Коль-

ку с женами, и они посидят хорошенько вечером, он им расскажет все, вот рты-то раскроют, да ведь все равно не поверят. А потом... Об этом «потом» Рогачев старался не думать, чтобы не расстраиваться, очень долгим еще было возвращеиие.

— Не могу, — неожиданио сказал Горяев и, высунувшись до половииы из мешка, сел. — Не могу я, не могу. Остаться одиому, ни за что. Делай что хочешь, не уйду.

— Не можешь, не иадо, иикто тебя не гонит, — сказал Рогачев, с жалостью разглядывая три оставшиеся в пачке помятые сигареты; наконец он решился, бережио разорвал одну из них пополам и закурил. — Как хочешь, а быть с тобой не очень весело.

— Понимаю, — торопливо согласнлся Горяев. — Понимаю, ладио, все равно, спасибо и на этом. Пойми, никого у меня, одии как перст божий, сам виноват, конечно. Послушай, — попросил он Рогачева, — ты меня уважать, конечно, не можешь, не обязан... Но все-таки, если можешь, забудь тот случай. Не знаю, как вышло. Нет, ты сейчас ничего не говори. Понимаешь, когда я увидел эту кучу денег, какое-то затмение иа меня иашло, не знаю, что со мной было... Мие все время казалось, что я не на своем месте в жизни, все ждал свой едииственный шанс, случай, мне сорок, а я до сих пор не женат, почему, ты думаешь? Из-за той истории, что я тебе рассказал? Нет, это лишь начало, повод... Во мне червь какой-то разросся и гложет, я не так жить хотел, вверху жить хотел! И никогда ие получалось, смешнее клерка с претеизиями ничего ие может быть... И сразу столько денег!

Рогачев, виачале делавший вид, что не обращает внимания на слова Горяева, отбросил сучок, который ои обстругивал ножом, стараясь придать ему вид старичка лесовика; пожалуй, в нем пробудилось нечто вроде сочувствия к Горяеву, он в чем-то мог и понять его, ведь какие-то отголоски своих мыслей и иастроений чувствовал Рогачев в словах Горяева, и ему было и стыдно, и неловко, и хотелось прекратить эту виезапиую исповедь.

— Ребят жалко, — сказал он задумчиво, в иеподвижных зрачках его плясали крохотные отблески огня. — Пропали ни за что. На войне бы не обидно. А за

этот мусор. Ждут ведь их небось, надеются, все глаза проглядели... — Рогачев осекся.

Его тоже ждали и выплакали небось все глаза, Таська небось почернела, леспромхоз на ноги подняла, а все из-за его дурной затеи — решил хлопец прогуляться в тайгу за соболишком. Ах, едрена Феня, нескладно все получилось...

Ему в сердцах хотелось вспомнить Горяеву, что бросил он летчиков не по-людски, незахороненными, но, взглянув на него, съежившегося крючком, почему-то промолчал и тщательно запрятал остаток притушенного окурка (потом можно будет размять и сделать самокрутку). Из-за жирной и обильной еды Рогачев за ночь несколько раз вставал пить воду и прислушивался, в реве бури теперь ясно различались пустоты и провалы; открыв еще раз глаза ближе к утру, он замер. Он сразу понял, что Горяев не спит, затаился; Горяев ворочался и трудно, шумно вздыхал. «Зачем? Зачем?» — услышал Рогачев, совсем рядом и от неожиданности едва не отозвался, но тут же не без доли злорадства перевернулся на другой бок и заснул и, как ему показалось, опять почти сразу проснулся от необычного ощущения: было тихо, было так тихо, что он тут же бесцеремонно растолкал Горяева, и они несколько минут вслушивались, почти оглушенные.

Выбравшись наверх (их завалило снегом вместе с шалашом и с навесом над костром) они увидели нетронутое девственное пространство, мягкий молодой снег отдавал чистейшим перламутром, и взошедшее солнце холодно играло в пустынном небе; буря неузнаваемо изменила местность вокруг, и прежде чем выбрать направление, Рогачев долго всматривался, недовольно крякал и прикидывал. В это время Горяев безучастно ждал, стоя позади и сердцем ощущая зыбкость и ненадежность своего присутствия в жизни и в то же время испытывая сильное желание ошеломить, озадачить добродушного, здорового человека, делившего рядом припасы, но не знал, как это сделать, и ничего придумать не мог. Он обреченно следил за Рогачевым, строго делившим все припасы на две равные части; затем Рогачев уложил свой мешок, присел на корточки у догоравшего костра.

— Ну вот, — сказал он неожиданно. — Прощай, Горяев Василий, в гости не приглашаю, не обижайся.

Дойти ты теперь дойдешь, я тебе мяса отполовинил. Прощай.

— Иван, послушай, — Горяев проворно достал откуда-то из-за спины туго набитый, видимо заранее приготовленный большой кожаный кисет, бросил его к ногам Рогачева. — Освободи меня от них, ради всего святого!

— Ты Ваньку-то не валяй, Горяев, — строго и отчужденно сказал Рогачев, застегивая ремни рюкзака. — Сам себя нагрузил, сам и освобождайся, ишь привыкли к костылям! Нагадил, убирай за собой сам. Никто тебе ничего не должен. — Приладив винтовку, Рогачев встал на лыжи и, не оглядываясь, не взглянув на кисет, скользнул вниз с белого склона; с вершин сопок еще доносился легкий гул, тишина после бури не успела устояться.

— Эй, Рогачев, подожди! — запоздало попытался остановить его Горяев, но Рогачев больше не оглянулся; ему наконец просторно стало на душе от своего решения все бросить и идти прямо домой; что мог, он сделал, а все остальное уже не его дело, на это есть суд и милиция, а ему за всю эту муру памятника не поставят, а времени уйму потерял.

Весело поглядывая кругом и радуясь обновленному бурей миру, он бежал скоро и ловко, потому что путь шел все время под уклон. Он отлежался за эти дни и набрался сил, и теперь ничего не было страшно: четыре дня ходу — пустяк для него, ну за то, что припоздает на несколько дней, начальство отругает, на том и сойдет. Правда, еще от собственного домашнего начальства, от Таськи, здорово достанется, вот уж покричит так покричит, душу отведет, думал он с удовольствием, видя перед собой возмущенное лицо жены; сейчас всякое воспоминание о доме было ему приятно. Лыжи скользили по синеватому, словно подсвеченному изнутри снегу легко и свободно, и Рогачев, отдавшись ровному движению, часа два шел не останавливаясь. Он оглянулся где-то у подножия сопок, там, где тайга уже начинала вгрызаться в сопки по распадкам, и остановился. Он увидел на ослепительно сияющем склоне темную точку, движущуюся по его следу. Вот сволочь, подумал Рогачев беззлобно, напал черт на грешную душу.

Рогачев решил было остановиться и дождаться Го-

ряева, затем, после небольшого раздумья, пошел дальше; в конце концов он не мог запретить Горяеву идти куда ему хочется, он лишь испытывал какую-то связанность от непрерывного ощущения другого, постороннего человека, неотрывно идущего по его следу и, как ни странно, уже не казавшегося ему чужим.

Его все гуще охватывала со всех сторон неподвижная, белая тайга; деревья, заваленные снегом, все-таки были живыми, и Рогачев чувствовал их ждущую, притаившуюся до поры жизнь; и от этого едва улавливаемого запаха теплой земли и зелени в него опять начинало вселяться смутное беспокойство.

Солнце низилось, от деревьев бежали, удлинялись размытые тени; еще один день кончился, и нужно было выбирать место ночлега.

Григорий СТАН

«День гнева»

I

Небо не прояснялось, хотя дождь перестал. Ветер носился по узким улицам Каунаса, расшвыривая опавшую листву. Он вырывался на серую гладь Немана, вздымал зубчатые волны и гнал их к противоположному берегу. Казалось, нагрянула осень.

До прибытия парохода оставалось минут пятнадцать.

— Ну как наша погода? — смеясь, спросил Пятрас Жмудис. — Иногда так все лето.

— Погодой меня не удивишь, — отвечал Озеров. — Я ведь сам из псковских краев, деревня Гнилищи, может, слышал? Соседи почти что...

— А вы ведь везучий, товарищ капитан, — Жмудис вдруг стал серьезным. — Ну мало ли почему могли у вас в Гродно убить ксендза? Личные счеты, интриги, провокация, наконец. Тем более он и проповеди против колхозов произносил. Прикончили и свалили на большевиков, а? А вы беретесь за это дело и выходите прямо на нас, на этот «Центр Освобождения» *.

— И мы поначалу думали: заурядная провокация, да только после разговора с экономкой убитого я призадумался. Уж не помешал ли покойник — царство ему небесное — самому епископу Рудзинскому?

— Это не проповедями ли против колхозов помешал бедный ксендз его преосвященству? — усмехнулся Жмудис.

Улыбнулся и Озеров:

— Если верить экономке, скорее наоборот. В последние дни старик вроде бы всерьез стал сомневаться в том, что говорил раньше: власть Советская-де — от антихриста. В проповеди прямо заявил прихожанам: не следует церкви заниматься политикой. И дома, пе-

* «Центр Освобождення» — организация лнтовских буржуазных националнстов.

ред распятием, вымаливал прощение за былое свое ораторство. Вот его и убрали. Чтоб молчал.

— А как он оказался у ксендза, этот Скочинский? — поинтересовался Пятрас.

— Беженец. Бежал из захваченной немцами Польши. Епископ утверждает, что не мог отказать ему в приюте. Тем более что Скочинский будто бы готовил себя к служению богу. Поэтому епископ и поселил его у настоятеля самого крупного в городе костела.

— И долго он у него готовился к служению богу?

— Почти месяц. Между прочим, ездил с настоятелем по приходам. Словно был к нему приставлен.

— Или проверял резидентуру?

— А почему бы и нет, — согласился Озеров. — Заодно подметил и колебания в настроениях покойного. Алиби себе обеспечил: исчез за три дня до убийства.

— Выходит, этот самый Крутис, специалист по мокрым делам, вовремя подоспел к епископу...

— Да, в срок... — отозвался Озеров. — От его усердия кровью полсада залило. Знали бы мы, чем кончатся его регулярные визиты к епископу, раньше бы его замели.

Жмудис машинально посмотрел на часы. «Четыре минуты», — отметил он про себя и негромко сказал:

— Иван Петрович, Крутис еще в тридцать первом году служил в садовниках у здешнего прелата Витольда. Неудивительно, что прелат сделал его связным. Но, скажу откровенно, попадись он нам — взяли бы не раздумывая. Многовато уж больно за ним всего...

Озеров недоверчиво покачал головой.

— Знаешь, Пятрас, ну возьми мы его, а как бы потом вышли на Скочинского? А Крутис сам нас привел к нему. И когда они встретились на заброшенном хуторе, я впервые подумал: ох, не так уж он прост.

— Пароход, — порывисто указал Жмудис.

Действительно, к пристани медленно, будто нехотя, приближалось крохотное обшарпанное суденышко. Озеров пристально разглядывал палубу.

— Смотри, вон молодой блондин в бежевой накидке с пелериной и саквояжем. Скочинский, — негромко сказал он Жмудису.

— О, а ведь он недурен, этот поляк, — пошутил Жмудис.

— Что-то я не вижу ни Крутиса, ни Бутейкиса, — задумчиво отвечал Озеров.

— Может, сошли в Алитусе?

— Нам бы сообщили, — возразил Озеров, — черт возьми, где же Бутейкис?

— Иван Петрович! Времени на размышления нет. Бутейкис вас сам отыщет, а Крутису от него деваться некуда. Волноваться раньше времени не стоит. Займемся Скочинским. Иначе вильнет хвостом — и был таков.

Скочинский, сойдя с парохода, немного побродил по узким улочкам старого города, вышел к кафедральному собору, обошел его, затем направился к центру. Вел он себя уверенно, будто знал город наизусть. На одной из улиц, прилегающих к Лайсвес-аллее, Скочинский скрылся за дверью ювелирной мастерской.

— Вот так номер! — удивленно присвистнул Жмудис.

— Что такое? — мрачно переспросил Озеров, размышляя о том, куда же мог подеваться Бутейкис.

— Ай да ювелир! — как бы про себя проговорил Пятрас.

— Товарищ Жмудис, зайди в помещение, посмотри, что и как. А я пока осмотрюсь.

Мастерская была больше похожа на магазин. Несколько посетителей склонились над прилавком. Рядом, прислонившись спиной к стеклянному шкафу и безразличным взглядом охватывая большой зал, стоял маленький лысый человечек. За конторкой восседала дородная, ярко накрашенная блондинка.

Жмудис здесь был не впервые и сразу же узнал хозяина, Якоба Штольца. Скосив глаза, Пятрас увидел справа у столика Скочинского. Тот рылся в саквояже. Достав какую-то бумагу, захлопнул саквояж и направился к конторке.

— Я попрошу заведующего, — обратился он по-литовски к блондинке.

Женщина кивком указала на Штольца. Скочинский подошел к нему и подал бумагу. Штольц пробежал ее глазами, окинул быстрым взглядом гостя, любезно улыбнулся:

— Ваш заказ, конечно, уже готов, прошу вас пройти со мною: — Он впился взглядом в лица посетителей и самодовольно произнес: — Фирма «Якоб Штольц» любой заказ всегда выполняет точно.

И они скрылись за тяжелой портьерой.

Пятрас отыскал Озерова на скамейке напротив мастерской и доложил обстановку.

— Тут наверняка явочная квартира, — заключил он.

— Что собой представляет Штольц? — спросил Озеров.

— Я его знаю давно, за деньги родного брата продаст. Так что ничего удивительного, если он и нами торгует оптом и в розницу.

— А я тут осмотрел ближайшие дворы, — сказал Озеров. — Проходов нигде нет. Двор мастерской изолирован, так что выйти Скочинский может только на улицу. И еще: никто за ним до Штольца не шел.

— Теперь они никуда от нас не денутся, Иван Петрович. Давно у меня к этому ювелиру кое-какие счеты имеются. Но я и подумать не мог, будто он занимается не только спекуляцией, но и политикой.

— Знаешь, пока есть время, давай зайдем в бар, вон в тот, напротив мастерской, — предложил Озеров, — что-то живот подтянуло. А то когда еще сможем перекусить. — Он взглянул на Жмудиса. — А Бутейкис, наверное, сел на хвост Крутиса. Только где тот свернул?

В небольшом баре было людно и шумно. Пахло пивом, жареным мясом, луком. Озеров занял свободный столик у окна, чтобы видеть дверь мастерской, а Жмудис заказал еду.

— Мы тоже за эти месяцы раскрыли и обезвредили несколько групп и различных «центров», — пояснил Пятрас. — Занимались они террористическими актами. Ну ладно, разные там группки мы разгромили — и было их немало. Немало! А вот если бы попасть на одну мощную группировку. Вдруг «Центр Освобождения» ею и окажется? И мы его разом, а?

Неожиданно трапезу пришлось прервать. Из мастерской в реглане и широкополой фетровой шляпе вышел Штольц, вслед за ним Скочинский.

Озеров и Жмудис на почтительном расстоянии последовали за ними.

Небо хмурилось, пошел мелкий дождь. Еще не было и шести, но сумерки уже спускались на землю, окутывая ее пеленой тумана.

На небольшой площади, под крутым обрывом горы, куда сходилось несколько узеньких улиц, Штольц со

своим спутником повернул направо в глухой переулок.

— Вы знаете, куда они вошли? — остановившись на углу, спросил Жмудис. Озеров пожал плечами.

— Представления не имею.

— Это дом отставного полковника Плутайтиса.

— А точнее, — спросил Озеров, — кто он?

— После реорганизации Литовской армии и создания национальных частей, подчиненных советскому командованию, такие люди, как Плутайтис, оказались не у дел. Но, конечно, ему не хочется быть живой мумией. Вот полковник и ищет приключений в подпольных организациях, везде, где мечтают о свержении народной власти. И в тех, где ждут нападения Гитлера на Россию, хотят установить у нас фашистский режим... Иван Петрович, постойте здесь, а я повидаюсь с одним человеком. Попытаюсь узнать, что будет происходить в особняке полковника.

Поджидая Жмудиса, Озеров перебежал на противоположную сторону улицы, прошелся мимо особняка Плутайтиса, осмотрел соседние дворы и арки. Он уже хотел было вернуться назад, как вдруг из боковой калитки появился Жмудис. Не обращая никакого внимания на Озерова, быстро зашагал в сторону площади, то и дело оглядываясь. Вскоре через ту же калитку в металлической ограде выскочил высоченный мужчина. Он заторопился следом за Жмудисом, нервно размахивая стеком, зажатым в правой руке. Ничего не понимая, капитан пошел за ними.

Так прошли они два небольших квартала. На очередном перекрестке Жмудис немного постоял, а потом сразу скрылся за углом. Туда же мгновенно устремился и незнакомец. Вскоре и Озерову представился небольшой переулок. В нем не было ни души. Удивленный, Озеров нерешительно потоптался на месте и, настороженно оглядываясь по сторонам, двинулся к дому Плутайтиса. Там он чуть не столкнулся с вынырнувшим из-под арки старинного кирпичного дома Пятрасом. Полные губы Жмудиса вздрагивали в едва заметной усмешке.

— Что за демарш? — чуть не выругавшись, спросил Озеров. — Ты, словно невидимка, исчез из переулка и увлек за собой шпика.

— Вы знаете, я же чуть не испортил все дело.

Не успел войти в дом Плутайтиса, чтобы поговорить со свояком, как из соседней комнаты появился этот франт и уселся в кресло. Сами понимаете, что за разговор в такой обстановке. Мы с приятелем выходим через черный ход в сад — он за нами.

— Как же ты от него отделался?

— Закрыл! — с иронией ответил Пятрас.

— То есть?

— Очень просто. Довел до нашего поста и сказал товарищам, чтобы до моего возвращения не выпускали. А лучше — и вообще подержать подольше.

— Ты что же, и раньше знал его?

— Как не знать! Отпрыск белогвардейца, поручика Демидова. — Жмудис согнал с лица скупую улыбку и более спокойно добавил: — А хорошо бы у этого типа узнать что-нибудь о его дружке — Ричарде Варнасе. Сам-то Ричард сбежал в Германию. А раньше они всегда были вместе. Тот еще опасней.

Озеров не без удовольствия слушал Пятраса, так хорошо знавшего свой город и тех людей, с которыми им предстояло скрестить оружие.

— Ну что теперь? — спросил он замолчавшего Жмудиса.

— Зайдем кое-куда и понаблюдаем за домом Плутайтиса. Ясно: Штольц повел туда Скочинского неспроста.

По стертым мраморным ступеням поднялись они на второй этаж старенького домика. Дверь открыл высокий грузный мужчина.

— А, Пятрас, заходи, — пробасил он, впуская вошедших, закрыл дверь на широкий металлический засов и указал рукой на просторную комнату.

— О Плутайтисе не беспокойтесь, — добавил он, — отдыхайте пока. Чуть что, я вам дам знать.

Когда хозяин удалился, Озеров присел на старенький кожаный диван. Жмудис, скрестив руки на груди, шагал по тускло отсвечивающему паркету, вслух высказывая свое возмущение:

— Как видите, Иван Петрович, чем глубже в лес, тем больше дров. А мне кажется, взять да замести этих штольцев, скочинских и прочих. А потом разматывать катушку дальше. — Он остановился против Озерова.

Капитан поднял слипшиеся, совсем сонные глаза.

— Рвать нити, а потом обрывки наматывать на клубок?

— Да вы никак спите, Иван Петрович? — засмеялся Жмудис. Озеров виновато улыбнулся.

— Жарко, разморило, к тому же три ночи почти не спал.

— Ну поспите часок-другой, — предложил Жмудис.

Сколько проспал Озеров, он так и не понял. Очнулся от легких толчков Пятраса и, протирая кулаками глаза, сразу же спросил:

— Что нового?

— Иван Петрович, простить себе не могу, как раньше не занялся этим старым плутом. Фамилия-то под стать делам...

— Ты о Плутайтисе, что ли? — перебил Озеров.

— Да, о Плутайтисе. Вы только послушайте, что этот лис вытворяет. В доме, кроме Штольца и Скочинского, очутился, оказывается, еще какой-то гость из Вильнюса. Заявились и некоторые наши каунасские. Вся эта орава буквально полчаса назад дала клятву, что поддержит вторжение фашистов в Литву. Больше того, они будут создавать вооруженные отряды молодежи. Да ты понимаешь, Иван Петрович, что они делают? Эти господа забыли родную историю. Кто потоками проливал литовскую кровь? Не наши ли прадеды били орден под Грюнвальдом? Нет ничего позорнее для литовца, чем сговор с врагом!

— Не горячись, Пятрас, — уверенно произнес Озеров. — Вспомни теорию классовой борьбы. Знаешь, как дрались германские коммунисты в интернациональных бригадах в Испании? Не все же немцы — фашисты. Уверяю тебя, Гитлер давно бы уже напал на нашу страну, если б не боялся собственного пролетариата.

— Все это верно, конечно, — тут же согласился Пятрас. — Но, между прочим, мой свояк, камердинер Плутайтиса, рассказал кое-что и другое. «Центр Освобождения» предлагает договориться о создании единого руководства всех бывших буржуазных партий. А во главе — партия таутининков, наших фашистов. Все они будут готовиться к захвату власти в Литве. «День гнева» — так они называют свое выступление. Их не заботит, какой будет потом Литва, — важно уничтожить Советы... Затем Штольц покинул дом Плутайтиса и отправился к одной своей знакомой. Гость из Вильню-

са — в гостиницу «Рута». Другие тоже разбрелись кто куда. В доме остался один Скочинский.

Вошел хозяин квартиры и сообщил, что пришла машина.

— Горбунов вызывает, — пояснил Жмудис. — Надо ехать.

Они спустились на улицу. Небо по-прежнему было затянуто тучами, дул пронизывающий ветер, раскачивая одинокие фонари. Метались из стороны в сторону длинные тени.

Погруженный в свои мысли, Озеров не заметил, как они проехали через весь город, нырнули в темную аллею сада, остановились у ворот особняка. Из окон пробивался слабый свет.

Комната, куда их провели, находилась в глубине здания за большим, богато обставленным залом, освещенным тусклой люстрой со стеклянными подвесками. Озеров подумал, что особняк, видимо, принадлежал какому-нибудь магнату, недавно сбежавшему за границу.

Навстречу вошедшим поднялся подполковник Горбунов. На вид ему не было и сорока. Темно-синий костюм сидел на нем безукоризненно, а белая рубашка с черным галстуком делала его похожим скорее на дипломата или научного работника.

— Ну, как ваши впечатления о Каунасе, Иван Петрович? — спросил он, приглашая Озерова садиться.

Озеров задумался.

— Чем больше загадок задает нам Скочинский, — резко сказал он, — тем понятней, как это ни парадоксально, становится его собственная фигура. Это не простой курьер вроде Крутиса.

— Да, уж курьеры не проводят совещаний, подобных сегодняшнему у Плутайтиса.

— Сейчас главное, — продолжал Озеров, — никого не вспугнуть. Малейший промах может свести на нет всю работу.

— Я рад, что вы так быстро сориентировались в обстановке, — сказал Горбунов. — Но хочу кое-что и добавить. В Литве сегодня неспокойно. В Дарбанае, Шяуляе, Скоудасе против местных активистов совершены террористические акты. В районе Кальварии задержан немецкий шпион, литовец по национальности. Он направлялся из Восточной Пруссии — к кому бы вы думали? К Штольцу, ювелиру. У шпиона обнаружено и изъято

много серебряных и золотых украшений. Как видите, он проник на нашу территорию под видом контрабандиста. Но это мелочи. Главное — «Центр Освобождения». Спасибо Скочинскому — помог расширить наш список. Теперь состав центра вырисовывается гораздо ясней. Считаю, что вам надлежит продолжать работу в избранном направлении. Мы же обеспечим необходимую помощь по ходу операции. Думается, и о Скочинском вскоре узнаем все, — Горбунов помолчал. — Установлено: все это отребье готовит «кровавую баню» коммунистам и всем, кто поддерживает Советскую власть. И чуть ли не срок уже назначен для выступления — кодовое название «Диес ираэ».

— Я слышал об этом от Пятраса, — воскликнул Озеров, — «Диес ираэ» — «День гнева» — вторая часть заупокойной католической мессы?

— Верно, — кивнул Горбунов, — и это косвенно свидетельствует, что без участия церковников здесь дело не обошлось.

— «Диес ираэ», — задумчиво повторил Озеров. Ему вдруг вспомнились концерты в ленинградской филармонии. Он часто ходил на них, будучи курсантом арктического училища. Моцарт, Берлиоз, Верди. Как это все теперь далеко.

— Товарищ подполковник, если они хотят «Дня гнева», так он и будет им. Мы должны опередить их. Пусть и наша операция проходит под кодом «День гнева».

— Согласен, — Горбунов посмотрел на часы и приподнялся с кресла. — Да, Иван Петрович, — мягко произнес он. — Сами понимаете, каково мне говорить вам то, что вы сейчас услышите... На пароходе, что вы встречали с Пятрасом, обнаружен труп лейтенанта Бутейкиса. А Крутис... Крутис исчез.

II

Убит Бутейкис...

Новость оглушила Озерова.

Как он мог погибнуть? Как они смогли его выявить? Или сам себя чем-то выдал? Не связано ли это с исчезновением Крутиса? Почему Крутис бросил Скочинского? Что, собственно, произошло на зашарпанном пароходишке?

Странно, но только со смертью Бутейкиса Скочинский обрел для Озерова черты реального, живого человека во плоти. Чем Скочинский был для него раньше? Объектом — да, врагом — да, но был он каким-то неощутимо расплывчатым, абстрактным.

Так вот ты какой, скромненький блондинчик с небольшим чемоданчиком? Сколько прямых можно провести через две точки, пан Скочинский? Одну? А где ваше место на ней — между убийством ксендза и убийством Бутейкиса? Куда ведет эта линия?

Озеров смутно помнил, как заботливо говорил что-то Жмудис, как принес тот подушку и одеяло, зажег настольную лампу и, погасив свет, ушел, но спать капитан не мог.

«Где-то наследили, где-то ошиблись. И ошибся я, — думал Озеров. — Я шел за Крутисом, а когда появился Скочинский, все равно на первом плане был Крутис. Даже здесь, уже на пристани, решил, что Крутис просто подставляет Скочинского вместо себя. И здесь не придерешься: все могло быть именно так. Скочинский мог быть и мелким контрабандистом (а может, и не мелким), спекулянтом — кем угодно, и еще утром его роль была совершенно неясна. Но все его каунасские визиты? Хорош маленький служка, готовивший себя к служению богу. Какому богу?»

Так и не заснул в эту ночь капитан Озеров.

Утром раздался телефонный звонок. Жмудис схватил трубку и сразу же заметно повеселел.

— Говоришь, собрался уходить? Присылай машину, мы готовы! — крикнул он в трубку и положил ее на рычаг. — Иван Петрович! — обратился он к Озерову. — Нам пора. Шляхтич собирается на прогулку...

Машину они отпустили, немного не доехав до особняка Плутайтиса. Уже ярко светило солнце, хотя изредка по небу проносились обрывки туч. Город ожил, и в нем забурлила обычная жизнь.

— Товарищ Жмудис, как ты думаешь, он будет один или с хвостом? — неожиданно спросил Озеров Пятраса.

— Возможно, и не один. Они, видимо, уже заметили, что куда-то исчез Демидов. Скочинский же на нелегальном положении. А со своим человеком все-таки надежней, — отвечал Жмудис, раскурив папиросу, и добавил: — Сам по городу плутать не будет.

У пивной напротив дома Плутайтиса стоял с полной кружкой в руке сухой небритый старик в короткополой серой шляпе и сером пыльнике. Локтем правой руки он прижимал к боку коричневую трость. Глаза его, какого-то неопределенного цвета, колючие и быстрые, окинули подошедших с головы до ног, и это не укрылось от внимания Озерова.

Озеров, Жмудис и старик пили молча. Вскоре из бокового подъезда особняка Плутайтиса появился ксендз в черной сутане и такой же шапочке, с книгой под мышкой. Вслед за ним стройный молодой человек в шляпе и наброшенном на плечи плаще. Он осмотрел переулок и торопливо устремился за священником.

Старик поставил недопитую кружку на прилавок и двинулся за ними.

— Вот тебе, бабка, и Юрьев день! — отставляя кружку, произнес Озеров. — Видал, что творится? Впереди ксендз, потом Скочинский, а за ним этот сухарь с тростью. Что будем делать?

Капитан уже полностью пришел в себя и чувствовал себя собранно, сосредоточенно и уверенно, острая, целенаправленная злость внушала ему необъяснимое предчувствие в успехе дела.

— Пошли за ними, там видно будет, — ответил Жмудис. — Кажется, я наконец нашел то, что давно уже не давало мне покоя.

— Ты о чем?

— О старике с тростью.

— Чем он тебе приглянулся?

— Этот сухарь — Янис Варнас, ни больше ни меньше как бывший сыщик тайной полиции. Отец того подлеца, что сейчас в Германии. Старик в свое время выследил моего товарища и отдал его в руки охранки. А те, сволочи, пихнули его в девятый форт и замучили в застенке.

Озеров и Жмудис долго петляли по городу за стариком с тростью, пока не пришли к одноэтажному дому неподалеку от костела кармелитов. Ксендз и Скочинский прошествовали сквозь узкую высокую дверь, а Варнас прошел чуть дальше и нырнул под арку.

— Пойду проинформирую начальство, вернусь минут через десять, — сказал Жмудис. — О старичке не беспокойтесь: он со своего места ни на шаг. Скочинский

же, думаю, отсюда скоро не выйдет. Это же дом самого прелата Витольда...

Часов через шесть из раскрытых ворот двора дома его преосвященства выкатил большой черный автомобиль и, набрав скорость, скрылся за поворотом. Озеров успел разглядеть на заднем сиденье Скочинского.

— Ищи теперь ветра в поле, — чертыхнулся он и недоуменно посмотрел на Жмудиса.

— Да ведь поле-то не пустое, с тремя копенками...

— Штольц, Плутайтис, прелат? — переспросил Озеров.

Пятрас просиял.

— Да больше и некому. Так что найдем Скочинского. Думаю, так: я займусь стариком, а вас, Иван Петрович, заждались в отделе.

В ресторане «Римбинас» на окраине города старик облюбовал себе столик в конце зала. Пятрас скользнул взглядом по пальмам в кадках и направился прямо к нему.

— Простите, здесь не занято? — вежливо осведомился он и, не дожидаясь ответа, сел напротив.

Старик, оторвавшись от изучения меню, недружелюбно вскинул на него свои водянистые глаза, хотел было что-то возразить, однако не решился и буркнул:

— Прошу вас, — и вновь углубился в чтение.

— Что там хорошего? — опять обратился к нему Жмудис.

— Все! — не поднимая глаз, отвечал Варнас. — В этом ресторане плохого пока еще не подают. Все еще впереди...

— Да, уж эти Советы в печенках сидят у многих, — желчно произнес Жмудис.

— А мне кажется, что кое для кого Советы — рай господень, — ответил Варнас.

— Рай? — возмутился Жмудис. — Как бы для нас всех этот рай не обернулся адом.

К ним приблизился официант.

— Что вам угодно, товарищи? — спросил он, неловко выговаривая последнее, видимо, еще непривычное для него слово.

— Простите, но мы вроде бы с вами не друзья, —

опять пришлось взрываться Жмудису. — Так не угодно ли вам обращаться к приличным людям как положено!

Варнас заказал себе сосиски и пиво. Жмудис испытующе посмотрел на него и, помимо прочего, потребовал коньяка.

— Может быть, вы не откажетесь разделить со мной компанию? — обратился он к Варнасу, когда был подан напиток.

Тот искоса взглянул на Жмудиса и, помолчав, согласился.

— Если вы так желаете... Вы, видимо, не местный, но мне кажется, где-то я вас видел. Только вот не припомню где. Мы-то здесь уже свыклись с этой пролетарской вежливостью: то-ва-рищ.

— Вы правы, я в городе всего несколько дней. Приехал посмотреть, что происходит с нашей старой столицей, повидаться с нужными людьми. Да никого пока не нашел. Должно быть, все пострадали.

— Если не секрет, вы откуда?

— Из Утены.

— О, далековато...

— Не так уж и далеко, если едешь на своей машине. Правда, вчера ее пришлось продать, слышал, что отбирают, — на ходу сочинил Жмудис.

— Да теперь это не мудрено, — ухмыльнувшись, подтвердил старик.

Пятрас наполнил рюмки.

Варнасу нравился этот спокойный, простоватый провинциал, да и выпить хотелось. Он поднял рюмку и представился:

— Янис Варнас!

— Пятрас Клудис! — Жмудис протянул к нему свою рюмку: — Очень приятно!

— Знал я в свое время одного Клудиса, — косясь на Пятраса и рассматривая на свет кильку, говорил Варнас, — хороший был человек, но где он теперь, неизвестно.

— Ну, это, наверно, был мой однофамилец или родственник, — поспешно ответил Пятрас. — А вообще у многих-многих сейчас местонахождение неизвестно.

— Да уж довольно знакомая фамилия в Литве, так что не скромничайте, молодой человек.

— Теперь этим хвастаться не принято, а то не ровен час... — перегнувшись через стол, шепнул Пятрас.

— Я вас понимаю... Но вы не одиноки. Придет время, бог даст, все будет по-старому, — тихо ответил Варнас.

Когда было покончено с первой бутылкой и на столе появилась вторая, Янис Варнас и Пятрас Клудис вели разговор уже вполне доверительный.

— Я тебе, Клудис, говорю точно: скоро придут сюда немцы, но об этом пока молчок. Нам бы, дуракам, только создать партию, вроде той, что у Гитлера, понял? Гитлер нам, литовцам, не враг. Что ему надо — дадим. Ты пойми, разве Германия стерпит такого соседа, как Россия? Ни в коем случае! Немцы — они хозяева всему миру.

— Мне одно непонятно, господин Варнас, а кто же возглавит наше правительство? Ведь все достойные люди эмигрировали. И, по-моему, как это ни грустно, нет им до нас, бедствующих, никакого дела.

Варнас огляделся по сторонам, насупил брови и осклабился:

— Скажу прямо, малый ты интересный, но ничего не понимаешь, что сейчас в Литве происходит. Наш лозунг — объединение. И нужные люди есть... Есть. Они здесь, под боком, — старик нагнулся и показал рукой куда-то под скатерть. — Только надо понимать: действовать они открыто не могут, иначе сгребут большевики.

— Но где эти люди?

Варнас чуть ли не плюнул от столь глупого недоверия, подмигнул Пятрасу и приложил к губам палец.

— Подходящих людей хватает. Труднее с переворотом... Этакая против нас махина — аж до Тихого океана. Да еще свои предатели. Понимать надо, дорогой Клудис!

Старик захмелел и начал уже нести явную околесицу. Пятрас подозвал официанта, расплатился, взял старика под руку и поволок на улицу.

Они добрели до небольшого сквера, отыскали под раскидистым кустом свободную скамейку и сели. Старик постепенно приходил в себя.

— Так как же завтра, встретимся? — будто невзначай спросил Жмудис.

— Обязательно встретимся, господин Клудис. Приходите к десяти, буду ждать... — Неожиданно он замол-

чал, шевельнул беззвучно губами, что-то припоминая, и тут же переменил тему: — Кажется, вы мне говорили, что у вас была машина?

— Верно, — спокойно подтвердил Пятрас. — А что?

— Да, так, ничего... Это хорошо: умеете водить автомобиль. А я вот так и не выучился... А сейчас пошли, здесь совсем недалеко, Донелайтиса, семь.

На их звонок вышла красивая, высокая блондинка. С какой-то гадливостью взглянув на Варнаса, она бросила беглый взгляд на стоявшего рядом с ним Жмудиса и молча отошла в сторону. Пятрас понял, что навязываться сегодня в гости не стоит, и поспешил раскланяться, приподняв шляпу.

— Прошу прощения, господин Варнас! До завтра! ...Конечно, если я буду вам в чем полезен...

Он вышел на улицу и остановился закурить. И тут сзади на его плечи легла чья-то рука.

«Неужели, — мелькнула ясная мысль, — они нас опередили? Но сколько же человек тогда бережет Скочинского?»

Он заставил себя медленно повернуться и оказался лицом к лицу с Варнасом-младшим. Это лицо он узнал бы из тысячи, хотя видел его только на фотографиях.

«Когда же ты вернулся?» — подумал Пятрас, глядя на плечистого парня с красным женоподобным лицом и злыми белесыми глазами. Затем спокойно снял руку со своего плеча и холодно, почти надменно, осведомился:

— Я вас слушаю.

— Простите, но меня интересует, откуда вы знаете господина, которого только что проводили?

— С кем, собственно, имею честь? — спросил Жмудис, чтобы выиграть время.

— Неважно. Впрочем, я сын господина Варнаса и, разумеется, хотел бы знать, кого еще собирается представить нашему дому мой отец.

— Если вас интересует только это, пожалуйста, Пятрас Клудис! — любезно улыбнулся Жмудис. — Имел честь отобедать сегодня с вашим почтенным родителем. И думаю, что, если бы все литовцы столь же хорошо относились к своей бедной родине, как ваш отец, ему не приходилось бы возвращаться домой пешком. А ведь мы, литовцы, всегда уважали своих отцов. Впрочем, может быть, вы думаете иначе?

— Слегка иначе, — зло улыбнулся Варнас. — Ибо наступят сроки, когда отцам придется уважать сыновей...

III

На следующий день, ровно в десять утра, Жмудис с паспортом на имя Пятраса Клудиса в кармане поднимался по уже знакомой ему лестнице к квартире Варнаса. Выглядел он несколько претенциозно. Серый костюм, белая манишка при черном галстуке, черные лакированные туфли и ко всему — коричневая трость с набалдашником. Густо напомаженные волосы разделял косой пробор. Он боялся смотреть в зеркало, чтобы не рассмеяться.

Дверь открыла все та же надменная блондинка. С подчеркнутой вежливостью она пригласила его в гостиную, где он застал Варнаса-младшего.

— А, господин Клудис! Рад вас видеть! Прошу прощения за вчерашний разговор. Вполне понятная осторожность. Сами знаете, какие нынче времена... Кстати, отец говорил, будто вы приезжий. Где остановились?

— У дальнего родственника. Думаю погостить до лучших времен — по-моему, тут легче укрыться от длиннющих рук тех важных органов, которые могут лишить нас такого немаловажного органа, как голова, — скаламбурил Жмудис.

— Это вы заметили правильно, — гулко смеясь остроте, согласился Ричард. — Только надо сделать так, чтоб не у нас, а у них полетели головы. Я бы даже сказал...

Он не договорил. Из боковой двери показался Варнас-старший в сопровождении сорокалетнего лысого здоровяка со шкиперской бородкой.

— А вы точны, господин Клудис! Как самочувствие после вчерашнего?

— Благодарю вас, как видите! — Жмудис поднялся с кресла, пожал старику руку.

— Прошу знакомиться: друг нашей семьи господин Пронас.

— Очень рад, — пожимая руку господина Пронаса, сказал Жмудис.

Все расселись по креслам; в комнате воцарилась глубокая тишина. Только Варнас-старший суетливо ерзал

на своем месте, время от времени пытливо поглядывая на Жмудиса. Тот машинально взял с журнального столика какую-то книгу и стал перелистывать.

— Прелюбопытный фолиант, — закуривая и глубоко затянувшись, сказал наконец бородач. — Раскройте-ка на странице девяносто седьмой. Там кое-что подчеркнуто.

Пятрас взглянул на обложку: «Э. Людендорф. Воспоминания о войне». Затем неторопливо отыскал нужную страницу.

«Наша линия политики... — прочел он обведенные красным карандашом слова, — была четко направлена на присоединение Курляндии и Литвы к Германии и на установление их династического союза с домом Гогенцоллернов».

— Ну как? — равнодушно произнес Пронас.

— Вы имеете в виду Миндаугаса Второго? * — в свою очередь, переспросил Пятрас.

— Союз с Гогенцоллернами — это, конечно, бред. Такой же мыльный пузырь, как и упомянутый вами несостоявшийся тезка великого князя. А все же... Кстати, вы откуда приехали?

— Из Утены.

— Дело какое-нибудь было у вас в Утене? — отчетливо произнося каждое слово, спросил Пронас.

— Мебельная фабрика, так, чепуха, восемьдесят рабочих, — скромно ответил Пятрас.

— Учились?

— Политехникум в Дюссельдорфе.

— Ого, — удовлетворенно воскликнул Пронас. — Когда же вы его закончили?

— В тридцать четвертом году.

— Господин Клудис, — Пронас приподнялся со своего кресла и стал медленно расхаживать по комнате. — Мне нечего объяснять вам, какая судьба ожидает вашу фабрику и вас вместе с нею. Похоже, что вы и сами уже поняли это не хуже меня. Иначе вас не было бы здесь... Друг мой! — он повернулся к старику Варнасу. — Не распорядиться ли насчет завтрака?

Варнас торопливо закивал головой и тут же вышел из комнаты.

* Под именем Миндаугаса II буржуазия Германии и Литвы планировала в 1918 году посадить на литовском престоле герцога Вильгельма фон Ураха Вюртембергского.

— Вы ведь позавтракаете вместе с нами? — обратился к Пятрасу Пронас и тут же добавил: — А сейчас прошу извинить, но вынужден произнести небольшую проповедь. Вы правы, дело не в Гогенцоллернах. Дело — в нас. Но что есть мы и что с нами станет? Родина наша сейчас тяжело больна большевизмом. И пока это заболевание не стало хроническим, мы обязаны помочь ей избавиться от недуга. Для этого нужны гордые духом люди, способные по крупинкам собрать силы, рассеянные по городам и хуторам, вдохнуть в них уверенность в грядущей победе. Если вы считаете себя готовым принять участие в нашей патриотической деятельности, докажите свое желание сотрудничать с нами.

— Тронут вашим доверием, господин Пронас, — сказал Жмудис. — И готов разделить с вами бремя борьбы против Советов. Я верю господину Варнасу и готов выполнить любое его поручение.

В комнату неслышно вплыла красавица блондинка.

— Прошу завтракать, господа, — предложила она.

В соседней комнате был накрыт стол.

Жмудис сел рядом с Ричардом Варнасом. Тот разлил коньяк и поднял свою рюмку.

— Итак, господа, за знакомство!

— А где же господин Янис? — осведомился Пятрас.

— Он просил его извинить, у него срочные дела, — ответила блондинка и вышла.

— Так я хотел бы продолжить, господин Клудис, — вновь заговорил Пронас. — Что бы мы ни думали о немцах, но именно они помогли возродиться нашей государственности в этом позорном 1917 году. И великий сын нашего народа Антанас Сметона еще тогда говорил, что полностью нейтральными оставаться мы не можем. А сейчас тем более. Вы понимаете, что происходит в мире? Англия и Франция бездарно погибли. Здесь, в Литве, голытьба откровенно празднует приход большевиков. Только Германия может нам помочь. А мы зато можем помочь Германии.

— Что я должен сделать? — быстро спросил Пятрас.

Не отвечая, Пронас вновь наполнил рюмки. Затем обратился к Ричарду:

— Сегодня надо во что бы то ни стало покончить с этим учителём.

— Ты о ком? — спросил Ричард, перестав жевать.

— О Пиховиче. Этот тип, оказывается, ведет двойиую игру.

Жмуднс чуть не поперхиулся, услыхав такое. Но его замешательства, кажется, никто ие заметил.

— Кому ты поручил этого Иуду? — поинтересовался Рнчард.

— Есть тут один человечек, — лениво проговорил Пронас, — но, может быть, иаш новый друг предпочел бы, чтобы честь расправы с предателем прииадлежала ему?

Пятрас смотрел в произительио остановившиеся на нем глаза Проиаса и ие отвечал.

— Но... господа, — иаконец вымолвил он.

— Все понятно, — Проиас выиул из кармаиа пиджака какие-то фотографии. — Взгляните.

На снимке Пятрас сразу узнал Пиховнча, товарища по работе.

— Простите, господа, — смущеиио сказал Жмудис. — Я, коиечио, согласеи. Но... — он развел руками, — все это так неожиданно. Непрнвычно. Честно говоря, мне до сих пор ие приходилось решаться на такое...

— Вот, — Проиас протяиул Жмудису небольшой браунинг иеобычной формы. — А это, на стволе, глушитель. Звук такой, будто муху щелкиул ладонью — и дело с концом.

Пятрас взял пистолет, осмотрел. Затем поставил снова иа предохранитель и положил в карман.

— Где, когда и как? — ои посмотрел прямо в глаза Пронасу.

— Время не терпит. Сейчас, — твердо отвечал Пронас. — У него дома: ои как раз у себя. Позвоиите — три раза и два. Когда откроет, спросите его: «Правда ли, что этот дом уже дважды горел?» Негодяй проведет вас в свою комнату, а там... Возвращаться тем же путем.

— Ои там будет один? — спросил Пятрас.

— Честное слово, однн, — быстро ответил Пронас.

— А как же я его иайду, адрес?

— Вы пойдете в десяти шагах за мной, — сказал Рнчард Варнас. — В одном месте я остановлюсь, чтобы закурить. За моей спиной увидите иесколько одноэтажных домов. Тот, который кирпичного цвета, — Пнховича.

— Ричард вас подождет на улице, — добавил Пронас.

— Теперь все понятно, — сказал Пятрас.

— Господа, — вдруг забеспокоился Ричард, — у нас же все остыло. И коньяк пропадает зря.

— Мне не наливайте, это будет лишним, — попросил Пятрас. — Сейчас мне не хотелось бы пить. Перед таким делом.

— Да вы мечтатель, — сказал бородач, и в его голосе Пятрас услышал и удивление и уважение. — Ну а мы опрокинем по стопочке.

Они выпили и стали молча закусывать.

Длительную паузу нарушил Пронас.

— На сколько наметили выезд в Укмерге?

— На шестнадцать, чтобы к шести быть там, — ответил Ричард.

— Кто едет?

— Беру с собой лучших ребят. Тех, кто поголовастей.

— Смотрите только внимательно, чтобы на собрание не попали чужие, — предостерег Пронас. — Таким делом нельзя рисковать.

— Это исключено, пароль известен только приглашенным. У входа на контроле поставим Крутиса — глаз у него зоркий.

— Ну дай бог! Смотри, ты отвечаешь за лучших парней Литвы.

Жмудис сосредоточенно ел, погруженный в себя, его охватило желание узнать пароль. Но как?

После завтрака, поднявшись из-за стола, Пятрас отозвал Варнаса и попросил показать туалет. Закрывшись, вырвал листок из записной книжки и быстро написал: «Раскрыт Пихович, хотят убрать. Направьте группу в Укмерге, куда в 16.00 выезжает Р. Варнас проводить конспиративное собрание. Начало — в 18.00. По его заданию иду «убирать» Пиховича. Дом Горайтиса — зафиксирован. Необходима постоянная связь».

Он скатал записку в трубочку, всунул ее в гильзу папиросы. Затем закрыл портсигар и спрятал его во внутренний карман пиджака.

На улице было людно. Светило солнце, по небу плыли редкие тучки, легкий ветерок шевелил заметно пожелтевшую листву. По проезжей части неслись автомобили, громыхали подводы.

Пятрас молча шагал за Ричардом. Дойдя до перекрестка, Жмудис увидел двух молодых людей, увлеченно беседующих. Пятрас как бы невзначай толкнул одного из них.

— У вас не найдется закурить? — сразу же обратился тот к Жмудису.

Пятрас не торопясь достал портсигар, вынул нужную папиросу и, не спуская глаз с удалявшегося Ричарда, вынул из кармана спички и сказал:

— В этой папиросе донесение. Срочно доставь Горбунову. А твой дружок пусть держит мой след.

Он догнал Ричарда, когда тот уже подходил к кафедральному собору. Пятрас еще за завтраком понял, что в придуманной рыжебородым Пронасом проверке его ожидает какая-то неожиданность. Он превосходно знал, где живет Пихович, дом его был отнюдь не одноэтажный. Здесь было над чем подумать. Правда, вчера у Горбунова он слышал, что Пиховича тоже забрасывают в одну из вражеских организаций. Может, ему назначили явку в этом проклятом месте и теперь ждут, чтобы он, Пятрас, прикончил там своего товарища? А может, дело обстоит совсем иначе? Никакого Пиховича он не увидит? Просто встретится с такими же бандитами, как Варнас или Пронас, а у них в карманах фотографии, к примеру, его, Пятраса Жмудиса. Но тогда зачем они дали ему оружие? Времени на осмотр, правда, было немного, но опытный глаз Пятраса заметил: пистолет вполне исправен.

Впрочем, вскоре все выяснится. Надо быть готовым ко всему — вплоть до того, чтобы задержать хотя бы Ричарда Варнаса.

Прошли пристань, где, казалось, совсем недавно он, Пятрас, вместе с Озеровым встречал Скочинского. Мощеная дорога вдоль Немана, будто в ущелье, утопала среди громадных каштанов и кленов.

Жмудис уже понял, куда его ведут. Там, впереди, за небольшой часовенкой, прилепившейся к углу выщербленной стены старой крепости, он еще издали заметил стайку небольших домиков. Неподалеку от них Ричард остановился, закурил.

— Третий, — шепнул он Пятрасу, строго взглянув на него.

Пятрас подошел к крыльцу, сунул руку в карман, сбросив предохранитель, затем позвонил — три звонка и два. За дверью раздались торопливые, гулкие шаги. Наконец дверь распахнулась. На пороге стоял... Янис Варнас,

Жмудис оторопело смотрел на улыбающегося старика.

— Проходите, проходите, мой дорогой друг. Если б вы только знали, как я о вас беспокоился.

— Напрасно. Я за себя и сам побеспокоиться сумею, — с досадой отвечал Жмудис и тут же услышал за спиной голос Ричарда:

— Ну что же вы остановились на пороге? Пройдемте в дом.

В тесной комнатенке Пятрас укоризненно сказал:

— Господа, я вас не понимаю. Ведь у меня было оружие? А если б вдруг сдали нервы, и я...

— Не думаю, чтобы вам удалось выстрелить, — сказал Ричард. — В патронах нет пороха. Кстати, дайте-ка мне этот браунинг сюда.

На пороге показался Пронас.

— Ну как? — спросил он. — Никаких недоразумений?

— Мой друг проявил себя самым достойнейшим образом, — залебезил Янис Варнас. — Что вы хотите, может быть, у старого лиса и подвытерлась кое-где шкурка, но нюх остается таким же острым.

— Да и хвостом он вилять не разучился, — заметил вскользь Пронас и обратился к Ричарду: — Что с Демидовым?

— Исчез, — развел руками Ричард. — Четверть часа назад Стрепайтис у собора передал мне: никаких следов. Может быть, запил...

— Сколько раз я говорил, что пора кончать с этим пьяницей, — отрезал Пронас. — Представляете, как он заговорит в НКВД, лишь бы ему дали опохмелиться? Но — ладно... Выхода все равно нет. — Тут он повернулся к Жмудису. — Если вы не против, приступим сразу же к делу, ради которого мы вас сюда и пригласили. Предупреждаю, речь пойдет, естественно, о задании сугубо секретном.

— А мне казалось, я уже кое-что доказал... — возразил Жмудис.

— Надеюсь, вы на нас не обиделись. Итак: вы водите машину, хорошо знаете Литву, умеете ориентироваться в сложной обстановке. Поэтому мы решили, по рекомендации Яниса Варнаса, поручить вам перебросить из Каунаса в Укмерге одного человека. Вы же слышали, что шофер запил.

Жмудис, прикусив губу, задумался, как бы прикидывая что-то в уме, затем спросил:

— Машина?

— Будет.

— Согласен!

— Тогда вам надо переодеться. А на расходы в пути — вот вам триста рублей.

Жмудис от неожиданности вытаращил глаза, и это получилось так естественно, что, глядя на него, все заулыбались.

— Вы мне нравитесь, Клудис! — рассмеялся Пронас. — Господин Варнас, приготовьте Клудису платье, а вы, Ричард, позаботьтесь об остальном. Время не ждет.

IV

Яркое слепящее солнце заволокли плотные серые тучи — тяжелой массой они надвигались с моря, грозя разразиться обильным дождем.

Скочинский был погружен в размышления. Жмудису тоже было о чем подумать, хотя он и понимал, что все его действия сейчас целиком и полностью подчинялись намерениям пассажира, а тот все никак себя не проявлял.

— О чем думаете, господин Клудис? Почему молчите? — спросил наконец Скочинский.

Жмудис ответил не сразу. Вглядываясь в стремительно надвигавшуюся дорогу, он равнодушно заметил:

— А о чем нам говорить? Друг друга совсем не знаем. Видимся первый и, может, последний раз. Каждый из нас озабочен своими делами, каждый выполняет свою работу. Вам необходимо попасть в Укмерге, мне — довезти вас туда. Впрочем, сейчас я думал о другом, о том, как за короткое время изменилась наша Литва. Люди разделились на два лагеря. Одни ликуют, а другие, потеряв свое место в жизни, вынуждены скитаться, жертвовать собою, бороться, чтобы вернуть потерянное.

— Вы, я вижу, философ, — улыбнулся Скочинский.

— Я не философ, но кое-что понимаю. Поэтому и еду с вами, потому и делаю то, что мне приказывают другие. Я верю, что тем самым хотя бы на один час приближаю победу над врагами...

— Но в Литве далеко не все так мыслят, насколько

мне известно. Многие ждут, пока кто-то вытащит для них каштаны из огня, а они тогда будут делить портфели в новом правительстве.

— Ну, думать о новом правительстве — для меня слишком высоко. Да и не интересует меня, как в нем поделят портфели. Единственное, чего бы я от него хотел, — чтобы обеспечило оно спокойствие и порядок.

— Спокойствие и порядок? — иронически переспросил Скочинский. — В том, что в Литве скоро будет наведен должный порядок, я лично не сомневаюсь. Но спокойствие? Не слишком ли эгоистично и трусливо желать для себя покой, когда весь мир готов вспыхнуть ярким костром? Эх, литовцы, литовцы...

Пятрас неопределенно пожал плечами и простодушно спросил:

— Простите, а вы разве не литовец?

— Это не имеет значения.

Из-за поворота выскочили два грузовика с солдатами литовского национального корпуса. Солдаты пели. Проводив машины взглядом, Скочинский сказал:

— Видите, как ревностно служат молодые литовцы Советам. И песенки советские уже выучили. Тоже мне — молодая гвардия рабочих и крестьян.

— Вы, господин Владислав, странно рассуждаете. А почему бы им не служить Советам? Литовцы ведь тоже разные...

— Да, серое небо, серая земля, серые поля, серые люди. Грустное зрелище, господин Клудис. Нищая страна, и вечно она была нищей: при Ягелло, при Стефане Батории, при Николае Первом, при Сметоне...

Так они ехали, заполняя время разговорами, не касающимися их лично. Но Жмудиса все время тревожила мысль: вовремя ли дошло его донесение до Горбунова, успел ли подполковник принять необходимые меры. Конечно, его выезд из Каунаса не мог остаться незамеченным. Но не слишком ли быстро он гонит машину?

Вот и небольшая речушка, змейкой извивающаяся по широкой долине, где раскиданы хутора и поля, заросли ольшаника и лозы. Заполненные водою глубокие осушительные канавы сплошь изрезали землю. Слева высится старинный замок с башнями и покрытыми мхом каменными стенами. Дальше, закрывая горизонт, чернеет полоса леса.

Жмудис прекрасно знал эти места и постоянно под-

считывал в уме промелькиувшие километры. Да, иадо остановиться — иначе товарищи могут его и ие догиать.

Пришлось обратиться к Скочинскому:

— Вы ие будете против, если мы остаиовимся у корчмы? Надо купить чего-нибудь из съестиого.

— Делайте как вам удобно! — ответил Скочииский.

Машииа выскочила иа пригорок и остановилась у приземистого бревенчатого дома. Щепа, покрывавшая дом, сплошь поросла зеленым мхом.

Пятрас обошел машиих, постучал башмаком по баллоиам и двииулся к корчме. Вышел оттуда мииут через пятиадцать с двумя свертками. Увы, дорога была попрежнему пустынной.

— Угощайтесь, господин Владислав, великолепные яблоки! — И тут ои уловил шум подходящей машииы. Жмудис высунулся в открытое окно, посмотрел иа иебо, потом иазад и увидел вылетевший из-за пригорка черный «мерседес». В промчавшемся мимо иих автомобиле Пятрас отчетливо разглядел: справа от шофера сидел капитаи Озеров.

В нескольких километрах от Укмерге Пятраса остаиовили у шлагбаума. Строгий старшина попросил предъявить докумеиты. Жмудис заглушил мотор и зло, чтобы услыхал Скочинский, произнес:

— Началось, черт побери!

После проверки документов машииа двинулась дальше. Через иекоторое время Скочииский вполголоса сказал Пятрасу:

— Признаться, я поверил в вас. Вы мие сразу показались иастоящим парием. А ошибаюсь я редко, — и иеожидаиио добавил: — сбросьте-ка скорость.

Пятрас тут же увидел, как иа обочиие, в сотне метрах впереди, поднялась какая-то нескладиая, долговязая фигура.

Вскоре Жмудис уже различал здоровеииого, ссутулившегося детину, который встал прямо на их пути и подиял руку.

Пятрас резко затормозил в нескольких метрах от незиакомца и вопрошающе посмотрел на Скочииского.

Тот сидел совершенио спокойио.

Верзила враскачку подошел к автомобилю, ие спрашивая, раскрыл дверцу и плюхнулся на заднее сиденье.

— Добрый деиь, товарищ Крутис! — услышал Пятрас ровиый, чуть насмешливый голос Скочинского.

V

— Вот так и живем, — сказал, выругавшись, Крутис, проведя Жмудиса и Скочинского в небольшую каморку.

Это были первые слова, которые услышал от него Пятрас. В машине Крутис молчал, не ответив даже на приветствие Скочинского. Умолк и Скочинский. Молчал, разумеется, и Пятрас.

— Один здесь время коротаешь? — спросил Скочинский.

— С фавориткой, — ответил Крутис и вдруг заорал: — Маркизушка! Де Помпаду-ур!

Жмудис с удивлением взглянул на своего нового знакомого. От прежнего неловкого увальня в нем ничего не осталось. Расставив ноги, он стоял посреди комнаты, пружинисто приподнимаясь на носках, и слегка постукивал себя по коленке гибким прутом будто стеком.

В дверь заглянула сморщенная, кривоглазая старушонка с пышными пучками волос, торчащими из ушей и похожими на бакенбарды.

— Кофе, — четко скомандовал Крутис, и старуха исчезла.

— Золотая девушка, — сказал ей вслед Крутис. — Немая, а понимает на шести языках, в том числе и на идише, — и, показав глазами на Жмудиса, спросил: — Откуда парень?

— От Пронаса.

— Такой же идиот, как и все?

— Смири свой гордый дух, Юдас, — мягко улыбнувшись, предложил Скочинский, — и лучше расскажи, как дела.

Крутис хмуро и цепко взглянул на Жмудиса, холодно стало Пятрасу от такого взгляда.

— Здесь-то все как и надо. Вечером все займут места согласно купленным билетам. Трубниса еще не обломал. А он держит за собой весь север. Сегодня у меня разговор с его парнями. А у тебя как?

— Со здешним прелатом беседовать и полезнее и приятнее, чем с Рудзинским. Хотя и он не без недостатков. Рудзинский был просто трусом, а этот — осторожен. Да и о выгоде своей не забывает. Ерепенится — где, мол, гарантии.

Вошла старуха с подносом, на котором стоял кофейник с тремя фарфоровыми чашечками, и тут же вышла.

— Так ты думаешь, что сегодня мы увидим что-нибудь серьезное? — спросил Скочинский, разливая кофе по чашечкам и подвигая одну из них Пятрасу.

Крутис ответил не сразу.

— Думаю — да. Во всяком случае, это самое серьезное, что сейчас имеется у них, а следовательно, и у нас. Молодежь, готовая в назначенное время выполнить любой приказ, — вот о чем можно только мечтать.

— Я это понимаю, Юдас. Но ведь все это пока общие слова.

— А разговаривать с высохшими мумиями?

— Во-первых, в них хорошо уже то, что они мумии. Во-вторых, эти мумии вполне годятся для кукольного театра под названием «политика». А в третьих, их всегда можно безболезненно и незаметно... заменить.

Крутис взял в руки чашечку кофе, и Пятрас увидел, что у него тонкие, чуткие пальцы.

— А ведь мы поработали неплохо, — сказал Крутис. — Мы ходили неслышными шагами, но не скоро смоет время наши следы.

— Если только ими не заинтересуется НКВД, — пошутил Скочинский.

— Уже заинтересовалось. Ты что, забыл того болвана на пароходе?

— Забыл, — просто ответил Скочинский. — Я не коллекционирую подобные воспоминания.

— Мне пора, — заявил Крутис. — Пойду сгибаться в три погибели перед дохлым куренком Варнасом.

— В валгалле тебе зачтутся твои муки, Юдас, — нарочито торжественно провозгласил Скочинский.

Крутис снова длинно и замысловато выругался по-русски.

— Лучше б они зачлись в послужном списке. Пойду. Мне ведь надо и встретить, и проводить, и обеспечить.

— Во сколько ты за нами зайдешь, Юдас?

— Здесь ходьбы пара минут. Можете пока поваляться.

Когда он вышел, Скочинский повернулся к Жмудису и спросил:

— Какой милый, какой откровенный человек, не правда ли?

В кабинете начальника укмергииского отдела НКВД Горбуиов стоял у стола, а перед ним сидел Пихович. Зная, что операция предстоит серьезная, он был крайне сосредоточен.

— В Укмерге, — говорил Пихович, — приехали из Кауиаса представители высшего духовенства для участия в завтрашней праздничной службе. Прелата Витольда среди иих иет. В городе иаходится, помимо Ричарда Вариаса, человек пять руководителей молодежи иемецкой иациоиальиости. Пожаловал сюда и господии Трубиис. Человек это своеобразиый, ведет свою политику. Имеет широкие связи как здесь, так и за граиицей. Конечная его цель — стать диктатором в будущем правительстве. Остаиовился ои у своего приятеля, в доме недалеко от реки за костелом. Завтра к нему должен приехать Проиас для окоичательного разговора об объедииеиии. Надо решать, что будем делать с Трубнисом. Ои здесь ие оди, при нем человек пять-шесть его головорезов. Наблюдеиие за ним ведется. У меня все.

— Что ж, любопытно, — задумчиво проговорил Горбуиов. — Теперь иадо решать, кто пойдет к иим на собрание.

— Пошлите молодого Яииса Шапаса, — предложил Пихович.

VI

Проводив Ричарда и его людей в Укмерге, Пронас решил, что иастало время вплотную заияться операцией по физическому устраиеиию Зигмуида Пиховича. Ее подготовкой заиимался Яиис Вариас, а убить Пиховича должеи был товарищ Ричарда по гимиазии Стрепайтис. Убийство должио было произойти иа явочной квартире, куда Пихович обещал подойти к пяти часам.

В половиие пятого Стрепайтис пришел к Проиасу. Спокойио, увереиио доложил:

— Все должно быть в порядке, господин Пронас. Мои ребята уже пошли на место, через полчаса я тоже буду там.

— После выполнения задаиия в восемь часов вечера позвоиите мне на квартиру Плутайтиса. Если меня там ие будет, скажите Плутайтису только два слова: «Мама скончалась», и я буду знать, что все обошлось благополучно. А теперь идите, у меня еще миого дел.

Стрепайтис ушел. Пронас позвонил на квартиру Варнасу.

— Это вы, Янис? — спросил он, услышав знакомый голос. И, получив подтверждение, сообщил: — Стрепайтис пошел к Янине. Прошу, посмотри за ним лично. Сам понимаешь, дело серьезное! А я приду около шести.

Сунув руки в карманы брюк, Пронас прошелся по комнате. Береженого бог бережет! Теперь можно со спокойной душой идти к связному из Вильнюса. Интересно, что он посоветует относительно соглашения с Трубнисом.

— Анна-Мария! — крикнул он хозяйке. — Я ушел! До завтра!

Было пасмурно, моросил мелкий холодный дождик. Пронас остановил проходящее такси и попросил довезти его до гостиницы «Рута».

Откинувшись на мягкое сиденье, он думал о предстоящих переговорах с Трубнисом. «Как убедить этого самоуверенного маньяка поддержать наш план объединения партий и принять активное участие в работе «Центра Освобождения»? Это была бы большая победа... Но вряд ли это легко удастся. Слишком уж он в премьеры метит. Поэтому-то и будет куражиться, выдвигать невыполнимые условия, требовать гарантий... А кто может дать ему гарантии? Только немцы! А те еще далеко. Но не мы. Вот до чего дожили — не можем сами решать свои дела».

Через мрачноватый вестибюль Пронас вышел к лестнице, поднялся на второй этаж гостиницы.

— Что вам угодно? — спросил его немолодой коридорный.

— Я в тридцать пятый! — бросил на ходу Пронас, не удостоив коридорного даже взглядом. Открыл дверь номера и в нерешительности переступил его порог. В глубоких креслах сидели незнакомые молодые парни.

— Я не ошибся, это тридцать пятый номер? — поклонившись, смущенно спросил Пронас.

— Вы не ошиблись! Это действительно тридцать пятый номер! А вы товарищ Пяткявичус? — подымаясь с кресла, приветливо ответил высокий брюнет, одетый в костюм туриста. Он с любопытством смотрел на Пронаса, который, сообразив, что не туда попал, сник и не знал, что делать.

— Простите, вы давно в этом номере? — наконец выдавил он из себя.

— Часа три-четыре! — спокойно ответил парень, сделав несколько шагов к Пронасу, и предложил: — Да вы садитесь.

— Нет, нет, садиться я не собираюсь, — возразил Пронас. — Прошу прощения за мое неожиданное вторжение. Здесь, видимо, явное недоразумение... В этом номере должна была проживать Нина Михайловна Янкевич из Ленинграда, она просила меня навестить ее сегодня, и, как видите, я опоздал.

— Досаднейший случай! — посочувствовал ему молодой человек. — Но мы бессильны чем-либо вам помочь. Нину Михайловну заменить не в состоянии, — добавил он, рассмеявшись.

— Естественно, она незаменима, — пробормотал крайне смущенный как дурацкой неожиданностью, так и глупостью своих случайных слов, Пронас, выскакивая из номера. «Что случилось? — возбужденно шептал он про себя, быстро спускаясь по лестнице и размахивая фуражкой, которую все еще держал в руке. — Чем объяснить этот внезапный отъезд?»

Из гостиницы Пронас поспешил на квартиру Варнасов — время встречи уже подходило. В квартиру впустил его сам Янис. По бледному лицу и беспокойным глазам Варнаса Пронас сразу определил, что тот чем-то крайне взволнован.

— Что случилось? — выдохнул Пронас, как только за ним захлопнулась дверь.

Янис нервно вздохнул, его острый кадык сделал резкое движение вверх и вниз, а сухие посиневшие губы прошептали:

— Пихович на явку не пришел... Наших всех арестовали... Сам видел, как увозили...

Пронас изменился в лице. Кровь отлила от его красных, пышущих здоровьем щек, глаза расширились, стали влажными, губы сжались и вытянулись в кривую линию.

— А Стрепайтис? — едва выговаривая слова, спросил Пронас.

— Стрепайтис застрелился.

Пронас скрипнул зубами и понесся к телефону.

— Прошу Укмерге!

— Укмерге только после двадцати четырех часов, — любезно ответил в трубке бархатный женский голос.

Пронас с силой бросил трубку на рычаг, так что аппарат жалобно застонал, и, нервно теребя бороду, крикнул:

— Янис, идите же сюда!

Варнас вошел неуверенной походкой и молча, с надеждой уставился на Пронаса.

— Вот что, старина. Демидов знал о встрече в Укмерге?

— Знал вроде бы, — неуверенно замотал головой бывший шпик.

— Вроде бы, — зло передразнил его Пронас. — Надо немедленно, любыми способами добраться до Укмерге. Необходимо предупредить Ричарда, чтобы он не проводил собрание. Не исключено, что органы госбезопасности раскрыли наши планы. И теперь принимают меры по ликвидации наших организаций.

— Но почему именно я? — жалобно захныкал старик.

— А кто? — заорал на него Пронас. — Я? У меня теперь здесь гора дел на вечер. И потом там же твой сын? Там же Ричард? Не говоря уже о... — он сдержался. Старик покорно согласился.

— Ричард, — пробормотал он. — Нюх у него есть. Если что — он сразу почувствует.

— Поезжай и по дороге смотри в оба. Запомни, собрание должно состояться в корчме Лошаса. Пароль — «За родину». Ну, с богом! Обо мне узнаешь у Луциса, это за девятым фортом. Впрочем, он сам тебя известит. Домой мне сейчас, конечно, пути нет.

Выпроводив Варнаса, Пронас долго и настойчиво звонил в мастерскую Штольца, но и там никто не снимал трубку. Это еще больше его встревожило и насторожило.

Пронас вышел на улицу. Город уже окутала вечерняя темнота. Одинокие уличные фонари отбрасывали зыбкие тени на мокрую мостовую — шел моросящий дождь. «А может, действительно Демидов заложил всех, спьяну попался и раскололся. Да нет, уж ему-то стоит помалкивать больше, чем другим. Или не выдержал?» — подумал Пронас и, надвинув поглубже фуражку и подняв воротник куртки, быстро зашагал в сторону угрюмо черневшего во мраке православного собора.

С полчаса Пронас в нерешительности ходил по темному переулку, не решаясь войти в двери приземистого

домика. Здесь находилась основная явочная квартира для прибывающих к нему связных из других городов, и раскрывать ее не хотелось. В конце концов он таки решился постучаться в дверь с черного хода. Хозяин явно встревожился, увидев Пронаса. Пропустив его в дверь, он быстро закрыл ее на засов.

— Дела, Луцис, — со вздохом только и мог сказать Пронас, тяжело опускаясь на стул. Луцис повернулся к нему и ждал начала, по всему видно было, неприятного разговора.

Это был огромного роста мужчина с седеющей черной головой, с выпуклыми карими глазами под мохнатыми, сросшимися бровями, большим носом и сильным, грубым подбородком. Сапоги на нем были грязные, видно, их хозяин совсем недавно пришел с улицы. Он первым нарушил затянувшееся молчание.

— Владас, будь я проклят, если не угадаю, что ваша затея провалилась? По лицу твоему вижу, что ты ищешь убежища. Так, прошу, скажи мне, в чем дело? Влипли?

— Я еще сам ничего толком не понимаю... Но чувствую, произошло что-то непоправимое, — сдавленным голосом ответил Пронас и рассказал все, о чем знал.

Выслушав его, Луцис, не замечая, что оставляет на полу грязные следы, прошел и сел у другого конца стола. Положил на стол тяжелые руки и мрачно сказал:

— Я только что с пристани... Прибыли баржи с товаром — надо было организовать их выгрузку. Когда все уже кончилось и я вышел к воротам, ко мне подошла женщина в черной одежде и, прикрываясь зонтиком, сказала: «Вам просили передать, что загорелась часовня!» Потом до моего сознания дошло, что означают ее слова. Я тут же отправил тех двух парней, что сегодня прислал Штольц, в заброшенный каземат крепости.

— Так, оказывается, ты знаешь больше, чем я, — дрогнувшим голосом произнес Пронас, подняв на него растерянный взгляд. — Почему же не сказал сразу? Этот сигнал мог передать только... — и тут же оборвал себя на полуслове.

— Я думал, уж вы-то, руководители, знаете, что произошло, и ждал каких-нибудь инструкций, — неопределенно ответил Луцис.

Пронас на минуту задумался и, как бы опомнившись, медленно заговорил:

— Какие сейчас инструкции? Нам во что бы то ни

стало надо выиграть время. И Штольца хорошо бы предупредить. Но как? Вообще же ты прав, здесь мне делать нечего. Я подамся в Занеманье к брату Лошаса. Не удастся — вернусь к Штольцу.

— А мне что прикажешь делать? — спросил Луцис.

— Завтра в семь утра подойдешь к порталу кафедрального собора, увидишь знакомую уже тебе женщину с зонтиком. Пусть узнает, кто поджег часовню. Пусть узнает, куда перекинулось пламя. И еще: сколько человек и кто в гостях у бабушки? Только ничего не забудь и не перепутай. Вечером пусть снова разыщет тебя и скажет, что следует. А ты позвонишь и дословно все передашь Штольцу.

— Понял, — хмуро согласился хозяин. — А если Штольц не ответит?

Пронас снова задумался.

— К Варнасу не ходи. Пошли к нему завтра кого-нибудь из своих людей, лучше, если это будет женщина, они меньше вызывают подозрений. — Он помолчал. — Тех двух, пришедших из-за границы, лучше подержать пока в крепости. На связь выходить сейчас опасно. При первой возможности переправьте их в немецкий пригород, к Фогелю, пусть найдет им работу. А если Штольц тебе не ответит, ничего до моего возвращения не предпринимай. Все. Делай как договорились! А теперь проводи меня до угла переулка и проверь — нет ли за мной хвоста. Я спущусь к Неману, возьму лодку и махну на тот берег. Время еще, я думаю, позволяет. Послезавтра буду.

VII

Это же надо было так разоспаться. А еще, называется, контрразведчик. Хорош!

— Подъем, товарищи беспартийные, подъем, — гремел по комнате Крутис. — Пан Скочинский, да вы никак до утра проспать собираетесь?

Уже смеркалось, судя по всему — было часов девять вечера, сквозь оконце заползала вязкая, серая темнота.

Пятрас вскочил на ноги и потянулся, посмотрел в лицо Крутиса и, ничего не заметив, подумал:

Все идет как надо. Снаружи (он в этом ничуть не сомневался) за ними установлен надлежащий конт-

роль. Здесь тоже полный порядок. Скочинский — на месте, Крутис пришел, сам он свои обязанности шофера выполняет безукоризненно-аккуратно. Предложили явиться к Штольцу? Явился. Довезти до Укмерге? Пожалуйста. Решил Скочинский соснуть, когда они остались вдвоем, так и для него это время даром не пропало: свеж теперь, бодр, и сердце бьется радостно-взволнованно, как перед финалом стометровки, в котором он участвовал на втором курсе университета, как раз за месяц до того, как его впервые арестовали.

— Где у тебя можно сполоснуть физиономию, Юдас? — спросил Скочинский.

— Сейчас принесу, — ответил Крутис и вскоре возвратился, неся таз и кувшин с водой. — Ну так, слушай, — сказал он, когда Скочинский вытер лицо полотенцем, и, кивнув Жмудису, добавил: — И ты тоже слушай, парень! Сейчас мы пойдем к корчмарю Лошасу, что живет над рекой. Придется провести несколько часов в незнакомом обществе. Требуется от вас только одно: внимание и беспрекословное повиновение. По-моему, вы были предупреждены об этом еще господином Пронасом. Вы обязаны постоянно находиться возле меня. Не отходить от меня ни на шаг. Возможно, там развернется дискуссия. Возможно, начнутся споры. И чьи-то взгляды, чьи-то мысли вам понравятся, а чьи-то — нет. Так вот, никакого отношения к тому, что вы услышите, ни вы, ни я выражать не будем. Если склока в корчме перерастет в драку, а в начавшейся драке кто-нибудь случайно разобьет вашу голову стулом — да не послужит вам это поводом для отмщения. В таком случае, в случае, если события примут слишком бурный характер, наша задача — как можно быстрее покинуть этот спектакль.

Без четверти десять Янис Шапас вошел во двор корчмы. От кустов отделилась тень человека.

— Пароль?!

— За родину!

Незнакомец провел его через раскрытый проход в темный коридор. Он толкнул заскрипевшую на петлях дверь и, пропустив Шапаса, сказал:

— Проходи.

Шапас на мгновение задержался у порога, чтобы

осмотреть собравшихся, затем прошел в дальний угол. За столиком у окна, рядом с узкой дверью, Крутис переговаривался со стройным худощавым блондином. Возле них безучастно сидел Пятрас Жмудис. Везде уже расположились молодые люди, и, хотя столы были накрыты, к еде никто не прикасался. Чего-то ждали. Через несколько минут в зал ввалилась ватага парней. Два гимназиста, говоривших между собой по-немецки, подсели к столу Яниса.

Неожиданно из-за стола перед буфетной стойкой поднялся человек.

— Господа! — зычным голосом обратился он к собравшимся. — Для регистрации прошу каждого написать на листе бумаги свою фамилию, псевдоним, если таковой имеется, адрес или явочную квартиру, где вас можно найти, а также организацию или город, которые вы представляете. Прошу также внести полагающиеся пятьдесят рублей.

В зале стало тихо — тишина нарушалась лишь шуршаньем бумаги да скрипом перьев. Шапас тут же достал чистый блокнот, вырвал из него листок и написал: «Янис Шапас, Зарасай, Кривая, 17, явочная — хутор Зитре, кличка «Буй».

Вскоре по одному, по два присутствующие начали подходить к столу старшего. За ними пошел и Янис. Принимая деньги, тот мельком взглянул на Шапаса. Но ни о чем не спросил.

Янис посмотрел налево — сейчас он видел Жмудиса совсем близко.

«Так вот он каков, Скочинский!» — подумал он, разглядывая соседа Пятраса. Крутис, нахмурившись, поглядывал в зал.

Тут рядом с Шапасом раздался радостный крик:

— Хозяин. Господин Клудис!

Янис оглянулся — некто, весь сияющий от счастья, расталкивая окружающих, пробирался к Жмудису. Недоуменно и виновато взглянув на Скочинского, Пятрас поднялся из-за стола. Привстал и Крутис, грудью преградив дорогу незнакомцу. Но тот, снова вскричав громко «хозяин», проворно пронырнул под рукой у Крутиса и повис на шее у изумленного Пятраса.

Возвращаясь к своему столу, Янис видел, что Пятрас что-то торопясь объясняет Крутису и Скочинскому, как беспрерывно что-то тараторит незнакомец. Скочинский,

спокойно куря сигарету, смотрел на них снизу вверх. Крутис прямо, в упор, с отвращением разглядывал болтуна.

Янис не слышал, о чем там говорилось, но видел, как словоохотливый вдруг вытянул из кармана платок и вытер им набежавшие на глаза слезы.

Наконец Скочинский тоже встал и протянул всплакнувшему руку. Тот быстро пожал ее двумя руками и снова вытер платком глаза, а затем трубно высморкался. Жмудис что-то еще сказал и улыбнулся, а Крутис взял от окна стул и пододвинул его растроганному человечку. Тот сел и, благодарно закивав головой, ухватился за предложенную ему Скочинским сигарету.

Появились пятеро хорошо одетых парней во главе с Ричардом Варнасом. Все в ожидании смотрели в сторону руководителей. Варнас, расстегнув пуговицы пиджака, безо всяких предисловий обратился к собравшимся:

— Господа! Вы знаете, зачем мы собрались под крышу этого дома! Сегодня мы должны решить, быть или не быть Литве свободной от Советов. Настало время, когда каждый из нас должен сказать: я готов умереть за свободную Литву, я готов стать под знамена партии таутининков, потому что только она способна возглавить эту борьбу! Вот наш боевой призыв, господа! Зов наших предков! Завтра наши лидеры решат важный политический вопрос, вопрос о слиянии всех партий и группировок. На партию таутининков будет возложена задача руководства государством после захвата власти! Нас поддерживают друзья из-за Немана! С нами могущественная, непобедимая Германия и сам фюрер, господа!

— Хайль Гитлер! — раздались с мест нестройные крики.

Варнас поднял руку, прося порядка, и громогласно возгласил:

— Готовы ли вы не пожалеть жизней ради своей оскверненной отчизны?

— Готовы! — дружно вспыхнуло со всех сторон.

— Смерть и проклятие гнусным жидам и комиссарам! — проорал Ричард.

По залу прокатился ликующий вопль.

— Пусть подымется каждый, чье сердце полыхает святым огнем неутоленной и праведной мести!

Раздался оглушительный грохот отодвигаемых стуль-

ев. Вставая, Янис вновь взглянул в сторону Жмудиса. Лицо Пятраса выражало уверенность и спокойствие. Скочинский напряженно всматривался в зал.

Лишь Крутис как сидел, так и оставался сидеть.

Варнас пригладил напомаженные волосы и, будто успокаиваясь, продолжал:

— Да, господа, сейчас необходимо, чтобы каждый уяснил себе, кто ему друг, а кто враг. И это тем более тяжело, что наступают времена, когда брат подымается на брата и литовец пойдет на литовца. Но если мы этого не сделаем — все мы окажемся под властью голодранцев. Главное — сплоченность и инициатива. Сплоченность как залог одновременного выступления против предателей-пролетариев. И инициатива как залог выбора времени и направления нашего удара. Придет священный день гнева, и я убежден: то стадо, что так восторженно приветствовало недавно коммунистов, вновь обратится в тех же молчаливых волов, какими они были последние пятнадцать лет. Будущее в наших руках! Германия протянет нам руку военной помощи! Мы, молодые люди, обязаны позаботиться о своей стране. Да здравствует родина! Хайль Гитлер! — крикнул он с пафосом и выбросил вперед руку.

Аудитория трижды хором повторила последний клич.

Когда все снова успокоились, Варнас заговорил еще более решительно:

— Я вижу вашу всеобщую преданность и предлагаю всем принять присягу — дать клятву на мече нашего могущественного предка, создателя Литовского государства, князя Витаутаса! Я первым поклянусь перед этой святыней!

Он снял чехол с лежавшего перед ним меча, вынул из ножен сверкнувший при свете ламп двуострый клинок, длинный и широкий, положил на блестящий металл два пальца и торжественно провозгласил:

— Клянусь не складывать оружия, пока на земле литовской будет оставаться хоть один коммунист. Клянусь идти в первых рядах борцов!

Ричард отнял пальцы от клинка и поклонился собранию. В зале дружно зааплодировали. Затем приняли присягу сидящие рядом с Ричардом, а вслед за ними и все остальные.

Когда процедура была окончена, снова встал Варнас и мягким, дружеским голосом сказал:

— Благодарю вас, господа, за оказанное доверие и единодушное понимание наших задач. Так скрепим же нашу дружбу общей трапезой и бокалом вина.

Первый тост выпили за будущую — свободную от коммунистов — Литву, второй — за союз с Германией. Попойка разгонялась вовсю. Мало кто заметил, как бочком вплыл косоглазый, явно чем-то обеспокоенный корчмарь и склонился к Ричарду Варнасу. Тот недоуменно посмотрел на него и кивнул головой. Затем в корчме появился Янис Варнас и, быстро подбежав к сыну, что-то зашептал ему на ухо. Шапас видел, как меняется лицо Ричарда. Оно стало бледным, глаза сверкнули злобой. Потом он резко вскочил и приглушенно воскликнул:

— Господа, прошу внимания! — Его голос, как показалось Шапасу, дрожал. — Получены сведения, что в город прибыла оперативная группа НКВД. Она, как я полагаю, ищет наш след и, возможно, уже нашла его. Кто знает, — скользил глазами по залу Ричард, — может, и здесь находятся самые заклятые наши враги, но сейчас не время и не место сводить счеты. Нам необходимо, пока еще есть возможность, быстро и организованно разойтись. Расходиться небольшими группами: вправо и влево вдоль реки и в сторону шоссе на Йонаву. К утру в городе не должно оставаться ни одного человека. Первым пойдешь ты, — Ричард кивнул парню, собиравшему записки и деньги, — со своими людьми. Я выйду последним. Оружие применять только в случае крайней необходимости.

Шапас увидел, как быстро, рывком вскочил из-за стола Крутис, как что-то резко и недовольно процедил ему сквозь зубы высокий блондин. Пятрас, казалось, ел глазами Скочинского.

Крутис что есть силы пнул ногой находившуюся рядом боковую дверь, и она распахнулась настежь. Скочинский сразу же вошел в нее. За ним, словно привязанный, последовал и Жмудис; туда же, прежде чем Крутис захлопнул дверь за собой, успел юркнуть и их заплаканный сосед.

Пятраса сразу же охватило промозглой сыростью и отвратительным запахом прогорклой капусты, едва только они оказались в полной темноте.

— Осторожно, здесь справа кадки и крутой спуск

в подвал, — шепотом произнес Крутис. — Идите прямо, левой рукой придерживаясь стены.

Медленно ступая друг за другом, все четверо продвигались вперед.

— О черт возьми, — громко, не удержавшись, выругался Скочинский.

— Спокойно, начальничек! — проговорил Крутис. — Если за этот вечер ты отделаешься одной только шишкой, можешь считать, что родился заново. Сейчас будет еще одна дверь. Дальше я иду первым. Ты, Пятрас, следом за мной. Краснодеревщик твой пусть держится за твою спину. Ну а господин Скочинский подгонит вас сзади, ежели у вас не хватит дыхания.

Он распахнул дверь, повеяло спокойной, вечерней свежестью. Вдали, будто за тысячу верст от корчмы, засвистал паровоз. Из-под самых ног Крутиса неожиданно шарахнулся кот, и великан опять длинно выругался по-русски.

— Начали, — скомандовал Крутис, бросаясь к забору. — Здесь у меня припасена щель.

Вскоре они оказались в палисаднике и, обогнув мирно спящий дом, углубились в большой фруктовый сад.

— Сейчас снова забор, — предупредил Крутис, — а прямо за ним берег Швентаи.

— Туда нельзя, — запротестовал краснодеревщик. — Если нас оцепили энкавэдисты, мы окажемся в ловушке. В какую сторону оттуда мы ни подадимся, напоремся на засаду. Тогда придется возвращаться обратно. А тем временем они начнут прочесывать местность вокруг корчмы шаг за шагом...

— А ты неплохо разбираешься в обстановке, парень, — оборвал его Крутис, но Крутиса остановил Скочинский:

— И к тому же парень, кажется, прав. Что вы предлагаете?

— Я думаю, лучше вернуться немного назад, этак метров на двести, садами, а затем повернуть налево. Вскоре мы упремся в проселочную дорогу, а за ней начинаются сплошные заросли ольхи. Там не то что НКВД, а наши жены не найдут нас, если б мы захотели от них укрыться. Так мы можем обогнуть все Укмерге и войти в город с той стороны, где нас никто не ждет.

— Согласен, — порывисто произнес Крутис. — Не будем терять времени.

Где-то в стороне прозвучал винтовочный выстрел, за ним другой, третий.

— Друзья встречаются вновь, — усмехнулся Крутис и снова выругался.

Узкой полоской перед густой стеной невысоких деревьев светлела дорога.

— И луна, как назло, — прошептал Пятрас, но Скочинский быстро зажал ему рот.

Метрах в тридцати от них виднелась фигура красноармейца с винтовкой наперевес.

— По одному, — приказал Крутис. — Ну! — и тут же рванулся через дорогу.

— Стой! — прозвенел оглушительный возглас. Прогремел выстрел.

Красноармеец судорожно согнулся и боком упал на дорогу.

— Зачем вы стреляли? — прошипел краснодеревщику Скочинский.

— А что было делать? Что? — возмутился тот. — Пятрас, я вас прикрою. Ждите меня по ту сторону проселка.

Скочинский подтолкнул Жмудиса, и тот одним махом влетел в глухие заросли ольшаника.

— Сюда, — услышал он слева приглушенный голос Крутиса.

Спустя мгновение через дорогу перебежал и Скочинский. Несколько пуль с опозданием просвистели за ним.

И тут же Пятрас увидел, как, будто споткнувшись, краснодеревщик упал прямо на середину дороги.

Жмудис приподнялся на локти и получил здоровенную затрещину от Крутиса.

— Хозяин, хозяин, господин Клудис, — прозвучал жалобный голос с дороги.

— Не время, — придерживая за плечи Жмудиса, прохрипел Крутис. — Парень готов. Будем отходить.

— Но... — вырвалось у Пятраса.

— Никаких «но», Клудис, — ледяным тоном приказал Скочинский. — Вы не сестра милосердия.

Где-то поблизости послышались голоса, переговаривающиеся между собой по-русски.

— Ползком, — прошептал Крутис и пополз первым, вертко, как угорь, изгибаясь всем телом. Так ползли они, прижимаясь к земле, натыкаясь на узловатые корневища, проваливаясь в колдобины.

VIII

— Ну как? — с беспокойством спросил Горбунов тяжело дышащего Шапаса.

Шапас стал докладывать о событиях в корчме.

— Самый ценный из них, кроме Варнаса, конечно, парень со списками, человек среднего роста, с круглым, начавшим полнеть лицом и темными усами. У него адреса всех присутствовавших на сборище, его надо задержать во что бы то ни стало!

— Как глупо выпустили Яниса Варнаса, — сокрушенно заметил подполковник. — Задали сами себе лишнюю работу.

— Товарищ подполковник, а может, это и к лучшему, что так получилось? В корчме они бы отстреливались до последнего патрона. А теперь бандиты деморализованы. И поодиночке с ними будет управиться легче.

— Все может быть, — задумчиво отвечал Горбунов. — Так, говоришь, принимали присягу на мече Витовта? Это они здорово придумали, ничего не скажешь. Бьют на национальную гордость!

Издалека послышался хриплый, надрывный гудок паровоза и один за другим два пистолетных выстрела.

— Это еще что? — прислушиваясь, глухо сказал подполковник, нервно затягиваясь папиросой.

Не прошло и нескольких минут, как за окном раздались чьи-то тяжелые шаги, распахнулась дверь, и в кабинет ввалился человек. Лицо вошедшего было бледным, как марля, на лбу кровоточила рана, правый рукав пиджака разорван, брюки и сапоги в грязи и залиты кровью.

— А все же мы их взяли! — судорожно хватая ртом воздух, сказал он.

— Где остальные? — с беспокойством спросил Горбунов, усаживая его на стул.

— Ничего, товарищ подполковник, не беспокойтесь. Уже прошло. Трое наших ранено, в том числе и Зигмунд Пихович. Ранен в плечо. Перестрелка завязалась на всю катушку, а этот гад, Трубнис, гранату бросил. Такое там творилось, трудно передать. Хорошо, что быстро кончилось...

— А как Пихович?

— Все в здании милиции. Нам повезло — вовремя подоспел военный патруль. С Трубнисом оказалось пять человек, а нас было только четверо. Правда, мы рассчитывали на мирный исход дела. Подошли с Зигмундом к дому, входим во двор, видим, в двух окнах лампа горит, как и положено. Но тут, как из-под земли, появился здоровенный парнище. Стоит в тени деревьев — и «стой, пароль!». А мы же их пароля не знаем. Зигмунд тогда выступает вперед и говорит ему, что он, Зигмунд Пихович, пришел к товарищу, с которым ему срочно надо поговорить по важному делу. А этот гад ни в какую. «Стойте и не шевелитесь, иначе очередь всажу», — предупреждает нас, а сам пробирается к входной двери. Стукнул в нее несколько раз, ему открыли, мы двинулись было за ним, да он успел закрыть ее на засов. Через минуту, а может больше, раздается голос Трубниса, Зигмунд же его хорошо знает, учились вместе. Спрашивает, что нам надо. Он и ему говорит, я-де Зигмунд Пихович, надо мне с тобой поговорить конфиденциально, а тот как фуганет матом. Я обозлился, толкнул Зигмунда рукой, чтобы стал к стенке, но он стал говорить, что, мол, напрасно Трубнис перестал с нами знаться, что рано, мол, считает себя президентом. Тогда бандюга не выдержал и несколько раз выстрелил, ранив Пиховича. На шум подоспели наши, а за ними — и патрульные. Ну, оцепили мы дом, постреливаем в окна. Вдруг окно — то, что выходит на реку, — распахивается, а из него один за другим выскакивают три человека. Завязалась драчка. Я схватился с одним бандитом, но тут раздается оглушительный взрыв, а потом в окне появляется Трубнис. Выпрыгнул во двор и сразу дернул вправо и в сторону, к кустам, но я успел в него выстрелить. Трубнис споткнулся и упал, тут-то на него и навалились ребята.

— Хорош Трубнис, — сказал Горбунов, — бросил в ваши объятия своих холуев, оглушил взрывом гранаты, а сам под шумок решил улизнуть... Хитер... — Он подошел к телефону и, когда его соединили с милицией, приказал: — Машину с задержанными после оказания им медпомощи под усиленной охраной отправить в Каунас. Раненых сотрудников — в больницу. Остальных ко мне!

В комнату быстрыми шагами вошел начальник местного отделения НКВД.

— Товарищ подполковник, — обратился он к Горбунову, — операция по ликвидации сборища в корчме выполнена! Во время операции ранены три человека. Задержанные, двадцать семь душ согласно списку, содержатся во дворе милиции. У корчмы оставлен пост наблюдения.

Горбунов взял список, пробежал глазами.

— И оба Варнаса здесь?

Начальник кивнул головой, покинул комнату и тут же снова вошел с внушительным, широким клинком.

— Это что? — вскинул Горбунов брови.

— Так называемый меч Витовта, товарищ подполковник. Бутафория. Украден в драматическом театре. Тот самый, на котором клялись заговорщики. И здесь не смогли без лжи. Да что с них брать? Работают на Германию, хотят они того или не хотят, знают или не знают, а клянутся на мече Витовта. Имя-то зачем упоминать его столь кощунственно? Громил Витовт тевтонов всю жизнь. А эти лоботрясы даже родной истории выучить не удосужились.

IX

Перед самым выездом Скочинский спросил у хмуро молчавшего Жмудиса:

— Вы знаете, как отсюда добраться до Утены?

— Еще бы, — удивился Пятрас. — Я же сам оттуда.

Но не успели они отъехать на север и пятнадцати километров, как Скочинский приказал остановить машину.

— Здесь должна быть рокадная дорога на Расейняй.

— Это одно только название, что дорога, — возразил Пятрас. — Обыкновенная просека — только и всего.

— Просека так просека, черт с ней. Лишь бы по ней можно было проехать.

— Как-нибудь проберемся. Но раньше шести вечера быть там не обещаю.

Скочинский искоса взглянул на Жмудиса и сунул руку во внутренний карман.

Пятрас весь подобрался, готовый предупредить любое его движение.

— Здесь пропуска в пограничную зону на ваше и мое имя, — сказал Скочинский, доставая какие-то бумаги и передавая Жмудису.

Пятрас удивленно взял их в руки. Это действительно были самые что ни на есть доподлинные пропуска, и что совершенно поразило Пятраса — на бланках их отдела и заверенные печатями.

— И вот еще что, господин Клудис, — продолжал Скочинский. — Перестаньте вы кукситься. Вы что, гимназистка?

— Стасис не выходит из головы, — взглянув прямо в глаза Скочинского, ответил Жмудис. — Краснодеревщик, как вам угодно было его именовать.

— Согласен, это потеря. Но совесть не может нас упрекнуть в том, что мы бросили товарища в беде.

Скочинский задумался, затем продолжал:

— Господин Клудис! Я, пожалуй, должен вас посвятить в некоторые детали нашего путешествия. Прошу вас быть повнимательнее... Мы должны во что бы то ни стало попасть на седьмой кордон Расейняйского лесничества. Это километров десять-двенадцать севернее Юрбаркаса — поворот направо в изгибе речушки, старое шоссе на Таураге.

Жмудис весь превратился в слух, ловя каждое его слово.

— И еще, — будто спохватившись, добавил Скочинский, — хочу вас предупредить на всякий случай. Если нам по каким-либо причинам придется расстаться в пути, вы должны любыми способами добраться до указанного мною кордона; вызвать лесничего Яниса Пиккерниса и доложить ему о случившемся. Пароль: «Здравствуйте. Скажите, как выйти к Неману?» Он вам ответит: «К Неману пути закрыты, можете оставаться у меня». — Скочинский немного подумал и закончил: — Вот теперь, кажется, все, что вы должны знать, мой дорогой спутник и телохранитель.

X

В Расейняй приехали без приключений. Погода снова испортилась, моросил мелкий дождь, покрывая каплями ветровое стекло. Пятрас постоянно включал и выключал «дворники», и тогда капли струйкой сбегали по капоту в сторону и вниз.

Разговаривая со Скочинским, он не переставал думать, как бы ему уведомить обо всем Озерова.

Хмурое небо еще больше потемнело. Когда въехали в междулесье, казалось, наступили сумерки, хотя до вечера было еще далеко. Путь был глухим и безлюдным. Но при выезде из лесного массива на гравийную дорогу с указателем «На Таураге» показался пограничный пост. Три пограничника стояли у дороги, четвертый сидел на скамейке у небольшого домика.

— Час от часу не легче, — останавливая машину, сердито произнес Пятрас и добавил: — Будьте готовы, это вам не милиция...

Скочинский внимательно посмотрел на Пятраса.

К машине подошел веснушчатый паренек в зеленой фуражке и откозырял.

— Водителя прошу в помещение, там регистрируют пропуска.

Жмудис поблагодарил его и направился по тропинке к помещению. Пограничники равнодушно разглядывали машину.

— Ваша фамилия Клудис? — спросил сидевший за столом пограничник.

— Да!

— Будем знакомы. Лейтенант Андреев! Имею распоряжение комендатуры оказывать вам всяческое содействие.

— Все, что я вам сейчас передам, прошу срочно сообщить следующему за мной капитану Озерову и в каунасский отдел НКВД, — быстро заговорил Пятрас. — Своего спутника, некоего Владислава Скочинского, я везу на седьмой кордон Расейняйского лесничества. Ищите его на карте примерно в десяти километрах севернее Юрбаркаса. Запомните имя: лесничий Янис Пиккерис. Едем к нему.

— Есть такое лесничество! — ткнув карандашом в точку на зеленом фоне карты, подтвердил Андреев.

— Дальше. Скочинский, видимо, покидает нашу Литву. Чувствую, уносит ноги не иначе, как в фатерлянд! Так что передайте Озерову, пусть приготовится принять его у кордона, если решат его брать.

— Так, — проговорил Андреев, — скажите, что вам известно об этом Пиккерисе?

— Ровно ничего! Но предполагаю, что в его лесни-

честве пересыльный пункт через границу вражеской агентуры.

— Что еще? — сухо спросил пограничник.

— Имейте в виду, возможно, где-то в пути Скочинский покинет меня и будет добираться до лесничества самостоятельно. Мне он передал пароль для связи с Пиккерисом.

— Какой?

Жмудис назвал пароль и продолжал:

— Однако не исключено, что все это сказано им для дезинформации. Кто знает, может, расставшись со мною, он попытается скрыться, изменив маршрут своего движения. Или сам двинется к границе, или попытается вернуться назад. Допускаю также, что в пути он попытается ликвидировать меня, чтобы не раскрывать подлинной явки. И вот еще что, в руки контрреволюционного подполья попадают бланки каунасского отдела НКВД. Те самые, что сейчас лежат перед вами.

— Передам, — согласился Андреев. — Наш отряд выйдет в этот район, кордон номер семь здесь рядом. Однако нас интересует ваш спутник.

— Это, по всей вероятности, немецкий разведчик, поэтому наши товарищи и идут по его следу, — пояснил Пятрас.

— То, что ваши товарищи идут, это их дело. А нам не мешало бы и самим на него посмотреть. Если произойдет что-либо непредвиденное, мы ведь должны иметь о нем какое-то представление.

— Понимаю, товарищ Андреев. Так что, привести его сюда?

— Скажите, что эта процедура необходима при регистрации паспортов в пограничной зоне! — ответил лейтенант, листая журнал записей пропусков.

Увидев вышедшего из домика Жмудиса, Скочинский открыл дверку машины и спросил:

— Ну, что там?

— Господин Владислав, они требуют вас с паспортом!

Скочинский вышел из машины и безучастно спросил у Пятраса:

— Вместе пойдем?

Лейтенант внимательно разглаживал паспорт Скочинского, время от времени бросая быстрые взгляды на его владельца, делая нужные записи в книге регистра-

ции. Скочинский изо всех сил таращил глаза, стараясь разглядеть, что именно там записывают.

— У вас пропуск на пять дней, — возвращая бумаги, напомнил лейтенант. — Прошу не просрочить, при выезде не забудьте снова зарегистрироваться. А сейчас вы свободны, можете ехать!

Позади их машины стоял черный «мерседес», шофер его уже вылез из кабины, направляясь на регистрацию.

Скочинский шел впереди, кутаясь в свой легкий плащ.

Через минуту машина Пятраса покинула погранпост и понеслась по дороге. Немного помолчав, Скочинский повернулся к Жмудису и с благодарностью сказал:

— Я еще раз убедился, что вы настоящий парень. Восхищаюсь вами! И думаю, что в вашей судьбе не произойдет ошибок.

— Благодарю за комплимент! Я тоже так думаю. Однако смотрите вперед, не проехать бы нам поворота...

— Не стоит излишне скромничать. Каждый человек должен знать себе цену.

Жмудис, не отрываясь от руля, повернулся к Скочинскому.

— Не нравится мне этот «мерседес», — озабоченно заметил он.

— А что так?

— А то, что вчера он обогнал нас по дороге в Укмерге.

— Это точно? Вы не ошиблись? — заинтересовался Скочинский. — Какой вы, однако, молодчина. Ну ничего, больше он нас уже не обгонит. Скоро мы приедем.

— Ладно, — ответил Жмудис безразличным тоном. — Посмотрим. Кстати, впереди человек у кустов, не наш ли это проводник?

— Сбавьте скорость, чтобы не проскочить.

От куста отделился человек в черной накидке с корзиной. Он перемахнул через кювет и поднял левую руку. Пятрас плавно остановил автомобиль. Человек в форме лесничего вплотную приблизился к машине и, обращаясь к Скочинскому, густым басом сказал:

— Могу предложить грибы, если подвезете!

— К грибам хорошо бы пару гусей! — отвечал Скочинский.

— Ну, гуси-то будут! — заметил лесничий и, открыв дверку, уселся на заднем сиденье. Был он весь какой-то

заросший, будто тина стекала у него со щек и усов. «Настоящий лесовик», — подумал Пятрас.

Проехали с километр и свернули на просеку. В лесу было совсем темно. Жмудис включил фары. По малоиакатанной дороге выехали к озеру, обогнули его и оказались у обнесенного частоколом двора. Лесничий вылез из машины, открыл калитку, затем распахнул ворота.

— Машину загоните под иавес, а сами приходите в дом, — наказал хозяин и пошел к крыльцу. Там стояла молодая полная женщиина в наброшенном на плечи сером плаще и с иепокрытой головой.

— Это была чудесная поездка, — сказал Скочинский Пятрасу. — Я восхищен вами, господин Клудис! И должен сказать вам: знаете, почему я ие пристрелил вас по дороге? Вы слишком похожи на агеита НКВД, для того чтобы им быть.

— Спасибо, — отвечал, улыбиувшись, Жмудис, — комплиментом своим, не могу не признать, вы меня просто огорошили...

Ои медлеино пошел за своим пассажиром к дому, оглядывая надворные постройки.

— Слышите, какая тишиниа, — остановившись, мечтательио произнес Скочинский. — Здесь легко можно забыть, что есть на свете тревоги, невзгоды, опасности... А они подстерегают иас на каждом шагу. Заметьте, Клудис, на каждом шагу.

«Что это он начинает играть у меня иа нервах?» — промолчав, подумал Жмудис. Тревожное, щемящее чувство на мгновение вспыхнуло в ием.

Висячая керосиновая лампа освещала комнату, куда оии вошли. Два письмеиных стола с грубыми табуретками и иесколько шкафов, забитых бумагами и книгами. Две двери, ведущие, вероятпо, в другие комнаты дома.

Скочинский снял с головы шляпу, причесал волосы, заглядывая в зеркало на стеие. Жмудис присел у края стола. Появилась женщина, которую Пятрас уже видел иа крыльце, и певучим голосом сказала:

— Господин Владислав, вас просят пройти сюда!

«Сейчас, наверно, позвали его, чтобы справиться обо мне, — подумал Жмудис, провожая глазами Скочинского, — ие иначе... Ну что ж, игра есть игра, и она стоит свеч...» И тут же другая беспокойная мысль толкнула Пятраса: «Да ведь у меня даже иет оружия. Что за черт? Ну зачем мне оружие? Здесь и оно не поможет».

Дом словно замер. Ни одного звука, кроме слабого шипения да потрескивания фитиля в лампе, висевшей над самой головой. И еще мелкая дробь дождя по стеклам задернутых занавесками окон. Глаза Пятраса лениво блуждали по запыленным шкафам, по грязным обоям, засиженному мухами потолку. Он пребывал в таком состоянии духа, когда кажется, что сделано все необходимое и сделано именно так, как того требовали обстоятельства, и когда остается только набраться терпения и ждать дальнейшего развития событий. Но все ли действительно сделано?

Минут через двадцать бесшумно открылась дверь, и вошел Скочинский. Он остановился возле Пятраса и, оттопырив губы, бодро сказал:

— Бросьте, Клудис, ломать голову над проблемами неустроенной Литвы. Все устроится само собой. А пока пройдите в соседнюю комнату. С вами хочет поговорить один господин: вы его очень интересуете.

Непривычно слащавый голос злил Жмудиса, и Пятрас успокаивал себя только тем, что, как там ни говори, а по очкам он у Скочинского пока выигрывает. Пока...

— Не хмурьтесь, Пятрас! Идите же, вас ждут!

Небольшая уютная комната освещалась стоявшей на этажерке лампой. У стола стоял крепкого сложения блондин с прилизанными волосами. Его высокий с залысинами лоб блестел, узкие губы были стиснуты, глаза острыми буравчиками впились в лицо Пятраса. Одет он был как для верховой езды — серые галифе, хромовые, до блеска начищенные сапоги и черная блуза с синей кокеткой на «молнии».

Жмудис прикрыл за собою дверь и остановился в нерешительности.

Видя его замешательство, блондин приветливо произнес:

— Прошу, проходите и садитесь.

Пятрас вежливо поблагодарил и уселся в ожидании вопросов.

— С кем имею честь?

— Пятрас Клудис! — ответил Жмудис, смущенно наклонившись.

— Меня зовут Эгидюс Рокас, — представился блондин, отодвинул стул и, сев против Жмудиса, положил руки на стол. — Господин Клудис, мне необходимо кое-что выяснить у вас. Прежде всего, кто вас послал сюда?

— Господин Пронас!

— Вас инструктировали о ваших дальнейших заданиях?

— Нет. Мне было сказано только, чтобы я выполнял все указания господина Скочинского.

— Хорошо. Мне сказали, что вы человек деловой и расчетливый, поэтому говорю прямо: за вашу работу вы будете хорошо вознаграждены. Только условие: быть предельно внимательным и помнить, что в нашем деле малейшая ошибка подобна смерти.

— Я это знаю, меня господин Пронас предупреждал.

— Ну тогда все в порядке. Советую сначала отдохнуть. А потом мы поговорим подробнее о предстоящих делах. — Рокас подошел к стене и три раза постучал в нее.

В комнату вошел тот самый лесовик и остановился в выжидательной позе.

— Пиккерис, — сказал Рокас, — отведите, пожалуйста, господина Клудиса в комнату у веранды и позаботьтесь о еде для него и отдыхе.

Лесничий привел Пятраса в маленькую комнатку. Тускло горела у окна керосиновая лампа. Рядом с дверью на стене был прилажен рукомойник. Пиккерис подошел к лампе, выкрутил фитиль и молча вышел.

Оставшись один, Жмудис в волнении ходил по комнате. «Вот оно, волчье логово, — думал он. — Неплохо же вы, подлецы, устроились вдали от нашего глаза... Однако что за дурацкий разговор произошел у меня с этим Рокасом? Проверка — не проверка. Все, о чем он меня спросил, он мог узнать и у Скочинского. Зачем понадобилось устраивать эти смотрины?»

А между тем усталость и напряжение взяли свое, и стоило Жмудису прислонить голову к подушке, как он будто провалился в глубокий сон.

Сколько он проспал, сказать трудно. Очнулся же от громкого и заливистого смеха. А затем услышал чей-то глухой разговор за стеной. Затаив дыхание, прислушался. Говорили двое. Высокий мужской голос прерывался другим, гудящим, пропитым, сиплым. Жмудис пытался уловить хотя бы обрывки разговора. Говорили по-немецки Скочинский и Рокас.

— Господин Граймер, — это говорил Рокас, — вы, право, родились под счастливой звездой. Вам чертовски везет в этом запутанном мире. Вы уходите домой,

в распоряжение полковника Лигница, а он к вам явно благоволит. И, конечно, отзывает он вас неспроста. Скорее всего он поручит вам хорошую работу в подготовке к новой войне. Ведь нам предстоит поход, который затмит подвиги Карла XII и Наполеона. И Лигниц сейчас тренирует будущих парашютистов для диверсионной деятельности на территории России. Чем для вас не работа? Мы же здесь создадим опорные точки: чтоб было на кого опереться, когда грянет первый выстрел. Все это часть обширного стратегического плана, разработанного самим фюрером. И победа наша будет быстрой и легкой. Так было в Польше, Чехословакии, Франции. Так будет и в России... Мы тоже недаром едим хлеб фюрера!

Слышно было, как Рокас хрипло засмеялся.

— Я так рад, что скоро буду дома! И я хочу знать, дорогой Карстен, как вы думаете перебросить меня — через Неман или мне придется идти на Мемель?

— Думаю, у вас нет и не будет никаких поводов для волнений. До Таураге здесь рукой подать, доедете на подводе. А там поезд с русской пшеницей, и вы, милый мой, в Тильзите! Этот путь уже испытан несколько раз, и никто о нем не догадывается. Но ладно. Скажите лучше, какое все-таки впечатление на вас произвел шофер, который привез вас?

— Самое благоприятное. Смелый, решительный, работает на нас охотно, ненавидит Советы. По-моему, самая заветная его мечта — рассчитаться за все потери, которые он понес.

Больше Жмудис прислушиваться не мог — в комнату вошел лесничий. А когда, расставив на столе тарелки, он удалился, за стеной было уже тихо — видно, беседующие вышли из комнаты.

Жмудис сел к столу и принялся за еду, повторяя в уме все, что ему довелось услышать, «Скочинский — Граймер. Рокаса зовут Карстен. Это уже много...» Покончив с ужином, Жмудис закурил, продолжая раздумывать о своем. Через некоторое время снова появился Пиккерис, собрал посуду и тихо спросил:

— Вам больше ничего не надо?

— Благодарю! Пока ничего! — ответил Пятрас, затягиваясь папиросой.

После ухода лесничего он накинул на плечи пиджак и вышел на террасу, густо увитую плющом. Кругом

стояла непроглядная темень. Шумели вековые ели и сосны. Дождь перестал, но из леса тянуло болотной сыростью и запахом хвои. Где-то за постройками, в лесу, прокричала ночная птица, нарушив монотонную тишину. И снова кругом все стихло.

Освоившись с темнотой, Пятрас заметил дорожку, уходящую от террасы в сад. Из-за деревьев, в глубине сада, виднелись очертания небольшого строения, оттуда из зашторенного окна пробивалась узкая полоска света. Скрипнула дверь, на дорожку упал сноп света и тут же исчез. Послышались чьи-то торопливые шаги. Жмудис прижался к террасе, слившись с плющом, и замер. Совсем рядом прошел человек, что-то бубня себе под нос, и скрылся за углом дома. И тут же Пятрас услышал рядом с собой дыхание лесовика:

— Вам что-нибудь нужно?

— Да нет... — небрежно ответил Жмудис. — Но, по правде сказать, кое-куда уже давно хочется.

Бородач засопел еще больше, шаря глазами по невозмутимому лицу гостя, а Жмудис спустился по ступеням в сад и пошел в указанном ему направлении.

Возвращаясь, он как бы между прочим заметил стоявшему у распахнутой двери лесничему:

— В такой темноте да по такой непогоде и кошка медведем покажется... Благодарю вас и желаю спокойной ночи!

Жмудис прошел в свою комнату и притворил за собою дверь. «Так-то будет надежней. А вылазка моя все же оказалась нелишней... Этот молчун, как аргус, стережет свой притон».

Тут-то он и услышал, как в дверь тихо и настойчиво постучали.

* * *

— К вам можно? — улыбнулся, приоткрыв дверь, Скочинский. И вошел, не дожидаясь ответа. Следом за ним в комнате оказался Рокас. Оба уселись возле столика, и Скочинский зачем-то взглянул на часы.

— Кажется, наступило время подвести итог, — заговорил он, — но для этого и мне придется задать вам несколько вопросов, господин Клудис. А вам — ответить на них. Согласны?

— Разумеется.

— Во-первых, начнем с того, что те, кто послал вас

со мною, могут быть вами вполне довольны, господин Клудис. Я думаю, что задание свое вы выполнили превосходно.

— Мне остается только радоваться вашей неистощимой щедрости на комплименты, — попытался засмеяться Жмудис. Но вышло это у него плоховато, он чувствовал громадное напряжение. Что могло послужить целью столь позднего и неожиданного визита?

— Да, вы хорошо поработали, — продолжал Скочинский, — но скажите-ка нам: кто вы — литовец или русский?

Жмудис изумленно взглянул на Скочинского.

— Я вас не понимаю, господин Скочинский, — начал он, но Скочинский его разом оборвал:

— А, кстати, почему вы называете меня Скочинским? Разве вы не слышали, что меня зовут Граймер? Здесь тонкие стены, — добавил он, помедлив.

У Пятраса перехватило дыхание. Ах вот как. Ему дают понять, что он может еще поиграть. Ну что же, поиграем, господин Граймер.

— Слышал! — Пятрас развел руками. — Но...

— Да, да, — кивнул головой его бывший пассажир, — вам не хотелось показаться бестактным. О, как я вас понимаю. Я немец, господин Клудис. Но можете называть меня по-прежнему.

— Я знаю, — отвечал Пятрас. — Я догадался.

— А теперь еще одно отступление. Ведь вы точно так же догадались и где вы находитесь?

Жмудис молчал.

— Молчание — знак согласия. Теперь догадайтесь и еще об одном — почему так откровенен был при вас Крутис? Почему так откровенен с вами я? Почему вам дали так много узнать, господин Клудис? — Скочинский поднялся со стула. — Можете не отвечать. Я отвечу за вас. Потому что в выданном вам билете по маршруту — туда и обратно — обратный билет должен был остаться неиспользованным.

— Ах, этот подлец Пронас! — чуть не рванулся с кровати Пятрас.

— На редкость большой подлец! — охотно согласился Скочинский. — Да ведь вы не первый, кому суждено было обрести здесь вечный покой. Но вы мне нравитесь, господин Клудис! А потому ответьте-ка на мой первый вопрос. Литовец вы?

— Разумеется, литовец, — с обидой произнес Пятрас.

— Не очень-то дорожит, как я заметил, жизнями литовцев господин Пронас в своих сладких мечтах о создании независимого Литовского государства. Но нас-то вы должны понять. У людей есть язык. Они могут заговорить. В известных условиях, конечно. А нам слишком дорога здешняя избушка, чтоб мы могли рисковать. Риска в нашей жизни и так хватает. Что поделаешь, но мертвецам иногда больше веры. Правда, Рокас? — обернулся он к своему товарищу.

Тот в ответ промолчал.

— Так как вы думаете, господин Клудис, стоит ли жертвовать своей жизнью ради таких, как Пронас? Или лучше избрать другой, более умный путь?

— Я не Пронасу служил, а Литве, — хмуро буркнул Пятрас.

— Кто знает, может, вы и правы, — задумчиво сказал Скочинский. — Может, вы действительно так и думаете. Но тогда позвольте еще вопросик? Что это вы делали на пристани, когда я сходил с парохода? Встречали кого-нибудь?

Вот он, новый удар. Что же он все-таки знает? Значит, заметил тогда.

— То же, что и в мастерской Штольца, — нахально ответил Пятрас.

Скочинский и Рокас переглянулись.

— А, вы и там были, — с удовлетворением констатировал Скочинский.

— Да, я охранял вас, — продолжал Пятрас.

— Конечно, по поручению Пронаса?

Пятрас не хотел отвечать сразу.

— Ну а кто же еще мог отдать мне такое распоряжение?

Скочинский громко расхохотался.

— Действительно, кто? Вряд ли это мог сделать, к примеру, тот краснодеревщик, что пожертвовал своей жизнью, выводя своего хозяина из злополучной корчмы.

— Зачем так жестоко напоминаете вы мне о погибшем? — ледяным тоном спросил Пятрас.

— Не будем о нем, — согласился Скочинский. — А теперь скажите мне, почему это в черном «мерседесе», на который вы столь бдительно обратили внимание у пограничного пункта, сидел человек, бывший вместе с вами на пристани?

Пятрас молчал. Вот, значит, где он ошибся. Сам ошибся. Может, лучше тогда было отвлечь внимание Скочинского чем-то иным? Переборщил? Хотя — в общем — сейчас он, пожалуй, и ждал этого вопроса. Но надо молчать. Пусть думают, что он разоблачен, повержен, сломлен.

— И еще один вопрос? — услышал Пятрас. — Знаете, почему вы так похожи на агента НКВД? Потому что вы и есть агент НКВД.

«А ведь им чего-то от меня надо, — думал Пятрас. — Иначе зачем этот разговор? Что ж — раз надо — значит, заговорят. Но какую маску надеть на себя?»

— И это-то и постыдно для литовца, — впервые заговорил Рокас.

— Если он, конечно, не убежденный коммунист, — поправил его Скочинский.

— Я готов отвечать на все ваши вопросы, господа, — стараясь придать своему голосу интонацию сдержанной готовности, сказал Пятрас. — Но, господин Скочинский, примите теперь и вы мои комплименты — такая наблюдательность, такой проницательный ум, такая расчетливая смелость...

— Не надо, Клудис, — не без удовольствия махнул рукой Скочинский. — Это просто торжество здравой логики. Смекните сами: я, конечно, с самого вашего появления допускал такую возможность. Окончательно же я убедился в этом на КПП. Но я всегда мог вас прикончить, поэтому я и был с вами откровенен. И вы всегда узнавали от меня ровно столько, чтоб эти сведения устаревали уже к моменту их сообщения.

— Согласен, — хрипло проговорил Пятрас. — Я был связан вами по рукам и ногам.

— Кстати, Пиккериса уже обложили?

— Не думаю... С пограничниками непосредственно мы не контактируем. А пока там, наверху, еще решат... К тому же сейчас уже поздно, ночь. Нет, вряд ли могли успеть.

— Впрочем, это и не важно. Что из того, что этот молодой лейтенантишка знает координаты Яниса Пиккериса? Если он сунется сюда теперь, мы все равно сумеем уйти. Ваш труп будет единственной наградой ему за все старания. Но ведь он не сунется. Насколько я понял, НКВД решило дать нам побегать. Мы — не против.

Поэтому еще раз спасибо, господин Клудис, или как вас там зовут — уж не знаю.

— За что же спасибо?

— Да лучшей защиты, нежели вы, и пожелать было нельзя. Однако благодарность — благодарностью, а дело — делом. Вопросы продолжать?

— Пожалуйста, — предложил Пятрас.

— Как вы оказались в НКВД?

Пятрас понимал всю важность своего ответа. Вот когда начинается второй акт.

— Тридцать второй год... — пояснил он. — Кризис... Фабрика моя чуть не прогорела. К тому же карточные долги. Бабы, черт бы их побрал.

— Так вы не из СССР? — удивленно спросил Скочинский.

— Конечно же, нет, — горячо воскликнул Пятрас. — Что мне там надо?

— А чем вы можете это доказать?

— Ничем, — развел руками Пятрас. — Здесь и сейчас, разумеется, ничем.

Скочинский снова заходил по комнате.

— Кто этот тип, что так мило лил в корчме слезы, а потом инсценировал кровопролитие на дороге?

— Да ничего он не инсценировал! — вдруг с напускным отчаянием закричал Жмудис. — Его-то за что покрывать позором? Он служил мастером у меня на фабрике, пока не женился на дочери владельца магазина готового платья из Укмерге. Его жене рожать через месяц, а вы о нем... — Пятрас уткнул свое лицо в ладони. — Неужели это не понятно, господин Скочинский?

— К сожалению, непонятно, — прикрикнул на Пятраса его пассажир. — Совсем непонятно. И не до сердечных огорчений и соболезнований сейчас и мне, и вам, и ему, — он указал рукой на Рокаса. — Но молитесь дьяволу, если вы мне только что солгали.

— Лучше солгать дьяволу, чем вам.

— Понимаете, что вы заслужили?

— Да.

— Как бы вы на нашем месте поступили с вами?

Пятрас молчал.

— Ну! — снова прикрикнул Скочинский.

— Убил бы, — притворно-растерянно сказал Жмудис.

— Убить вас было бы очень просто. А я все же теряю

с вами время. Не думайте, что это выгодно только для вас. Я хочу понять, можем ли мы быть взаимно полезны друг для друга. Прилично они вам платили? — вдруг остановился он перед Пятрасом.

— Во всяком случае, больше, чем теперь, когда я получаю у них каждый месяц зарплату.

— Как вы на меня вышли?

— Не знаю, — искренне сказал Пятрас. — Об этом вам лучше бы спросить джентльмена из черного «мерседеса».

— Когда меня будут брать?

— А этого и не собирались делать. Пока вполне достаточно было и того, что вы показывали явки.

— Какие?

— Штольц, Плутайтис, прелат, — чистосердечно перечислял Пятрас.

Он действительно мог перечислять их, не боясь выдать товарищей: наверняка все эти бандиты уже арестованы.

— Учти это, Карстен, — обратился к Рокасу Скочинский.

— Вы понимаете, чего мы хотим от вас? — спросил он затем Пятраса.

— Естественно.

— Вы снова будете получать денег больше, нежели ваша нынешняя зарплата. И вы должны остаться в НКВД.

— Господин Скочинский, — решительно возразил Пятрас. — Я понимаю, что моя карта бита. Я понимаю и то, что сохранить жизнь при нынешних обстоятельствах для меня — чудо. Но поверьте — вся эта жизнь мне и так осточертела. И я бы не особенно горевал, если б с нею пришлось мне и расстаться. К чему мне здесь деньги? Что я смогу с ними сделать? Нет. Если уж рисковать, то рисковать до конца. Три года работать на вас я согласен. Три года — и ни минуты больше. А потом вы мне обеспечиваете переход в Германию.

— Сейчас не время торговаться о сроках, — резко прервал его Скочинский. — И никаких собственных требований, Клудис, не будьте глупцом. Здесь не меняльная лавка. Об условиях вашей работы вам, когда надо, расскажет Рокас. Но прежде вы выведете отсюда его и еще кое-кого. Причем сделаете это так же непринужденно, как вы катали по вашей любимой Литве меня. Поймите,

если вы не выполните этого первого своего, — он поправился, — первого нашего задания, если с кем-нибудь из ваших новых друзей случится роковая беда, НКВД мигом узнает обо всех пикантных подробностях нашей сегодняшней беседы. И не только о ней. Ясно? А это будет для вас пострашнее, чем исчезновение в дебрях местного лесничества.

Пятрас долго молчал.

— Ладно, — сказал он. — Но мне б не хотелось, чтобы вы обо мне думали плохо. Я не трус...

— А о вас никто и не думает плохо, — вкрадчиво улыбнулся Скочинский. — Могли бы, кажется, догадаться и сами. Впрочем, поразмыслите до утра. А утром решим, как с вами быть. Пока же, Клудис, напишите-ка собственноручное обязательство сотрудничать с нами. Это не помешает. Я скажу вам, что именно следует писать.

Пятрас подошел к столу и сел на стул, пододвинув к себе чернильницу и бумагу.

— Дайте-ка посмотреть, — попросил Скочинский, после того как Жмудис закончил писать под диктовку текст.

Пятрас протянул ему листок с написанным, и Скочинский медленно, не глядя, разорвал его на клочки.

— Вот как нам нужна ваша расписка, Клудис, — улыбнулся он, бросая обрывки бумаги на пол. — Нам и так хватает гарантий. Не думаете же вы, что я валяю дурака, забавляясь с вами. Ведь дело не в Скочинском и не в Клудисе. А в той силе, что стоит за тем и за другим. Именно поэтому так называемый Скочинский и не мог не оказаться победителем.

Оставшись один, Пятрас внезапно почувствовал полное спокойствие. Он сделал все, что мог, дабы ввести врага в заблуждение. Товарищам не придется краснеть за него.

Жмудис проснулся, когда было еще темно, но уже чувствовалось приближение рассвета. Дождь перестал, хотя небо по-прежнему хмурилось. Лес шумел, и в его монотонном шуме было что-то зловещее.

Пахло болотной сыростью, прелыми листьями, хвоей. Где-то за частоколом говорили люди, фыркали лошади, позвякивало железо. «Значит, Скочинский пошел к границе, — подумал Пятрас. — Но как он уйдет? Неман

перекрыт, к Мемелю ему тоже не выйти. Поезд с русской пшеницей? Но ие блеф ли все это, рассчитаиный, чтобы скрыть свой настоящий маршрут?»

XI

Лязгиули, словио иехотя, колеса, и состав троиулся. В вагои удалось проиикнуть до иелепого просто: свой человек, начальиик багажного отделения, ловко выкрутил ви┐ты, держащие оконную решетку, а потом так же лихо поставил окио иа место.

Вопреки ожиданиям особой радости фон Граймер ие почувствовал, иапротив, только безмериую усталость и какую-то иепоиятиую щемящую тоску. Не было даже ощущения торжества из-за того, как ловко ему удалось одурачить русских, избавившись от того дурня, которого он заприметил еще в Алитусе, на пароходе, ускользиув из-под иоса насупленного молодчика, разъезжавшего в черном «мерседесе», уложив иа обе лопатки сообразительного, но неопытного Клудиса.

А с русскими у него были давние счеты, от самой Испании, когда его трижды обвел вокруг пальца русский разведчик Базиль, гибкий, высокий, чернявый красавец, неуловимый и вездесущий. Миого потом пришлось из-за него выдержать иеприятных разговоров уже в фатерлянде, последовал и иежелательный перевод в другой отдел с иепремениым изучеиием русского, польского и литовского языков. Но иичего — как говорят русские, за битого двух небитых дают.

Граймер лежал на спине и ждал. Вспомнил было старую рождественскую сентиментальиую песенку, но так и ие расчувствовался, как бы ему хотелось. «Вот они, издержки нашей работы, — думалось ему, — скоро дома. А там что? Лигниц? Повышеиие? Добиться признания у Лигница непросто. Старый шпицрутен, как его называли тайком офицеры абвера, ие был щедр на похвалу. Одна удачиая вылазка в Россию? Ну и что? Она и не могла не завершиться успехом, если ее готовил сам Лигниц. А уж воспользоваться его собственной победой ои, мудро проиырливый служака, сумеет.

Впрочем, победой ли? Хоть и не его была идея собрать иа смотр всех боевиков в одном месте, но сами же облегчили НКВД задачу. Штольц, Пронас, не говоря

уже о болване Плутайтнсе, накрылись. Хорошо еще, если Крутис выберется. Но в Юдаса ои вернт. Зол, живым не дастся. Провалов-то миоговато. Но ведь и резерв еще есть — надо только работать».

Внезапно фон Граймера охватила иеиависть. Острая н внезапная, будто удар стилета. А ведь может ему Лигниц и прнпомнить неудавшнйся «Деиь гнева». И устроит тогда свой собственный судный деиь. На кого его тогда размеияют? Ему вдруг вспомнился Владислав Скочинский. Ротмнстр уланского полка, ои не дрогнул и бровью, когда расстреливали его мать, детей. И презрительио скривил губы, когда поставилн перед солдатами его самого. Да, легенда у Граймера была превосходиая, и попади даже он к русским — никому б никогда ие узнать, кто ои такой — нет больше иа земле древнего рода Скочинских.

Да, что бы то нн было, а поездка была отвратительиой. Гнуснеиький старнчок Рудзинский, готовый продать и свою родииу за обещаиную кардииальскую митру в геиерал-губериаторстве. И все эти литовцы, кичащиеся страшным побоищем под Танненбергом. Граймер вновь подумал о своем шофере — том самом, что вез его к границе. Вроде бы ничего пареиь, а тоже — литовцы, Лнтва... Как будто через двадцать лет кто-то будет говорить на его языке. Философ... А сам торгует своей Литвой: сначала за рублн, а теперь готов и за марки.

Вообще на людей ему в поездке, прямо скажем, не везло. Да и где их найтн, людей-то? Тупой, ватный, напыщенный уголовник Пронас, маразматнк Плутайтис, нзо всех сил держащнйся за ошметки былого достоинства прелат... А Штольц? Ведь должиа же быть какая-то мера даже в стяжательстве?..

Фои Граймер почувствовал, с какой силой он хочет в домашний уют — разговор со всепоиимающей матерью... Жаль, уже нет отца: погиб стойко, как и подобает немцу, в 1916 году, спасая разваливающнйся австрийский фронт. И почему это австрийцев всегда били? Потому что оин разжижилн себя всякими чехами, мадьярамн, сербами. Слава фюреру — воссоединил австрнйцев со всей Германией, положил конец позорному существованию выкидыша Священной Римской империи, высоко подиял гордый штаидарт Барбароссы. Да — высшая раса есть высшая раса, и иадо хотя бы разок столкнуться с иедочеловеком, чтобы понять ее право на

власть. Священное место — Таураге. Когда-то здесь генерал Йорк стал акушером новой Германии, повернув прусские войска против Наполеона. Но в союзе с русскими — некстати обдало холодком Граймера. Э, когда это было. Все равно судьба русских предрешена.

Фон Граймер уже давно не обращал внимания на то, как ровно и легко идет поезд, хотя и знал — скоро граница, остановка, родная земля. И наконец-то...

Какие-то отрывистые голоса вдали.

Граймер прижался лицом к щели у стенки вагона, но, прежде чем он успел что-либо увидеть, будто рядом с ним, будто здесь, в вагоне, раздался ровный, спокойный голос:

— Пан Скочинский? Выходите, шановный пан.

Он невольно оглянулся и, конечно же, никого не увидел, в вагоне никого не было, а в мозгу уже вспыхнуло. «Продали? Но кто? Кто мог знать? Рокас? Да если б и хотел — не успел бы, — и тут же сам себе ответил: — Да, конечно же, Штольц, он ведь знал тоже, продажная шкура».

Снова приник к узенькой полоске света — и опять ничего не увидел. А голос повторил так же спокойно:

— Вы уж или сразу стреляйтесь, Скочинский, или выходите — времени у нас нет, а то поезд из расписания выйдет. Непорядок, Скочинский, сдавайтесь.

Граймер выхватил пистолет, и жуткая обида пронизала его. Умереть — и так глупо. Из-за какого-то подлеца, двойника, Иуды? Нет. И ты потянешься, голубчик, за мной.

Ни с того ни с сего вдруг вспомнилась первая встреча с Лигницем. «Вы умеете врать, фон Граймер? — спросил тогда, оскалив желтые крупные зубы, старик. А когда Граймер позорно, дурацки смешался, не зная, как ответить, Лигниц добил его, поощрительно успокаивая:— Ничего, научитесь».

И, неожиданно обретя спокойствие, фон Граймер попольски сказал:

— Я сдаюсь.

XII

Утром Жмудиса разбудил лесничий. Он налил воды в умывальник, повесил полотенце и проворчал:

— Умывайтесь и приходите в комнату господина

Рокаса. Вас ждут. — Он хмуро покосился на одевавшегося Пятраса и вышел.

— Ну и вид у тебя, — грубо сказал Жмудису Рокас, как только они поздоровались. — Будто в сеньке искупался... Ну так как? Надумал что-нибудь?

— А что мне остается делать? — с деланным раздражением отвечал Пятрас.

— И то верно. Своя-то шкура дороже. Только в пути без выкрутасов. Чуть что — сам знаешь.

— Да мы же договорились. Чего еще надо?

— Тогда слушай. В два часа у костела в Укмерге нас должен ждать Крутис. Если его не будет, не останавливаясь, проскакиваем в Каунас. Даже если нам вдогонку сотня твоих дружков строчить будет. По пути подбросим одного парня. О нашем маршруте ему ни слова. О том, что ты служишь в НКВД, — тоже.

Он выглянул в дверь и что-то буркнул в коридор. Тут же в комнату вошел незнакомый Жмудису мужчина, откровенно ощупывая его глазами.

— Знакомьтесь, господа! Господин Клудис! — представил Пятраса Рокас. — А это, — он сделал жест в сторону толстяка в черном костюме и белой манишке, с заплывшим жиром лицом и выпуклыми, как у рака, буркалами, — господин Эдуардас Лягас. Завезете его по пути в Кедайняй.

...Некоторое время ехали молча. Рокас сидел рядом с Пятрасом, а молодой Лягас, развалившись на заднем сиденье, дремал — после обильного завтрака и выпитой водки его разморило, нижняя толстая губа его, обнажив желтые зубы, отвисла. Когда выехали на шоссе, Жмудис, не поворачиваясь, сказал Рокасу:

— Сейчас будет пограничный пост. На проверку как владелец машины пойду один. Прошу ваши паспорта.

— Делайте как лучше и для вас, и для нас, господин Клудис, — сиплым голосом многозначительно ответил Рокас и, расстегнув портфель, лежавший у него на коленях, достал нужные бумаги.

Процедура проверки на КПП была недолгой — Жмудис быстро доложил о седьмом кордоне и пассажирах.

В Ареголе остановились на окраине, у моста. Пятрас достал из багажника канистру бензина, залил бак. Делал он все медленно, основательно. Надо было выиграть время. И вот наконец мимо них на большой скоро-

сти проскочил мотоцикл «харлей». Тут Жмудис засуетился и сел за руль.

На проселочных дорогах и шоссе было людно.

— Ну загудел праздник, — немного помолчав, сказал Жмудис. — Теперь этот день урожая на неделю растянется.

В Кедайняе остановились на площади у костела. Лягас вылез из машины, снял плащ и, склонившись к Рокасу, тихо сказал:

— Передайте Пронасу так: в Клайпеде я все сделал, здесь задержусь дня на три, затем поеду в Утену к Старику, пошевелю рыцарей и стрелков. Желаю удачи!

— Ты там насчет выпивки осторожней, — только и ответил Рокас. — Это тебе не на флейте играть.

Жмудис завел мотор и, пробираясь по узкой улочке, вывел машину на дорогу, ведущую в Укмерге.

* * *

Недолго оставался в Занеманье бородатый Пронас. Уже через день вынужден был он вернуться в Каунас. Сунулся было к Луцису, но, увидев в окне его спальни три цветочных горшка, только выругался.

— И этот погорел, — произнес он вслух и поспешил поскорее удалиться.

Затем все утро он бродил по городу и только к полудню решился зайти к ювелиру. Народу в лавке не было — близилось время обеденного перерыва.

— Скажите, — обратился он к Штольцу, — вы можете сделать на этих часах эффектную монограмму?

Штольц холодно посмотрел на него:

— Что происходит? Где Варнасы?

— Думаю, что сидят.

— Трубнис?

— А кто его знает.

— Ну а что же объединение всех оппозиционных партий? Или их уже объединили в ОГПУ?

Не выдержав, Пронас вдруг вскричал:

— Вы можете перестать обезьянничать, Штольц? Вы же все знаете не хуже меня. Мне передали, что загорелась часовня. И мы оба должны решить, что делать. Опасность грозит обоим.

Штольц поманил Пронаса пальцем:

— Идите сюда, я вам покажу очень интересное.

Они вошли в мастерскую. Помощница уже ушла, помещение было закрыто. Штольц подошел к Пронасу и сказал:

— А теперь слушайте. Вы осел, Пронас, идиот, борода с туловищем, а не человек. И я выгоню вас отсюда. И спасайте свою шкуру как хотите. Все ваши перипетии меня больше не касаются. Вон отсюда!

Дрожащими руками Пронас полез за пистолетом, но ювелир выстрелил в него прямо из кармана пиджака. Тяжело охнув, Пронас рухнул прямо на стеклянную витрину.

Перешагнув через неподвижное тело и ступая по противно скрежещущим осколкам стекла, Штольц подошел к телефону.

— Милиция? Говорит ювелир Якоб Штольц. Меня только что пытались ограбить... Да, да. Какой-то негодяй.

Вскоре к Штольцу приехал наряд милиции, а вслед за нарядом — подполковник Горбунов.

— Здравствуйте, гражданин Штольц! — входя, сказал подполковник. — Ну а что — некий Плутайнис или семейство Варнасов вашу лавку грабить не собирались?

* * *

Узкая проселочная дорога петляла среди многочисленных озер и болотистых топей, зарослей кустарника и стройных рядов темнолистой ольхи, росшей вдоль осушительных канав. Поля и огороды были пустынны, только стаи птиц кружили над ними — с криками улетали за темнеющие в голубой дымке рощи и перелески и возвращались снова.

Неожиданно из кустов навстречу машине выскочил человек и поднял руки, будто хотел броситься на радиатор. Жмудис резко затормозил, машина, сделав по песку несколько прыжков юзом, остановилась. Незнакомец сумел мгновенно открыть дверцу машины и срывающимся голосом затараторил:

— Бога ради, умоляю вас, господа, спасите. Они совсем рядом...

Зрелище было страшное. Человек был без фуражки, в черной рубахе с расстегнутым воротом, в грязном изорванном пиджаке и в сапогах со следами болотистой тины. В широко раскрытых глазах застыл животный

страх. Черные усы обвисли. Не досказав фразы, он упал на сиденье и откинул голову.

— Бери, — приказал Пятрасу Рокас. — От него, может, узнаем, что нового в городе.

Жмудис выскочил из машины, захлопнул заднюю дверцу и снова сел за руль.

Новый попутчик тяжело застонал, попытался приподняться и сесть ровно, но не смог. Пересохшими губами он прошептал:

— Я ведь ранен... У меня из плеча уже второй день течет кровь...

— Не надо, успокойтесь, — мягким, полным сочувствия голосом произнес Пятрас. Он уже узнал раненого: то был бандит, что собирал в корчме списки присутствующих. Если привезти его куда следует, будет просто здорово.

Незнакомец продолжал стонать.

— Конечно, виноват во всем я, — проговорил он слабым голосом. — А если вдуматься, то виноваты мы все, допустив в стране хаос. Вот теперь НКВД и хватает всех литовцев. Скоро всех переарестуют.

Жмудис не на шутку разозлился.

«Всех литовцев переарестуют, — зло думал он. — А кто же тогда Янис Шапас, кто те простые рабочие ребята, что помогают нам задержать шпионов и провокаторов, я, наконец, — кто? Но ведь и Пронас и Варнасы — тоже литовцы? А что у нас общего? Язык? Родина? Но разве не разная у нас родина? Разве мы хотим ее видеть одной и той же? Сколько же бед еще принесет это подлое взывание к общей, единой крови...»

Машина въехала в предместье и понеслась к центру. Раненый забеспокоился. Превозмогая боль, он взмолился:

— Я вас прошу, остановите машину. Вечно буду вам благодарен.

Жмудис, не сбавляя скорости, ответил:

— Зачем же вам выходить именно здесь? Мы привезем вас к врачу, он окажет вам необходимую помощь. А если понадобится укрыться от властей, тут вам тоже посодействуют.

— Я не знаю, кто вы, но должен предупредить, что позапрошлой ночью в этом городишке НКВД арестовало всех порядочных людей. Видно, прогневили мы чем-то господа, вот и устроил он нам судный день. Смотрите не угодите в их лапы.

— Нам нечего бояться, — вдруг заговорил Рокас. — А вот вам, пожалуй, действительно пора нас покинуть.

Жмудис осторожно подъехал к воротам сада, окружавшего костел. Раиеный открыл дверцу, скрипя зубами от боли, вылез из машины и поковылял через улицу по направлеиию к кладбищу. Жмудис смотрел ему вслед, в то же время не спуская глаз со своего соседа, сунувшего руку за борт пиджака.

— Где же наш встречающий? — угрюмо спросил он Пятраса.

— Сам ничего не понимаю, — ответил тот. — Вы же сказали, ои должен быть...

И не успел договорить. Из проема ограды вышел Крутис. Пятрас поднялся ему иавстречу, но тот, присмотревшись к машине и увидев в ней пассажиров, бросил на ходу:

— Садитесь за руль, я скажу, куда ехать. — Он быстро опустился на заднее сиденье.

— Куда прикажете? — вежливо поинтересовался Жмудис, заводя мотор.

— Разворачивайтесь и прямо через площадь, первая улица направо, от угла пятый дом — направо во двор.

Ворота открыл грузный мужчина в кургузом пиджачке, застегнутом над выпуклым животом на одну пуговицу. Зеленая фуражка неловко сидела на его крупной седой голове. Пропустив машину, он закрыл ворота и поспешил в дом. Крутис выскочил из «опеля», открыл переднюю дверцу и, склонясь к Рокасу, пригласил:

— Прошу вас, мы прибыли на место. А я уже беспокоился, не случилось ли чего в дороге... Вы же, Пятрас, пока побудьте во дворе.

Рокас вылез из автомобиля и, с трудом переставляя ноги, направился за Крутисом в дом. Жмудис похаживал вдоль стены дома, прислушиваясь к тому, что там происходит. Но все было тихо.

Через иесколько минут из дома неожиданно вышел капитан Озеров и Янис Шапас. Оба весело подмигиули Пятрасу.

— Здорово! Мы совсем было сбились с толку, — сказал Озеров. — Волновались, почему опоздал.

— А потому, — ничего еще не понимая, ответил Жмудис, — что по пути прихватили одного раненого. Расскажи, как там у вас?

— У иас все хорошо, всех, кого знали, уже взяли.

Этого брать не будем, пусть ведет нас на запасные явки — они у него, безусловно, имеются. Тебя, кстати, позовут, но несколько позже...

— Хорошо, — нетерпеливо перебил его Жмудис. — Кстати, я совершенно уверен, что привез в город бежавшего от ареста бандита, того, что в корчме собирал списки и деньги. Сейчас он поковылял на кладбище. Организуйте поиск.

— Приметы?

Жмудис описал внешность раненого, и Шапас вместе с двумя стоявшими у сарая людьми поспешил на улицу.

— Ну, задал нам Крутис жару, — заговорил Озеров. — Не успели его забрать, как он с ходу начал раскалываться, записывать за ним не успевали. Подкинул работки нам — ой-ей-ей.

— А я-то сразу и не догадался, — улыбнулся Жмудис. — Ну, теперь все ясно.

— Сейчас там с ними наверху Стасис орудует, — торопился выложить все новости Озеров. — Ты его и не узнаешь, пожалуй. Исхудал еще больше. За три дня раз пять носился отсюда в Каунас и обратно.

«Стасис, — улыбнулся про себя Пятрас. — Мой краснодеревщик?»

Но не успел Жмудис докурить папиросу, как его пригласили в дом.

В небольшой уютной комнатке за столом сидели Стасис и Рокас. Крутис куда-то исчез.

— Чем могу быть полезен, господа? — угодливо наклонился Жмудис, кинув взгляд на Стасиса.

— Как видишь, Клудис, — обратился к нему Рокас, — тот одержимый, что попался нам по дороге, был прав. Господин Варнас тоже подтверждает, что недавно власти произвели здесь аресты, взяли многих наших людей. Хорошо еще, что вчера все энкавэдисты отсюда убрались. Но теперь надо обдумать, что делать дальше. Ваше мнение?

— Если они провели такую операцию здесь, — сказал он задумчиво, — то о Каунасе и говорить не приходится. Теперь туда опасно и нос показывать... — Он медленно почесал за ухом и, скосив глаза на Стасиса, добавил: — А я-то, разиня, даже не знаю, куда здесь машину незаметно пристроить.

— Это пустяки, господин Клудис, — вмешался в разговор Стасис. — Машина не человек, ей место всегда

найдется, только надо решить, как теперь будем действовать.

— Ну уж нет, думайте сами, что делать дальше, я же только при надобности могу сменить номер машины и свои документы. Всех ваших дел я не знаю — меня в них никогда не посвящали, — раздраженно проговорил Жмудис.

— Сейчас не время ссориться, Клудис, — перебил его Рокас. — Все мы одной ниточкой связаны. Так что будьте готовы выполнять все, что вам прикажут.

— Да, так, пожалуй, будет лучше, — Стасис повернулся к приезжему. — Я считаю, господа, надо поступить так. У меня есть доверенный человек, которого я отправлю на машине господина Клудиса в город. Он там все пронюхает и подготовит нам встречу. А нас с вами, господин Рокас, подвезут к станции, и мы поедем поездом. Сегодня праздник, народу много, проверку документов в такие дни, как правило, не устраивают.

— Думайте, господин Варнас, — устало сказал Рокас, — вам виднее. В данный момент я могу положиться только на вас, другого выхода у меня нет.

— Ах да! — спохватившись, воскликнул Стасис. — Вот еще что: в доме, где вы будете отдыхать, на чердаке мы держим запасную радиостанцию. Господин Штольц пользовался своей, а кроме него, связи никто не имел.

— Ну, если так, нечего ломать головы! Ваш вариант вполне приемлем, и действовать надо, не теряя времени, — согласился Рокас.

— Итак, я посылаю хозяина на вокзал за билетами, и пусть он нас там ждет, затем инструктирую своего человека и отправляю его с господином Клудисом, а мы до отъезда на станцию пообедаем и отдохнем. Вы меня извините, — обратился Стасис к своему гостю, — располагайтесь на диване и отдыхайте, я скоро вернусь.

Вместе с ним поднялся и Жмудис.

— Да, господин Клудис, — окликнул Пятраса Рокас. Он подошел вплотную к Жмудису и прошептал ему на ухо: — Будешь у своих в Каунасе, подари им Лягаса. Из доверия тебе выходить нельзя. Мне он ни к чему, а ваши пусть порыскают.

Во дворе Стасис сказал Пятрасу:

— Думаю, ты все понял. Поезжай с Шапасом к подполковнику, пусть он срочно даст указания подготовить дом Горайтиса. Что мрачный такой?

— Устал просто, — сказал Пятрас. — Только сейчас, наконец, и почувствовал. Эх, слышал бы ты, как они вербовали меня там. Ведь допер-таки Скочинский, от кого я к нему подставлен.

— Надеюсь, завербовали?

— Да, судя по тому, что я здесь, завербовали.

— Вот и хорошо. А раз так: сам в управление не ходи. Машину поставь в гараж во дворе Плутайтиса; проследи, чтобы в доме все было сделано, как договорились. На вокзале встретишь сам, больше никого не бери. Подбери сообразительного радиста, знающего немецкий язык, и не забудь законсервировать нашу телефонную аппаратуру. Нам важно из Рокаса вытянуть позывные и шифр — они у него, конечно же, есть. Рокасу сейчас, как воздух, нужна связь. Он очень тебе доверяет, убежден в твоей надежности и верности. Вот и надо сделать все, чтобы сам он не вызвал недоверия у своих зарубежных хозяев. Они должны на него клюнуть, он же теперь их единственный резидент, оставшийся в городе. Настоящее имя его Краг, он майор абвера, смекнул? И, наконец, радостное известие для тебя. Звонил Горбунов, передавал привет. Все в порядке, хотя Скочинский пока молчит.

В воротах появился Шапас. Он подошел к Пятрасу и на ухо ему шепнул:

— Молодец, Пятрас! Ты знаешь, кого ты вез? Оказывается, самого руководителя «Железных рыцарей» и «Союза стрелков». А с ним те самые списки...

Октем ЭМИНОВ

Дело возбуждено вторично*

I

«Районному отделу милицнн от чабана колхоза
«40 лет Октября» Чалы Веллека

Заявлеиие

Вчера вечером я вернулся с отгонных пастбищ н узнал, что старшего сына Бекджаиа нет дома. Жеиа сказала, что он ушел на вечеринку. Ждали допоздиа, а его все нет. Тогда я сходил к хозяиину того дома, куда приглаcилн Бекджаиа. Когда я к иим постучал, Абрай и семья его уже спали. Он сказал, что Бекджан ушел еще засветло. Всю ночь мы с женой глаз ие сомкнули. Так до утра н не явился. Я думаю, не уехал ли ои в райцентр, поищу его там. Прнехал в райцентр, всех знакомых обошел, во всех местах его искал — иету.

Помогите сына отыскать — век благодарить буду.

4 марта 1958 г. Чалы Веллек».

В углу заявлеиия резолюцня: «Тов. Назаров! Провернть совместио с участковым».

В подвале было темновато, хотя н горел свет. Воздух спертый, сухой. Свежему человеку сразу ударял в нос тяжелый запах годами храиимых бумаг. Сейчас в архиве, кроме Ханткулы и делопроизводительницы, никого не было.

Хаиткулы собирал матерналы для диссертации и поэтому, даже будучи в отпуске, каждый день приходил в Министерство внутренних дел. Отпуск уже кончался, и капитан торопился перебрать как можио больше дел. Но, бегло просмотрев материалы об исчезновении Бекджана Веллекова, Хаиткулы решнл подробно изучнть иеоконченное дело.

* Повесть печатается с сокращениями.

Архивариус подала ему пиалу чая, и он, сделав глоток, углубился в бумаги.

«Объяснение Абрая Шакурова, учителя.

Бекджан мой ученик. В прошлом году он окончил школу с серебряной медалью. Я пригласил его к себе на вечеринку, так как мы всегда были в хороших отношениях. Гости собрались часам к семи. Выпивки я выставил вдоволь, но никто сильно не охмелел, никакого скандала или драки не случилось, мирно разошлись. Бекджан, правда, выпил много, и хотя меня это удивило, я не удерживал его — как-то было неудобно. Мы его напоили айраном, и он немного отрезвел. Потом он попросил разрешения уйти, сказав: «У меня билет в кино, а до кино надо зайти домой».

Он ушел вместе с Гуйч-ага. Я проводил их до ворот. Что было потом, не знаю. Что Бекджан не вернулся домой, мне в ту же ночь сказал его отец — он приходил, когда мы уже легли. Кроме сказанного, мне ничего по этому делу не известно».

«Объяснение, записанное со слов колхозного мираба * Гуйч-ага.

В воскресенье утром я сходил в поле и, вернувшись, стал умываться. Тут приходит Абрай Шакуров. Я говорю: «А, учитель, что так рано?» Он отвечает: «Помоги нам, Гуйч-ага. Сегодня вечером у меня будет маленький той **». Я согласился готовить обед. Да, и барана он попросил зарезать. Неудобно же отказать, если учитель просит, да и вообще я этим занимаюсь. Ну вот, прихожу к нему, зарезал барана, приготовил шурпу. Долго возился, устал. Когда уже гости собрались, тогда только присел. И шурпа получилась, и водки я выпил, а что-то неважно себя чувствовал.

Тут смотрю: Бекджан уходить собрался. Я с ним за компанию и пошел. Сумерки уже были, но встречного разобрать можно было. Возвращались мы большой дорогой. Миновали правление колхоза, метров сто еще отшагали. Тут Худайберды-шокур мне кричит: «Гуйч-ага!» Он у своего дома с каким-то мотоциклистом разговаривал. Я на ходу поздоровался с ним, но он задержал меня: мол, дело есть. Подходит ко мне: «Гуйч-ага, выбери, пожалуйста, завтра часок — зарежь у меня барана».

---

* Мираб распределяет воду между жителями села.
** Празднество.

В колхозе ведь не бывает базара, и каждый дом в неделю, в две раз режет скотину. Я сначала отнекивался, но он так пристал, что я согласился. В селе ведь как: не будешь другому помогать, люди стороной обходить станут. Ну вот, согласился я. Тогда Худайберды говорит своему другу-мотоциклисту: «Подвези Гуйч-ага до дому».

Подойдя поближе, я узнал сына своего соседа Довлетгельды. Он говорит: «Ладно». Завел мотоцикл, посадил меня в люльку. Я оглянулся, думал с Бекджаном попрощаться, но он ушел. Не дождался. Да ему все равно сворачивать надо было, а мне — прямо. Довлетгельды меня мигом домчал. Высадил, говорит: «В кино поеду. До свиданья, Гуйч-ага».

На другой день утром зашел я к Худайберды, зарезал барана, разделал и отправился на работу. Там слышу: «Бекджан исчез». Я даже удивился: «Парень уже бреется. Куда он может пропасть». Да, мы очень переживали... Вах, зачем не попросил Бекджана подождать! Довлетгельды и его подвез бы.

Он был умный парень, скромный. В каких отношениях были Бекджан, Худайберды и Довлетгельды, не знаю. Пусть меня покарает аллах, если скажу, чего не видел и не слышал».

«Объяснение колхозного шофера Худайберды Ялкабова.

Бекджана, сына Веллек-ага, знаю хорошо. Можно сказать, росли вместе. И живем по соседству, и учились в одном классе. Даже за одной партой сидели. Я в учебе хромал немного, а он отличником был — все на лету хватал.

После школы я окончил шоферские курсы, потом устроился шофером в колхоз. Бекджан не поехал никуда учиться. «В армии, — говорит, — надо послужить». Он был на год старше меня. Правда, на второй год он не оставался, наверно, поздно в школу его отдали. Последний раз я видел его 3 марта, да и то издали. Откуда он шел, не знаю. Он был с Гуйч-ага.

Я окликнул Гуйч-ага и попросил зарезать барана, а Бекджан не остановился, видно, домой пошел. Я его не стал задерживать.

С Довлетгельды мы встретились случайно. Потом он повез Гуйч-ага, а я вернулся в дом. После этого я не

видел в тот вечер ни Довлетгельды, ни Бекджана. Да, вот еще что: Довлетгельды куда-то торопился, особенно после того, как увидел Бекджана. Когда я попросил подвезти Гуйч-ага, он согласился неохотно. Не стану скрывать, что отношения Довлетгельды с Бекджаном были не очень-то теплыми. Причин не знаю. Но между мной и Бекджаном и волосок не проходил, мы были хорошие друзья. Больше ничего не знаю и не слышал. Предположений не люблю».

«Объяснение фельдшера Довлетгельды Довханова.

Я с 6-й бригады, а Бекджан с 1-й. Расстояние далекое. Да и вообще мы с ним дружбы не искали. Он себя считал начитанным, грамотным и при случае насмехался надо мной. Конечно, если бы жить поближе, то можно было б с ним водить дружбу... В последнее время у меня с ним совсем отношения прекратились. Все вышло из-за одного фильма. Как-то мы из кино возвращались и поспорили. Картина была заграничная, не помню названия. Все время стрельба, драки — очень интересная. Ну вот, я стал хвалить фильм, а Бекджан говорит: «Дребедень». Ребята тоже разделились: большинство за меня, а некоторые на его стороне. Бекджан разозлился, что меня ребята поддерживают, и говорит: «Тебе бы побольше выстрелов да убийств, а серьезных фильмов ты не понимаешь». Вот после этого мы и не стали разговаривать, друг друга стороной обходили. Если разобраться, это пустяк. Может, и помирились бы. А тут еще через месяц про меня в газете написали: «Довханов открывает медпункт, когда ему заблагорассудится». В общем, крепко досталось. Честно говоря, я подумал, что это Бекджана рук дело — он ведь иногда заметки в газету посылал.

А 3 марта вот что было. Когда я Гуйч-ага домой отвез, поехал в кино. Из кино — домой. Об исчезновении Бекджана узнал в медпункте от пациентов. В каких отношениях были Худайберды и Бекджан, не знаю. Больше ничего не слышал и не видел. Что он иголка, Бекджан, чтобы пропасть?»

«Объяснение киномеханика Куллы Кадырова.

Я в клубе на все руки: сам билеты продаю, сам фильм кручу, сам контроль обрываю. Голову на отсечение даю, что в воскресенье Довлетгельды в кино не приходил. Был бы, так я бы видел».

Другие свидетели подтвердили показания Кадырова.

Еще одно объяснение дано было продавцом колхозного магазина Лопбыкулы Таррыховым:

«С вечера 3 марта у меня начали болеть зубы и так и не дали мне заснуть до утра. Всю ночь я ходил взад-вперед, держась за щеку. Не скажу точно, когда я услышал, как в нашу сторону завернул мотоцикл с люлькой. Было темно, но фары не горели. Я вышел из дому. Когда мотоцикл подъехал совсем близко и возле соседнего двора остановился, я сообразил, что это Довлетгельды, сын нашего соседа. Когда он заглушил мотор и стал вкатывать мотоцикл во двор, я окликнул его: «Эй, братишка, что-то ты поздно». Он ответил: «Побудь фельдшером, тогда узнаешь» — и ушел в дом. Голос его дрожал... Потом: ехать с потушенными фарами, вкатывать мотоцикл на руках... Подозрительно все. Это было, как я уже сказал, в ночь с 3 на 4 марта. Отношения у нас просто соседские. Личных счетов у нас нет».

Объяснение другого из соседей Довлетгельды подтверждало, что он вернулся домой среди ночи.

Хаиткулы сделал глоток совсем остывшего чая и перевернул новую страницу. Вот санкция прокурора на арест фельдшера Довлетгельды Довханова. Протоколы допросов. Новые показания свидетелей.

Если бы не перерыв у архивариуса, он еще посидел бы. Да, дело интересное, есть над чем поломать голову. Десять лет прошло, а от Бекджана ни слуху ни духу... Довлетгельды верно заметил: не иголка же этот Бекджан.

Пока можно ухватиться только за Довханова. Факты против него, против него одного. Якобы был в кино — на самом же деле не был; говорит, что после кино отправился домой, а приехал глубокой ночью... Кроме Довлетгельды, никто не имел счетов с Бекджаном — об этом свидетельствуют все показания... Да, а как же он оправдался? Ведь иначе дело было бы закончено... Надо прочесть, что там дальше. Подходило время обеда. Делопроизводительница выжидающе поглядывала на Хаиткулы... «Она ведь не девчонка, нет чтобы здесь пообедать. Приносила бы с собой...» Хаиткулы поднялся из-за стола и пошел к выходу.

На улице накрапывал дождь, было холодно. Хаиткулы потоптался перед министерством, соображая, чем занять себя на этот час. Взгляд его упал на ближайшее

кафе, и капитан подумал, что неплохо будет подкрепиться сосисками и парой чашек кофе.

За обедом он набросал в своем блокноте несколько первоочередных вопросов: «1. Назаров. Кто такой Назаров? (сейчас). 2. Бекджан Веллеков, Марал Веллекова?! (вечером). 3. Результат?»

Весь сегодняшний, а может быть, и завтрашний день уйдет на выяснение всех обстоятельств, связанных с этим делом. Сперва, когда он взял в руки незаконченное дело, Хаиткулы интересовали методы следствия, чему посвящена была его диссертация, но теперь перед капитаном возникла совсем иная цель. Все теперь зависело от решения вопросов, намеченных в блокноте, особенно от решения третьего.

Но волею Анны Александровны, хранительницы министерства архива, планы Хаиткулы несколько переменились. Когда он вернулся с обеда, двери архива были по-прежнему закрыты, и один из вахтенных милиционеров сказал, что делопроизводительница сообщила по телефону, что прийти сегодня не сможет.

II

Ответ на первый из вопросов откладывался. Для выяснения второго надо ехать в мединститут. Хаиткулы решительно направился к выходу.

На улице он увидел Аннамаммеда, садившегося в машину. Тот тоже заметил Хаиткулы и приветственно помахал ему.

— Далеко собрался?

— В Красный Крест.

— Красный Крест так Красный Крест. Садись. — Аннамаммед открыл заднюю дверцу «газика» и пропустил Хаиткулы в глубину кабины. Сослуживцы подали друг другу руки и по всегдашнему обыкновению обменялись шутками и колкостями. Хотя их беседы и переходили иной раз в ожесточенные споры, это не мешало дружбе. Хаиткулы и Аннамаммед занимали одинаковые должности, работали рядом, и когда один уезжал в командировку, другой скучал без него.

Аннамаммед был невысокий крепыш с полным, румяным лицом. Если надеть на него вместо формы капитана

милиции полосатый халат и дать в руки лопату, всякий признал бы в нем крестьянина, поливальщика на хлопковом поле. Он жил с семьей в домике с садом, постоянным предметом забот и разговоров Аннамаммеда — крепка была в нем крестьянская жилка.

Хаиткулы был много моложе — ему только что минуло 29 лет. Рослый, стройный, с худощавым волевым лицом и внимательными глазами, он казался солиднее и старше многих своих сверстников.

Аннамаммед работал в милиции уже десять лет, но высшего образования у него не было — он только что перешел на третий курс заочного юридического института. Хаиткулы же пришел в милицию после окончания университета. Неудивительно поэтому, что между друзьями часто разгорались горячие споры о соотношении теории и практики. Аннамаммед, конечно, защищал превосходство практики, а Хаиткулы, посмеиваясь, замечал: «У кого что болит...»

Последнее время Хаиткулы собирал материалы для диссертации, а у Аннамаммеда было по горло дел в связи с завершением крупной операции по раскрытию шайки, орудовавшей на складе стройматериалов. Виделись они не часто, и теперь, устроившись на сиденье «газика», выкладывали друг другу накопившиеся новости. За разговором не заметили, как машина остановилась возле городка Красного Креста.

Хаиткулы обошел все корпуса и, не найдя нигде Марал, поехал автобусом в мединститут. Здесь ее тоже не оказалось. Сокурсницы Марал только запутали капитана: кто говорил, что Марал где-то в институте, кто уверял, что она ушла. Не надеясь застать ее, он все же решил сходить в общежитие. Мысли Хаиткулы переключились на занимавшее его дело, и только голос вахтера вывел его из задумчивости. Хаиткулы ответил на приветствие, подошел к зеркалу в вестибюле общежития, поправил галстук, причесался и взбежал на второй этаж. В комнату Марал он всегда входил с чувством, подобным тому, с которым он переступал порог генеральского кабинета. Так и теперь Хаиткулы помедлил перед дверью, прежде чем постучать. Он попытался придать лицу деловое выражение — ведь он действительно пришел по делу, но, когда Марал крикнула: «Войдите!», Хаиткулы осторожно нажал на ручку двери и, шагнув в комнату, робко сказал:

— Салам.

Марал и две ее сокурсницы сидели за длинным столом, заваленным по краям книгами, и пили кок-чай. Девушки поздоровались и, улыбнувшись, переглянулись. Он, поборов смущение, подошел к столу и шутливо нахмурился:

— Я брожу по всему городу, как дервиш, и нигде не могу тебя найти, а ты, оказывается, чаи гоняешь.

Марал налила чаю в свободную пиалу и поставила рядом со своей:

— Садитесь, товарищ капитан. Наверное, во рту пересохло после долгого путешествия?

Хаиткулы присел на краешек стула и взял пиалу. У него не хватало духу взглянуть в бархатно-черные глаза Марал, затененные длинными ресницами, и он принялся неестественно заинтересованно перелистывать раскрытый учебник. Марал и ее подруги, все так же улыбаясь, смотрели на капитана. Хаиткулы совсем смутился и залпом опорожнил пиалу. Марал тотчас же налила ему еще чаю. Хаиткулы сделал большой глоток, но поперхнулся и закашлялся. Краска залила его щеки. Одна из девушек, Абадан, участливо спросила:

— Что, Хаиткулы-ага, много селедки ели? Чай, как вода в песок, уходит.

Марал и вторая девушка прыснули.

Капитан поставил пиалу и, справившись с душившим его кашлем, сказал:

— Ну и язычок у тебя, Абадан, — как бритва. Кого хочешь в краску вгонишь.

— Язык и ногти — наше оружие, потому они и остры, — притворно потупясь, ответила Абадан.

— Ой, меня ведь ждут, — после некоторого молчания спохватилась она и выбежала из комнаты.

А вторая девушка вдруг вспомнила, что ей надо сходить в магазин, и тоже ушла.

— Понимаешь, Марал, я к тебе по делу... — начал Хаиткулы.

Она улыбнулась:

— Опять по делу? Все ваши медэксперты заболели гриппом? А может, дядя просил узнать, чем лечить радикулит?

— Да нет, тут, видишь ли, дело щекотливое...

— Я же тебе сказала, что можешь приходить просто так. Не ломай себе голову, придумывая повод.

— Я серьезно... Это касается тебя... вернее, вашего села.

— Ну? — Марал подняла брови. — Рассказывай, а я пока уберу со стола.

— Сегодня, Марал, я наткнулся на одно дело... Десять лет назад, 3 марта пятьдесят восьмого года, из вашего села пропал молодой человек Бекджан Веллеков...

Хаиткулы взглянул на Марал. Ее лицо словно окаменело, глаза лихорадочно заблестели.

— Начатые на второй день розыск и следствие результатов не дали, — капитан вздохнул. — Есть основание предполагать убийство... А значит, убийца по сей день гуляет на свободе... И я клянусь, что найду убийцу твоего брата...

Хаиткулы остановился: Марал, всхлипнув, отвернулась.

III

Опять у него в руках это дело. Теперь нужно было выяснить две вещи: каким образом Довлетгельды снял с себя страшное подозрение и что это за Назаров, который вел следствие.

Хаиткулы стал перечитывать документы, но поначалу никак не мог сосредоточиться — заплаканное лицо Марал стояло перед глазами.

«Я заставил плакать Марал... И все моя неуклюжесть. Аннамаммед узнал бы тактичнее, без слез. Надо было послать его...» Такие мысли всю ночь не давали уснуть Хаиткулы. Наверное, поэтому последние листы дела ему пришлось перечитывать еще раз — строки двоились, и только с усилием ему удавалось вникнуть в смысл читаемого. Наконец капитан отодвинул от себя толстую пачку листов и откинулся на спинку стула. Посидев так с минуту, Хаиткулы перевязал дело и, отдав его хозяйке архива, отправился домой. Несмотря на то, что с самого утра у него крошки не было во рту, он сразу же улегся в постель.

Хаиткулы проснулся, когда солнце уже заходило — в комнате было сумрачно, с улицы доносились голоса гуляющей толпы. Он умылся и позвонил Аннамаммеду.

— Салам!.. Да, это я... Как у вас, все живы-здоровы?.. Мегрэ дома?.. Не пришел?.. Как появится, пусть сразу приезжает ко мне.. Нет-нет, пусть не звонит, а сейчас же едет. Срочное дело...

Скоро в дверь позвонили. Хаиткулы легко вскочил и пошел открывать. Пришел Аннамаммед.

— Ну что за срочное дело?

— Ты уже знаешь обстоятельства исчезновения Бекджана... Они расстались с Гуйч-ага возле дома Ялкабова. Давай попробуем проследить путь Бекджана от места вечеринки, — Хаиткулы раскрыл блокнот и прочертил поперек листа прямую линию, поставил в начале и посредине ее две жирные точки, написал над первой: «Место, отк. ушел Б.», а над второй: «Расст. с Гуйч». Потом от средней точки провел еще одну линию и, завершив ее огромной точкой, надписал: «Дом Б.» — Видишь — от дома Ялкабова до дома Бекджана совсем недалеко. Очевидно, все произошло на этом отрезке. Ведь если бы Бекджан вернулся на улицу, его заметили бы — народ шел с вечеринки, да и вообще в это время много гуляющих. Если он пошел бы не домой, а дальше по дороге, его опять же видели бы. И Гуйч-ага заметил бы его — ведь он вскоре поехал в ту же сторону на мотоцикле вместе с Довхановым. Значит, он пошел по этой дороге! — Хаиткулы торжественно ткнул карандашом в отрезок между «Расст. с Гуйч» и «Дом Б.».

— Постой, дорогой! — Аннамаммед взял у Хаиткулы карандаш и поставил рядом с короткой линией бóльшой вопросительный знак. — А есть ли тут дорога? Ты сам ее видел? Может быть, к дому Бекджана нельзя пройти напрямик? Тогда надо искать убийц (если, конечно, это убийство) в другом месте. Может быть, дело окажется не таким уж сложным, если мы разузнаем кое-что о тех, кто живет на этой предполагаемой улице?

Хаиткулы почесал в затылке:

— Похоже, ты прав. Надо будет заняться этим... Теперь вот что: по делу никто не был заподозрен, кроме Довлетгельды Довханова. И характеристика с работы, и показания соседей, шофера Худайберды, и, наконец, собственное его объяснение — все не в пользу Довлетгельды. Кроме него, никто не был заподозрен в намерении свести счеты с Бекджаном. Да и какие там враги у молодого парнишки?!

— Значит, были. Если б их не было, Бекджан и по сей день здравствовал бы. Да, чем же закончилось дело с Довхановым?

— Сначала он был взят под стражу. Следователь установил, что после того, как Довлетгельды отвез домой Гуйч-ага, он поехал не в кино, а махнул прямо в район. Там жила одна девушка, которая вместе с ним окончила фельдшерские курсы. Довханов, понятно, не хотел бросать тень на девушку и дал ложные показания. Девушка сама пришла к следователю и подтвердила алиби своего приятеля. Ну вот, учитывая это, а также и то, что отношения между ним и Бекджаном не могли привести к каким-то серьезным последствиям, Довлетгельды был освобожден... Вообще, на мой взгляд, следствие проведено небрежно.

Тут Хаиткулы осекся. Дело в том, что расследование вел начальник уголовного розыска райотдела милиции Ходжа Назаров; теперь он стал непосредственным начальником Хаиткулы.

— Тебе в архиве не встречались другие незаконченные дела? — поморщился Аннамаммед.

Хаиткулы знал, что ему еще предстоит сложный разговор с подполковником Назаровым: вряд ли он захочет, чтобы следствие возбуждалось вторично... Но Хаиткулы надеялся на поддержку генерала. Он твердо решил добиться нового изучения обстоятельств гибели парня, тем более что парень этот родной брат его невесты Марал... А ведь Хаиткулы уже дал клятву девушке, что разыщет убийцу.

IV

Опасения Хаиткулы не были напрасными: Ходжа Назаров не сразу согласился на вторичное возбуждение дела по расследованию исчезновения Бекджана Веллекова; и только узнав, что погибший — брат невесты капитана, махнул рукой.

— Ладно! Расследуй! — подполковник нахохлился в кресле, как бы укрываясь от непогоды, втянул голову в плечи. — Копай яму под своего начальника.

...Перелистывая бумаги дела, которое вел Аннамаммед, Хаиткулы наткнулся на имя Лопбыкулы Таррыхова. Таррыхов — да ведь так звали одного из свидетелей

по делу о Бекджане. Теперь Таррыхов работает здесь, в Ашхабаде, экспедитором... А вот и трудовая книжка, автобиография его. Все верно, это тот самый человек. Ныне экспедитор влип в историю из-за какой-то махинации. Для того чтобы встретиться с ним, достаточно снять телефонную трубку и сказать: «Приведите такого-то». Тогда через пять минут он предстанет перед тобой. Таррыхов здесь, в этом дворе, в камере предварительного заключения. Но, посоветовавшись с Аннамаммедом, Хаиткулы отложил встречу на другой день.

* * *

На дворе было жарко, как летом. Но здесь, в широком коридоре с окнами в человеческий рост, дышалось легко. Даже в самые знойные дни здесь было прохладно, как в мечети. Ветви деревьев не допускали сюда палящие лучи солнца.

Сидевший возле одного из кабинетов милиционер, увидев старшего инспектора, вскочил на ноги.

— Началось? — спросил Хаиткулы.

— Начали, товарищ капитан, полчаса уже, как начали.

Дверь отворилась, и вышедший моложавый инспектор в штатском кивнул Хаиткулы:

— Мы кончили. Вас ждут.

Сперва Хаиткулы увидел Аннамаммеда. Он сидел за большим столом, прикрыв глаза, и дымил папиросой. У сидевшего против него Лопбыкулы Таррыхова рдело на солнце оттопыренное ухо, жилистая короткая шея напряглась при звуке шагов Хаиткулы, но он не обернулся.

Допрос, очевидно, вел ушедший только что инспектор — в пепельнице еще дымилась недокуренная папироса. Хаиткулы кивнул Аннамаммеду и занял место подле Таррыхова. Тот даже не повернул головы в его сторону, только маленькие его глазки метались, подобно маятнику, то в сторону Аннамаммеда, то в сторону вновь пришедшего незнакомого капитана. Наконец он не выдержал молчания и заявил Аннамаммеду:

— Я вам сказал, что не буду сегодня давать показания! Что еще нужно? — он вскинул плечо.

Вместо Аннамаммеда ему ответил Хаиткулы:

— Лопбыкулы-ага, о чем говорилось до меня, я не знаю. Если вы не против, я спрошу вас о некоторых вещах. Если против, можем и подождать... Я слышал, что вы халачский...

— Земляки?! — Экспедитор всем корпусом повернулся к Хаиткулы.

— И да, и нет. Когда вы перебрались сюда из Халача? Лет пять?

— Какие там пять. Я здесь с пятьдесят восьмого года.

— Из какого места Халача?

— Из Сурхи... — экспедитор, подобно слепому, который прежде, чем сделать шаг, проверяет путь впереди палкой, старался угадать, куда клонит капитан, и медлил с ответом. — Спрашивайте, о чем хотите. Знаю — скажу, не знаю — значит, так оно и есть.

Как только названо было имя Бекджана, рыжие брови Таррыхова резко поднялись.

— Бекджан!.. Пропадут две доски или мешок цемента — ищут, не дай бог, как ищут. А человек пропадет — никому он не нужен, никто не разыскивает.

Лопбыкулы явно выжидал.

Аннамаммед, не вмешиваясь в разговор, курил папиросу за папиросой. Хаиткулы тоже закурил и, пустив к потолку струю дыма, сказал:

— Ищут.

— Только сейчас? — у экспедитора отвисла губа. — Бекджан! Какой джигит был!

После этого Таррыхов стал словоохотливее, но ничего вразумительного не сообщил. А когда очередь дошла до объяснения, приобщенного к делу, он ограничился кратким ответом:

— Да, я тоже давал показания.

Уже в конце допроса, когда Лопбыкулы стал рассеянно посматривать в окно, Хаиткулы спросил:

— Зачем вы переехали из Халача?

Таррыхов поморщился:

— Да просто хотелось пожить в Ашхабаде.

Затягивать беседу не имело смысла, хотя инспектор чувствовал, что Лопбыкулы не сказал и десятой доли того, что знал.

Но ни Хаиткулы, ни допрашиваемый не предполагали, что этот разговор будет продолжен совсем при других обстоятельствах.

V

Свидание с Марал было отложено на вечер, так как ему предстояла длительная командировка, Хаиткулы хотел спокойно посидеть с девушкой и подвести итог почти годичных встреч — поговорить о свадьбе. Но приезд композиторов в гости к студентам мединститута помешал осуществить это намерение — в тот вечер Марал должна была выступать.

После того как композиторы поделились с будущими врачами творческими планами, выступавшие затем студенты и преподаватели покритиковали их за то, что никто до сих пор не написал песню про врачей. Потом профессиональные певцы и участники художественной самодеятельности исполнили песни присутствующих композиторов. Встреча затянулась допоздна, и Хаиткулы не удалось поговорить по душам с Марал. Он проводил ее до общежития, так и не решившись сказать о своих чувствах. И вот теперь Хаиткулы летел в командировку в дурном расположении духа. Из-за плохой погоды самолет совершил посадку в Чарджоу. Но это обернулось для следователя непредвиденной удачей.

В воздухе пахло сыростью, холодный ветер сек лицо, пронизывал до костей. Хаиткулы бегом пересек летное поле и вбежал в здание аэропорта. Он улетел из Ашхабада не позавтракав и поэтому сразу отправился в ресторан. Сняв плащ, Хаиткулы прошел в зал и занял место за столиком у окна. Напротив него сидел старик, беспрестанно теребивший свои вислые усы.

Официантка тут же подошла к Хаиткулы, чтобы взять заказ. Старик, однако, подозвал ее к себе и, указав на стоявшее перед ним блюдо с бифштексом, спросил:

— Слушай, дочка, это не свинина?

— Не бойся, дедушка, ешь — это барашек.

Хаиткулы заказал второе, кок-чай и пошел умыться. Когда он вернулся, завтрак уже ждал его. Прежде чем приняться за еду, инспектор налил себе и старику по пиале чая.

— Ай, спасибо, сынок, вот это удружил. Я и забыл заказать чай, все забыл. — В знак благодарности старик приложил руку к груди.

Если б не усы с проседью, да не набрякшие веки, Хаиткулы дал бы ему лет пятьдесят — на полном лице его почти не было морщин, а из-под надвинутой на брови каракулевой папахи молодо смотрели глубоко посаженные глаза.

— Далеко летишь? — поинтересовался сотрапезник.

— Да вот летел в Керки, а посадили здесь.

— Ну так нам по дороге, — обрадовался старик.

Он рассказал, что ездил в Чарджоу по совету керкинского врача хорошенько обследовать печень и взять нужные лекарства, а теперь, опоздав на первый рейс, ждал самолета на Керки.

— Хоть и быстро самолет летит, а машина надежней! Мне все равно обратно из Керки ехать тридцать километров до дому... Не дадут вылета, так мы с тобой автобусом поедем — в четыре часа.

«Обратно?.. Куда это ему ехать?» — подумал Хаиткулы и спросил:

— Так вам в Халач, яшулы *?

— Именно, — облизав пальцы, старик уточнил: — в Сурху.

Хаиткулы даже вздрогнул: это было то самое село, где пропал Бекджан. И тут же поздравил себя с удачей: еще не добрался до места, а уже можно собирать материал к делу.

Народу в ресторане прибавилось. Папиросный дым повис в воздухе, нетерпеливые клиенты стучали по тарелкам, подзывая официанток. Гул голосов и беспрестанное хлопанье входной двери мешали сосредоточиться. Хаиткулы предложил попутчику пойти в зал ожидания.

Но не успели они подыскать себе место поудобней, как диктор объявил посадку в Ан-24.

* * *

Хаиткулы сел рядом со стариком и издалека завел разговор об интересовавшем его деле:

— Я знаком с одной девушкой из вашего села, может, знаете Марал Веллекову?

— Как не знать, мы почти соседи, — старик пожевал

* Почтительное обращение к пожилому человеку.

кончик уса. — Всю их семью хорошо знаю, достойные люди.

— Она мне как-то говорила, что у нее пропал брат.

— Да, лет десять назад ушел из дому на вечеринку и как в воду канул.

— Куда же он мог деться?

— Может, убили да в канал бросили, а может, убежал куда-нибудь.

— А следствие-то было?

— Как же, приезжали из Керки, из Чарджоу. Но ничего не раскопали. Я думаю, не там искали.

* * *

В Керки было еще холоднее, мелкий колючий снег летел с серого низкого неба. Старик едва поспевал за Хаиткулы. Концы его усов быстро заледенели и совсем обвисли, отчего лицо выглядело скорбным и постаревшим.

Ашхабадского инспектора встретил шофер городского отдела милиции. Машина понеслась голой ровной степью, въехала в город, миновала старую полуразвалившуюся крепость и остановилась у ворот одноэтажного здания из красного кирпича. Хаиткулы сердечно попрощался с попутчиком и, выходя из машины, поручил шоферу:

— Отвези яшулы на автостанцию.

Старик, как бы очнувшись, открыл дверцу кабины и крикнул вслед капитану:

— Если твоя дорога ляжет через наши края и ты не заедешь ко мне, я обижусь. С какого краю ни зайдешь в село, спроси только: «Где старая хибара Най-мираба», — любой покажет.

VI

Снег на дороге заледенел. Машина тряслась, подпрыгивала на выбоинах. Солнце, два дня прятавшееся в тучах, сегодня сияло в голубом по-весеннему небе, и отраженные белым саваном лучи его слепили Хаиткулы.

Он откинулся на сиденье, прикрыв глаза. «Здесь ничего нового — все даже забыли об этом деле. Много

надо поднять, расшевелить, заставить людей вспомнить то, что произошло давным-давно... Бекджан... Убит или бродит где-нибудь? Что могло понудить его к бегству?..» — Хаиткулы вновь и вновь задавал себе этот вопрос. Но пока у него не было никакой нити, за которую можно было ухватиться. «Надо до конца проследить каждый шаг парня... Откинуть все, что знаешь, и провести следствие с самого начала. Да, снова пройти теми же путями, которыми шел Ходжа Назаров, и найти то, что ускользнуло от его взгляда...»

— Хаиткулы-ага, вы спите? — спросил шофер.

— Нет, — Хаиткулы встрепенулся и открыл глаза.

— Говорят, в прошлом году на этой дороге столкнулись две машины. Один из пассажиров, сидевший в кузове, надел пиджак задом наперед, чтобы не так продувало грудь. Во время аварии его выбросило вот на этот пригорок. Все, кто сидел в кабинах, отделались ушибами, а этого парня, видать, сильно тряхнуло. Короче, когда приехала машина ГАИ, он все еще лежал на прежнем месте. Один милиционер подбежал к нему и, увидев, что спина у него находится на месте груди, решил, что при падении он свернул шею. Крикнув составлявшему протокол инспектору, что у одного из пострадавших шея свернута на 180 градусов, милиционер начал выворачивать голову бедняги, пытаясь вернуть ее в нормальное положение. Тот очнулся и завопил благим матом...

Хаиткулы посмеялся вместе с шофером и подумал: «Старый анекдот! Надеюсь, Назаров не так вел следствие».

* * *

Первым делом Хаиткулы устроился в гостинице, а потом отправился в правление колхоза. Там, кроме счетоводов, никого не было. Инспектор попросил передать председателю, что он заедет во второй половине дня.

— Давай проедемся по поселку, — сказал Хаиткулы, садясь в машину. Он решил сразу же осмотреть «место действия».

Шофер медленно повел «газик» по главной улице села. По краям асфальтовой полосы тянулась цепь новых типовых домов. Только из соседних улиц выглядывали иногда глинобитные развалюхи. «Когда зазеленеют все эти яблони, гранаты, зацветет урюк, здесь будет как

на курорте», — думал капитан, переводя взгляд с одной стороны улицы на другую. Вот на дорогу вышел согбенный старик с палкой в руке.

— Останови! — сказал шоферу Хаиткулы и высунулся из окна. — День добрый, яшулы. Как нам найти дом Абрая Шакурова?

— Да вот он, через три двора.

Проехав зеленый забор дома Шакурова, Хаиткулы не остановил машину, а, миновав еще несколько строений, велел повернуть обратно:

— Да поезжай тихо, Салаетдин, будто яйца везешь.

Когда они снова поравнялись с домом, Хаиткулы вздохнул:

— Отсюда третьего марта ушел Бекджан... Но нам предстоит проследить его путь задолго до того вечера.

Теперь внимание капитана было обращено на правую сторону дороги. Машина проехала правление колхоза. «Здесь где-то должно быть место встречи шофера Худайберды с Гуйч-ага и Бекджаном. Значит, и улица, куда свернул Бекджан, должна быть где-то здесь».

Проехав еще с полкилометра, они достигли перекрестка дорог. Именно в этом месте схемы Аннамаммед поставил знак вопроса. Итак, Бекджан свернул здесь, и дом его находился не в переулке, а поблизости от центральной улицы, недалеко от перекрестка. Загадка его исчезновения должна быть известна одному из жителей этого участка. «Обследовать дом за домом».

Часть улицы, уходившая влево от главной магистрали, упиралась в высокий глинистый холм. Когда машина поворачивала назад, Хаиткулы не смог охватить взглядом, где кончаются его склоны. «Может быть, это дамба или грунт, вынутый из коллектора, или за этим холмом продолжается поселок? Если это дамба, то была ли она здесь десять лет назад? Прежде всего надо восстановить тогдашний облик поселка».

В сознании следователя возникали один за другим мелкие и крупные вопросы, и их становилось все больше. Только теперь Хаиткулы по-настоящему понял, насколько трудно дело, за которое он взялся.

Как будет вести себя Назаров, если ему не удастся расколоть этот орешек? «Вот тебе наглядный пример того, какой вред может принести культ теории. На бума-

ге все просто, а в жизни? Машину тянет мотор, но не двинется же она без колес? Практика — это колеса, а теория — мотор... Жаль потерянного времени, ты бы мог написать еще одну главу диссертации. Пусть это будет тебе уроком на будущее...»

Хаиткулы померещилось на миг, что перед ним в самом деле стоит с иронической усмешкой Ходжа Назаров, и капитан почувствовал, как лицо его покраснело.

Салаетдин, понимая, что ашхабадский следователь не зря кружит по улицам, приказывая ехать то скорей, то тише, на перекрестке спросил:

— Теперь куда?

Хаиткулы безразлично махнул рукой назад.

К концу учебного года он снова вернется сюда. В том доме с зеленым забором будет свадьба, сердца двух влюбленных соединятся навеки. И соединятся судьбы двух семей, никогда не знавших одна другую, эти семьи станут гостить друг у друга.

Хотя капитан и размечтался о будущем семейном счастье, глаза его по привычке зорко осматривали дорогу. Вот из одного двора вышел человек с лопатой на плече. Что-то в его фигуре показалось знакомым Хаиткулы. Подъехав ближе, он узнал попутчика, старика, с которым летел, — Най-мираба. Салаетдин, видимо, тоже узнал его, так как вопросительно глянул на следователя: остановиться или проехать?

Вообще Хаиткулы намеревался разыскать вислоусого. Но он совсем не предполагал встретить его в первый же день. Теперь же, увидев старика, он велел шоферу остановиться и вышел из машины.

Най-мираб обрадовался нечаянной встрече и повел следователя и Салаетдина к себе в дом.

* * *

По правде говоря, Хаиткулы не хотел в первые дни звонить в Ашхабад. Но, оставшись один в номере после ухода Салаетдина, он снял телефонную трубку и, заказав разговор с Ашхабадом, назвал номер телефона Аннамаммеда. Пока он ждал звонка, спустились сумерки, и в комнате стало совсем темно. Вдобавок стояла непривычная сельская тишина, словно жизнь кругом замерла. Хаиткулы зажег шаровидную настольную лампу и раз-

вернул местную газету. Но не успел он пробежать глазами заголовки статей, как зазвонил телефон.

— Дела идут? Нашел что-нибудь? — Аннамаммед сыпал вопрос за вопросом.

Что было ему ответить? Обошел все село, осмотрел все, что так или иначе было связано с происшествием, побеседовал накоротке с Най-мирабом, встретился с председателем колхоза и секретарем парторганизации. А результаты? Хаиткулы помолчал немного и ответил:

— Пока ничего. Стою на перекрестке ста дорог и чешу в затылке.

Аннамаммед пожелал удачи и положил трубку.

VII

Утро было пасмурное, холодное. Когда все еще спали, Хаиткулы выскочил на веранду в майке и трусах и зашагал из угла в угол, чтобы разогнать кровь перед гимнастикой.

В это время с улицы вошел небольшого роста человек и, увидев ашхабадского следователя, воскликнул:

— Доброе утро, Хаиткулы Мовлямбердыевич. А я думал, придется вас будить.

Сначала Хаиткулы не разобрал в полумраке его лица и спросил:

— Вы из райотдела?

Вошедший направился к инспектору, но и тогда Хаиткулы не узнал его. Это был Палта Ачилович Ачилов, следователь районной прокуратуры. Капитан протянул ему руку, и Ачилов принялся сердечно трясти ее, приговаривая:

— Это удача, это удача. Сразу и перейдем к делу. — И он тут же принялся развязывать тесемки бумажной папки. — Все бумаги, оставленные вами, тщательно изучил. Полночи просидел.

Хаиткулы неловко было стоять в трусах и майке перед этим толстеньким лысеющим человеком, но и уйти не было никакой возможности — Ачилов не давал ему слова вымолвить, засыпая его вопросами и тут же сам отвечая на них. К тому же Хаиткулы никак не мог припомнить, где он его видел — то ли в Ашхабаде, то ли в Керки. Или сидели вместе на совещании? Вчера прокурор сказал, что кого-то пришлет ему

в помощники, и капитан уехал, даже не успев повидать своего коллегу.

Наконец Ачилов на секунду умолк, и Хаиткулы поспешно заявил:

— Простите, но, во-первых, вы не представились, а во-вторых, мне необходимо одеться.

Они вошли в номер. Хаиткулы быстро оделся.

— Если я не ошибаюсь, вы считаете, что Бекджан умер насильственной смертью? — не отступал Ачилов.

— Почти уверен.

— А если здесь самоубийство? Река близко, парень был выпивши. Может быть, его обидели...

— Нет, — уверенно ответил Хаиткулы. — Рано или поздно труп нашли бы.

Ачилов возмущенно замахал руками:

— Нашли бы? Вы думаете, они искали по всей Амударье? А если он привязал камень на шею? А потом труп затянуло илом, он разложился — и точка. Надо критически рассмотреть протоколы поисков на реке.

— Давайте сначала позавтракаем, а потом займемся делами, — предложил Хаиткулы.

На широкой веранде гостиницы их ждал человек в милицейской форме. Палта Ачилович сразу узнал его:

— Здешний участковый.

Капитан козырнул и представился:

— Пиримкулы Абдуллаев, участковый.

Когда следователи вернулись из столовой, в коридоре ашхабадского следователя дожидалось уже несколько человек. И когда капитан подошел к ним, они нестройным хором поздоровались с ним. Первой встала молодая женщина в платке и стареньком халате. За нею следовали седобородый высокий старик, молодой человек в кирзовых сапогах, солидный мужчина в макинтоше, с черным галстуком на белой нейлоновой сорочке и в каракулевой папахе. Сидевшие в углу на корточках Най-мираб и еще один бородатый старец, тоже кряхтя, поднялись и церемонно приветствовали вошедших.

Хаиткулы пожал всем руки и, попросив подождать еще минуту, вошел в номер с Абдуллаевым.

— Кто такие? — спросил Хаиткулы у Абдуллаева.

Участковый с гордой улыбкой сообщил:

— Свидетели...

— Свидетели! — Хаиткулы чуть было не обругал Абдуллаева. — Кто вас просил?! Кто, я вас спрашиваю, просил?

— Никто, товарищ...

Хаиткулы, сообразив, что шум могут слышать в коридоре, сбавил тон:

— Если никто не приказывал, значит, надо было прежде всего явиться к нам и узнать, кто и когда нужен. А вы без всякого разбора... сорвали столько людей с работы.

У Пиримкулы Абдуллаева оттопырилась от обиды толстая губа:

— Товарищ инспектор, разрешите сказать...

Хаиткулы указал капитану на стул:

— Садитесь, расскажете после.

Но участковый все-таки высказался:

— Я ведь с самого начала в этом деле участвую. Когда Бекджан пропал, я всех свидетелей собирал. Приехали из района и велели всех привести в гостиницу. Потом были из Чарджоуского областного управления. Опять я тем же манером свидетелей собирал. Вот и в этот раз, думал, так же будет...

— Это хорошо, что вы так досконально знакомы с делом. Надеюсь, это нам во многом поможет...

VIII

От гостиницы до шоссе было довольно далеко. Пока Хаиткулы добрался до выезда из поселка, его изрядно забрызгали сновавшие по улицам грузовики. Инспектор решил не ждать попутную машину на одном месте и пошел в сторону Халача.

По краям дороги росли высокие камыши, на песчаных гребнях гнулся под ветром пышный селин. Хаиткулы прибавил шагу. Ему было приятно идти той дорогой, которой не раз ходила Марал. Да, все эти улицы, все тропинки кругом помнят ее и Бекджана...

Как только он вспомнил про Бекджана, прелесть зимней природы сразу померкла для него... По этим дорогам ходил и убийца Бекджана. Мысли Хаиткулы вновь завертелись вокруг следствия. Задумавшись, он чуть

было не пропустил машину и только в последний момент поднял руку.

Через час он выпрыгнул из кабины в самом центре Халача. Оглядевшись, капитан заметил вывеску парикмахерской и, потрогав щетину на подбородке, решил зайти побриться. Но нерешительно остановился в дверях — человек десять сидели вдоль стен, а возле окна единственный парикмахер намыливал голову старику в стеганой туркменской рубашке. Хаиткулы думал уже повернуть назад, когда парикмахер спросил своего клиента:

— Так, говоришь, снова будут расследовать это дело?

Инспектор навострил уши и присел на свободный стул. «Неужели уже знают? Я ведь только что приехал». В это время обросший густой черной щетиной здоровяк в шапке-ушанке лениво заметил:

— Я тоже слыхал. Вчера ехал из Керки, и в автобусе зашел разговор об этом... Ты тоже знал того парня?

— В округе я знаю всех, у кого растут волосы.

Разговор оживился. Каждый спешил высказать свою точку зрения:

— Не найдут они ничего. Если сразу не нашли, так теперь и подавно.

— Легко сказать. Вон в колхозе «Коммунист» экспедитор пропал. Нашли? Второй год ни слуху ни духу.

— Обязательно найдут. Раз снова занялись, значит, что-то раскопали.

— Искать убийцу в этом селе — пустое дело.

— Думаешь, скрылся?

— А то нет, будет он их дожидаться.

Разговор перекинулся на другие темы и к следствию больше не возвращался. Наконец Хаиткулы побрился и отправился в больницу, где работала Аймерет — первая любовь Довханова.

Они встретились в кабинете главврача. Маленького роста круглолицая молодая женщина остановилась в дверях, разглаживая свой белый халат.

— Вы меня спрашивали?

Хаиткулы, устроившийся за массивным столом, утвердительно кивнул.

— Да, Аймерет Ишчиевна. Здравствуйте!

Женщина подошла к столу. Когда ей сказали, что ее хочет видеть инспектор Министерства внутренних дел, она предполагала встретить сурового пожилого человека в милицейской форме. Вместо этого перед ией сидел парень в джемпере и спортивного покроя пиджаке. Убедившись, что ее звал именно он, Аймерет почувствовала себя свободнее. Она опустилась на стул перед Хаиткулы и, сложив руки на коленях, приготовилась слушать.

Инспектор достал из кармана толстый блокнот и принялся перелистывать его. Наконец он взглянул на Аймерет, которая во все глаза смотрела на него, стараясь угадать, зачем она ему понадобилась.

— Вы, наверное, удивитесь, что мы вернулись к столь давним событиям. Неприятно ворошить прошлое... Но тайна исчезновения Бекджана Веллекова должна быть все-таки раскрыта.

Хаиткулы убрал блокнот и, помолчав, поинтересовался:

— Если бы фельдшер Довлетгельды пришел сейчас к вам с просьбой простить его, что бы вы ответили?

— Он не придет.

— А если все же...

— Нет, — Аймерет сжала кулаки. — Он не придет...

— Вы еще не замужем?

— Я выйду замуж, когда перестану любить его, когда останется только презрение.

— Значит, вы все-таки ждете его? Я вас правильно понял?

— Неправильно, — губы Аймерет дрогнули. — Я знаю Довлетгельды. Для него слово родителей — закон. А они никогда не позволят... — Молодая женщина отвернулась от следователя и, достав из рукава платок, приложила его к глазам.

— Если дело в родителях... — начал Хаиткулы.

— Нет, главное в нем самом. В первые дни знакомства мне нравилась его внимательность, готовность исполнить любое мое желание. Только позднее я поняла, что это не было одним лишь проявлением любви; это был признак слабоволия. Теперь я ругаю себя за то, что не смогла воспитать в нем твердость характера... Мне нравилась эта покорность. Такой эгоизм часто присущ молодым девушкам... И вот — он ни в чем не может ослушаться своих стариков.

— А что вы знаете о деле Бекджана?
— Тогда Довлетгельды обвиняли в убийстве...
— Не только тогда. Подозрение остается и по сей день.
— Ах, что вы! Он не поехал учиться в мединститут из-за того, что боялся покойников. И по сей день не ходит на похороны. А ведь он медик.
— В тот памятный вечер...
— В тот вечер с наступлением темноты он пришел ко мне на работу. Потом отвез меня домой на мотоцикле. Он говорил, что родители хотят женить его, и очень горевал. Довлетгельды все спрашивал: «Что делать? Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Скажи, как уговорить родителей?» Я ответила только: «Не знаю, для чего ты вообще собираешься жениться — чтобы угодить родителям?» Больше я не стала говорить с ним.
— После этого встречи прекратились?
— Нет, мы перестали видеться после его женитьбы.

IX

Когда Хаиткулы вернулся из Халача, Палта Ачилович, надев массивные роговые очки, назидательно читал протокол допроса испуганному высокому парню в кирзовых сапогах. Кивнув коллеге, Ачилов протянул листы допрашиваемому:
— А теперь, Довханов, распишитесь.
Потом Палта Ачилович, поставив и свою закорючку, встал из-за стола. Зайдя за спину Довханова, он жестами показал, что хочет есть, и, взяв плащ, отправился в столовую.
С уходом следователя Довлетгельды заметно расслабился, плечи его опустились, и взгляд, раньше устремленный в одну точку, обрел живость. Встретившись глазами с Хаиткулы, молодой человек снова напрягся, словно ожидая удара.
Капитан усмехнулся и, потрепав Довханова по плечу, предложил:
— Что мы здесь паримся, пойдем на свежий воздух.
Беседка в саду за гостиницей, увитая пожухлыми лозами винограда, была удобна для беседы наедине. Никакой шум не проникал сюда, никто не заходил в этот уголок, если не считать старика, ведавшего гостиницей,

который приносил чай по первой просьбе, отвечал, когда его о чем-нибудь спрашивали, а все остальное время был нем, как рыба.

Сейчас он встретился им с вязанкой хвороста. Не останавливаясь, старик поздоровался с Хаиткулы и его спутником и скороговоркой сообщил:

— Если хотите кок-чаю, через минуту принесу. Есть слоеные лепешки и домашний сарган *.

Хаиткулы улыбнулся:

— Интересный дед. Не окликнешь его сам — век молчать будет. Никогда его праздным не увидишь — все что-то копошится, что-то делает.

— Да, он всегда таков, — еле слышно подтвердил Довханов.

Когда они уселись в беседке, следователь сразу же без обиняков спросил:

— Скажи, Довлетгельды, ты любил Аймерет?

— Да...

— Если так, почему женился на другой?

Парень вяло развел руками:

— Родители на своем стояли: «Женишься на той девушке, которую мы тебе сосватали, иначе ты нам не сын».

— Теперь ты сам отец?

— Да...

— Ну а если завтра твои родители скажут: «Эта невестка нам не нравится. Или мы уйдем из дому, или она»?

Довлетгельды впервые прямо взглянул в лицо Хаиткулы:

— Я думаю, они так не скажут.

— А если все-таки?

— Если скажут, — парень на миг задумался. — Если скажут... Что же мне — из-за жены родителей бросить?

Хаиткулы чуть не подпрыгнул, руки его сами собой сжались в кулаки.

— Ну и фрукт... Ладно, топай домой.

Как только Довханов покинул беседку, из-за угла гостиницы показался Палта Ачилович, словно ожидавший его ухода. Проводив парня подозрительным взглядом, Ачилов направился в беседку.

---

* Напиток.

— Что-то, я смотрю, у вас кислый вид, Хаиткулы Мовлямбердыевич. Сомнения гложут?

— Как раз нет. Одно из сомнений только что отпало, — Хаиткулы, сунув руки в карманы, заходил по беседке. — Довлетгельды не тот человек, который может совершить убийство. Это тряпка... Такие не способны быть ни друзьями, ни врагами.

Ачилов насмешливо прищурился:

— Э, нет... Кто ходит с опущенной головой, того земля боится... Что сказала Аймерет?

— Ничего нового... Слово в слово повторила свои прежние показания.

Лицо Палты Ачиловича помрачнело.

— Надеюсь, вы не будете сожалеть, если Довлетгельды ни в чем не повинен? — съязвил Хаиткулы.

— Я не гонюсь за легкой победой, — обиделся Ачилов. Он сломил виноградную лозу и пожевал кончик ее. — Что делается! Морозы побили весь виноград. Попробуйте. Эти лозы можно использовать для растопки.

X

Пиримкулы Абдуллаев навел справки о Худайберды Ялкабове и составил краткую характеристику его. Палта Ачилович тут же пробежал бумагу:

— Тридцать восьмого года рождения... Так, дальше мы знаем... Ага, вот: окончил школу вместе с Бекджаном... В конце июля пятьдесят восьмого года женился на дочери Най-мираба Назли. На другой день она ушла от него. В конце того же месяца отец выгнал ее из дому... Служба в армии... Холост — это интересно, надо бы уточнить причину... Так, так, это совсем интересно: очень вспыльчив. Недавно кинулся на завгара с гаечным ключом. Когда учился, тоже частенько дрался с товарищами... Что вы на это скажете, Хаиткулы Мовлямбердыевич?

— Вернется с пастбища, надо с ним побеседовать.

— И, я думаю, будет о чем! — Палта Ачилович многозначительно подмигнул Абдуллаеву, который скромно присел в углу номера. Следователь плотоядно потер руки и убрал характеристику в стол.

— Давайте послушаем сегодняшних свидетелей, — предложил Хаиткулы.

— Непременно, — Ачилов с гордостью вынул из ящика магнитофон, перекрутил ленту и, нажав клавишу, откинулся на стуле.

Хаиткулы внимательно слушал запись, иногда просил Палту Ачиловича повторить. Особенно его заинтересовали слова учителя о том, что Бекджан никогда не пил. Показания Гуйч-ага подтвердили это:

— Я никогда не слышал, чтобы он где-то выпивал. Вот и удивляюсь, что в тот вечер он был сильно навеселе.

Голос Палты Ачиловича спросил:

— Когда вы ушли из дома учителя, у вас был какой-нибудь разговор?

— Да нет, какой там разговор. Он всю дорогу брел ссутулясь и опустив голову. Как сейчас его вижу. Бекджан, видно, был из тех людей, которые горе в себе носят, ни с кем не поделятся. Хотел я его спросить: что с тобой, сынок, да, наверно, шайтан мне рот зажал.

— Вы раньше ничего не говорили о состоянии Бекджана.

— Спросили, сказал бы. В детстве человек учится говорить, а к старости учится молчать.

Запись кончилась.

— А почему не поговорили с родителями Бекджана? — обратился к Палте Ачиловичу Хаиткулы.

— Разволновались. Веллек-ага говорит: «Зачем старые раны бередить, Бекджана теперь не вернешь. Если уж сразу не нашли, теперь не отыскать. Так, наверное, аллах судил». Зловредная философия! Я их домой отправил, пусть придут немного в себя, а через пару дней еще потолкуем.

— Мудро, — кивнул Хаиткулы.

Палта Ачилович самодовольно улыбнулся:

— Не первый год служим...

* * *

На другой день с самого утра Хаиткулы отправился в колхозный медпункт.

В прихожей ему встретилась медсестра. Инспектор спросил, можно ли видеть мать Бекджана. Девушка кивнула и, открыв одну из дверей, крикнула:

— Тетя Хаджат, вас спрашивает какой-то парень.

— Пусть идет сюда, — отозвался низкий голос.

Хаиткулы прошел полутемным коридором в конец дома и, отворив указанную медсестрой дверь, увидел седую грузную женщину в белом халате. Представившись, следователь сел на предложенный ему стул и достал блокнот. Тетя Хаджат, не дожидаясь вопросов, заговорила:

— Я до сих пор верю, что Бекджан жив, каждый день я жду, что он вот-вот появится передо мной... Даже боюсь нового следствия. А если окажется, что он... — речь ее пресеклась, она закрыла лицо руками.

Хаиткулы вскочил, и первым его движением было обнять эту измученную горем женщину, мать Бекджана, мать Марал. Но он только бережно погладил ее по руке:

— Я понимаю вас... Но, может быть, он жив, скрывается где-нибудь...

Тетя Хаджат, казалось, не слышала его. Отняв руки от лица, она продолжала:

— Пока сама не увидишь, ни за что не поверишь... Поминки мы устроили только через три года. Старик так велел: не на что, мол, надеяться. А я все жду... — глаза ее наполнились слезами.

Хаиткулы подождал, пока она успокоится.

— Как это ни тяжело, тетушка, надо поговорить о вашем сыне. Может быть, у вас есть какие-то предположения о причинах...

— Что вы, какие причины! — перебила его тетя Хаджат. — Ни у него, ни у нашей семьи не было врагов. Мы в чужую курицу камня не кинули, не то чтобы когонибудь обидеть. Бекджан был скромный, справедливый мальчик, никому никогда не завидовал... Кому нужна была его смерть?

Все, что услышал Хаиткулы от матери Бекджана, было ему известно. Она подтвердила, что в последнее время Бекджан был мрачен, неразговорчив, но причин этого не знала.

Когда следователь попросил показать вещи сына, тетя Хаджат сказала, что все они были уничтожены отцом, чтобы не видеть их каждый день и не бередить душу.

XI

— Почти всех прежних свидетелей мы допросили, — сказал Палта Ачилович. — Новых данных нет. Все говорят о Бекджане только хорошее. О его интересах мало что знали. Вообще он отличался застенчивостью, даже скрытностью. Не знаем мы, любил ли он какую-нибудь девушку. Сегодня директор школы, где учился Бекджан, дал мне список всех его соучеников. Надо допросить их, — и он протянул Хаиткулы бумагу с отпечатанными двадцатью двумя фамилиями одноклассников пропавшего парня.

— Ну что ж, опросим всех, — ответил Хаиткулы.

С этого дня начались бесконечные поездки то в райцентр, то в окрестные поселки: жизнь разбросала соучеников Бекджана. Большинство, как и следовало ожидать, отделывалось краткими ответами: «не помню», «плохо знал его», «забыл». И тем не менее характер пропавшего юноши постепенно становился все более понятным Хаиткулы.

XII

Прошла неделя. Хаиткулы поговорил со всеми школьными товарищами Бекджана, а Палта Ачилович опросил всех, кто работал с ним. Все показания подтверждали, что ни среди одноклассников, ни среди тех, с кем он работал, у Бекджана врагов не было.

— Может быть, мы идем не по тому пути? Помните, я говорил о тех лоботрясах, которые убегают из дому?.. Надо выяснить, не было ли у парня разногласий с отцом, — предложил Палта Ачилович.

— Я уже сделал это, — сказал Хаиткулы. — Никаких оснований для разрыва с семьей у Бекджана не было. Да, кроме того, Веллек-ага как раз в то время собирался уходить с отарой в Каракумы, и Бекджан просил председателя колхоза отпустить его с отцом.

— Топчемся на месте. Причины подавленного состояния Бекджана в последний месяц перед исчезновением нам до сих пор неясны, — подытожил Ачилов.

Их разговор был прерван приходом участкового.

— Приехал из песков Худайберды Ялкабов, — сообщил Абдуллаев. — Привести?

Хаиткулы невольно вскочил с дивана. С Ялкабовым он связывал определенные надежды. Он не поделился с Ачиловым некоторыми сведениями об этом однокласснике Бекджана, опасаясь, что коллега со свойственной ему прямолинейностью набросится на Худайберды. Дело в том, что некоторые из соучеников Бекджана показали, что Худайберды и Бекджана связывала долголетняя дружба и что за несколько месяцев до пропажи последнего между друзьями «пробежала черная кошка» и их отношения прекратились. Сопоставляя с этими данными свидетельства о вспыльчивости Ялкабова и то, что в вечер своего исчезновения Бекджан не подошел к нему, а, оставив Гуйч-ага беседовать с Худайберды, направился домой, Хаиткулы пришел к выводу, что Ялкабов может дать следствию ключ к раскрытию тайны.

Услышав о приезде последнего из главных свидетелей, Ачилов заявил:

— Тащи его сюда, Пиримкулы Абдуллаевич.

Но Хаиткулы перебил его:

— Если мы хотим выведать у него что-то интересное, то надо поехать к нему — как бы в гости. Капризные, вспыльчивые люди часто бывают упрямы, от них, кроме «да» и «нет», ничего не добьешься. А кабинетная обстановка не располагает к дружеской беседе. Правильно, Пиримкулы-ага?

Капитан пожал плечами, а Палта Ачилович иронически усмехнулся, но возражать не стал.

Когда они вышли из номера, старик дежурный вручил Хаиткулы письмо со штампом Керкинской почты. Следователь посмотрел на дату отправки письма и, тут же вскрыв конверт, пробежал глазами несколько неровных строк, нацарапанных корявым почерком: «Вы ходите вокруг да около и никак не можете найти преступника, который преспокойно сидит у вас под носом. Не упустите Ялкабова».

XIII

Они пришли как раз к плову.

Увидев входящих в дом незваных гостей, Худайберды вытер руки о край достархана и, сказав что-то вдруг побледневшей матери, вскочил с места. Слегка кивнув на

приветствие следователей, он пригласил их в комнату для гостей. Усадив пришедших на почетные места, Ялкабов включил телевизор и, не говоря ни слова, вышел.

Окинув комнату взглядом, Ачилов показал на современную мебель.

— Не отстает от жизни.

Гости успели только сделать по глотку чая, а хозяин уже внес блюдо с пловом. Потом достал из-под кровати бутылку водки, налил всем и, чокнувшись с другими пиалами, залпом выпил свою. Участковый не выдержал и последовал его примеру.

Палта Ачилович укоризненно глянул на него, нахмурив брови. Абдуллаев поспешно поставил пиалу и вперил взгляд в танцовщицу на экране телевизора. Хотя у Ачилова и разыгрался аппетит при виде жирного плова, он не дотронулся до еды, пока Хаиткулы не взял с блюда первую горсть.

Ялкабов сосредоточенно ел, изредка поглядывая на следователей. Его широкое лицо с глубоко посаженными глазами и толстым плоским носом производило неприятное впечатление. Тонкие, плотно сжатые губы свидетельствовали о сильной воле. «Такой может привести в исполнение задуманное. Ишь насторожился», — пронеслось в голове Ачилова. Хаиткулы думал о том же. Правда, неразговорчивость хозяина дома он истолковывал как признак замкнутости и не связывал молчание Худайберды с приходом незваных гостей.

Участковый был хорошо знаком Ялкабову, видел он и Палту Ачиловича, приезжавшего раньше в село. Но молодой следователь, явно главный в этой тройке, был ему неизвестен. Поэтому Худайберды обращался больше к участковому или Ачилову.

Когда обед закончился и хозяин ушел с посудой на кухню, сидевший по-турецки Абдуллаев заметил с улыбкой:

— Зря вы так мало ели, Палта Ачилович. Не обращайте внимания на Худайберды, он всегда угрюмый. Я его давно знаю. Отец у него тоже был молчуном.

Ачилов укоризненно проворчал:

— Я официальное лицо и не хочу вести себя как собутыльник.

Худайберды вошел с чайником в руках. Выключив телевизор и бросив каждому по подушке, прилег на кош-

му и склонил голову, как бы спрашивая: «С чем пожаловали?»

Хаиткулы кивнул участковому, и тот поведал о цели их визита, а также представил следователей. Выслушав капитана, Ялкабов вздохнул:

— Значит, опять за старое взялись?

— За старое, — подтвердил Хаиткулы. — И думаем распутать клубок... Говорят, между вами и Бекджаном была крепкая дружба. Если это правда, то мы надеемся получить от вас важные сведения... Вы устали после долгой дороги, но, не обессудьте, дело срочное.

После краткого раздумья Худайберды достал из-под кровати покрытый пылью фотоальбом и, обтерев его рукавом, молча положил перед инспектором. Палта Ачилович придвинулся к нему, и Хаиткулы открыл первую страницу. Участковый тем временем вышел из комнаты.

Почти все фотографии в альбоме были связаны со школьными годами хозяина дома. На множестве групповых снимков Бекджан и Худайберды сидели неизменно вместе. Они были сняты и вдвоем. Хаиткулы спрашивал, когда и где была сделана фотография, кто изображен на ней. Пролистав почти весь альбом, следователь ухмыльнулся:

— Вы водили дружбу только с парнями, на карточках нет девушек.

Худайберды пожал плечами, ничего не ответив. Следователь перевернул еще страницу и убедился, что поспешил с выводами. Последние листы альбома были обклеены фотографиями девушек, снятых в одиночку или вдвоем.

Палта Ачилович со вздохом взглянул на Ялкабова:

— Где моя молодость?! Каждая из этих девушек достойна быть хозяйкой дома. С такими не десять, а все сто лет учиться можно.

— Думаю, они и стали хозяйками, — успокоил его Хаиткулы.

Худайберды неприязненно глянул на Ачилова, но опять промолчал.

— Это все ваши одноклассницы или среди них есть и другие? — строго спросил Палта Ачилович.

Худайберды передернул плечами:

— Да, школьницы. Вот снимок нашего выпуска.

— Верю, верю... Но хочу выяснить все до мелочи, — грозно добавил Ачилов — он уже приготовился «изло-

вить» Ялкабова. Не нравился ему этот неприятный малый, наверное, он виновник гибели Бекджана.

Худайберды тоже почувствовал антипатию к Палте Ачиловичу. Он подумал, что главная опасность исходит от него, а не от доброжелательного молодого следователя.

Хаиткулы мягко начал:

— Погодите, погодите! Хотелось бы узнать, кого из девушек любил Бекджан? Или хотя бы какую из всех он предпочитал другим? Не торопитесь, Худайберды, припомните хорошенько! Прошло столько лет...

— Да, да, — поддержал Ачилов. — Ты друг, он от тебя ничего не скрывал.

Вместо ответа Ялкабов покачал головой и прищелкнул языком в знак отрицания.

— Отказываешься давать показания?! — побагровел Палта Ачилович. — Мы не попугаи, чтобы изъясняться на таком языке. Хоть и расстелен достархан, но у нас не застольная беседа, а официальный допрос!

Ачилов досадовал на себя за то, что послушался Хаиткулы и пришел сюда. В кабинете он бы показал этому типу кузькину мать!

За несколько дней, что они прожили вместе в гостинице, Палта Ачилович хорошо узнал Хаиткулы. Тот рассказал о своих родных и о том, что у него есть невеста по имени Марал. (Правда, инспектор скрыл, что она сестра погибшего.) Уважая Хаиткулы, его способности, Ачилов, однако, осуждал товарища за мягкость характера. С такими методами следствия далеко не уедешь.

Ялкабов привстал с подушки и, усевшись по-турецки, не глядя ни на кого, проворчал:

— Бекджан относился к любви не так, как вы полагаете. Свои чувства он хранил про себя и никому не поверял. Что имел, унес с собой.

— Я сравнил фотографии с групповым снимком. С вами учились восемь девушек, не так ли? — спросил Палта Ачилович.

Худайберды кивнул.

— Так-так, — Ачилов побарабанил пальцами по обложке альбома. — Тут карточки семи девушек, не хватает еще одной... А она была, — и следователь показал на белое пятно, обведенное орнаментом.

Ялкабов беспокойно взглянул на гостей:

— Ловить меня пришли? Не нашли преступника, хотите вместо него меня...

Палта Ачилович, обрадовавшись, что удалось вывести собеседника из равновесия, настаивал:

— Так чья же это фотография? Не молчите! Молчание вам скорее во вред, чем на пользу.

Худайберды глубоко вздохнул:

— Тут был мой портрет... Товарищи увидели мою карточку среди снимков девушек и стали смеяться. Вот я и вырвал...

— А может быть, тут был снимок Бекджана? — лукаво спросил Ачилов.

Лицо Ялкабова потемнело. Он молча выхватил альбом из рук следователя и принялся нервно листать его. Палта Ачилович, не обращая внимания на возбуждение Худайберды, снова заговорил:

— Нам известно, что в последнее время вы с Бекджаном не дружили, даже не встречались. Из-за чего поссорились?

Худайберды вырвал из альбома какую-то фотографию и бросил ее перед следователями:

— Читайте!

Палта Ачилович прочел надпись на обороте карточки: «С пожеланиями быть верными друг другу до конца. Бекджан. 2. III. 1958 г.».

— Это была наша последняя встреча, — вызывающе крикнул Ялкабов.

— А на следующий день Бекджан исчез?

— Да...

— Э-хе-хе! — торжествующе произнес Ачилов. — Вы делаете вид, что кое-что забыли. Раньше вы утверждали, что видели Бекджана в тот вечер, когда он исчез. Так?

— Одно дело встреча, а другое дело — обмен приветствиями на дороге, — мрачно отозвался Ялкабов.

— Значит, накануне его исчезновения вы встретились! — не удержался Хаиткулы. — О чем же беседовали?

Слушая объяснения Ялкабова, инспектор разглядывал надписи на оборотных сторонах фотографий. На всех снимках Бекджана стояло: «От Бекджана Худайберды» или «Другу Худайберды». Отсутствие на последней карточке имени Ялкабова и особенно смысл написанного насторожили Хаиткулы.

По словам Худайберды, выходило, что накануне гибели Бекджана они встретились в правлении колхоза. Бекджан повел его к себе домой, где и отдал Ялкабову на память фотографию.

Выходило, что Худайберды сам расставлял себе ловушки. Когда ашхабадский инспектор беседовал с матерью Бекджана, он интересовался, кто был у них незадолго до исчезновения сына. Мать уверенно сказала, что никто не приходил. Поэтому Хаиткулы с подозрением отнесся к утверждению Ялкабова, что фотография, о которой шла речь, была подарена ему лично.

Получив ответы на интересовавшие их вопросы, следователи попросили разрешения взять с собой альбом и пригласили Худайберды явиться на другой день в гостиницу для подписания протокола.

В это время из комнаты матери Ялкабова вышел Пиримкулы Абдуллаев, и, попрощавшись с Худайберды, все трое отправились со двора.

XIV

Участковый рассказал: мать Худайберды поклялась на коране, что Бекджан не стал бывать у них в доме с женитьбой Ялкабова. Больше того, он не был даже на свадьбе. Если учесть все добытые сведения и анонимное письмо, которое указывало на Худайберды как на убийцу, то можно было с уверенностью сказать, что дело близится к завершению.

Посовещавшись с участием Абдуллаева, следователи решили прежде всего выяснить несколько вопросов. Нужно было узнать, кто автор письма и каковы его цели. Если он хотел помочь следствию, то на каких фактах он основывался? Почему Худайберды дает ложные показания? Была ли необходимость приглашать с дальнего участка Гуйч-ага, чтобы зарезать барана, или это был повод для того, чтобы оставить Бекджана одного? Кем сделана надпись на обороте фотографии, и если Бекджаном, то кому она адресована? Кроме этого, необходимо было выяснить судьбу Назли, дочери Най-мираба.

На ближайшие дни работу распределили так: Палта Ачилович и участковый должны разыскать автора анонимки и решить вопрос, была ли у Ялкабова необходи-

мость обращаться к Гуйч-ага; Хаиткулы же должен был слетать в Ашхабад для проведения графической экспертизы и выяснения некоторых побочных обстоятельств дела.

Инспектор тут же позвонил начальнику Керкинского управления внутренних дел и попросил забронировать билет на самолет. Потом, оставив Ачилова в гостинице, поехал на мотоцикле с участковым разыскивать Най-мираба.

Объездив полсела, они наконец увидели его на улице. Он стоял возле трактора и весело беседовал с высунувшимся из кабины трактористом. Хаиткулы предложил старику занять место в коляске и, когда тот уселся, сказал:

— Надо поговорить, яшулы.

— Так поедем ко мне.

Когда следователь начал разговор о Худайберды и его отношениях с дочерью Най-мираба — Назли, вислые усы старика опустились еще ниже, и лицо его сразу побледнело.

— Уф-ф, — мираб тяжко вздохнул и, взяв со стола лепешку, стал крошить ее. — Вы растревожили старую рану... опять о дочери...

Предположения инспектора не оправдались. Он ожидал услышать из уст неудавшегося тестя Худайберды ругательства в его адрес. Но мираб винил только себя, что не уберег дочь: «Меня мало повесить за бороду... Хотела — шла в кино, хотела — ехала в район... В школе участвовала в художественной самодеятельности... Короче говоря, я не чинил ей никаких препятствий. Вот и опозорился на весь свет. Стыдно на людях показаться. Знать бы, что так получится... Не она виновата. Если мороз побил сад, в этом нет вины сада. Виноват садовник, вовремя не укрывший деревья...

— Она сама выбрала Худайберды? Или, может быть, она любила другого?

— Никогда ничего не говорила. Раз мать намекнула, что скоро сваты придут, — она ничего не сказала... И я крепко обещал отцу Худайберды, что отдам дочь... А что горевать: сделанного не поправишь... Ушла от мужа — не воротишь... Расскажи лучше, как идут дела у тебя, сынок.

— Пока, яшулы, наши дела ломаного гроша не стоят. Еду в Ашхабад; что передать или привезти — гово-

рите. Если никого там не знаете, то нашего начальника знаете наверняка. Он много лет пил амударьинскую воду.

— Кто такой?

— Ходжа Назаров! Бывший начальник Керкинской милиции.

— Да я-то, браток, знаю, а он меня — вряд ли. Начальник один, а нас много... Если не в труд, то привези хороших лекарств...

Когда участковый высадил Хаиткулы у крыльца гостиницы, следователь сказал: «А ведь письмо-то написано левой рукой. Так что придется вам попотеть, Пиримкулы Абдуллаевич. Но, к счастью, способ начертания букв остается одинаковым, как ни меняй свой почерк».

Простившись с участковым, Хаиткулы стал собираться в Ашхабад.

Он помылся до пояса, побрился, начистил ботинки и погладил брюки. Видно было, что он рад поездке.

XV

Отвезя Хаиткулы в гостиницу, участковый развернулся и помчался к Довханову. Он решил одним махом покончить дело с письмом: анонимка лежала в кармане у Абдуллаева, оставалось только припереть Довлетгельды к стенке: «Говори, зачем писал!»

Капитан был убежден, что письмо — дело рук Довханова. В гостинице он успел сравнить почерк, которым оно писано, с почерком собственноручного объяснения Довлетгельды. И хотя никакого сходства между ними не было, Абдуллаев считал, что автором анонимки был Довханов. «Проверю почерк жены и мальчишек», — думал участковый. Жена Довлетгельды работала в школе, там же учились его младшие братья. Родителям его Абдуллаев всецело доверял — «Они не пойдут ни на какие махинации».

Капитан был рад удобному случаю доказать ашхабадскому инспектору и керкинскому следователю, что он тоже кое-чего стоит. Когда ему приходилось работать самостоятельно, Абдуллаев чувствовал себя уверенно и становился очень деловитым. Если было необходимо, он в любую минуту готов был отправиться за тридевять зе-

мель, стучался в нужную дверь, не считаясь со своим временем. Явившись к чаю, участковый без лишних церемоний усаживался за достархан, если попадал на домашнее празднество — не отказывался от рюмки. Словом, он был своим человеком чуть не в каждом доме. Немало было случаев, когда он на правах старого знакомого восстанавливал мир и согласие в семьях, готовых разлететься, как одуванчик. Пиримкулы-ага мирил поссорившихся братьев, мирил соседей, мирил мальчишек, подравшихся на улице. Словно карета «Скорой помощи», участковый мгновенно появлялся там, где нужны были его рассудительность и власть.

Та мягкость и простота, за которую его ценили жители села, не особенно приветствовались начальством. Однажды Абдуллаев приехал в райцентр на совещание. Вышедший во двор начальник райотдела увидел кучу узлов в коляске мотоцикла участкового и, улыбаясь, спросил:

— Вы, товарищ капитан, не на той собрались?

Ожидавший одобрения Абдуллаев простодушно ответил:

— Это передачи родственников для находящихся под стражей. По пути захватил.

— Вот так участковый! — опешил начальник. — Возвратите все обратно и в дальнейшем не повторяйте подобных ошибок. Участковый должен карать, а не филантропствовать. Ваше мягкосердечие вредит вашему авторитету...

У Довхановых старому милиционеру сказали, что Довлетгельды уже неделю лежит в больнице после операции аппендицита. «Неделю?» — изумился Абдуллаев и с досадой подумал: «Завяз в этом следствии, а в селе хоть трава не расти — не знаю, где что делается».

Участковый поехал домой и за обедом обдумал план поисков. Первым делом он решил съездить к главному бухгалтеру колхоза, своему старому приятелю.

В правлении было тихо — председатель и почти все начальство разъехались по бригадам, в мастерские, в район. Только из кабинета главбуха слышалось постукивание счетов. Абдуллаев толкнул дверь и с порога поприветствовал маленького старичка с голой,

как тыква, головой, в массивных очках на плоском носу, едва видного за грудами бумаг на письменном столе:

— Здорово, тезка!

Старичок, не поднимая головы, глянул на него поверх очков:

— Здравствуй, дорогой, заходи. Сейчас закончу вот с этим отчетом и весь к твоим услугам.

Пощелкав с минуту на счетах, главбух снял очки и повернулся к гостю, который покойно устроился в кресле:

— Как здоровье, дорогой?

— Что мне сделается, я на свежем воздухе работаю. А вот ты, я смотрю, совсем зарылся в свои бумажки.

Поговорив о погоде, о видах на урожай, участковый достал из кармана анонимку и положил ее перед старичком:

— Вот зачем я пришел. Помоги найти автора этого письма. У тебя есть образцы почерка всех сельчан — заявления, другие документы.

Главбух, пробежав глазами письмо, сразу сообразил, что к чему.

— Есть кто-то на подозрении или искать по порядку?

Капитан, немного подумав, перечислил всех, кто был связан с делом. Старичок записал названные имена, откинулся на спинку стула.

— Приходи-ка завтра поутру, тезка, — увидев недовольство на лице приятеля, бухгалтер снова облокотился на стол. — Или это требуется срочно?

— Если бы не срочно...

— Ну ладно, что с тобой поделаешь.

Усевшись по обе стороны стола, они начали перебирать документы, которыми набит был целый шкаф. Сначала работа шла медленно — приходилось просмотреть не одну папку, прежде чем удавалось найти почерк одного из лиц, обозначенных в списке. Тогда главбух предложил сравнивать с письмом все документы подряд и «подозрительные» откладывать для более тщательного сопоставления.

Так, не вставая, тезки проработали до полуночи. Но поиски первого дня окончились безрезультатно — ни один из отложенных документов не был идентичен анонимке по почерку.

XVI

Оставшись один после отъезда Хаиткулы, Палта Ачилович заскучал. Еще вчера ему казалось, что ашхабадский следователь молод для такого ответственного дела и что он, Ачилов, в одиночку скорее справился бы со следствием. Но теперь им овладело непонятное безразличие, и весь первый день он провел в гостинице, перебирая собранные материалы.

На следующее утро Палта Ачилович приказал себе: «Хватит хандрить» — и, взяв папку, отправился к Худайберды Ялкабову.

Он шел задумавшись и не заметил, как из переулка появился прямо перед ним Най-мираб:

— Как успехи, товарищ начальник? Хаиткулы Мовлямбердыевич собирался в Ашхабад — уехал?

— Уехал, яшулы, — следователь оставил первый вопрос без ответа и, чтобы поскорей отвязаться от старика, спросил: — Дом Ялкабова где-то здесь поблизости?

Най-мираб показал дом Худайберды и, попрощавшись, пошел своей дорогой. Но следователь окликнул его:

— Подожди, яшулы. Где живет ближайший мясник?

— Пройдешь дом Ялкабовых и метров через сто увидишь двор Сапбы-мясника, у него забор на метр выше, чем у соседей.

Палта Ачилович внезапно изменил свои планы и, вместо того чтобы идти к Ялкабовым, отправился к Сапбы. С ним он имел длинный разговор, после чего вернулся в гостиницу в приподнятом настроении. Он уселся в саду под сплетением виноградных лоз и задумался.

Невесть откуда взявшийся подслеповатый старик смотритель гостиницы со стуком поставил на стол чайник и пиалу. Мысли следователя спутались, он с досадой посмотрел на старца:

— Так, отец, и напугать недолго. Ты бы хоть предупреждал о своем появлении, а то вырастаешь как из-под земли.

Старик почтительно слушал Палту Ачиловича, не произнося ни слова. Следователю показался подозрительным этот молчаливый вездесущий человечек: то вынырнет из кустов, когда они с Хаиткулы обсуждают

дела, то, едва стукнув в дверь, появится в комнате в момент разговора с Ашхабадом или Керки. Теперь Ачилов решил заняться стариком:

— Присядь-ка, яшулы, есть к тебе пара вопросов.

Старик скромно опустился на край стула.

— Кто твои родственники?

— Кому нужен старый Иса, один он на свете, — старик встал.

— Сиди-сиди... А что ты можешь сказать о Худайберды Ялкабове?

— Знаю его, знал отца...

— А кроме этого, что знаешь?

— Хорошие люди, — нехотя ответил старик и, достав из кармана широченных бязевых шаровар табакерку, заложил под язык щепотку наса.

Поняв, что старик не хочет говорить, Палта Ачилович отпустил его, но подумал: «Не простой дед».

XVII

Хаиткулы вернулся из Ашхабада на четвертый день. Войдя в номер и поздоровавшись с товарищем, он сейчас же достал из портфеля лист бумаги, положил его на стол перед Палтой Ачиловичем и торжественно сказал:

— Читайте вслух, — с довольной улыбкой подмигнул Абдуллаеву. — Кое-что проясняется, Пиримкулы-ага.

Ачилов надел очки и прочел следующее:

— «Заключение графической экспертизы.

Я, эксперт научно-технической экспертизы республиканского Министерства внутренних дел, Ходжакгаев Ходжагельды, провел графическую экспертизу записей на обороте двух фотографий Бекджана Веллекова. Экспертизой установлено:

1

На фотографии более раннего периода имеется запись «На память другу Худайберды от Бекджана. 1956 год, октябрь», а на более поздней фотографии: «С пожеланием быть верными друг другу до конца. Бекджан. 2.III.1958 г.». Обе записи написаны авторучкой, синими чернилами.

2

Обе надписи сделаны одним и тем же человеком. В надписи на первой фотографии нет никаких исправлений. На второй фотографии в дате, указывающей время надписания, третья палочка в римской цифре III, обозначающей месяц, подписана несколько месяцев спустя после первоначальной записи. Эта палочка отличается от двух других также способом нажима. Таким образом, настоящая дата надписания второй фотографии — 2.II.1958 г.

Криминалист-эксперт графики Х. Ходжакгаев:»

— Значит, мы не ошиблись! — Палта Ачилович весь сиял. — Значит, мы на верном пути!

— Конечно, подделка Ялкабовым надписи Бекджана в свою пользу, его путаные показания... — Хаиткулы не договорил и обратился к другой теме: — В Ашхабаде я навел справки о дочери Най-мираба Назли. Она работает с мужем в Афганистане. Я говорил с ней по телефону. И тут... выяснилось, что Назли и Бекджан любили друг друга...

— Вот это новости! — восхищенно вскричал Ачилов.

— А что у вас? Пиримкулы-ага, как дела с анонимкой?

— Письмо написал Най-мираб.

Следователи не поверили своим ушам. После долгого молчания Хаиткулы сказал:

— Да, дело может принять совсем другой оборот...

Теперь была очередь Палты Ачиловича изложить результаты своих изысканий. Он снял очки и, протерев их белым платком, убрал в футляр.

— Я выяснял, была ли у Ялкабова необходимость обращаться к Гуйч-ага с просьбой зарезать барана.

Палта Ачилович уверял, что такой необходимости у Худайберды не было, поскольку живущий поблизости Сапбы Сапаров, мясник, всегда был в хороших отношениях с Худайберды. Сапбы заявил следователю: «Не пойму, почему он не позвал меня. Я ведь и раньше, бывало, резал ему баранов».

— Ну что же, — подытожил Хаиткулы. — Поработали мы неплохо. Какова, Палта Ачилович, ваша версия событий, связанных с исчезновением Бекджана?

— Все ясно как день, Бекджан с Худайберды были друзьями. Это факт? Факт. Худайберды женится на Назли, а Бекджан не приходит к нему на свадьбу. Это тоже факт. Раньше я основывался на показаниях матери Ялкабова, а теперь нам и вовсе ясно, что Худайберды женился на девушке, любимой Бекджаном. Но... она не оправдала его ожиданий. У них с Бекджаном было... — он щелкнул пальцами и откашлялся. — И вот Ялкабов отправляет ее домой. После этой ночи в его сердце бушует огонь ненависти к Бекджану. Ненависть становится с каждым днем все сильнее, и третьего марта Худайберды успокаивает свое сердце. Остальное тоже просто. Убийца подделывает надпись на фотографии, подаренной Бекджаном Назли. Первое следствие, может быть, поэтому и закончилось безрезультатно. Это «2.III» вместо «2.II» охраняло его, как щит... История с Гуйч-ага тоже понятна: старик понадобился Ялкабову не за тем, чтобы зарезать барана, а для того, чтобы оставить Бекджана в одиночестве. А Бекджан не подошел к нему не потому, что рядом стоял Довханов, — он не хотел видеть своего врага... По-моему, следует взять Ялкабова под стражу. Немедленно.

— Очень правдоподобно... — начал Хаиткулы. — Но факт любви Бекджана и Назли, да еще установление автора анонимки поворачивают все в другую сторону...

— В какую сторону? Най-мираб хочет отомстить Худайберды за то, что тот выгнал его дочь.

— Когда мы говорили с ним об этом, — вмешался участковый, — он не ругал Ялкабова, а винил только себя.

— Прикидывается, старый хрыч! — уверенно заявил Ачилов. — Предложите мне другую версию, дорогой Хаиткулы Мовлямбердыевич?

— Я пока не могу выдвинуть стройной версии, но интуиция подсказывает мне другой путь, — отозвался Хаиткулы. — Давайте договоримся, что я буду действовать в этом направлении в одиночку, чтобы не занимать вас, может статься, пустой работой. Когда я приду к определенным выводам, я ознакомлю вас с ними.

Выслушав Хаиткулы, Палта Ачилович и участковый согласились с его предложением. Ашхабадский инспек-

тор отправился вместе с Абдуллаевым в Керки и уже вечером в присутствии понятых предъявил Худайберды Ялкабову ордер на арест, подписанный прокурором города Керки. Ему велели заложить руки за спину и под конвоем двух милиционеров провели к гостинице, где посадили в машину.

Пришедший незадолго перед тем по вызову следователя Най-мираб, увидев «черный ворон», остолбенело остановился, но, когда он заметил Худайберды, понуро шагающего впереди конвоиров, лицо его прояснилось, и мираб, изобразив на лице глубокое восхищение, поздравил Хаиткулы:

— Молодцы! Вот это работа!.. Да, от правосудия не уйдешь, особенно если им руководят умные люди.

XVIII

Палта Ачилович поправил и без того безукоризненно ровную стопку бланков на столе, включил магнитофон и по-приятельски подмигнул Худайберды:

— Так кого же любил Бекджан? Может быть, вы теперь припомните?

Ялкабов сидел будто одеревеневший. Вопросы следователя доносились до него словно откуда-то издалека. Отвечал односложно:

— Нет, не знаю.

— А вы кого любили, земляк?

— Назли.

— А Назли кого любила?

— Не знаю.

— Тогда постарайтесь припомнить точно, кто и когда вручил вам эту фотографию.

— Бекджан, второго марта пятьдесят восьмого года.

— Где?

— У себя дома, — Худайберды сбросил с себя оцепенение и со злостью глянул в веселые глаза Палты Ачиловича. — Что вы, забыли, что ли?! Не люблю повторяться.

— А я люблю. Прошу извинения за эту слабость... Бекджан знал о ваших чувствах к Назли?

— Раньше.

— Так-так. Раньше знал... Ну, хорошо. А что вы можете сообщить по этому предмету? — Следователь

достал из ящика стола фотографию Бекджана, взятую из альбома Ялкабова, и заключение экспертизы. Подержав их в руке, словно желая определить вес, он бросил их на стол перед допрашиваемым. — Прочтите.

Худайберды хмуро прочел заключение и, ничуть не смутившись, устало сказал:

— По глупости сделал — чтобы не таскали лишний раз.

Палта Ачилович, склонив голову набок, поигрывал пальцами на животе. Он не ожидал такого спокойного ответа. Но хотя признание Худайберды не имело почти никакого значения, следователь заговорил с воодушевлением, словно добился большой удачи:

— Храбрец предпочтет умереть, чем говорить неправду. Когда я встретился с вами впервые, у меня не осталось от вас приятного впечатления. Теперь вы начинаете мне нравиться. Вы поступаете правильно — кто признается, тот выигрывает. Правосудию нужна истина. А правда порождает гуманность... Итак, надпись на карточке вы переправили с «2 февраля» на «3 марта»?

— Да.

— А кому предназначалась эта фотография?

— Назли.

— Как же она попала к вам?

— Когда мы поженились, Назли принесла ее с собой в наш дом... И я у нее забрал...

— А теперь объясните мне, почему третьего марта вы позвали Гуйч-ага зарезать барана. Мне кажется странным, что такой сильный молодой человек, как вы, не мог сам этого сделать. Сельские парни сплошь и рядом владеют этим искусством.

— Скотину должен резать мясник, таков обычай.

— Неподалеку от вас живет мясник.

— Я не попросил зарезать барана Сапбы-ага, а пригласил Гуйч-ага, потому что у нашего соседа, как говорится, не сладкая рука.

— Хорошо, согласимся... То, что у вас не получилась супружеская жизнь с Назли, очень печально. Я хотел бы узнать...

Глаза Худайберды совсем сузились, он весь напрягся и сжал кулаки. Палта Ачилович с опаской поглядел на него и приоткрыл ящик стола, где лежал пистолет.

— Не надо волноваться, земляк. Мной движет не праздное любопытство, — следователь осторожно поднялся со стула и прислонился спиной к стене. — По слухам, вы на второй день выгнали Назли из дому. После того, как столько денег было брошено на свадьбу... в ярости человек может пойти на все.

— Хватит! — Голос Ялкабова был так тих, что Палта Ачилович сначала не понял, что сказал Худайберды. Но гневный взгляд допрашиваемого, поза яснее слов говорили о его чувствах.

Ачилов закурил и снова уселся в кресло. Миролюбиво поглядывая на Ялкабова, он не спеша пускал к потолку струйки дыма, ожидая, пока Худайберды успокоится. Наконец, он раздавил окурок в пепельнице и, скрестив на груди руки, продолжал:

— Так, значит, это неправда, что вы ее выгнали?

— Неправда! — крикнул Худайберды. — Она сама ушла.

— Вот как? — недоверчиво улыбнулся следователь.

— Сама!.. Я не знал об отношении Назли ко мне. Я думал, она согласна выйти замуж. Кое-кто из ребят говорил мне, что она меня не любит, но убедить меня было невозможно... Когда мы в ту ночь остались вдвоем, она сказала: «Худайберды, я тебя не люблю... Может быть, ты самый хороший человек на свете, но...» — Он отвернулся и с минуту молчал. — Она сказала: «У нас не будет счастья. Я вышла за тебя против своей воли... Не разбивай моего счастья — не будешь несчастлив сам». Я говорил ей... говорил все, что может сказать человек в подобных обстоятельствах. Помню, я сказал в конце концов: «Но подумай, что скажут люди! Не поздно ли теперь?»

— Она не сказала, кого любит?

— Нет... Я понял это по надписи на фотографии...

— Почему же вы не поговорили с девушкой до тоя?

— Думал, все само собой образуется.

— А почему вы после этого не женились, земляк?

— Не могу забыть Назли... Та ночь стоит у меня перед глазами.

— Ты говоришь искренне. Но видишь ли... у нас есть подозрение...

Худайберды резко дернулся к столу и закричал:

— Бекджана убил я, я!

Голос его, очевидно, слышен был и в коридоре, потому что секунду спустя дверь отворилась, и в кабинет заглянул дежурный милиционер. Палта Ачилович кивнул на Ялкабова и приказал:

— Уведите.

XIX

Хотя Ачилов торжествовал победу, Хаиткулы совсем не разделял его воодушевления. Худайберды не хотел больше отвечать ни на какие вопросы, и Палта Ачилович, решив дать ему поразмыслить, готовился к дальнейшим допросам.

Было уже совсем тепло, а к полудню солнце так накаляло землю и воздух, что следователи поспешно складывали дела в стол и бежали на арык купаться.

В один из таких дней, когда они оба лежали на берегу под раскидистым алычовым деревом, Палта Ачилович решил уколоть своего коллегу:

— Как я погляжу, Хаиткулы Мовлямбердыевич, вам мало одного убийцы. Вам хочется найти еще парочку.

Он намекал на постоянные разъезды ашхабадского инспектора и поиски каких-то новых свидетелей.

— То, что Ялкабов признал себя убийцей, ровным счетом ничего не доказывает... — откликнулся Хаиткулы.

— Не доказывает?! — заволновался Ачилов. — Вы начитались плохих детективов! В моей практике не было случая, чтобы кто-нибудь из обвиняемых возводил на себя напраслину. То, что Худайберды признался, — моя заслуга. Я припер его к стене. За истину мы ведем бой, и бой этот происходит между следователем и подозреваемым. И плох тот следователь, который не сможет разбить аргументы обвиняемого!

Палта Ачилович поднялся и вразвалку побежал к арыку, похлопывая себя по ляжкам.

— Скоро мы узнаем, кто прав. Вы, Хаиткулы Мовлямбердыевич, парите в воздухе на крыльях университетской теории. Подождите, перевалит вам

за сорок, наберетесь опыту, спуститесь на грешную землю, вот тогда вспомните меня, — Ачилов бросился в воду.

Хаиткулы усмехнулся, но ничего не ответил.

Вечером того же дня Ачилов уехал в Халач на выходные дни, а Хаиткулы, оставшись один, провел остаток вечера за разбором бумаг и писанием писем.

В субботу он проснулся позднее обычного и, поплескавшись под умывальником, собрался идти в столовую. В коридоре ему встретился старик-смотритель с миской кислого молока и стопкой лепешек в руках

— Покушайте, сынок, нашего крестьянского, — и он протянул Хаиткулы миску и лепешки. — А то так и уедете, не попробовав, все в столовую да в столовую... Вы ведь скоро уезжаете, дела все закончили? — старик выжидающе смотрел на следователя.

— Скоро, яшулы, скоро. А дела еще не все, — Хаиткулы улыбнулся и отстранил протянутую снедь. — Я привык поплотнее завтракать. Спасибо за заботу.

Полчаса спустя, когда следователь, укрывшись в тени сада от немилосердно жгучего солнца, перелистывал свои бумаги, почтальон принес телеграмму от Марал о сдаче экзаменов. Хаиткулы сходил на почту и отправил ей поздравление. Возвращаясь назад, он нос к носу столкнулся с отцом Бекджана.

Они давно не виделись. Веллек-ага, смотревший на следствие как на пустую трату времени, способную только растравить старые раны, не интересовался делами Хаиткулы, который жил в селе уже третий месяц. Зная характер старика и его взгляды, следователи обращались за всем их интересующим к матери Бекджана.

Старик, поднявший голову на приветствие, узнал инспектора и остановился. Поздоровавшись, он сказал, что идет на почту послать телеграмму дочери. Веллек-ага посетовал, что забыл дома очки. Хаиткулы вызвался написать что нужно. Телеграмма гласила: «Той Корпе двадцать седьмого. Обязательно приезжай. Отец».

«Если Марал поспешит на той, то через четыре дня

она будет здесь!» У Хаиткулы словно крылья выросли, и, вместо того чтобы идти в гостиницу, он стремительно зашагал по дороге. Побродив по степи, он вернулся в поселок и бесцельно гулял по улицам. «Она будет у родителей. Под каким предлогом мы сможем увидеться? Может быть, сразу все сказать им?..» Такие мысли вспыхивали в его сознании, но тут же отступали перед главным: «Скоро я увижу Марал!»

Они давно не писали друг другу, не говорили по телефону, и это, помимо их воли доставляло молодым людям немало огорчений. Марал не писала Хаиткулы, чтобы не отрывать его от работы.

В тот же вечер Хаиткулы позвонил в Ашхабад. Как только Марал подошла к телефону, он заявил ей:

— Ты непременно должна быть на тое, независимо от того, получишь диплом или нет.

Марал не на шутку забеспокоилась:

— Что-нибудь случилось?

— Ничего. Но ведь решается судьба Корпе, твоей сестры. Ты должна быть! И вообще... я хочу, чтобы ты приехала.

Марал рассмеялась.

— Завтра возьму билет на утренний рейс. До скорого свидания.

Хаиткулы встретил Марал в аэропорту и в ответ на просьбу девушки объяснить, почему он торопил ее с приездом, сказал:

— Через три дня будет той... Скажи, Марал, твоя сестра Корпе любит своего будущего мужа или она выходит за него по воле родителей?

Она недоуменно пожала плечами:

— Только затем и вызывал? Ты бы мог сам спросить ее, — с лица Марал сбежала улыбка, и она досадливо отвернулась.

— Марал, милая, конечно, не за этим... Потерпи еще три дня, и я скажу тебе истинную причину. Только три дня, и ты все узнаешь, — Хаиткулы замялся. — Вообще все это связано со следствием, все зависит от его исхода...

Он проводил ее домой и договорился встретиться с ней вечером в кино.

XX

В туркменских кишлаках, прежде чем затеять той, устраивают за день-два генеш — совет старейшин и самых уважаемых людей. Сюда приглашаются также те, кто будет обслуживать гостей на тое. Комнаты в доме Най-мираба, празднично убранные, были сейчас в распоряжении собравшихся на генеш.

Хозяин тоя Най-мираб часто выглядывал из окна — он ожидал прихода Хаиткулы и его товарищей. Они вошли в калитку в точно назначенное время. Не увидев среди них Ачилова, мираб обиженно спросил:

— Мы с Палтой Ачиловичем как будто не ссорились, или он нездоров?

Когда Хаиткулы ответил, что он уехал в Керки к семье, хозяин добродушно закивал:

— А, это дело хорошее. Перво-наперво семья, а все остальное потом.

Усадив пришедших на почетные места, Най-мираб представил их собравшимся:

— Пиримкулы-милисе свой человек. А этот молодой человек — ашхабадский следователь Хаиткулы Мовлямбердыевич, который раскрыл уголовное дело десятилетней давности, может, слышали?

Конечно, о том, что ведется следствие и что Худайберды вот уже несколько дней находится под стражей, было известно всем. Но кто именно руководит расследованием, знал не каждый. Так как люди относились к этому факту неодинаково, множество глаз смотрело на Хаиткулы с разным выражением: дружески, холодно, отчужденно.

Инспектор почувствовал себя неловко, но, не показывая вида, принялся пить чай. «Вот сейчас посыплются вопросы». И действительно, грузный старик в красном шелковом халате подал голос:

— Послушай, сынок, мы люди сельские, в законах не смыслим. Но я слышал, власти прощают того, кто десять лет скрывался и не попал в руки правосудия, — аксакал вопросительно посмотрел на следователя.

— Нет, яшулы, это неверно. Закон не может оставлять безнаказанным преступника только потому, что он доказал свою ловкость, скрываясь десять лет.

Старик одобрительно кивнул.

Другой аксакал, медленно оглядев всех собравшихся, снял шапку и положил ее себе на колени:

— А теперь поговорим о завтрашнем деле.

Обсуждение затянулось дотемна: выяснили, кто сможет прийти, кто будет копать очаги для котлов, кто займется дровами, кто будет готовить. После угощения народ стал расходиться с пожеланиями мира и благополучия семейству Най-мираба.

Среди прочих должны были прийти на помощь Пиримкулы Абдуллаев, Салаетдин, а также комсомольцы, которых парторганизация колхоза отрядила в помощь следствию.

* * *

Едва Хаиткулы переступил порог номера, как затрезвонил телефон. Сняв трубку, инспектор услышал голос Палты Ачиловича:

— Коллега, вы еще не собираетесь отходить ко сну?

— Пока нет, — Хаиткулы взглянул на часы. — Еще не так поздно.

— Я тоже так думаю. Надо обсудить кое-какие вопросы... Звоню вам из прокуратуры — полдня просидел у себя в кабинете, все ломал голову над этим Ялкабовым. Ходил в тюрьму, говорил с ним... Короче, я теперь разделяю ваше мнение о его невиновности. И вот почему...

— Кстати, Палта Ачилович, — прервал его инспектор, — как он себя чувствует в заключении? Вы хоть объяснили ему, что больше не подозреваете его?

— Не только объяснил, — усмехнулся Ачилов. — Я освободил его из-под стражи и велел ехать домой...

— Что?! — вскричал Хаиткулы. — Когда это было?!

— Не очень давно, но, думаю, он мог уже добраться в Сурху, — растерянно отвечал следователь.

— Палта Ачилович, Худайберды не должен попасть в поселок! Задержите его всеми возможными средствами! Я сию минуту тоже лечу ему наперехват. Все объясню потом, — и, бросив трубку, Хаиткулы выбежал из гостиницы.

Он ворвался к Пиримкулы Абдуллаеву, который было прилег на кошму с газетой в руках:

— Где мотоцикл?! Срочно еду в Керки.

— Зачем одному на ночь глядя? Вдвоем сподручней, — с этими словами старый милиционер встал и, надев френч и сапоги, отправился во двор к мотоциклу.

XXI

Худайберды сильно оброс, пока сидел в КПЗ. Поэтому он не решился приехать домой в таком виде и, прежде чем идти на автостанцию, завернул в парикмахерскую.

Очередь была небольшая, но каждый клиент подолгу сидел у единственного мастера, пока не обсудит с ним все новости. Так что Худайберды потерял на ожидание своей очереди больше часа. Когда наконец он уселся в кресло, старик парикмахер шутливо посетовал:

— Э, братец, если все наши клиенты будут отращивать такую щетину, нам придется помирать с голоду...

— В наше время никто с голоду не умер, — в тон ему ответил Худайберды. — А если у тебя слишком хороший аппетит, то придется менять профессию.

— Легко тебе говорить, земляк, — с улыбкой вздохнул мастер. — В моем возрасте менять профессию — все равно что беззубому кость обгрызать.

Худайберды весело смотрел в зеркало, радуясь неожиданной свободе, покою, установившемуся на душе. Вдруг лицо его побледнело, весь он обмяк: в зеркале отразились сурхинский участковый и молодой следователь. Хаиткулы жестами показал Ялкабову, что он может добриться, и уселся на один из стульев.

Когда они втроем вышли из парикмахерской, первое, что увидел Худайберды, была милицейская машина. Он безропотно влез в открытую дверь и тяжко вздохнул на заднем сиденье.

Хаиткулы, усевшись рядом, взял его за плечо:

— Не хмурься. Ничего страшного не случилось. Никто не собирается тебя судить... Но, прошу тебя, в интересах следствия... не езди домой еще три дня. Надо, чтобы настоящий преступник ни о чем не подозревал.

Ялкабов доверчиво взглянул на инспектора:

— Я согласен... Мне тоже хочется, чтобы убийцу нашли. Я поеду к дяде в Джиликуль.

— Куда угодно. Но никто не должен знать, что тебя освободили.

Велев Салаетдину отвезти Ялкабова на автостанцию, следователи отправились ужинать к Палте Ачиловичу.

Когда немного подкрепились и жена Ачилова подала чай, Хаиткулы откинулся на подушку и начал:

— Итак, в последнее время мы вели следствие как бы раздельно, по двум направлениям — вы занимались Ялкабовым, а я... Но теперь, кажется, осталась только одна версия.

— Так, земляк, — кивнул Ачилов.

— Одна дорога привела нас к глухой стене, о которую мы стукнулись лбами, а другая — свободна для нас. Теперь я кое-что сообщу вам... Но для полноты картины недостает еще самой малости, и поэтому я сегодня же вылечу в Ашхабад, а завтра-послезавтра вернусь.

— Тогда вам надо поторопиться, — сказал Палта Ачилович. — Последний самолет в десять.

— У нас еще полчаса, — взглянув на часы, ответил Хаиткулы.

И все оставшееся время он выкладывал коллеге результаты своих поисков за последние дни. Проводив его до двери, Ачилов положил ему на плечо руку и сказал:

— Это прекрасная операция, Хаиткулы Мовлямбердыевич; вы настоящий Шерлок Холмс. Без кавычек.

XXII

Наутро, когда Хаиткулы пришел в министерство, Ходжа Назаров был в мрачном настроении. Ему вспомнился вчерашний неприятный разговор с женой, и он никак не мог сосредоточиться на текущих делах.

— А, дорогой наш сыщик! Как делишки? — узнав вошедшего инспектора, расплылся в улыбке Назаров.

— Осталось побеседовать с одним человеком, неким Лопбыкулы Таррыховым, и можно брать убийцу.

— Убийцу? Да вы ведь уже его арестовали...

— Мы арестовали другого, но наши подозрения не подтвердились. Теперь настоящий преступник у нас в руках. Завтра кончаем дело.

— Отлично! — Назаров вышел из-за стола и, взяв Хаиткулы за плечи, усадил его в кресло. — Вы исправили мою ошибку... Молодец! Теперь можно оставить дело местным органам милиции и прокуратуры.

— Нет, я должен довести дело до конца, — твердо ответил Хаиткулы. — С генералом согласовано.

— Ну что ж, прекрасно, — согласился Назаров. — Вы поддержали авторитет отдела. Мы работаем в коллективе, и всякая удача одного — удача для отдела.

Через час Хаиткулы вместе с другом Аннамаммедом был уже в исправительно-трудовой колонии. Конвоир привел Таррыхова в кабинет начальника колонии, где расположились следователи.

Лопбыкулы исподлобья кинул взгляд на Хаиткулы и сразу узнал его.

Хаиткулы предложил заключенному сесть и сразу перешел к делу.

— Один ваш знакомый написал вам письмо. Но он не знал, что вы в колонии, и послал его на дом. Я приехал зачитать вам несколько строк из этого письма, представляющих, так сказать, взаимный интерес. Вот послушайте: «Лопбыкулы-хан, как здоровье? Как успехи по работе? Здесь все по-старому, кроме одной неприятной вещи... Беда, кажется, обошла нас стороной, но на всякий случай будь осторожнее на язык... Мы оба связаны одной веревочкой. Одинаково виноваты и тот, кто сделал дело, и тот, кто не сообщил об этом...» Что вы на это скажете?

Невозмутимость Таррыхова как рукой сняло:

— Врет он, врет! Я виноват, что промолчал, но я... я от него зависел. Он когда-то был завмагом, а я продавцом, ну, кое-какие грехи за мной были... Он убил, он... А я не виноват ни в чем, просто я боялся его...

XXIII

Най-мираб заканчивал приготовления к тою — ямы для очагов были уже вырыты, бараны зарезаны и разделаны. Оставалось только накрыть столы и расставить

посуду. Най-мираб распорядился начать варить шурпу и плов.

Скоро должны были прийти первые гости, и в их числе Веллек-ага со своими домочадцами, дочь которого — Корпе — была виновницей сегодняшнего тоя. А женихом — племянник Най-мираба. Приятно мирабу породниться с родом Веллек-ага. Скромную, трудолюбивую дочку воспитал он. Ради большого дела ничего не жалко.

Най-мираб расхаживал по двору в стеганом халате и подкручивал свои вислые усы.

Он вошел в дом и, со вздохом присев на кошму, сказал:

— Ну-ка, старуха, подай мне чаю — что-то жарко сегодня.

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге вырос участковый Абдуллаев. Най-мираб, решив, что капитан решил пораньше прийти на той, с широкой улыбкой указал ему место возле себя:

— Садись, земляк, попьем чайку, поболтаем, пока никого нет.

— В другой раз поболтаем, — ответил участковый. — Сегодня, видишь ли, Хаиткулы Мовлямбердыевич и Палта Ачилович уезжают. Я тоже поеду с ними. Вот мы и заскочили с тобой попрощаться... Они сейчас придут из машины.

Най-мираб огорченно покачал головой:

— Что за спешка, Пиримкулы-хан? Посидели бы на тое, а завтра утром отправились.

В дверях появились Хаиткулы, Ачилов и Салаетдин. Най-мираб встал и поспешил им навстречу, приговаривая:

— Не понимаю. куда так торопитесь. Самые желанные гости — и уезжают. Почему не подождать еще день?!

— Ничего не поделаешь — работа прежде всего, — ответил за всех Хаиткулы.

— Ну тогда на прощание хоть чайку попейте да закусите чем бог послал.

— Чаю — это можно. А потом и в машину...

Най-мираб усадил рядом с собой Палту Ачиловича и Хаиткулы. Налив всем гостям чаю и подвинув сахар и сласти, спросил:

— Так что, конец следствию?

— Да, Най-мираб, следствие закончено. Правда, мы ошиблись сначала, заподозрив и арестовав Худайберды Ялкабова... Бекджана убил другой.

Най-мираб резко повернулся к Хаиткулы:

— Кто же он?

— Вы знаете его... Этого человека зовут Най-мираб.

Вислоусый оцепенел. Пиримкулы Абдуллаев поднялся со своего места и, достав из кармана наручники, строго сказал:

— А ну, руки!

Най-мираб, зачарованно глядя на блестящие обручи наручников, медленно протянул руки. Щелкнули замки, и Салаетдин с участковым повели старика к машине.

Хаиткулы вышел на двор и махнул сидевшим в другой машине людям в штатском. Затем поставил у ворот постового и повел подошедших экспертов в сад.

— Начинайте, — сказал он двум молодым людям и показал на землю между раскидистых старых яблонь.

Молодые люди взялись за лопаты, и вскоре возле прямоугольной ямы вырос холмик свежей земли.

— Осторожней, — предупредил инспектор, когда работавшие углубились на полметра.

Скоро лопата одного из копавших ударилась обо что-то, и Хаиткулы сказал:

— Вылезайте, теперь очередь специалистов.

Двое экспертов соскочили в яму и тщательно стали убирать землю вокруг показавшейся бедренной кости человека.

Маленький юркий фотограф забегал то с той, то с другой стороны могилы и щелкал аппаратом, один из экспертов делал обмеры скелета, второй записывал в блокнот результаты.

Понадобилось около трех часов, чтобы закончить работу. Было уже темно, когда машины, освещая дорогу фарами, тронулись в путь. Их провожала возбужденная толпа, в которой Хаиткулы заметил Веллек-ага и Марал. Он велел остановиться и, подозвав девушку, сказал:

— Марал, не волнуйся так сильно, я вижу, у тебя глаза заплаканы... Не надо, пойди лучше успокой родителей и сестру... Завтра я вернусь и все расскажу. Жди меня в парке в час.

XXIV

На следующее утро в кабинете начальника Керкинской милиции сидели трое: за письменным столом — хозяин кабинета, в глубоком кожаном кресле Палта Ачилович, на диване поодаль — ашхабадский инспектор. Они обсуждали последние дела, которые местным органам следовало завершить по отъезде Хаиткулы. Когда все было обговорено, Ачилов спросил:

— Ну что, пусть приведут Най-мираба?

— Конечно, — в один голос сказали начальник милиции и Хаиткулы.

Через несколько минут конвоир ввел в кабинет ссутулившегося, почерневшего убийцу. Видимо, он провел бессонную ночь — под глазами у него висели мешки, которых раньше Хаиткулы не замечал.

Инспектор заговорил первым:

— Мы вызвали вас не для допроса. Допросы будут потом. А так как я завтра улетаю в Ашхабад, мне хотелось бы рассказать вам, каким образом мы вели следствие и как наконец добрались до вас. Вам, наверное, будет интересно узнать об этом?

Най-мираб мрачно кивнул.

— Итак, в начале следствия в центре нашего внимания был Довлетгельды Довханов — кое-что наводило нас на мысль, что виновником смерти Бекджана мог быть он... Но такое подозрение вскоре отпало, да, кроме того, появился более достоверный «кандидат в убийцы» — Худайберды Ялкабов. Кстати, за два дня до вас он сидел в той же камере, где сегодня ночевали вы. И знаете почему мы его заподозрили — он подделал надпись на фотографии Бекджана, подаренной им вашей дочери. Кроме того, он попросил зарезать барана не своего соседа, а того именно мясника, с которым возвращался с вечеринки Бекджан. Худайберды утверждал, что у соседа рука тяжелая, и это оказалось правдой. Он утверждал, что подделал фотографию со страху, и это тоже правда. Но самое главное — у Худайберды была действительная причина желать смерти Бекджана: Назли любила этого паренька и потому не стала женой Ялкабова...

Но тут вы сами помогли Худайберды избавиться от наших подозрений. Вы написали анонимку, в которой советовали не упустить его. Мне стало ясно, что есть чело-

век, который по какой-то причине желает устранения Худайберды, а может быть, хочет навести нас на ложный след. Первым, кто пришел мне на ум, были вы: у вас имелись основания желать зла Ялкабову, который опозорил вас, «выгнав» Назли. Когда я поговорил после этого с вами и не услышал ни слова осуждения в его адрес, я еще больше укрепился в своем подозрении: как бы ни был добр человек, он все-таки должен чувствовать обиду, хотя бы и необоснованную, на того, кто явился причиной его позора. Да и сам тон вашего самобичевания показался мне неискренним... А потом Пиримкулы Абдуллаевич подтвердил мою догадку, установив ваше авторство по почерку, хотя вы и накорябали письмо левой рукой.

Вы сказали тогда, что не знали о любви вашей дочери к кому-либо. Но через день после этого я долго говорил с Назли по телефону, и она сказала мне, что вы не только знали о ее любви к Бекджану, но и силой заставили выйти замуж за нелюбимого человека. Итак, мне стало ясно, что у Бекджана был еще один враг — скрытый, отец любимой им девушки.

Тот факт, что по дороге домой Бекджан должен был идти мимо вашего дома, еще больше укрепил мои подозрения.

Когда было принято решение об аресте Ялкабова, я настоял, чтобы мы превратили арест в маленькое представление, а для этого провели Худайберды под конвоем по поселку. Вас я вызвал в гостиницу немного раньше и из окна наблюдал за вашей реакцией: сначала испуг при виде машины с зарешеченным окошком, а потом — радость при виде арестованного Ялкабова. Это почти полностью уверило меня в том, что истинный преступник — вы.

Тот факт, что старик дежурный в гостинице оказался вашим родичем и по вашей просьбе постоянно подслушивал наши разговоры, выяснился позже и ничего уже не менял. Нам нужны были точные доказательства. Они нашлись бы, может быть, но не так скоро, если бы вы опять не поспешили на помощь: вы послали письмо Таррыхову, заклиная его молчать...

Таррыхов-то все и рассказал: и то, как вы зазвали Бекджана во двор, и то, как подпаивали его водкой, и то, как зачем-то увели его в сад. Таррыхова вы напоили заранее — вы знали по опыту работы с ним его слабо-

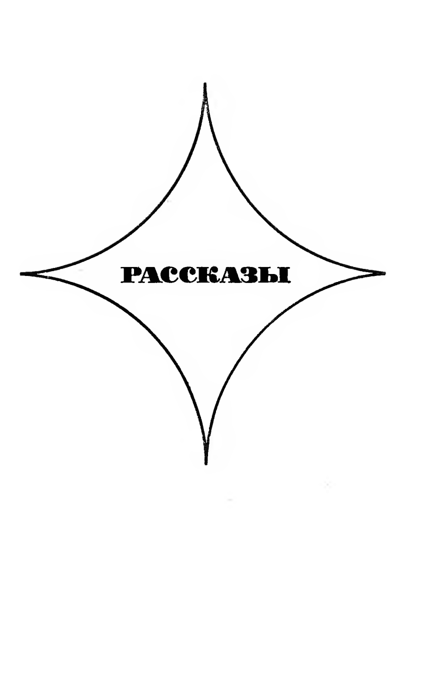
волие и то, что под хмельком он на все согласен. Вы убили Бекджана, а потом позвали Лопбыкулы и с его помощью закопали тело. Таррыхов согласился молчать, так как вы могли шантажировать его, зная многочисленные случаи его мелких покраж со склада и из магазина. А потом вы помогли ему перебраться в Ашхабад... Но память у него оказалась хорошая — Лопбыкулы даже точно указал нам место захоронения Бекджана.

Пока Хаиткулы говорил, Най-мираб сидел, обхватив голову руками, и мерно раскачивался. Не сказал он ни слова и тогда, когда следователь умолк. Вошел милиционер и жестом приказал мирабу идти из кабинета. Старик, еще сильнее сутулясь, шаркая ногами, пошел к двери.

* * *

Полчаса спустя Хаиткулы мчался на мотоцикле в Сурху. Он думал о том, что не раз еще ему предстоит ехать этой степной дорогой — уже не по делам следствия, а в гости к Веллек-ага и тете Хаджат. Ехать вместе с Марал.

Перевод с туркменского С. ПЛЕХАНОВА


РАССКАЗЫ



Анатолий ШАВКУТА

Коля Большой и Коля Маленький

Коля Большой работал когда-то поваром. Он был молод, хотел увндеть другие края. Наскучила ему его работа, решил он уйти на моитаж.

Сила у Колн была богатырская.

Невозможио, конечио, поверить, но вдвоем со слесарем Димой Малнком ои двеиадцатндюймовую трубу на плечах переиосил. Причем Коля сначала укладывал один коиец трубы иа плечо Диме Малику и лишь затем шел к другому концу, лежащему иа земле, н подиимал его. Все так и ахали: метр трубы весит сорок пять килограммов, а в длниу она шесть-семь метров. Попробуй ее подними!

Пятаки Коля гиул без усилия. Возьмет пятак, положит его между указательиым н безымяиным пальцами, большим пальцем надавнт — погнется пятак, прижмет — пятак вдвое сложится. Как будто фольгу Коля гнет, так легко у него получается.

Колю Маленького ои нз драки вытащил.

Собственно, и драки-то никакой ие было. Четверо иа одного. Какая это драка?

Коля в драку вмешался н защитил Колю Маленького. Так они познакомились.

С виду оин были иесхожи. Коля Большой плечист, лицом кругл, добродушен. Коля Малеиький худ, порывист, фигура как у подростка.

Работали они иа одиом заводе и даже один и тот же цех строили, только в разиых брнгадах былн. Коля Маленький в командировку сюда прнехал — деиег подзаработать, роднтелям помочь: их в семье пятеро было, он самый старший. Коля Большой так просто сюда заехал — иикогда он в Татарии ие был, вот и прнехал ее посмотреть: места пугачевскне, вольные.

Пошел Коля Большой к коменданту, поговорнл, попросил убедительио, и перевели Колю Малеиького к иему в комнату: комната была свободной, ребята в коман-

дировку уехали. Стали они вместе жить, зимние вечера коротать.

Неожиданное событие произошло в конце марта во время подъема стотонной нефтеперегонной колонны, в котором Коля Большой принимал участие.

Коля работал в бригаде такелажников, устанавливающей на разных высотных отметках тяжеловесные аппараты. Это была ответственная и даже опасная работа, и Коля Большой в глубине души гордился своим участием в ней. К опасности он привык. Да и никогда с ним ничего не случалось. То ли бригадир был опытным, то ли прораб и начальство повыше толковые, но только никогда у них на участке никаких происшествий не было.

Вообще-то случаются иногда на монтаже аварии. То упадет где-нибудь каркас дымовой трубы высотою в сто метров и весом более чем в триста тонн, то громадная ректификационная колонна завалится — бригадир от усердия расчалку перетянет. Страшное дело такая авария. Металл с размаху вбивается в землю, корежится, мнется, закручивается в узел. Срывается с места и с грохотом бьется о стенки колонны начинка — тарелки, желоба, трубы... Гнется толстая сталь обечаек. Падают мачты...

Такелажники бригады, в которой работал Коля Большой, старались как можно больше узнать о причинах аварий. Может быть, это помогало им избежать чужих ошибок. А может быть, то, что для каждого подъема заранее составлялось подробнейшее описание работ: что и когда, в какой последовательности каждый должен делать. Во всяком случае, срывов у них еще не было.

Подъем колонны они начали готовить задолго. Дело это небыстрое. Сам подъем, может быть, до часа отнимет, а подготовка к нему — неделю. Все тут надо учесть: и колонну правильно выложить, чтобы подтаскивать потом не пришлось, и длину полиспастов выверить, и трос осмотреть, чтобы целым был, без единой царапины.

Лебедки на ходу проверили, тормоза отладили. Блоки смазали. Якоря в землю поглубже закопали, бетонными плитами сверху как следует пригрузили... Словом, сделали все на совесть, как и нужно в такой работе.

Подъем назначили на пятницу.

Колонна лежала черная на белом снегу, огромная, длинная, как ракета — из тех, что провозят по Красной площади в день парада, разве что больше ее раза в три или четыре. У днища ее стояли трубоукладчики, готовые подхватить ее и понести вперед к месту установки. У верха, там, где завязаны были толстые многократно сплетенные тросы, стояли стометровые мачты — им предстояло принять на себя основную тяжесть подъема.

Днище колонны прилегало вплотную к стене соседнего цеха: тесно было на стройке, и колонну едва-едва уместили, придвинув к стене почти без зазора. Позже, при подъеме, колонна отойдет от стены. Она пойдет вперед и вверх, как самолет на последних метрах взлетной полосы. Вверх ее тянут мачты; вперед подают трубоукладчики.

Последние приказания раздались. Последний осмотр механизмов и приспособлений произвели.

У трактора, стоящего на страховке, шкворень железный затерялся — «палец», за который цепляется трос. Новый делать времени нет — резать металл, приваривать к нему ограничитель. А без страховки нельзя — вдруг якорь сорвет, поддерживать его придется. Мало ли что бывает?

Бригадир схватил лом, подбежал к Коле Большому.

— Коля, согни лом, пожалуйста!

Коля Большой взялся за лом, осмотрел его, взвесил, дощечку, нагнувшись, с земли поднял, приладил ее к колену, лом на нее положил, напружинился, потянул лом за концы на себя, колено вперед выставил, — лицо его покраснело, жилы на шее вздулись! — р-раз, и лом готов — согнулся под прямым углом, как будто таким его и сделали.

Бригадир схватил согнутый лом, трактористу его сунул: «Крепи за него трос!» — и дальше побежал: сигнальщиков расставлять, знаки сигналов в последний раз согласовывать.

Коля Большой трактористу помог — трос подтащил, конец его мертвым узлом завязал, лом в предназначенные для пальца отверстия вставил.

И вот затихли все перед подъемом, напряжение охватило такелажников. Бригадир стал на самом видном, открытом со всех сторон месте, постоял, крикнул что-то помощнику, на солнце посмотрел — не мешает ли оно

кому видеть его, — улыбнулся и руку поднял: пошла, милая!

Заработали лебедки, моторы приняли на себя нагрузку, трос, вытягиваясь, заскрипел. Колонна дрогнула легонько, дернулась, оторвалась верхней своей частью от земли, трубоукладчики сзади ее подхватили.

— Пошла! Пошла! — закричали вокруг.

Сдвинулась она с места и вперед подалась. Верх ее приподнялся, днище отошло от стены.

— Стоп! — скомандовал бригадир и махнул рукавицей. Механизмы сбавили обороты, колонна замерла: самое время сейчас все проверить, потом будет поздно.

Коля Большой, посмотрев, как колонна сдвинулась, пошел было в цех, в дверь, проделанную в стене — воды захотел напиться. Он уже прошел мимо колонны, как вдруг увидел между днищем ее и стеной, от которой днище отошло при движении колонны, новенький нержавеющий ключ, оброненный, по-видимому, кем-то из такелажников.

«Заберут ключ, — подумал Коля. — Увидит кто и заберет. Жалко, ключ хороший, сносу ему не будет». Он зашел за днище и уже нагнулся ключ поднять, как вдруг колонна вздрогнула, мачты дернулись от страшного рывка, закричали вокруг люди, и колонна, осев и проехав назад с полметра, медленно-медленно, как стотонный гидравлический пресс, неумолимо и неотвратимо днищем своим пошла на Колю Большого.

Не сумел Коля Большой уклониться от опасности. Ему бы выскочить, выпрыгнуть из щели, пока еще была возможность, метра три всего-то и надо было пробежать назад до безопасного места, но он выставил сгоряча вперед руки, уперся ими в днище, спиною прижавшись к стене, и стал изо всех своих богатырских удесятерившихся сил давить на холодную сталь колонны, отталкивать ее и удерживать ее движение.

Сравнить ли силу человека и машины? Коля Большой был похож в этот миг на муравья, попавшего под башмак прохожего. Что значит его крохотная, хоть и чудесная, сила перед грубым этим башмаком, с неумолимой инерцией опускающимся на мостовую.

И как ни надеялся в последней своей сумасшедшей надежде Коля Большой удержать, остановить колонну, но и он, может быть, впервые в жизни почувствовал, что

есть такая сила, против которой его сила иичего ие зиачит.

Все меиьше и меньше оставался просвет между диищем и стеиою. Казалось, даже темно сделалось вокруг, а может быть, в глазах у иего потемнело. Хотел ои вывериуться, да ие тут-то было — зажало его крепко. Изо всех сил дернулся Коля Большой в стороиу, хрустиула рука, иадломилась и повисла. От острой боли помутилось у него в глазах, голова закружилась, и он упал между шпалами, подложеииыми под колоиiу и сдвигающимися теперь назад при ее движеиии. Как будто между буферами двух сближающихся вагоиов попал...

Коля Малеиький в этот день работал иеподалеку.

Едва начался подъем, он, как и все вокруг, оставил работу, ио ие стал иаблюдать за подъемом издали, а пошел отчего-то к колоние. Что-то тревожило его и заставляло идти. Ои поискал глазами Колю Большого, ио не увидел его.

Гусеиичный краи, стоящий впереди, мешал ему видеть. Он обошел его, спустился с пригорка и оказался совсем рядом с колоииой — метрах в сорока от нее. Тревога его усилилась. Он вообще не любил подъемов, ои не поимал в иих иичего и от этого опасался их, но сейчас ои испытывал какое-то безотчетное чувство беспокойства, иепохожее на прежний страх подъемов. Это чувство заставляло его идти к колонне, тогда как страх, иаоборот, увел бы его в безопасиое место.

Мачты стояли уже совсем рядом — ои уже вступил в опасиую зоиу, и кто-то закричал ему громко: «Эй! Уйди оттуда! Там иельзя ходить!» — как вдруг мачты качнулись, высоко иаверху со звоиом лопнул трос боковой расчалки и упал, тяжело рассекая воздух, на рядом стоящие здания. Мачты зашатались, чертя в воздухе тяжелыми оголовками лихорадочные кривые, до звона натяиулась уцелевшая вторая боковая расчалка, затрепетала.

— Майиа! — изо всех сил закричал бригадир, сделал страшные глаза и замахал руками, подиимая их кверху и опуская вниз, как крылья. — Майиа! Опускай!

Но ои мог бы и не кричать так громко: все уже видели опасиость и ждали его команды с нетерпением. Лебедки отпустили тормоза. Колоииа рывком осела, дернулась и медленно-медленно пошла назад.

Бригадир отер рукавицей выступивший на лице пот.

— Человека придавило! — вдруг отчаянно закричали рядом с Колей Маленьким. Коля взглянул и увидел между стеной и днищем колонны человека с искаженным от боли лицом. Колонна уже наезжала на этого человека, и от смерти его спасало лишь то, что шпалы под колонной были раздвинуты и он лежал между ними, но и шпалы сдвигались и вот-вот должны были сдвинуться вовсе.

Так и сжался Коля Маленький, узнав в этом человеке друга. Все дрогнуло в нем, горячая волна ударила в голову, все заслонивши перед глазами, кроме одного: лица товарища, лежавшего под колонной.

В каком-то необъяснимом для самого себя, невероятном по силе и быстроте рывке протиснулся он в щель между днищем и стеною, схватил потерявшего сознание товарища за ворот брезентовой куртки, рванул его на себя, выдернул из сжимавшегося капкана и выволок наружу. Он и не думал в этот момент об опасности. Он действовал как бы в бессознании.

Колонна дрогнула в последний раз, подалась к стене, прижалась к ней, и шпалы под колонной сошлись намертво.

Но он не смотрел на колонну.

— Счас, Коля, счас! — шептал он торопливо и все старался уложить товарища поудобнее, фуфайку снял, под голову ему ее подсунул.

Тут уже и другие подбежали, машина появилась. Колю Большого наверх подняли, на брезент положили. Коля Маленький рядом сел, сломанную руку его держал и все говорил плача:

— Счас, Коля, счас! Больница тут рядом.

Но тот уж очнулся, румянец на щеках появился, глаза открылись.

Как Коля Маленький увидел, что Коля Большой в себя пришел, еще сильнее заплакал. Сидит, слезы по щекам размазывает, смеется и плачет одновременно. Так они и уехали.

Монтажники рассказывают, что Коля Большой недолго лежал в больнице. Еще и деревья не расцвели, когда они с Колей Маленьким к колонне пришли. Колонна уже была обвязана трубами и испытана и блестела те-

перь на солнце алюминиевыми листами изоляции — хоть в кино снимай: красавица!

Коля Большой постоял рядом с ней, посмотрел на нее, рукой потрогал. Потом обнял Колю Маленького, прижал его к себе, повернулся и с завода пошел.

Вскоре они уехали в Ярославль, да так там и остались.

Но до сих пор помнят о них в том управлении, где случилась эта история. А ведь многих забывают тотчас, как только уходит их поезд.

Иван СИБИРЦЕВ

Поролоновый мишка

1

Лето в северной тайге скоротечно. Еще только август, но уже притушены инеем луговые цветы, и в зелени подлеска тлеют ржавые пятна. Все тревожней и протяжней стонет по ночам тайга, холодны, непроглядны туманы над речками и логами. Даже самый заядлый таежник норовит еще засветло выйти к жилью.

Только высокому бородатому человеку в брезентовой штормовке и резиновых сапогах, что пробирался по тропе от речки Светлой к поселку Красногвардейскому, темнота и туман, видно, были как раз впору. Он хорошо знал эту тропу, однако шел медленно, крадучись, заслонив ладонью фонарик. И желтоватые блики, протекая меж его пальцев, высветляли узловатые корневища да придорожные пни. Казалось, он пересчитывал их.

Потом раздвинул плечом заросли и, как старому знакомому, улыбнулся морщинистому пню, раздутому наростами смолы. Потушил фонарик, прислушался к ночному гулу и вздохам деревьев, в темноте уверенно нащупал дупло, запустил в него руку, выскреб гнилушки, бережно извлек пластмассовую коробочку, похлопал ладонью по прелому темени пня, точно попрощался с ним.

Чернели по бокам глухие стены сомкнутых темнотою деревьев. А ему привиделось...

Коридор верхнего этажа здания Московского университета. Там было светло и просторно, но так же безлюдно, как здесь на лесной тропе, там его шаги в тишине разносились уверенно, гулко. Он только что закончил ремонт прибора в лаборатории и, покачивая на ходу сумкой с инструментами, шел к кабине лифта.

— Подождите, пожалуйста, не уезжайте. Мне тоже нужно вниз.

Невысокая, быстрая, в разлетавшемся на бегу белом

халатике, она показалась ему совсем девочкой. Ее щеки чуть порозовели под его взглядом, тонкие брови и капризные губы шевельнулись. Он так и не понял: не то в сдержанной улыбке, не то в досадливой гримасе.

— Вам какой этаж? — спросила она холодно.

— Цокольный. — пробурчал он, удивляясь, каким хриплым и незнакомым вдруг стал его голос.

— Ну, мне поближе. — Она пытливо заглянула ему в лицо и спросила мягче: — Почему вы так испугались меня?

«Потому что я в первый раз в жизни вижу такую...» — хотелось ответить ему. «Такую», — мысленно повторил он, но так и не нашел нужного слова, отчаянно махнул рукой и залепетал сбивчиво:

— Да вот... Вы студентка. Халат у вас белый. А я в рабочем... Боюсь, как бы не испачкать вас. — Он смущенно показал пальцами на свою спецовку.

Ей были приятны его косноязычие и робость. Она снисходительно улыбнулась и сказала кокетливо:

— Студентка? Вы мне льстите бессовестно. Увы, уже аспирантка. Скоро тридцать. — Помолчала, оценивающе осмотрела его лицо, размашистые плечи, сильные руки и договорила с искренней горечью: — Почти старушка.

Пол под его ногами качнулся, частыми, тупыми толчками зашлось сердце. «Хотя бы застрять где-нибудь...» — подумал он.

Мелькали на пульте номера этажей, кабина неслась вниз. Он не доехал до цокольного, он вышел следом за девушкой в накрахмаленном белом халатике...

...В Москве, в парке «Сокольники» тоже, как сейчас, скрипели на ветру деревья. Вместе с ними раскачивались и подпрыгивали скрытые в ветвях разноцветные лампочки. И влажные после теплого дождя листья становились то золотистыми, то ярко-оранжевыми, то густо-фиолетовыми. И ее лицо, когда они вышли из ресторана, тоже было многоцветным, точно раскрашенное гримом.

Они выбрали аллею погуще, сели на скамейку. Она положила ему на плечи свои прохладные узкие ладони, на мгновение приникла к нему грудью и горячо зашептала:

— Мне хорошо с тобой. Мне нравятся твои губы, плечи, твоя сила. Ты настоящий мужчина... — Она прильс

нула к нему, но сразу же отпрянула, спросила жестко и деловито: — Но что ты принесешь мне? Что дашь сверх того, что я имею сейчас?

Он замер и, пытаясь в шутке скрыть растерянность, клятвенно начал:

— О! Я положу к твоим ногам все сокровища земли и неба! Ты не пожалеешь никогда...

Она засмеялась предостерегающе, будто холодной водой плеснула на него, прикрыла ему рот своей ладонью, сказала наставительно:

— Ну не надо. «Я опущусь на дно морское, я подымусь за облака...» Это, мой мальчик, для глупеньких, наивненьких девочек. А ты знаешь, я давно уже не девочка. У меня муж, пятилетняя дочь, поэтому давай без деклараций, ближе к земле, что ли...

Она все еще прикрывала своей ладонью его губы, и ответ прозвучал невнятно, почти жалобно:

— Но ты ведь не уходишь от него... — сказал он и поцеловал ей ладонь.

Она отдернула руку, возразила жестко и наставительно:

— Прежде чем уходить, надо иметь место, куда уйти. Нужна крыша над головой, квартира. Но чтобы купить кооперативную, нужны деньги — и большие. В квартире полагается иметь мебель. А это опять же деньги — и много. Но денег, не только больших, но и вообще денег, у нас с тобой, милый романтик, нет.

Она не умеет золотить пилюли. Но зато все в ее словах правда. И что возразишь ей на эту отповедь? Он сидел понурясь, не зная, как смягчить ее приговор. И вспомнились рассказы одного бывалого парня: «Знаешь, что такое старатель? Идет вусмерть пьяный, упрется в стену дома и кричит: прорубай дверь, не желаю обходить. А что?! И прорубают запросто. Он же платит за все. У него же карманы трещат от денег...»

Он припомнил эти хвастливые байки и, твердо глядя ей в глаза, сказал решительно:

— Я докажу тебе, что я действительно настоящий мужчина. Нам придется расстаться на несколько месяцев. — Голос его осекся. — Дай мне слово, что ты будешь ждать меня и не станешь расспрашивать никогда и ни о чем...

Тянулись вдоль тропы черные скрипучие стены тайги. В просвете туч покачивался ковш Большой Медве-

дицы. Звезды мерцали, как самородки в артельиой колоде, если взглянуть иа иих сквозь ячею трафаретиой решетки...

А где-то в дебрях предостерегающе рявкнула иастоящая мохнатая медведица. Человек иа тропе поежился. Нет, не от страха. Ои уже успел привыкнуть к мысли: каждый деиь его пребывания в тайге таит в себе немало опасиостей. Просто вдруг стало как-то одиноко и зиобко, и не было конца узкому чериому коридору, по которому еще шагать да шагать ему...

2

В передией затрещал звонок. Михаил нехотя отложил киигу, которую читал лежа на диваие, и медленио подошел к двери.

На площадке лестницы стояла иезнакомая девушка. В руках у иее был иебольшой сверток, перехваченный голубой леиточкой. Сквозь прозрачиый целлофан Михаил разглядел игрушечного медвежоика.

— Вы Миша Куделько, да? — спросила девушка.

— Да. — Михаил вопросительио взгляиул иа девушку поверх массивных роговых очков.

— А я Таия, — представилась она. — Я вас узиала бы даже иа улице. Олег мие вас описал очень точио.

— Какой еще Олег?

— Вы что? Ваш друг, Олег Лихарев. Высокий такой, с бородкой. Ои в Красиоярском крае работает в старательской артели. Мы там были со студеическим отрядом. Олег узиал, что я возвращаюсь в Москву, и попросил меня... — Оиа умолкла, растерянио покачала головой и сказала весело: — Ой, кажется, я позабыла о самом главном. Извииите, девичья память. Поздравляю вас, Миша, от всей души! — оиа ухватила его за руку.

— С чем еще? — спросил Михаил, вяло отвечая иа ее рукопожатие.

— С днем рождения, — сказала Таия. — Я только что с самолета. Олег меия прямо умолял зайти к вам обязательио сегодия.

Михаил замигал удивлеиио, но, припомнив что-то, иасупился и сразу же иатяиуто улыбиулся.

— Спасибо.

— А еще Олег говорил, — Таня захлебывалась сло-

вами, — что у него такая традиция: где бы он ни находился, непременно присылать вам в подарок детских мишек. Олег сказал: мы нашему Мише дарим в этот день его игрушечных тезок. Олег говорит: у вас собралась целая коллекция. Теперь прислал вам этого, — она протянула сверток. — Гордитесь. Из тайги. Там ревут живые медведи. Даже в поселке слышно. А этот мишка ласковый. Поролоновый.

— Спасибо. — Михаил опустил взгляд, показывая, что крайне смущен и растроган. — Большое спасибо Олегу за память, а вам за хлопоты. — Помолчал и озабоченно заметил: — К сожалению, сейчас я не могу вас пригласить к себе. Генеральная уборка. Так что извините, пожалуйста.

— Да мне и некогда. — Таня вздохнула. — Что же, до свидания. И еще раз поздравляю вас от души...

Михаил вернулся в комнату, покрутил в руках смешного поролонового медвежонка. Мягкая, ворсистая ткань согревала пальцы. Он внимательно разглядывал неожиданный подарок. Нащупал какую-то складочку. Шов? Маленький, тщательно заметанный...

Михаил слишком хорошо знал своего приятеля и соседа, чтобы принять этот шов за фабричный брак. «Неужели Олег все-таки рискнул сделать то, на что намекал перед отъездом из Москвы?» — с тревогой раздумывал Михаил.

— Ой, Олежек, неймется тебе! — позевывая, сказал Михаил, отворил дверцу платяного шкафа и швырнул туда игрушечного медвежонка.

3

Олег старательно обтер лежавшей на крыльце тряпкой свои резиновые сапоги, облепленные ошметками мокрой глины, и вошел в дом. Еще в сенях он услыхал треньканье гитары и заунывное, похожее на мычание пение Виктора Костылева. Значит, землячок и, как говорят в Сибири, связчик снова пьян...

Виктор сидел у стола, уронив голову на деку гитары. Пальцы яростно щипали струны.

— Бродя-га Бай-кал пере-е-ехал, — не подымая головы, мрачно тянул он.

Мотались из стороны в сторону слипшиеся от пота

волосы. Олег вдруг почувствовал, что у него сами собой сжались кулаки. Хотелось что есть силы ударить в острое переносье.

За все. За то, что встретился ему и заговорил своими россказнями о развеселом и прибыльном старательском житье, о баснословных шансах для каждого, кто имеет руки и голову, туго набить карманы в золотой тайге...

Олегу не занимать ни рук, ни головы. Да еще Лида вогнала занозу под череп: «Что ты можешь дать мне, милый романтик?»

...И завертелось. Чемоданчик под мышку — да в аэропорт. И в тайгу, следом за Виктором, другом, наставником и «тертым» парнем.

И вот ползут за неделей неделя. Старатель. Мониторщик на гидравлической установке. Заработки, верно, хорошие. Но и вкалывать надо так, что пот вытереть некогда.

А ко всему еще это милое соседство. Олег никогда не думал, что за несколько недель может так осточертеть человек, который совсем недавно казался самым приятным и нужным.

Водку из стакана тянет маленькими глотками, закуску в миске ножом по кусочку отпиливает, вилку держит в левой руке. Все по правилам хорошего тона. Строит из себя светского льва, даже спит в пижаме. Но не моется неделями, потом пропах как лошадь, не стрижет и не чистит ногти, мычит под гитару блатные песни и каждый раз заплетающимся языком твердит одно и то же:

— Остался у меня на Колыме верный кореш. Я ее, матушку Колыму, по всему тракту прошел на своих ногах. Я там, брат, не плошал. А что? Само плывет в руки, только не растопыривай пальцы. Тебе бы, Олег, смотаться к моему корешу. Он золотишко спускает вовсе по дешевке. Смотайся к нему пару-тройку раз, отвези товарец в теплые края — и порядок. И кум королю. Не только купишь в Москве для своей дамы сердца квартиру, а стены оклеишь красненькими.

Олег отмалчивался, думал с неприязнью: «Если это так выгодно и просто, чего же ты сам не смотаешься к своему дружку, а сшибаешь здесь, по всему поселку, трешки да пятерки?..»

Но Виктор начинал новый заход:

— Или, может, у тебя смотаться не на что? Попра-

вимо, Олег. Есть, знаешь ли, у артельной колоды такая штука — трафаретная решетка. Заглянешь в отверстие, со дна колоды самородки так и подмигивают тебе, не считанные еще, не взвешенные, не учтенные. А мониторщик при колоде часто остается один. Чувствуешь, Олег?

Олег знал уже, как «подмигивает» золото со дна колоды, прикинул, какого диаметра и веса самородки могут пройти через ячеи сетки. Да и не только прикинул...

Но после каждого нырка в отверстие трафаретной решетки в воображении явственно рисовалась другая решетка, из стальных прутьев. И сердце начинало отстукивать тревожно, на лбу выступала противная холодная испарина...

Но ведь он, Олег, настоящий мужчина, а не какой-нибудь неженка и слабак. Это говорит даже Лида. Поэтому он никогда не признается Виктору и вообще никому в своих страхах, заставит себя не думать о том, что каждый нырок может оказаться последним. В конце концов, в любом деле есть свой профессиональный риск, и все на свете когда-нибудь да обрывается. И надо не хныкать, не злобствовать понапрасну на Виктора, а работать как коренные таежники. Стиснуть зубы, позабыть все страхи и не зевать, ловить каждый удобный момент...

Олег подошел к Костылеву, тронул его за плечо:

— Снова загулял, Витя?

Тот вздрогнул, поднял лицо, с трудом разлепил веки, хрипло сказал:

— Мальчишник у меня сегодня.

— То есть?!

— Женюсь завтра. Подкинь мне, старик, монеток до получки. Понимаешь, свадьба все-таки, а я пуст как бубен...

Олег хотел напомнить Виктору о старых долгах, но Костылев смотрел на него так умоляюще.

— Я не против, бери.

— Ты не подумай, что я без отдачи, — заискивающе говорил Виктор, разливая водку по стаканам. — Я все до копеечки, с процентами. Люблю я тебя, Олег. Хочешь, душу мою открою... — Он обхватил Олега за плечи, склонился к самому его уху, зашептал горячо, сбивчиво.

— Что?! — ахнул Олег и отпрянул от Костылева.

— Тсс!.. — Виктор предостерегающе поднял палец. — Знаем я да ты. Могила! Ясно? Туда только мне открыта дорога. Если что случится со мной, пойдешь ты и скажешь, что от меня. Понял? Век меня благодарить станешь, как граф Монте-Кристо того аббата...

Олег испытующе разглядывал Виктора. Конечно, его признание потрясающе. Наверное, просто пьяная болтовня? Приманка, чтобы разжиться деньжонками? Но вдруг...

Костылев улыбался многозначительно и победоносно. Олег зажмурился, вздрогнул; вот уйдет отсюда этот вечно пьяный позер, и он, Олег, останется один. И не просто в этой комнате, но и во всем поселке, даже в целом свете. Отец давно оставил семью. Матери и сестренкам Олег не очень нужен. Отчиму — тем более. Не нужен никому, кроме Лиды. Но до нее почти пять тысяч километров. И может быть, Виктор не зря иронизирует над его слепой верой в женское постоянство?!

Конечно, и в поселке, и в старательской артели — всюду люди. Но что им до Олега? Для них только и света в окошке, что их разлюбезная тайга. Выставляют из себя шибко честных... Честные оттого, что трусы, да и цены не знают деньгам. И надо каждый день выставляться перед ними наивным лопухом...

4

Опасения Олега подтвердились. Он даже представить себе не мог, что ему так сильно будет не хватать, нет, не Виктора Костылева, а вообще человека, перед которым не надо кривить душой. Но казалось, не было во всем поселке такого человека.

И вот... Нет, все-таки он везучий. Вышел на улицу, а навстречу... Гриша Самойлов. Олег даже глаза протер. Но все правильно. Действительно — Гриша.

С этим не по годам солидным крепышом они после приезда Лихарева в тайгу жили в одной квартире. Потом Самойлов перебрался в другой поселок. И они давненько не виделись.

— Гриша! Дорогой! — Олег с искренней радостью пожал ему руку. — Каким ветром?

— Попутным. — Самойлов влюбленно засматривал Олегу в глаза. — Поштурмовали малость в выходные дни. Дали за них отгул. Я и решил на недельку слетать

в Москву. А что? Нормально! От Красноярска всего шесть часов полета. И — Домодедово. Дома. Деньги есть. Подарки отвезу маме. — Он поймал себя на этом ласковом детском слове, смутился, прокашлялся басом и договорил небрежно: — Соскучилась там старушка. Повидаться надо. Зимовать буду здесь. Подзаработаю, а весной в армию. — Григорий вздохнул и осторожно спросил: — Может, вместе, Олег, а?

— Нет. Мне некогда, — отрезал Лихарев и замкнулся. Он думал: можно ли довериться Самойлову? Мальчик совсем, только что со школьной скамьи. Но зелен-то он зелен, да зато предан. Смотрит вон как влюбленно, прямо расцеловать готов. Скорее костьми ляжет, чем подведет. И, не задумываясь, что в эту минуту он надламывает судьбу этого мальчика, так же как надломал его собственную судьбу Виктор Костылев, Лихарев дружески улыбнулся Самойлову и спросил самым беспечным тоном: — Гриша, ты не мог бы в Москве передать мой подарок одному человеку?

— О чем речь? — Глаза Самойлова засветились от удовольствия. — У меня и багажа-то своего всего ничего. Отвезу хоть чемодан.

— Нет. Совсем маленькая вещичка.

В своей комнате Лихарев заботливо усадил гостя за стол, открыл бутылку вина и, бросив на ходу: «Ты, Гриша, пей пока», — выскочил за дверь. Вскоре вернулся, держа в руке тюбик зубной пасты.

— Отвезешь вот это, Гриша.

— Ты что, Олег? Пасты нет в Москве, что ли? Или хочешь разыграть кого?

Олег нажал пальцами на тюбик, оболочка порвалась, и на ладони Лихарева блеснул самородок.

Самойлов испуганно, еще не веря себе, взглянул на Лихарева. Тот невозмутимо заталкивал самородок обратно в тюбик.

— Как же ты?.. Ведь за это... — бормотал Самойлов осевшим голосом.

— Нормально, Гриша. — Лихарев говорил резко, мрачно, но совершенно спокойно. — Дополнительная оплата за сверхурочную работу. Премия за ловкость рук... Теперь ты знаешь, что везешь. А если мандраж бьет, скажи честно, и забудем...

Самойлов зажмурился... Что будет с Олегом, если откроется его промысел? А с ним, с Григорием, если в

пути осмотрят багаж? Но скажи, что боязно, — и все, амба. Олег даже руки не подаст никогда... Зачем ему водить компанию с трусом. Только бы не выдать своего страха, не пасть в глазах Лихарева безнадежно и навсегда. Он прокашлялся и твердо сказал:

— Я отвезу, Олег.

Лихарев благодарно улыбнулся, горячо стиснул руку Самойлова. С неподдельным волнением проговорил:

— Ты настоящий друг, отличный парень. А теперь запомни наизусть номер московского телефона. Позвони и спроси Михаила Куделько. Пригласи его куда-нибудь в оживленное место. Договоритесь с ним об условном знаке. А Михаил выглядит так...

5

Такси подмигнуло Григорию красными глазами стоп-сигналов, фыркнуло мотором и втиснулось в нескончаемый поток своих разноцветных сестер.

Григорий осмотрелся. Улица Горького открылась ему всегдашней — торопливой, нарядной, озабоченной. С транзистором в руке он стоял у входа в гостиницу «Минск». Люди равнодушно отводили взгляды от его настороженного лица и шли мимо. Григорий с удивлением осознал: радуется, впервые в жизни радуется своей неприметности, тому, что никто, даже девушки, на которых он косился украдкой, не обращают на него внимания. Неужели два маленьких желтых камушка, что лежали у него в кармане в тюбике с пастой, так резко и сразу изменили его привычки, представления, желания?..

По противоположному тротуару растянулась длинная очередь к театральной кассе. «Жизнь и преступление Антона Шелестова», — прочитал Григорий на афише и безразлично, будто о ком-то стороннем, подумал: «А вдруг потом напишут пьесу: «Жизнь и преступление Олега Лихарева», а то еще... и «Григория Самойлова». Люди будут так же толпиться за билетами на спектакль. Но они с Олегом едва ли увидят его. Они будут далеко отсюда, за колючей проволокой и сторожевыми вышками, годы и годы им не придется ходить в театры по этой улице... Он тут же поспешил успокоить себя: а, волков бояться... Не такой парень Олег Лихарев, чтобы угодить

за решетку... Но сердце щемило незнакомой ему тоской, и взгляд то и дело натыкался на красные огни светофоров: остановись, поверни назад...

И тут у лестницы подземного перехода Григорий разглядел невысокого светловолосого парня в массивных роговых очках. Внимательно присматриваясь к людям, стоявшим у главного входа в гостиницу «Минск», парень неторопливо направился к застекленной двери. Судя по описанию Лихарева, это был Михаил Куделько. И Григорий, прижав к груди транзистор «Сокол» — условный знак, — с независимым видом двинулся ему навстречу.

— Григорий! — поравнявшись с Самойловым, негромко окликнул Куделько, как бы высматривая кого-то впереди себя.

— Миша! — Самойлов обрадованно ухватил его за руку: — Привет тебе от Олега.

Куделько сдержанно ответил на его горячее рукопожатие, довольно вяло сказал:

— Спасибо. Только было бы любопытно узнать, как выглядит этот внимательный Олег.

Самойлов недоумевающе пожал плечами, проговорил укоризненно:

— Зачем так осторожничать? Больше рискуем мы с Олегом... Неужели надо описывать его? Красивый, мол, высокий, черноволосый. Он вырос по соседству с тобой на Калачевском проезде. Правда, сейчас он чуть модернизировал свою внешность, отпустил бороду...

— Даже бороду... — Куделько явно успокоился, усмехнулся: — Ну, романтик... — Он покачал головой, не то одобряя, не то сожалея об этом. — Ты извини, Гриша, но в таком деле семь раз отмерь... А я к тому же битый. Та самая пуганая ворона... Понимаешь?

Грише стало очень обидно за Олега, о котором Михаил говорил так иронично, и за себя: что он думает: золото возить в карманах — так, пустячки?

— При чем тут ворона? — понизив голос, сказал он недовольно. — Олег тебе посылочку отправил. В тюбике с зубной пастой. Тюбик лопнул, когда Олег его показывал мне. Он сам его завернул в бумагу. Так что ты не подумай чего-нибудь. Там все в целости, честное слово.

— Честное... — Куделько мрачно покачал головой

и сказал неожиданно зло: — А что мне, собственно, думать: все, не все... Олег вернется, сам подобьет бабки. Ладно, двинули в ресторан.

6

— Что же, Михаил так ничего и не передал мне? — настороженно спросил Олег, заставив Самойлова на всякий случай показать Куделько на фотографии.

— Он сказал: «Желаю Олегу удачи на этом поприще», — повторил Самойлов, — и все. Мы с ним хорошо посидели в ресторане, выпили бутылку коньяку, бутылку шампанского. Потолковали. Так вообще, обо всем. Но о тебе больше не было разговора.

— Понятно, — ответил Лихарев упавшим голосом.

Он думал о Михаиле Куделько, о его оскорбительно прохладном отношении к посылке. Для него, наверное, два самородка — пустячок. А попробовал бы добыть их сам. Даже рыбу в речке поймать на крючок трудно. А тут... Перед отъездом Олега в Сибирь Михаил сгоряча, за рюмкой, согласился получать от него посылки. Но тогда речь шла об этом вообще, предположительно. Либо будут эти посылки, либо нет. Согласился, а дошло до дела — в кусты. Брезгует промыслом Олега, брезгует им самим.

А вдруг и Лида побрезгует? Не поймет, не оценит, что все ради нее, ради их будущего, ради их собственной крыши над головой. Неужели его, Олега Лихарева, оценит, поддержит один только Витька Костылев? Неужели только Костылеву, этому пьяному позеру, может он безбоязненно открыть свою душу? Ведь и Костылев открыл ему свою главную тайну, о которой Олегу и думать жутковато. Открыл, потому что видит в нем единомышленника.

«Единомышленник, ровня Костылеву», — Олег поежился, перехватил недоумевающий взгляд Самойлова и сказал с наигранным спокойствием: — Гриша, у меня к тебе просьба. — И подчеркнул: — На этот раз последняя. Видишь, вон лежат книги, разная мелочь и — главное — фонарик. Возьми все это, мы вместе отнесем на почту. Ты на глазах приемщицы упакуешь все в бандероль и отправишь ее Михаилу. Обратный адрес и фамилию отправителя укажешь свои. — Он сделал паузу и продолжал жестко: — В батарейке фонарика — на-

чинка. Ясно? Но ты не бойся. Если проверят — он работает. — Олег щелкнул выключателем, лампочка затеплилась желтым светом. Он подержал на ней пальцы, словно согревая их, и сказал задумчиво: — Это, Гриша, действительно последняя просьба. Можешь забыть обо всем и спать спокойно. Дальнейшее — моя забота. Я тоже скоро двину домой. Сюда не вернусь. Хватит. Понимаешь, что-то очень тянет за душу. Выпьем, что ли. И я провожу тебя на почту.

7

Раньше Олег не выдерживал и часа одиночества. Сразу же звонил по телефону товарищам, договаривался о встрече, шел побродить по улице. Но, возвратившись в Москву из тайги, стал домоседом. С нетерпением ожидал, когда останется в квартире один. Тщательно заперев входную дверь, доставал из тайника самородки. И всякий раз в памяти воскресало одно и то же...

...Прямо из аэропорта Олег заехал к Михаилу Куделько. Насвистывал с подчеркнутой беспечностью, проворно извлекал из «контейнеров» свои сокровища. Норовил стать спиной к Михаилу, но все время лицом, затылком чувствовал его печальный, испытующий взгляд.

Наконец Олег обернулся и, по-прежнему избегая взгляда Михаила, улыбнулся в пространство, деревянным голосом сказал:

— Спасибо за то, что ты сберег. — Подождал ответа, потом добавил многообещающе: — Проценты с меня коньячком. — Поласкал взглядом самородки и вдруг нервно зашарил рукой по столу: — Где еще один? Неужели я просчитался? Только что все были здесь.

Он суетливо, испуганно заметался от стола к стеллажу с книгами, к платяному шкафу, опустился на колени, на четвереньки, ползал на полу, заглядывал под диван, под шкафы...

Михаил, прижавшись спиною к подоконнику, молча наблюдал за Лихаревым. И глаза его за очками, поначалу удивленно усмешливые, стали испуганными.

— Да, Олег, ты просчитался. И очень крупно, — сказал он, с трудом откашливаясь. — Получи вот... — Отворачиваясь от Лихарева, медленно распрямившегося, подал ему самородок и грустно объяснил: — Я сей-

час увел один из любопытства. Хотел проверить твою... — и все-таки смягчил выражение, — твою внимательность...

Но Олег чутко уловил то, что не отваживался сказать ему в глаза приятель. «Жалеет, издевается...» — ужаснулся он и, побагровевший, с яростно сжатыми кулаками, подступил к Михаилу.

— Разыгрываешь, да? Проводишь психологические эксперименты? А знаешь, мне это какой ценой... — Он задохнулся.

— Знаю... — ответил Михаил очень тихо. — Наверное, даже слишком высокой. И чтобы не войти мне в долю, я тебя очень прошу: если снова отправишься на промысел, пожалуйста, позабудь мой адрес... Понимаешь, я не горю желанием собрать коллекцию поролоновых мишек. Ты ведь никогда не знал моего дня рождения.

Олег старался забыть эту встречу. Каждый раз, оставшись один, вынимал из тайника самородки, слиток латуни, матрицы. Шел в ванную комнату, включал паяльную лампу.

И вот в такую минуту у входных дверей прозвучал звонок. «Потрезвонят — и уйдут восвояси», — решил Олег. Но звонок трещал снова и снова. Олег выругался, выключил паяльник, медленно пошел к дверям. «А вдруг за мной...» — промелькнула в голове мысль. Он почувствовал: ноги стали ватными.

Звонок повторился. По-стариковски шаркая подошвами туфель, Олег доплелся до двери, открыл ее. На площадке лестницы стояла Лида. Она пытливо оглядела его, улыбнулась и сразу нахмурилась:

— Заснул, что ли? Я звоню уже минут десять. Знаю, что ты дома. И вдруг — молчание. И вид у тебя такой растерзанный. Но, может быть, ты все-таки пригласишь меня войти? Или там у тебя другая гостья?

После возвращения Олега в Москву и горячей встречи в аэропорту они виделись каждый вечер. И каждый вечер Олег приказывал себе, но так и не мог решиться сказать этой женщине, какою ценою он заплатил за ее любовь, за их будущую прописку в собственной квартире. Но сегодня, сейчас, уже невозможно избежать разговора, после которого кончится все-все. Олег улыбнулся через силу, поцеловал Лиде руку и возразил как только смог ласково:

— Что ты, Лидочка, какая гостья? — И признался неожиданно жалобно: — Один как бирюк.

Лида, опираясь на его руку, вошла в квартиру, потянула носом воздух, сказала озабоченно:

— У тебя что-то подгорело на кухне. Хотя, по-моему, запах из ванной. Похоже на утечку газа. — И решительно пошла в ванную.

Олег испуганно зажмурился. Лида сказала успокоенно:

— Нет, это не газ. Но почему здесь такой чад? Угореть можно. — И вдруг увидела колечко, которое он перед самым ее приходом извлек из формочки. — Ой, какая прелесть! — воскликнула она. — Какая изящная вещица! — И хотела взять кольцо.

— Осторожно! Оно горячее! — предупредил Олег.

Не донеся руку до кольца, Лида отдернула ее, задержала взгляд на паяльной лампе, на обрубленном неровно латунном слитке и, разом поняв и оценив все, но ожидая и даже требуя от Олега опровержения, спросила с надеждой:

— Почему горячее? Что за алхимия, Олег? Не хочешь ли ты сказать, что...

«Своди все к шутке, к розыгрышу!» — точно разгадал он подтекст ее намеренно наивных вопросов. Нервно облизнул пересохшие губы и наклонил голову:

— Да. Именно так. Я только что, — он выделил эти слова, — выплавил это кольцо... — Посмотрел ей в глаза и даже обрадовался, когда они округлились от испуга.

Но Лида здорово умела владеть собой. Олег не уставал удивляться ее спокойствию и выдержке. Глаза ее сразу же стали всегдашними, сощурились, а вот уже и проскользнула во взгляде обычная ирония, и тон, когда она задала новый вопрос, был ничуть не испуганным.

— Из чего выплавил, Олег? Из латуни? — Она еще стремилась свести все к шутке.

«Сама не верит в такую нелепость, но жаждет, чтобы я подтвердил», — подумал Олег и, удивляясь охватившему его безразличию ко всему, даже к этой женщине, спокойно сказал: — Из золота.

Глаза ее снова округлились, взгляд заметался по глухим стенам ванной, и даже голос слегка осел.

— Но почему из золота? Откуда?

«Потому что я вор. Ради тебя и себя. Ради нас», —

хотелось ответить ему, но Олег все же предпочел смягчить признание. — Подфартило, как говорят в Сибири. Прихватил с собой сувениры. — Он услыхал свой нелепо бодряческий голос и сокрушенно замолк.

«Сейчас она влепит мне пощечину, выскочит из квартиры. По лестнице простучат ее каблучки. На улице она добежит до первого телефона-автомата, и до приезда милиции в моем распоряжении останется времени столько, сколько надо, чтобы перекинуть через водопроводную трубу ременную петлю... или шлепнуться из окна на асфальт...»

Все это лихорадочно промелькнуло в мозгу Олега. И его опять охватило безразличие. К себе. К ней. Ко всему на свете.

Но Лида не отвесила ему пощечины, не кинулась к телефону. Она обессиленно присела на край ванны, совсем маленькая, сразу постаревшая, испуганно посмотрела на Олега, громко всхлипнула, но спросила деловито:

— Как же ты мог? Ведь за это...

— Расстрел, — спокойно договорил он.

Она стиснула пальцами виски, раскачивалась, покусывала губы. Олег замер: вот сейчас все произойдет именно так, как рисовалось ему.

— Теперь я все время буду бояться за тебя, — сказала она еле слышно.

— Постараюсь продержаться подольше. — Он обмахнул со лба испарину.

— Нет. Нет, — голос ее стал очень звонким. — Больше никогда, слышишь?

— Да. Конечно. Никогда, — торопливо заверил он и благодарно подумал: «Какая же все-таки молодец Лида! Ведь в общем-то и не спросила ни о чем, и ничего не изменилось. Вот это истинная любовь! Ради того, чтобы остаться вместе с ним, Лида готова поступиться своей гордостью, закрыть глаза на некоторые подробности...» Он признательно заглянул в каменное лицо Лиды, и вдруг кольнула мысль: а что, если это никакая не любовь, а полное безразличие? Чтобы не думать об этом, Олег поскорее поцеловал руку Лиды. Рука была холодной и вялой.

Они молчали долго. Каждый по-своему оценивал случившееся. Больше Олегу Лихареву опасаться было уже нечего.

8

В маленьком закавказском городке клубилось голубизною весеннее небо, девушки несли веточки пушистой мимозы. Олег Лихарев, поглощенный своими заботами, не замечал ни влажно зазеленевших склонов гор, ни набухших почек в садах. Два года назад он служил в этих краях в армии, а теперь приехал сюда с рекомендательным письмом своего однополчанина Николая Югова.

«Входи, входи, однополчанин! — тепло встретил Николай Олега, когда тот приехал в уютную квартирку на одной из бывших московских окраин. — Женился я. Скоро ожидаем прибавления семейства».

«Поздравляю», — сказал Олег, а про себя прикинул: «Тем лучше для меня. Семейному человеку деньги нужнее. Не станет, как Михаил, выставляться бессребреником».

Он не таился перед хозяином. Лицо Николая стало хмурым и отчужденным.

«Зря, Олег, — сказал он печально. — Единственное, чем я могу помочь, — это дать письмо к моей теще в Закавказье. Места тебе знакомые, езжай туда, теща примет тебя как дорогого гостя. Все дальнейшее решай сам...»

...В маленьком закавказском городке цвели мимозы и по-весеннему голубело небо, а в далеком таежном районе трещали злые февральские морозы и на переметенных метелями лесных проселках машины буксовали в снежных заносах.

Лейтенант Шемякин вошел в кабинет начальника районного отдела внутренних дел, жарко разрумяненный, зябко потирая руки и громко стуча об пол задубелыми валенками.

— Что, Владимир Михайлович, продрог? — участливо спросил его подполковник Зенин.

— Есть и это немного, — ответил Шемякин, — но главное, Григорий Иванович, новости грустные.

— Что, на Красногвардейском что-то неладно?

— Там. Разговаривал я с директором прииска Бара-

бииым. У иих сомиения: все ли чисто в старательской артели. Понимаете, есть иесоответствие между объемами перемытых отвалов и съемками металла.

— И большое? — спросил Зении озабочеиио.

— Граммов сто пятьдесят...

— Может быть, обсчитались нормировщики. И потом это же выработанные отвалы. Кубометр иа кубометр ие приходится.

— Проверяли, Григорий Иваиович. Все-таки там есть иесоответствие. И еще Барабии сказал: был слух, что иа старательской гидравлике иа речке Светлой пропадают видимые самородки.

— Час от часу ие легче! Выяснили, что за установка, кто работал иа ией?

— Устаиовка удалеиа от поселка, — рассказывал Шемякин, с иаслаждеиием подсаживаясь ближе к печке.—В смене два человека: бульдозерист и моиторщик. В старательской артели главиым образом здешние таежники. После промывочного сезоиа все остались на месте. В осиовиом я зиаю этих людей.

— Подозреваете кого-нибудь?

— Не знаю, товарищ подполковиик, может быть, за время работы в отделе у меня стала притупляться бдительность, ио только перебираю я этих людей мыслеино, и, честиое слово, грех подумать иа иих такое... И всетаки запросил на почте сведеиия о посылках, переводах, бандеролях, которые были отправлеиы или получеиы старателями и члеиами их семей. Запросил сберкассу о вкладах, магазины о наиболее цеииых покупках. — Он устало развел руками. — Не приложу ума: кто? Вроде бы все на виду, все иа глазах. Места у иас ие очень миоголюдиые.

Зенин долго молчал, виимательио, точио сейчас позиакомился с иим, смотрел иа старшего инспектора БХСС, потом сказал со вздохом:

— Хорошо, Владимир Михайлович. Хорошо, что не подозреваете иикого, ио ие стаием спешить с выводами. Сигнал-то уж больио серьезиый. И проверить вам его придется с лейтеиаитом Усмаиом. Ои пришел к иам из золотодобычи. Техник. Ему легче разобраться в специальных вопросах.

Входи, входи, Владимир Леопольдович, — нетерпеливо пригласил Зенин, едва лейтенаит Усмаи появился в дверях. — Вести плохие с Красиогвардейского у

Шемякина. Ты, Владимир Михайлович, повтори-ка еще разок, что рассказал мне. Может быть, вспомнишь новые подробности.

Усман слушал внимательно, его нервное бледное лицо становилось все более озабоченным, большие грустноватые глаза за толстыми стеклами очков смотрели пристально, напряженно.

— Я согласен с Володей, — сказал Усман, когда Шемякин закончил свой рассказ. — Искать преступника надо среди сезонников, которые на лето приезжают в район. — Замолк, что-то припоминая, и продолжал неуверенно: — На Светлой работал мониторщиком парень, по-моему, его фамилия Лихарев.

Шемякин удивленно посмотрел на товарища:

— Правильно, Лихарев. Но при чем тут он? Говорили мы о нем с директором прииска. Он отозвался о Лихареве хорошо. Да и мы с тобой, Володя, видели этого парня. Демобилизованный солдат. Коренной горожанин, к тайге привык не сразу, но работал на совесть. Трезвый, чистоплотный во всем, в друзья ни к кому не набивался, но и не враждовал ни с кем. Непохоже, чтобы он...

— Все правильно, — подтвердил Усман. — И трудолюбивый, и трезвый, но, понимаешь, не нравится мне дружба Лихарева с Костылевым. А они были друзьями, жили в одной комнате.

— С каким Костылевым? — спросил Зенин. — С тем, что недавно...

— С ним, — ответил Усман.

— Факт серьезный, — задумчиво сказал Зенин. — Скажи мне, кто твой друг... Придется, товарищи, осторожно проверять этого Лихарева. Факты, только объективные факты.

9

— Володя, я с почты. — Голос лейтенанта Шемякина звучал в телефонной будке приглушенно. — Тебе что-нибудь говорит фамилия Самойлов?

Владимир Усман, слушая товарища, наморщил лоб, старательно припоминая всех известных ему Самойловых, и сказал после долгой паузы:

— Довольно распространенная фамилия. А чем он знаменит, твой Самойлов?

Шемякии рассказал, как, просматривая список отправлённых в осеиние месяцы посылок и бандеролей, увидел в ием фамилию Самойлова Григория Алексеевича. Тот послал из Красиогвардейского цеииую бандероль.

— А кто получатель?

— Куделько Михаил Георгиевич, Москва, Каланчевский проезд, дом четыре. Не зиаю почему, ио этот адрес тоже иасторожил меия. Понимаешь, такое впечатлеиие, будто я встречал уже где-то его или что-то очень близкое...

Усмаи весело подбодрил:

— Что же, вспомииай, тезка, вспомииай. Тренируй память. Еще старик Шерлок Холмс весьма одобрял дедуктивиый метод. Хотя здесь, кажется, ие дедуктивный, а индуктивный: от частиого к общему, от смутной догадки к закоиченной версии... — Вдруг оборвал шутливую фразу и спросил деловито: — Ты говоришь, фамилия отправителя — Самойлов? Постой, постой... Да, совершеиио точио. Осенью прошлого года я знакомился с сезонниками в поселке Еловском. И среди них был Самойлов. Кажется, действительио, Григорий... — Ои замолчал и добавил увереино: — Правильио, Самойлов. Григорий. Совсем еще молодеиький пареиек. И зиаешь, Володя, помиится, к нам ои приехал из Подмосковья.

— Ну вот, а ты еще поддеваешь: Шерлок Холмс, дедуктивиый метод... — Усман чувствовал, что Владимир Шемякин, произнося эти слова, довольио улыбался. — Догадываешься, как важно для нас, что Самойлов именно из Подмосковья?

— Догадываюсь, — перебил его Усман. — Но о том, почему Самойлов, живя в Еловском, поехал отправлять бандероль в Красногвардейский, за пятьдесят верст от дому, пока ие могу догадаться.

— Это как раз и наводит...

До сих пор Шемякии был убежден, что самородки в старательской артели на речке Светлой похищал Виктор Костылев. Как говорится, повидал виды граждаиин; прошел огни, воды и медные трубы... Только спросить Костылева уже ии о чем иельзя, опоздали спросить...

Шемякии терпеливо, строка за строкой, просматривал справку конторы связи, иадеясь иайти в перечие отправителей фамилии Лихарева или Костылева. Но в списках не было ии того, ни другого.

Шемякин и сам не мог объяснить себе, чем именно привлекла его внимание бандероль, отправленная Григорием Самойловым в Москву Михаилу Куделько. Фамилии Самойлова и Куделько были явно незнакомы. Но вот адрес Куделько... Шемякин напрягал память, спорил с собой, и все-таки его не оставляло чувство: адрес именно этот или очень близкий он слышал совсем недавно. Но от кого? Кто здесь, в таежном поселке, мог назвать неведомый Владимиру Шемякину Каланчевский проезд в Москве?..

«А может быть, не слышал... — раздумывал Шемякин, — а прочитал в документах. Может быть, даже записал где-то...»

Шемякин вернулся в райотдел, быстро перелистывая бумаги, просматривал служебные записи последних дней. И наконец... Ну как же он мог позабыть об этом?.. Почти все время думал об этом человеке, сам себя опровергал: не может такой парень красть золото, а вот не удержал в памяти его московский адрес, который сам же записал после тревожного разговора с директором прииска Барабиным...

Михаил Куделько живет в Москве на Каланчевском проезде, в доме номер четыре, Олег Лихарев — на том же проезде, в доме номер шестнадцать...

Это совпадение может стать зацепкой в поиске. Но может оказаться и простой случайностью. А самое главное — нет пока никаких данных о связях Лихарева и Самойлова, Самойлова и Костылева...

...Приемщица почты в поселке Красногвардейском на вопросы Шемякина отвечала охотно:

— Нет, ничего такого не бросилось в глаза. Пришли, знаете, два парня. Обыкновенной наружности. Один повыше ростом, другой пониже. В рабочей одежде, как все тут ходят у нас. Одного я вроде бы встречала в поселке, но точно сказать не могу, второй вовсе не здешний. Принесли с собой две книги. Толстые. А как называются, я не посмотрела. Не все ли мне равно. И еще что-то принесли. Но вот что? А, вспомнила! Фонарик электрический. Пощелкали им, помигали, действует, мол, фонарь или нет. А то, дескать, друг, которому посылают, обидится, если неисправность в нем. Потом один попросил меня упаковать бандероль. Я упаковала книги и фонарь, опечатала сургучом. Парень написал адрес, я выдала ему квитанцию. И до свидания...

— Фонарик-то был новый? — спросил Шемякин, ожидая в глубине души услышать: «Нет, старый». Но приемщица ответила:

— Исправный, говорю, был фонарь. А новый или старый, не знаю.

«А что, если они специально перед ней продемонстрировали исправность фонаря? Надо им было это зачем-то, — раздумывал Шемякин. — Зачем зажигать фонарь перед отправкой? Могли проверить дома...»

— Разумное соображение, Владимир Михайлович, — согласился подполковник Зенин. — Но ответа на вопрос у нас нет. Надо искать Самойлова. Только он может дать нам ответ.

10

Только Самойлов мог ответить на вопросы подполковника Зенина и его товарищей. Но ни Зенин, ни его товарищи пока не знали, что Григорий Самойлов был бы рад и сам получить от кого-то ответы на свои вопросы.

Олег Лихарев перед своим отъездом из поселка Красногвардейского сказал ему с подчеркнутым спокойствием:

— Вот и все, Гриша. Здесь мне больше не климат. Увидимся, наверное, не скоро. Спасибо за услугу, ты настоящий друг. Советую позабыть все, что было. А в случае... — он чуть не произнес «моего ареста», но споткнулся на этих словах, перевел дух, отгоняя тревогу, и договорил твердо: — В случае неприятностей отвечаю я и только я. Ты ничего не знал, выполнял мои просьбы вслепую. — Он опять вздохнул и продолжал великодушно: — Можешь для пущей убедительности сказать, что я запугал тебя. Я готов подтвердить эти показания. Слово честного человека. Так что спи спокойно...

«Честного...» — печально повторил Самойлов про себя.

С той поры Григорий едва ли не каждый день призывал себя к спокойствию. Но желанное спокойствие не возвращалось к нему. Нет, это не был страх за себя. Хотя мысли о возможном аресте и суде навещали его все чаще.

И ни водка, ни девушки не приносили забвения. И как-то очень трудно стало смотреть в глаза окружающим его людям. Трудно и стыдно, точно не Олег Лихарев, а он, Гриша Самойлов, обманул, обворовал этих людей.

«Да и велик ли обман. Подумаешь, несколько самородков. Ни слухов, ни разговоров о пропаже», — успокаивал себя Самойлов.

Но разве успокоишься, если уже вот много месяцев рядом с тобой — коренные таежники. Скоро год, как Самойлов работает в тайге. Теперь он не понаслышке знает, каким трудом добывают каждый грамм золота. Воистину драгоценный металл! И когда Самойлов думал об этом, несколько самородков, которые украл Лихарев, виделись ему вовсе не пустячком. Несколько самородков... И снизился заработок в старательской артели на речке Светлой, в чьем-то доме отложили давно задуманную покупку, чей-то ребенок не получил обещанного подарка... Конечно, украл Лихарев, но он, Григорий Самойлов, помог ему скрыть следы кражи...

Можно явиться в милицию и рассказать все как было. Но это значит предать Лихарева. А разве он может предать друга? Не лучше ли последовать совету Олега и позабыть все, что случилось?

Он решал: позабыть. Но каждый день слышал разговоры о планах добычи, о заработках, премиях за сверхплановый металл, и все мучительнее становилось смотреть в глаза людям, и не было желанного забвения, и не было ответа на вопрос: как же все-таки поступить ему?..

В тот день Григорий возвращался с работы раньше обычного. Он впервые заметил, что небо над поселком приподнялось, в дымной морозной мгле, вспоров ее, засинели ласковые предвесенние разводы. Оттаявшие от наледи окна домиков, весело поблескивая, смотрели на потемневшую дорогу, на осевшие ноздреватые сугробы по обочинам и за плетнями огородов.

— Эй, москвич! Замечтался! Постой, говорю! Дело есть к тебе! — услыхал он за спиной незнакомый голос.

Самойлов оглянулся и замер, а через секунду едва удержался, чтобы не юркнуть в калитку напротив. Быстрыми шагами к нему приближался участковый инспектор милиции лейтенант Ермаков.

Совсем еще молодой, немногим старше Самойлова, лейтенант Александр Ермаков несколько тяготился однообразными и прозаическими обязанностями участкового в малонаселенном таежном углу. В глубине души он считал себя незаурядным криминалистом, под стать сыщикам, каких показывают в западных детективных фильмах. Но тяжких, запутанных преступлений на участке Ермакова никто не совершал, и начальство пока не имело возможности в полной мере оценить глубокую проницательность лейтенанта. В ожидании своего часа он довольствовался тем, что разрешал себе некоторые вольности в ношении формы. Появлялся на улице в мундире и в таинственно надвинутой на брови мягкой шляпе или в темных очках, а служебные рапорты писал красочно, непременно подчеркивая психологические подробности. Его иногда поругивали на совещаниях, но вскоре прощали, справедливо считая Ермакова способным и ревностным в службе офицером.

Ермаков остановил на улице Самойлова, не зная ни о том, что в райотделе ищут Самойлова, ни о том, что ему Ермакову, суждено сыграть действительно важную роль в раскрытии тяжкого преступления.

— Повестка тебе, москвич! — сказал Ермаков, подойдя к Самойлову.

— Куда? — хрипло спросил Самойлов и с трудом проглотил слюну.

— В военкомат, — весело ответил Ермаков. — Нынче твой год призывной. Или забыл? Так что готовь кружку, ложку...

— И только? — перебил его Самойлов и обмахнул выступивший на лбу пот.

— Смотри-ка ты, мало ему, — удивленно сказал Ермаков. — В армию человек идет. Это же понять надо. Так вот готовь, друг, проводины... Отслужишь действительную, вернешься сюда? У нас хорошо, просторно...

Самойлов молчал. Вдруг вспомнилось. По московским улицам медленно двигался бронетранспортер. На нем стоял гроб с останками Неизвестного солдата. Плечо в плечо застыли люди на тротуарах. Тишина...

— Значит, в армию, — повторил Самойлов и, еще не зная, найдет ли в себе решимость признаться в том тяжком и постыдном, что мешало ему прямо и честно смотреть в глаза людям, прокашлялся и пригласил: — Зайдем ко мне, лейтенант, есть разговор.

11

Ермаков, докладывая в райотдел о добровольном признании Григория Самойлова, остался верен своему красочному стилю и охарактеризовал Олега Лихарева такими словами: «Телосложение атлетическое, шатен, лицо овальное, глаза светлые, манеры сдержанные, интеллигентные, одевается со вкусом, начитан, спиртное употребляет в меру, склонен к романтике, в разговорах осторожен, предпочитает общество интеллигентных людей. В Москве Лихарев безумно любит девушку, но не может соединиться с ней, так как не имеет средств, чтобы приобрести квартиру».

Владимир Усман подчеркнул эту фразу и с горечью сказал:

— Очень уважительная причина, чтобы красть золото... Эх, Олег Лихарев, шатен с овальным лицом и сдержанными интеллигентными манерами...

«Посылка в тюбике с зубной пастой, — читал Усман, — которую Самойлов отвез Куделько в Москву, была второй. Первую — поролонового медвежонка с зашитыми в него самородками — увезла по тому же адресу московская студентка Таня. Третью посылку — в батарейке электрофонарика — Самойлов по поручению Лихарева отправил от своего имени бандеролью в адрес Куделько.

Любимая девушка Лихарева — Гапичева Лидия Ивановна — работает или учится в МГУ. Ее муж...»

— Любимая девушка с мужем и ребенком. — Владимир усмехнулся, встал с места и, выглянув в коридор, пригласил: — Входите, Самойлов.

Самойлов остановился в дверях, понуро втянув голову в плечи, точно ожидая удара. Но сидевший за столом молодой человек испытующе посмотрел на него изпод очков и спросил сочувственно:

— Что же ты, Самойлов, не шел к нам так долго? Почему сразу не принес этот тюбик с начинкой?

— Я очень симпатизировал Олегу Лихареву, — ответил Самойлов, тяжело усаживаясь на предложенный Усманом стул. — Я считал Олега своим лучшим и единственным другом...

— Считал? — повторил Усман. — А теперь?

Самойлов молчал долго. Потом глухо сказал:

— Теперь не знаю. Не знаю, как после этого смот-

реть в глаза людям. Не знаю, как после разговора с Ермаковым, с вами посмотрю в глаза Олегу. И жить с таким грузом тяжело, и Олега жаль. В общем, не зиаю.

Взгляд Усмаиа за очками совсем погрустнел, но голос прозвучал строго:

— А Лнхарев пожалел? Тебя, товарищей, с которыми он работал? Любовь эту свою несчастиую пожалел? Квартира нм, вндите ли, нужиа! Значит, воруй, да? Хорошо, Григорнй, что ты нашел в себе силы прийти с повинной. И душу себе облегчил и участь. За хищеиие золота — наказанне очень строгое. А ты фактически соучастник Лнхарева.

«Соучастник», — Самойлов повторил про себя давио уже мелькавшее в его раздумьях слово, ио все-такн возразил не без вызова:

— Ну, не приди я к вам добровольно, вы не зиали бы ни участников, ии соучастников. А может быть, н вообще бы не нашли никого. Олег сработал чисто. Не хватились же до сих пор...

— Не обольщайся, Григорий, — сказал Усмаи. — И не набивай себе цеиу. Мы зиалн о краже самородков, о твоей баидероли. Больше тебе скажу, подозревали именно Лихарева. И собрали бы улики без твоей помощи. Но если ты действительио готов нам помочь, то к тебе есть просьба: напишн Лихареву спокойное, дружеское письмо, расспроси, что он собирается делать в блнжайшее время. О иашей встрече с тобой, понятио, ему ни слова. Ответ Лихарева покажешь иам.

Самойлов долго не отвечал. Сиова ударили морозы, и стекло было затянуто плотной ледяиой плеикой. Потом сказал устало:

— Напншу.

...Полковник Константии Прокопьевич Кудрявин внимательно читал донесение из далекого таежиого района: «Лихарев Олег Вадимович, 1946 года рождеиия, житель города Москвы, работал в прошлом году в старательской артели иа речке Светлой, неодиократно похищал драгоценный металл. Как стало иам известно, Лихарев похитил самородкн общнм весом более ста сорока граммов. На письмо гражданииа Самойлова о его планах Лнхарев ответил, что в предстоящий старательский сезон ои снова прнедет в наш райои и, как мы предполагаем, возобиовит свои преступные действня. Однако в настоящее время задержаиие Лихарева счи-

таем преждевременным, так как не имеем данных о преступиых связях Лнхарева в Москве, о каиалах сбыта похищеиного золота. Кроме того, по предположеииям явившегося к нам с повииной гражданнна Самойлова Г. А., Лихарев нмеет преступные связи иа террнторни района. Этн вопросы нуждаются в детальной отработке. Направляем на ваше рассмотренне план первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по изоблнчению Лнхарева...»

Константин Прокопьевич снял очкн, болезнеино поморщился, потер веки. После давиего фронтового ранения читать трудно: правый глаз быстро устает, начинает иыть, а чнтать начальннку ОБХСС приходнтся много.

Уже восемь лет возглавлял Кудрявин этот отдел в Красноярском УВД, но сообщение из тайгн о краже золота было первым в его практике. Опасиое преступлеиие. Дело тут вовсе ие в размерах похищенного. Полковник снова и снова перечнтывал донесеиие. Когда-то на купеческнх прннсках лихие старателн почитали высшим шиком иепремеиио утаить часть добычн от хозяйских надсмотрщиков, иадуть толстосума, обвестн его вокруг пальца. В глазах своих товарнщей такой «фартовый» ловкач не только не считался преступннком, но был предметом зависти н восхищения. Иное дело украсть у артелн. Здесь суд был скорым и грозным, и тотчас же следовала жестокая кара. Но кражи золота у хозяина были такой же старательской традицией, как необъятные плнсовые шаровары или хмельная гульба после добычливого сезона... Те времена вместе с бутарамн, вашгертамн, прндорожнымн кабакамн и купеческим куражом давно канулн в Лету. Так неужели Олег Лихарев живет во властн старых привычек?

Кудрявин опять надел очкн, стал чнтать предложения товарнщей из таежного района. «Проверить возможную прнчастность к сбыту н хранению похищенного Лихаревым золота Гапнчевой и Куделько. Обеспечить надежную ннформацию на случай внезапного отъезда Лихарева из района. В этом случае прниять экстренные меры к задержанию Лихарева».

Что же, все профессионально правильно. Товарищи в райотделе детально продумали план операцни под кодовым названием «Добытчнк», н уже сейчас можно с уверенностью сказать, что «добычей» Лихарева станут

горе, запоздалый стыд и долгие годы в колонии. Констaитии Прокопьевич взял ручку и размашисто иаписал в углу документа: «Утверждаю...» Отиыне Олег Лихарев надолго заиял мысли полковиика Кудрявина.

12

Олег, ие подозревая о том, что в Сибири о ием вспомииает и думает так много людей, летел из Москвы в Красноярск. Казалось, самолет шел строго иа границе времеии. Навериое, где-то далеко в стратосфере все-таки есть эта невидимая с земли граиица времеии — лииия встречи, противостояния света и мглы. За иллюмииаторами по одиому борту царила иочь. Глухая, провально-чериая. А в иллюминаторах другого борта в рассветных лучах теплились, розовели пушистые облака...

Олег знал: самолет движется иавстречу солнцу. Но все время смотрел в иллюминаторы, за которыми была ночь. Ведь там оставалась Лида.

Грузовик, в кузове которого Олег проделал длинный путь от райоиного центра до поселка Красиогвардейского, остаиовился у крыльца приискового управления. Олег перемахнул через борт, радуясь тому, что наконец-то у цели, коичилась многочасовая тряска по сквериой дороге и под иогами ие дрожащее металлическое днище, а твердая земля.

— О, кого я вижу! Олег Вадимович! — радостно воскликиул бородач в аккуратном темно-синем ватиике и зимней лохматой шапке. «Кажется, Рыскин Демьян Антонович», — с трудом припомнил его Лихарев. А Рыскин подошел к иему, уважительно, двумя лопатистыми ладонями пожал руку Олегу и, хотя был много старше его, почтительио поприветствовал: — Здравствуйте, Олег Вадимович. С благополучным прибытием. Снова, значит, решили навестить нас.

— Хочу еще сезои помыть золотишко, — сказал Олег с натянутой улыбкой. — Поработаю, посмотрю, да, может быть, останусь насовсем. — Он никогда не думал оставаться здесь и был удивлен: почему вдруг заговорил об этом. Но продолжал восторженно: — Места хорошие, заработки тоже.

Демьяи Аитоиович подхватил с воодушевлеиием:

— Места у нас богатейшие, раздольные. Душе не тесно. Имеется все, что требуется для жизни. После войны мог бы осесть в городе. А я как погоны снял, так сюда. Тут я всеми своими корнями, до последнего вздоха...

Олег, чтобы прервать совсем неинтересный для него разговор, спросил нетерпеливо:

— Ну, что тут новенького у вас?

— Да вроде бы все как было. Готовимся к промывочному сезону. Артель вот сколачиваем. На Светлой еще много старых отвалов. Вас возьмем в артель с дорогой душой. Или вы, может, решили на промышленную добычу?

— Нет, в артель. Опять вместе станем стараться, — сказал Олег, радусь тому, что его в артель возьмут с дорогой душой. А значит, верят. И спросил, чтобы только не молчать, ради приличия: — Все тут живы, здоровы?

— Все в полном порядке, — сказал Рыскин. — Хотя дружок-то ваш... Или слыхали уже?

— Какой дружок? — настороженно переспросил Лихарев.

— Костылев...

Внутренне напрягаясь: неужели Костылев арестован? — Олег с улыбкой предположил:

— А что с ним приключится? Разве что ногу сломал спьяну или женился снова? — И сразу пожалел о сказанном: надо было просто равнодушно заметить: какой, мол, он мне дружок. И все. Пусть бы Рыскин рассказывал дальше. А так получилось, что признал дружбу с Костылевым. И неизвестно, чем обернется для него это признание.

— Нет, хуже, — возразил, нахмурясь, Рыскин. — Наложил руки на себя. Застрелился. Еще в декабре... — Замолк и добавил испуганно: — Ой, Олег Вадимович, побледнели вы шибко...

Олег испытал сейчас то двойственное чувство, какое возникает у суеверных людей, когда, направляясь по важному делу, они встречают на пути черную кошку или женщину с пустыми ведрами. Хочется повернуть назад, но этого сделать нельзя. Нелепо и противно поддаться страху и невозможно побороть в себе страх.

«Может быть, вернуться в Москву, пока еще не по-

здно?» — подумал Олег. И вдруг остро резануло воспоминание, которое он заглушал в себе последние дни.

Перед отлетом из Москвы в аэропорту его разыскала Катя, молоденькая жена Гриши Самойлова, и торопливо рассказала:

— Гриша перед уходом в армию заглянул домой. Мы ему устроили проводины. Гриша выпил и сказал мне: Лихаревым Олегом очень интересуется Ермаков. И посмотрел на меня так внимательно. Я не поняла ничего, но, думаю, надо передать Олегу. Может, для тебя это важно.

— Ермаков? — переспросил Олег и наморщил лоб, пытаясь вспомнить. — Какой Ермаков? — Отгоняя мрачные мысли, пожал плечами: — Мало ли Ермаковых на свете!..

А сейчас, оглушенный известием о страшной кончине Витьки Костылева, мысленно примеряя к себе его изломанную судьбу, он вспомнил: Ермаков — это участковый инспектор милиции. Неужели Самойлов намекал жене именно на этого Ермакова?

Олег съежился, глубже запахнул куртку, но каждой клеточкой тела, каждым нервом ощущал на себе чьи-то пристальные взгляды, пронзительный ветер, клокотавший над поселковой улицей, и разлитую в воздухе промозглую предвесеннюю сырь.

Первым его желанием было немедленно вскочить с завалинки, на которой он притулился, остановить попутную машину и незамеченным ускользнуть отсюда в Москву или куда-нибудь еще дальше. Но это значило бы навеки потерять Лиду. Немыслимо явиться к Лиде и сказать: «Я провалился, я боюсь ареста, я должен скрыться. Я не могу сдержать слово, которое дал тебе. Я болтун и слабак». И если это действительно тот Ермаков, то... далеко ли он, Олег, сумеет отъехать отсюда?

А впрочем, почему он празднует такого труса? Ведь Ермаков мог спрашивать и потому, что Лихарев был другом Костылева. Это же знали все. Ну конечно же, Ермаков интересовался им из-за Костылева. Простая мысль, а все меняет резко. И как не пришла она ему в голову раньше...

Олег с облегчением осмотрелся. Поселковая улица, как всегда, была почти безлюдной. Только ребятишки на просохшей проталинке гоняли мяч. В стороне стояли

и беседовали две женщины с коромыслами на плечах. Ведра у них были полными...

И тут Олег вспомнил пьяную исповедь Костылева. И почувствовал, как в кончиках пальцев закололи ледяные иголочки. Виктор сам сказал: «Что случится со мной, туда пойдешь ты. Все будет твоим». Значит, теперь Олег имеет право воспользоваться завещанием Виктора. Выходит, что самоубийство Костылева ему на благо вдвойне.

Эта мысль окончательно успокоила Олега. Он решительно поднялся по ступенькам крыльца приискового управления, безмятежно улыбнулся инспектору отдела кадров и сказал самым искренним тоном:

— Вернулся вот к вам снова. Прошу поставить меня опять на старательскую добычу. Если можно, то, пожалуйста, снова мониторщиком на речку Светлую. Только есть просьба — подберите ко мне в смену самого дисциплинированного бульдозериста. Такого, чтобы не допускал ни прогулов, ни загулов, я привык работать на совесть, с душой. И хочу, чтобы рядом работал надежный человек.

13

— Ну как, Владимир Михайлович, наш подшефный?..

Этим вопросом Зенин начинал теперь каждую утреннюю беседу с лейтенантом Шемякиным.

— Ничего нового, Григорий Иванович, — ответил Шемякин и подумал: «Ничего нового. Так было и вчера, и позавчера, и неделю назад...» — Я уже докладывал вам, за все время, с 18 апреля, что Лихарев здесь, он единственный раз нарушил обычный маршрут. Побывал на кладбище, на могиле Костылева. Постоял, помолчал минут десять и вернулся. В остальном живет как по графику. Выходит из общежития, без задержки отправляется на гидроустановку. Обедает на рабочем месте. Возвращается в поселок, заходит иногда в столовую, иногда в магазин. И сразу же в общежитие. Каждый день в одно и то же время, минута в минуту. Часы проверять можно.

— Друзей не завел?

— Ни друзей, ни врагов. Никого. Один как перст. И вообще, Григорий Иванович... — Шемякин замялся и

договорил недоумевающе: — И вообще, или этот Лихарев хитрее нас всех, вместе взятых, или уж слишком он непохож на похитителя золота. Очень строгих правил человек. Вот Костылев... Там все было ясно. Забулдыга. А этот... праведник.

— Праведник, — хмуро сказал Зенин, потом достал из ящика стола бумагу, протянул ее Шемякину: — Почитай. Ответ наших московских коллег на запрос о Куделько. Товарищи дают ему самую положительную характеристику. Серьезный, работящий человек, студент физико-технического института. До призыва в армию, правда, любил пошуметь. Но демобилизовался и остепенился. Работает, учится. Не только в спекуляции золотом, но и вообще ни в чем предосудительном не замечен. Отношения с Лихаревым не установлены. А это, — подполковник достал из стола другие бумаги, — ответ на наш запрос о Гапичевой. Тоже очень спокойный ответ. Так что, Владимир Михайлович, о Лихареве нужны факты. Показания Самойлова — это очень важно, но все-таки их маловато...

Шемякин отправился на попутной машине в поселок Красногвардейский.

В тайге каждый человек на виду, и не успел Шемякин добраться до речки Светлой, старатели уже знали: в артель прибыл сотрудник милиции. Шемякин понимал, что его приезд не является тайной, и решил это досадное обстоятельство обратить в свою пользу. Лейтенанту было интересно, как Лихарев воспримет его появление, не сдадут ли у него нервы, не выдаст ли чем-нибудь себя...

Но было похоже, что Лихарев вообще не заметил его. Продолжал работать, как работал, даже не покосился ни разу в сторону Шемякина.

Владимир Михайлович тоже повернулся к нему спиной, потолковал с рабочими, потом отвел в сторону механика.

— Все в порядке у вас? — спросил Шемякин.

— Да вроде бы все в ажуре, — сказал механик. — Съемки металла соответствуют среднему коэффициенту содержания золота в отвалах.

— Это хорошо. Впрочем, так и должно быть. Старатели у вас в основном коренные таежники. Новичков немного. Да и те уже с опытом и тоже не какие-нибудь

халтурщики. Вон Лихарев. Городской, кажется. А к тайге привык, работает, не разгибаясь, от гудка до гудка.

Механик тоже посмотрел на мониторщика, кивнул утвердительно:

— Лихарев минутки не потратит напрасно. И не позволит потратить никому. Сами знаете. У нас в тайге бывает: подгулял человек, является на смену с похмелья... Лихарев и сам всегда трезвый, и от других требует того же. Чуть заметит, что от бульдозериста припахивает спиртным, сейчас требует снять с машины. Мне, говорит, в смене нужен человек с ясной головой. И вообще дотошный этот Лихарев. Интересуется геологией, и историей добычи в наших краях, и сколько металла получаем за одну съемку с артельной колоды...

— И вы отвечали ему? — спросил Шемякин настороженно.

— Зачем же отвечать? — вопросом на вопрос ответил механик обиженно. — Не первый год работаю, знаю, что такое производственная тайна. Уклонился я от ответа. Но приятно то, что человек он пытливый и к делу подходит основательно...

14

— Товарищ подполковник, разрешите войти? — Усман приоткрыл дверь в кабинет начальника райотдела.

— Входи, входи, Владимир Леопольдович, — радушно пригласил Зенин. — Может быть, и ты нам сообщишь что-нибудь интересное. Мы с Владимиром Михайловичем, — подполковник кивнул на Шемякина, сидевшего у стола, — как раз решаем разные психологические ребусы, которые нам загадывает Лихарев. Ведет себя тише воды, но в то же время проявляет редкостную любознательность и к геологии, и к добыче. Я, грешным делом, опасаюсь, не слишком ли мы зашифровали наше внимание к нему. А он, чувствуя себя в полной безопасности, видимо, надумал взять разом всю колоду. Чего, мол, стесняться в своем отечестве! Он же считает нас лопухами... — Зенин сощурился, ожидая от Усмана шутливого ответа.

Но Усман сказал без улыбки:

— Вчера Лихарев переехал из общежития на квартиру к бульдозеристу Мищенко.

— Что так? — удивился Шемякин. — Ведь на частной квартире дороже, чем в общежитии. А Лихарев деньги любит и считать умеет.

— Вчера к нему пожаловала гостья, Лидия Ивановна Гапичева, — рассказывал Усман. — Лихарев представляет ее всем как свою невесту. Место за собой в общежитии оставил, коменданту Прохоровой сказал, что Гапичева пробудет здесь до 22—23 июля. Любопытно, что Лихарев недавно буквально клянчил у одной женщины пятьдесят рублей, разжалобил ее: мол, в Москве больна мать, а у него совершенно нет денег...

— Это не у той женщины, — спросил Шемякин, — у которой он опорки старых валенок выпросил, чтобы носить вместо комнатных туфель? Лихарев вообще любит казаться бедненьким...

— Любит, — подтвердил Усман. — Но для Гапичевой у него неограниченный кредит. Перевел ей в Крым крупную сумму. И сама Гапичева хвалилась коменданту Прохоровой, что все расходы он принял на свой счет. А Лихарев сразу же стал добиваться у коменданта, где можно купить шкурки соболей. Так что ходить в опорках ему нет нужды.

Шемякин недоумевающе пожал плечами:

— Мне этот Лихарев уже сниться стал. Кажется, все знаю про него. Когда ложится спать, когда просыпается, что берет на обед. Перед кем и как прикидывается нищим, зарабатывая почти четыреста рублей в месяц. И все-таки не знаю о нем самого главного: ворует он сейчас золото или нет?..

— Приезд невесты, — перебил его Зенин, — может существенно повлиять на весь ход операции. Гапичева могла приехать к нему, так сказать, по зову чувства, и тут действительно наше дело — сторона, но могла и в качестве сверхнадежного курьера для перевозки похищенного. Так что, пока Гапичева здесь, не спускать с нее глаз. Я предупрежу наш аэропорт, чтобы сообщили об отъезде Гапичевой. Придется осмотреть ее багаж. Поставлю в известность управление, после отъезда Гапичевой из района надо не упускать ее из виду ни в Красноярске, ни в Москве... До 22 июля в нашем распоряжении остается 25 дней. Пусть Лихарев и Гапичева проведут их вместе... перед долгой разлукой. — Зенин усмехнулся. — Я думаю, что Гапичева все же возьмет с собой золото. И в день ее отъезда мы закончим операцию «Добытчик»...

Но за пять дней до назначенного срока в кабинете подполковника Зенина раздался телефонный звонок. Григорий Иванович поднял трубку и, едва услыхав голос Владимира Усмана, понял: стряслось недоброе...

— Григорий Иванович, интересующая нас особа покинула район...

— Что? — Зенин вскочил с места. — А он?..

— Здесь, — Усман помолчал, ожидая новых вопросов, и продолжал с горечью: — Произошла случайность, которой не мог предусмотреть никто...

...В этот вечер Павел Мищенко, в доме которого снимали комнату Лихарев и Гапичева, вернулся с работы позже обычного и навеселе. Мария встретила мужа упреками. Перебранка затянулась далеко за полночь. Мария разрыдалась и убежала на кухню. Павел Мищенко, несколько протрезвев, окликнул жену, но ответа не было. Встревоженный, Павел сам отправился на кухню. Мария, скорчившись, сидела на полу, тихо стонала, на синих губах выступила пена...

Взгляд Павла задержался на бутылке уксусной эссенции. Бутылка была наполовину опорожнена...

Не помня себя Павел выбежал из кухни, забарабанил кулаками в дверь комнаты, где жили квартиранты.

— Олег! Помоги! Отравилась Мария!

— Что там еще! — раздался недовольный, заспанный голос Лидии Ивановны. — Ну и окружение у тебя, Олег, то грызутся, то травятся... — Она помолчала и договорила совсем презрительно: — То из обрезов в себя...

— Ну что ты, Лидочка! — умоляюще ответил Олег, но сразу сорвался и продолжал резко: — Какие есть! Выбирать и брезговать не приходится. Цель оправдывает средства...

Он вышел к Павлу, помог ему разжать губы Марии, насильно влил ей в рот молоко. Потом сбегал за дежурным фельдшером, уговорил хозяйку отправиться в больницу. И все время думал, удастся ли задержать Лиду хотя бы еще на несколько дней. И понимал: надеяться не на что, она, конечно же, уедет немедленно.

15

Усман и Шемякин понуро сидели у стола подполковника Зенина. Григорий Иванович испытующе оглядел их и сказал:

— Завершили операцию. Так сказать, успешнее некуда. Гапичева сейчас разгуливает по Москве и, если краденое золото с нею, а скорее всего оно с нею, от души хохочет над нами...

— Но ведь можно произвести у нее обыск, — неуверенно сказал Шемякин. — Арестовать, наконец, и ее, и Лихарева...

— Можно, Владимир Михайлович, — подтвердил Зенин колюче. — Все можно. Лихарева арестовать не штука. Но что мы ему предъявим после ареста? Показания Самойлова? Устроим очную ставку с Куделько? А если Самойлов и Куделько или хотя бы один Куделько откажутся от всего и сам Лихарев не проявит откровенности? А Гапичева за те дни, что была вне поля нашего зрения, спокойно сбыла свой товар, и нам практически нечем доказать, что Лихарев крал золото, а она перевозила краденое. И даже если Лихарев будет откровенен, остается главный вопрос: где похищенное золото? Ведь его надо возвращать государству.

— Выходит, Лихарев перехитрил нас? — спросил Усман упавшим голосом. — И уйдет безнаказанным?..

Зенин хмуро посмотрел на него. В глубине души подполковник тоже опасался, что Лихарев может выйти, как говорится, сухим из воды... И ответил сердито:

— А я не бабка-угадка, чтобы предсказывать наперед. Кто мог знать, что Мария Мищенко задумает разом покончить счеты с мужем и жизнью? И что заболеет предупрежденный нами кассир в аэропорту...

Все, что говорил подполковник, было совершенно справедливо: вроде бы и никто не виноват, и виноваты все разом: преступник ускользает от возмездия. И все же Шемякин попробовал рассеять мрачное настроение.

— Но, Григорий Иванович, ведь могло случиться и так, — сказал он, — что Гапичева дожила бы здесь до 22 июля. Мы сработали бы точно по плану, а она все-таки уехала без груза...

— Могло, — согласился Зенин после продолжительной паузы. — И товарищи из нашего управления в Красноярске, в частности полковник Кудрявин, считают, что, если Лихарев действительно любит Гапичеву, он не станет прямо втягивать ее в свою авантюру, делать соучастницей. Но... Как видите, опять психология. И снова открытые вопросы. Ведь Лихарев может и подстраховать себя. Наконец, Гапичева может протянуть ему руку по-

мощи. Тем более что оба они считают себя в полнейшей безопасности. Словом, психологическнх версий можно построить много. А чтобы нам с вами не запутаться в них, давайте воспользуемся теми данными, которыми располагаем.

...И вот нх разделяет только стол. Обычный обеденный стол, накрытый клеенкой. По одну сторону его, почти соприкасаясь плечами, сндят два офицера мнлиции — Владнмнр Шемякин и Владимир Усман, по другую в позе чуть жнвописной и небрежной — Олег Лнхарев. Онн оценивающе, с нескрываемым интересом, молча смотрят в глаза друг другу.

— Вы что-то в одинночестве, Олег Ваднмович! — спросил Шемякнн самым дружелюбным тоном. — Невеста ваша, как ее... — Он наморщил лоб, как бы стараясь вспомнить фамилию...

— Гапичева Лндня Ивановна, — подсказал Олег с любезной улыбкой.

— Да, Гапичева. Отлучилась, видимо, по делам?

— В Москве она, — Олег тяжело вздохнул.

— Что так? — уднвленно спросил Усман. — Только что приехала и сразу домой.

— Ну, не сразу, — Олег уже ие улыбался, говорил по-прежнему любезно и гладко, но чувствовалось: взвешивает каждое свое слово. — Прожила здесь двадцать дней. Отпуск подошел к концу. И потом, знаете, Лидия Ивановна человек очень тонкнй, глубокнй. Она потрясена и шокирована этой скандальной историей с квартнрной хозяйкой. И не смогла остаться здесь больше ни часу. Такне зрелища не для ее нервов...

— Да, пронсшествне печальное, — сочувственно сказал Усман. — Оно и привело нас к вам. Как вы счнтаете, в тот вечер Павел Мищенко не позволил себе ничего лишнего по отношенню к жене? Не спровоцировал ее на такой шаг? Правда, ваши хозяева жили очень дружно. Но Павел был крепко пьян, могло получнться посвякому...

— Уже бывшие хозяева, — сказал Олег с явным облегчением, поняв наконец, что их привело сюда. — Я завтра возвращаюсь в общежитие. Здесь и дороже, и комната мне одному не нужна, и воспомннания об этой историн... А в тот вечер мы с Лидней Ивановной были у себя, слышали только обрывки нх разговора.

— Ну спаснбо, Олег Ваднмович, — весело сказал

Шемякин, когда Лихарев, закоичив свой короткий рассказ, подписал протокол допроса. — Мы так и думали: ничего криминального. Семейная ссора, которая едва ие закоичилась трагически. Но человек попал в больиицу, и мы обязаны проверить причины. Должность такая. Да и о Мищенко пошли слухи. — Шемякин дружески улыбнулся Лихареву. — Кстати, о слухах. Только строго между нами. Без протоколов, просто потому, что мы с Владимиром Леопольдовичем, — кивнул он иа Усмаиа, — очень доверяем Олегу Лихареву и хотели бы услышать его мнеиие. Так вот, Олег, — улыбка, тои, обращение Шемякина — все подчеркивало неофициальность, интимность их разговора, — есть слухи, что в старательской артели не все чисто. Как ты считаешь, Олег, может ли ловкий преступиик похищать золото из старательской артели?

Усман и Шемякин внимательно смотрели на Лихарева. Но даже тень ие проскользиула по его лицу, в светлых, прищуреиных глазах ие было ни растерянности, ни страха. Только чуть шевельнулись пальцы лежавших иа столе рук, но тотчас же успокоились. Он помолчал ровио столько, сколько и должеи был помолчать серьезный, не привыкший бросать слов иа ветер человек, услыхав такой вопрос, и ответил сиисходительно:

— Если преступник ие только ловкий, но к тому же и умиый, думаю, что похищать золото можно...

— Но ведь мы в прошлом году усилили охраиу драгоцеииого металла.

— Зиаю, — Олег старался сохранить прежиий тои, однако почувствовал иапряжеиие в голосе. «Почему он подчеркивает — «в прошлом году»? Неужели проиюхали что-нибудь?»

— Ну хорошо, Олег, — как бы шутя сказал Шемякин. — Давай на минуту предположим, что ты, имеиио ты, похищаешь золото из колоды старательской артели. Скажи, пожалуйста, как бы ты действовал в таком случае?

На мгновение зрачки Лихарева расширились и застыли. Но вот Олег провел рукой по лицу, точно смыл с него что-то, и взгляиул на собеседииков совершенно спокойно.

— Забавное предположеиие, — Олег улыбиулся. — Ну в этом случае... В этом случае я, навериое, поступил бы так. — И подробио, деловито, иаслаждаясь тем, что

с каждым его словом нарастает опасность, стал описывать «технологию» хищения золота. Говорил долго.

— Справедливо говорят: нет замка, к которому бы не было ключа, — несколько удивленно сказал Шемякин, выслушав пространную исповедь Лихарева. Помолчал, собираясь с мыслями, и спросил: — А как по-твоему, кто-нибудь пользуется этим способом? Как ты считаешь, кто из старателей может заниматься кражей золота?

— Кто? — переспросил Олег и заговорил обличительно: — Найдутся. Часто вы судите о человеке по внешности, а заглянуть глубже не можете. Есть здесь такие, что прикидываются честными работягами, патриотами края, а присмотреться внимательно — увидишь другое. Вот хотя бы тот же Рыскин...

Лихарев называл и называл имена, перечисляя недостатки товарищей — на каждого была брошена тень.

Шемякин, подавив чувство брезгливости к собеседнику, сразу же после его монолога сказал подавленно:

— Что же, Олег Вадимович, спасибо за откровенность... Такое действительно приходится слышать не часто.

Когда, ошеломленные цинизмом Лихарева, они вышли на улицу, Усман спросил товарища:

— Как ты считаешь, он понял, зачем мы приходили?

— Спроси у него после ареста. Во всяком случае, золото он ворует. Это совершенно ясно. Главный вопрос: где самородки? Уже в Москве? Еще при нем? Или пока в тайнике?

16

И снова над логами, над таежною речкой Светлой всползали августовские туманы, и на мокрых, обвислых под дождем листьях проступали ржавые мазки.

В начале августа Шемякина и Усмана вызвали в Красноярск на семинар работников службы БХСС. Оба Владимира садились в самолет с тяжелым сердцем. Лихарев в последние дни явно нервничал. Затеял несколько беспричинных ссор со старателями. В общежитии грубил соседям, надолго исчезал из комнаты.

Вечера проводил в лагере студенческого стронтельного отряда и, чего за ним раньше не водилось, частенько возвращался пьяным. Судя по многим признакам, готовился возвращаться в Москву, но дня отъезда не называл никому.

Едва Шемякин н Усман добрались из аэропорта в управление, нх пригласили к начальнику ОБХСС.

Говорилн о Лихареве, о встрече с ним в доме Мищенко, о неожиданном отъезде из Красногвардейского Лиднн Ивановны Гапичевой.

Шемякин н Усман рассказывалн коротко, неохотно. Полковник Кудрявин поннмал, как нелегко его собеседникам говорить об этом, какнми профессионально незрелыми, даже беспомощными видятся они себе. Константин Прокопьевич сказал сочувственно, ободряюще:

— Не изводите себя. От досадных случайностей в нашей работе не застрахован никто. — Он помолчал, вспоминая о чем-то, улыбнулся невесело и продолжал: — Да и так ли уж страшен на самом деле ее внезапный отъезд? Судя по информацин наших товарищей из Москвы, никакнх признаков того, что Гапнчева вывезла из тайги золото, пока нет. И я не думаю, что в будущем о Гапнчевой мы узнаем что-либо нное, слншком она расчетлнва н труслива. Пользоваться выручкой от сбыта краденого станет с удовольствием, но на прямое соучастне осмелнтся едва ли. Да и любовь Лихарева к ней не позволнт ему поставить эту дамочку под удар. Сейчас важно не упустить самого Лихарева, и главное — не дать вывезти краденое кому-то нз его сообщников.

— Но кому, Константин Прокопьевич? — спроснл Шемякин. — В эти месяцы из Красногвардейского никто не отправлял посылок в Москву.

— Ну, в прошлом году сам Лнхарев тоже не отправлял ни одной, а потом оказалось: отправил трн.

— Парень-то он неглупый. Едва ли станет повторяться, можег придумать что-нибудь поновее.

— Может, конечно. — Кудрявнн кнвнул. — Но и переоценивать его нельзя. Да н выхода у него другого нет, кроме как снова искать курьера, вроде Самойлова или студентки Тани...

— Кстати, в последние дни он зачастил к студентам, — заметил Усман.

Кудрявии внимательно посмотрел на иего, быстро спросил:

— С кем из студентов он подружился?

— Приглядываемся, товарищ полковник.

— Не упускайте из поля зрения новых знакомцев Лихарева, — наставлял Кудрявин. — Сообщите заранее о выезде студентов. Придется встретить их в аэропорту и поговорить откровенно. Все меры, которые вы наметили, чтобы предотвратить бегство Лихарева из района, считаю правильными. И никакой медлительности. В нашем распоряжении столько времеии, сколько отпустит Лихарев. Его арестовать в день отъезда.

Занятия семинара шли своим чередом. И вот однажды лейтенанта Шемякина срочно пригласили к телефоиу.

— Владимир Михайлович, — услыхал ои в трубке знакомый голос дежурного по райотделу, — ваша жена принесла мне телеграмму из Красногвардейского, говорит, очень важная. А я прочитал, мне она непонятна: «Гости уезжают пятого. Лиза».

— Немедленно передайте телеграмму подполковиику Зенину, — взволнованно перебил Шемякин.

— Григорий Иванович выехал в район. Вернется седьмого.

— Майор Моничев на месте?

— Да.

— Передайте телеграмму ему и предупредите, чтобы он ждал телефонного звонка из Красноярска.

Через несколько минут Шемякин докладывал Константину Прокопьевичу Кудрявину:

— Товарищ полковник, комендант общежития, как мы с ней договорились, послала на имя моей жены зашифрованную телеграмму. Лихарев пятого выезжает в райцентр. Прошу вас поручить майору Моничеву задержать Лихарева.

17

Лихарев просиулся в полутьме. Вечер, что ли? Или светает? Пальцы уперлись во что-то твердое. Почему он в верхней одежде? Олег приподнялся на локте, осмотрелся. Лишь сейчас дошло до сознания: он на нарах в камере предварительного заключения...

Сердце ухнуло тревожно и часто, во рту стало сухо. Впрочем, стоп! Кажется, причин для волнеиия нет. Вчера добрался до райцентра, устроился в гостинице. Последняя ночь в тайге. Можио и выпить по потребности. Потом откуда-то появился милиционер. Вроде бы с ним был какой-то спор. И вот привели сюда. Через час прочитают мораль, может быть, оштрафуют для порядка и отпустят.

— Лихарев, выходи!..

Олег вошел в комнату, настороженно посмотрел иа майора Моничева. Стаиислав Федосеевич поднял взгляд от лежавших перед ним на столе бумаг, молча указал Лихареву на стул и сказал укоризненно:

— Что же получается, Лихарев? Работали почти четыре месяца. А теперь весь заработок на ветер. Пьяиствуете и хулиганите...

— Ну какое там хулигаиство? — с явным облегчением возразил Лихарев. — Выпил лишнего, а ваш сотрудник придрался ко мне. Вот и получился спор.

— Спор, — сердито повторил Моничев, с любопытством приглядываясь к Лихареву. — От вас-то мы не ожидали такого. И человек вы культуриый, и работник, я слышал, неплохой. А допускаете такое неуважение к сотруднику милиции, нарушаете общественный порядок.

— Я учту свою ошибку, — сказал Лихарев как только мог печально, — и ие повторю ее.

— Все обещают и учесть, и не повторять. Оштрафовать вас придется за нарушение общественного порядка.

— Пожалуйста, — Лихарев сокрушенно развел руками, опустил голову. — Раз виноват, заплачу.

— Вещи-то все целы?

— Наверное, — ответил Лихарев, по-прежнему убито глядя в пол. — Да много ли со мной вещей?

— Может быть, вещей и немного. Но дело в качестве вещей, в их содержимом. — Моничев пристально посмотрел на Лихарева, напряженно застывшего иа стуле. — Да, Олег Вадимович, все дело в содержимом, как говорится, в начинке. Скажем, поролоновый медвежоиок... Пустячок, детская игрушка. А зашей в нее, допустим, парочку самородков, и уже не игрушка, а довольно-таки дорогая вещица. И приходит-

ся искать оказию, чтобы этого медвежонка отвезти в собственные руки некоего Михаила...

Лихарев, будто от удара, вскинул голову, хотел возразить, но лишь посмотрел на окно за плечом майора. Не было видно ни солнца, ни неба, сползала, сочилась дождевыми струями тоскливая осенняя рябь. И тут он почувствовал, как поползли из-под ног половицы и даже стул вроде бы закачался. На лбу выступила холодная испарина, с трудом ворочая отяжелевшим языком, он сказал хрипло:

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Да так, к слову. Мы только диву даемся, какой вы, Лихарев, выдумщик и хлопотун: то начиняете поролонового медвежонка, то тюбик от зубной пасты, то батарейку электрического фонарика. То ищете надежных людей, ваших земляков. Вот прошлое воскресенье прогуливались по тайге со студентами. То излагаете нашим товарищам научные способы хищения золота. — Моничев вздохнул печально и сказал совсем доверительно: — Может, и меня просветите, Олег Вадимович, с какого обыска начинать: в ваших вещах, у студентов в строительном отряде или в Москве, у вашей любимой невесты Лидии Ивановны Гапичевой. — От взгляда Моничева не скрылось, как вздрогнул Лихарев при упоминании о Гапичевой, а потом сразу словно бы обмяк и сидел понурый, обессиленный, кажется, готовый вот-вот свалиться со стула. — Человек вы неглупый, расчетливый, понимаете, что к чему. Может быть, не станете создавать себе и нам лишних неприятностей и забот и скажете сами, где находится похищенное вами золото?

Лихарев невидяще смотрел на майора, вспомнив о чем-то, криво усмехнулся и сказал почти спокойно:

— Я должен подумать.

...Студент Александр Булычев встретил подполковника Зенина и майора Моничева с нескрываемым удивлением:

— Ко мне? В чем дело?

— Саша, вам знаком Олег Лихарев?

— Да. Отличный парень. Он сейчас улетел в Москву.

— Вы, конечно, договорились с ним о встрече в Москве?

— Да, он должен ждать меня в аэропорту.

— Саша, — мягко попросил Зенин, — принесите,

пожалуйста, нам ту вещь, которую оставил вам Лихарев.

— Но... — Булычев замялся. — Но я обещал Олегу не показывать ее никому. Олег сказал: там три шкурки соболей, за это не привлекают к уголовной ответственности.

— Саша, — Зенин положил руку на плечо паренька. — Лихарев обманул вас. Он опасный преступник. Принесите посылку, которую Лихарев оставил вам. Сами вскройте ее в присутствии ваших товарищей, и вы убедитесь: я говорю правду.

И вот сверток, оставленный Олегом Лихаревым, лежит на столе. Булычев вспорол мешковину, под ней открылась старая вышарканная овчина. Развернул ее, увидел толстый слой ваты. Еще минута, и в хлопьях ваты блеснули самородки...

— Вот так соболиные шкурки! — Саша удивленно присвистнул. — Ну, Олег...

— Принесите из моей машины весы, — попросил Зенин шофера. — Надо составить акт об изъятии похищенного Лихаревым золота. Итак, сколько получается? Сорок пять самородков, общим весом восемьсот девять граммов. Распишитесь, ребята, в акте...

...После тяжелых раздумий Лихарев признался, что два года воровал самородки в старательской артели.

18

— Лихарев, на допрос! — скомандовал конвойный, остановившись в дверях камеры.

На этот раз конвойный провел Лихарева мимо комнаты, где работал Усман, и остановился у дверей кабинета начальника райотдела. За столом сидел незнакомый Лихареву немолодой человек в штатском костюме.

— Входите, входите, Лихарев, — совсем по-домашнему пригласил он, уловив настороженность Олега. — Давайте знакомиться. Я Кудрявин Константин Прокопьевич. Проходите, присаживайтесь. Говорят, в ногах правды нет. А нам с вами нужна только правда.

— Я уже рассказал всю правду лейтенанту Усману, — ответил Олег, недоверчиво и оценивающе осматривая Кудрявина.

— И правильно сделали. Искреиность и правда — ваши главные союзники.

— Союзники чего? — спросил Лихарев с вызовом.

— Вашего будущего, — спокойно, как бы не расслышав ершистой интонации Лихарева, ответил Кудрявин. — Не спешите, Олег Вадимович, отказываться от него.

— Будущее... — Олег нервно передернул плечами. — Но ради чего?

— Ради искупления вашей вины. Ради возвращения к нормальной жизни. Это немало. Ведь вам только двадцать три.

— На днях исполнится двадцать четыре... — Лихарев усмехнулся и продолжал, захлебываясь словами: — Будущее! А зачем оно мне? Без любви, которая вам ие снилась и во сне. Без любимого человека. Будущее, в котором только работа, работа ради существоваиия. А какие радости?

«Ведь ты рос среди иас, учился в нашей школе, жил среди наших людей... — думал Кудрявин. — Но так и не понял главного, чем живы все мы. А может быть, иапускаешь на себя, боишься даже себе признаться в своих утратах и несешь несусветные пошлости».

— Много радостей, Олег Вадимович, — сказал он резче. — Сознание того, что нужен, полезен, что тебя уважают люди, и ты им честно и прямо смотришь в глаза. И любовь. Только истинная, чистая, которую не иадо покупать ценой преступления... И дружба. Настоящая мужская, требовательная. Конечно, не с Костылевым, которого вы цитировали сейчас.

— Таких людей, как Костылев, я презираю, — горячо возразил Лихарев.

— Хотелось бы верить. Но сам-то Костылев видел в вас единомышленника, единоверца.

Лихарев зиал, что их отиошения с Костылевым были и дружескими, и весьма доверительиыми, ио в устах Кудрявина эта очевидная истина послышалась ему оскорбительной, и он спросил, чтобы только не молчать:

— Почему вы так считаете?

— Разговоры об опасиых преступлеииях ведут с людьми, которым доверяют, — терпеливо объяснял Кудрявии. — А Костылев с вами говорил о кражах золота. Вот я и хочу знать, что имеиио говорил он вам об этом? О каком «завещаиии» Костылева ходят слухи

по поселку? Где записная книжка Костылева, которая исчезла после его самоубийства?

Лихарев молчал. Он ожидал этих вопросов и давно приготовил отрицательные ответы. Но немолодой человек, что сидел напротив Олега, смотрел на него без тени неприязни, выжидающе и спокойно. И Олег, пугаясь охватившего вдруг смятения, понял, что не сможет под этим взглядом произнести такое заманчивое для него слово «нет».

После неожиданной исповеди Костылева Лихарев терялся в догадках: что это — пьяное бахвальство банкрота или все-таки правда? Возвратившись в Москву, он не раз порывался начать розыск женщины, на которую намекал ему Костылев, но все откладывал исполнение своего намерения. Страшно было увериться в лживости Костылева. И еще страшнее, если Витька говорил правду. Ведь женщина, по словам Костылева, посвящена в его тайну. И значит, у него, Олега Лихарева, не остается иного выхода, кроме... устранения невольной свидетельницы... От этой мысли ему делалось зябко. Олег отмахивался от нее, но мысль становилась назойливой, появлялась все чаще, и он, убеждая себя, что это не более чем химера, принимался в деталях, в подробностях обдумывать предстоящую «операцию».

— Что же вы молчите? — спросил Кудрявин и понимающе улыбнулся. — Сказать нечего или говорить трудно?

Ему действительно было трудно. Сказать правду — значит навсегда расстаться пусть с призрачной, утлой, но все-таки надеждой, что спустя много лет, когда ему снова возвратят свободу, он сумеет воспользоваться доверенной Костылевым тайной. Но не слишком ли призрачна и зыбка эта надежда? Такие тайны обычно недолговечны. Костылев мог проболтаться о ней и кому-нибудь еще. Возвращения же свободы ему придется ждать много лет, а потом окажется, что тайна давно уже не тайна или что ее вообще не было никогда... К тому же, если смотреть правде в глаза, то сроки возвращения свободы зависят и от его искренности сейчас, в эту минуту. Нельзя упускать такой шанс. Лучше синица в руках, чем журавль в небе...

Лихарев набрал в грудь воздуха и, как когда-то в армии, перед тем, как шагнуть за борт самолета, за-

жмурился на мгновение, потом утвердил на столе свои подрагивающие руки и сказал чужим голосом:

— Костылев действительно говорил со мной о способах хищения и о том... о том, что в Москве, на квартире его жены, вернее подруги, адреса которой он мне не назвал, в тайнике за выключателем хранится наворованное им золото...

— И много? — прервал его Кудрявин.

— Много, — Лихарев как бы споткнулся на этом слове, судорожно, будто утопающий, глотнул воздух, облизал задеревеневшие губы и, отсекая от себя все надежды, договорил: — Костылев уверял, что там два килограмма в слитках...

— Как же вы должны были найти эту женщину? — спросил Константин Прокопьевич, ничем не проявляя своей настороженности.

— Костылев любил эффекты. — Лихарев криво улыбнулся. — Он сказал: после моей смерти тебе, Олег, передадут записную книжку. В ней ты найдешь телефон этой женщины. Ее имя Валя.

— А где теперь эта записная книжка?

— Не знаю.

19

Сегодня Олегу Лихареву исполнилось двадцать четыре года! Почти четверть века, можно бы подвести и некоторые итоги. Сколько он помнил себя, этот день никогда не был в семье праздником. Другое дело — именины сестренок. Бывало, даже мать изменяла некоторым своим привычкам и хлопотала на кухне, суровый отчим становился добрее.

На именины Олега не собирали гостей. Сестренки поздравят скороговоркой, мать сунет украдкой пустяковый подарок, вечером выставит на стол графинчик водки побольше. Отчим нетерпеливо наполнит стопку, скажет мимоходом:

— Ну, за твое здоровье, что ли. Расти большой...

Олег рос, взрослел. Осталась позади солдатская служба. В прошлом году свой день рождения он также провел в этих краях, вдалеке от Москвы, от Лиды. Но тогда у него были заманчивые планы и вполне реальная надежда: еще год, другой — и он наконец-то будет иметь деньги. И много. Исполнится, осуществится

главная цель его жизни. И можно будет отдохнуть от постоянного страха, от ежедневной игры с опасностью. Он сможет наслаждаться жизнью, любовью Лиды, комфортом, всеобщим поклонением, которые, конечно же, обеспечат, принесут ему «бешеные деньги»...

И вот двадцать четвертый в его жизни день рождения.

Он проснулся на нарах, открыл глаза. Серенький квадратик окна был перечеркнут, зашторен частыми прутьями решетки.

— Собирайся, Лихарев, — заглянул в дверь камеры дежурный. — Поедешь, покажешь свои приемчики.

Знакомая речка Светлая сейчас была грязно-серой. Отражалась в ней сизо-мглистая завеса осенних туч, дергались на воде бурые листья.

Лихарев с независимым видом подошел к колоде гидроустановки, остановился возле нее, скользнул взглядом по лицам сотрудников милиции и понятых, приглашенных присутствовать при следственном эксперименте. Вот Демьян Рыскин, который весной встретил его так радушно и зазывал обратно в артель. Рядом с Рыскиным бульдозерист Андрей Дремов. Суровый, малоразговорчивый парень. Сколько раз работали с ним в одной смене, жгли костры, готовили нехитрое варево, толковали о жизни.

Старатели в упор разглядывали Олега. «Будто на похоронах, — думал Лихарев, — стоят у могилы и смотрят в открытый гроб...» От этой мысли, от дождевых струек, скользивших за ворот куртки, от промозглого речного ветра Олег поежился, но тотчас же расправил плечи и, обращаясь к полковнику Кудрявину, спросил деловито:

— Разрешите начать, Константин Прокопьевич?

Лихарев склонился над колодой, наметанным взглядом оценил самородок. И сразу почувствовал знакомое состояние азарта, восторженности и предчувствия удачи. Каждое движение привычно, выверено, рассчитано. И вот самородок на ладони Лихарева. Он любовно погладил его подрагивающими пальцами, вздохнул и протянул Кудрявину:

— Возьмите, Константин Прокопьевич. Мал золотник, да дорог...

— Положите его к себе в карман, — сказал Кудрявин, — эта операция тоже хронометрируется.

— Ловко вытащил, паразит, — пробасил понятой.

— Около тридцати секунд, — спокойно прокомментировал Кудрявин. — Чувствуется солидный навык и упорная тренировка.

— Секрет фирмы, — Лихарев самодовольно усмехнулся. Но сразу же нахмурился, вздохнул и, широко размахнувшись, зашвырнул в речку проволоку, которой только что орудовал. Метнулась по воде рябь — и снова неподвижна речная гладь, и хмуро заглядывает в нее унылое осеннее небо.

— Вишь как наловчился, гад! — возмущенно заговорил пожилой старатель. — Ловок! Тащит будто из чашки ложкой...

— А что ему! Пришлый! — поддержал его другой понятой. — А подумал бы, тащишь у кого? Каким потом достается нам это золотишко! Думаешь, ты самородки воровал? Ты каждого из нас, понимаешь, каждого обделял в заработке. Всю артель, семейства наши, жен, ребятишек. За такое тебя связать, камень на шею да в речку — и все разговоры...

— Спокойно, Игнатьевич! — Рыскин предостерегающе положил ему на плечо свою руку. — Не бьют лежачего. А он, хотя и хорохорится, уже на лопатках. — Рыскин посмотрел на отвернувшегося Лихарева, покачал головой и сказал: — Эх, Олег Вадимович, мы тебя встретили с открытой душой. При тебе даже выругаться стеснялись... Считали, нет на тебе ни сучка ни задоринки. А ты такое пятно на всю артель, на весь комбинат...

Лихарев гневно вскинул голову, намереваясь ответить зло, насмешливо, хлестко, но перехватил взгляд Рыскина, тяжелый, презрительный, недоумевающий, и вдруг понял: сказать в свою защиту нечего. Он сгорбился, втянул голову в плечи и, спасаясь от взглядов старателей, от холодного ветра, от неожиданного острого и жгучего чувства, захлестнувшего его сейчас, чувства, которого он прежде никогда не испытывал и даже не знал его названия, медленно и грузно побрел к милицейской машине.

20

— Что же, Владимир Михайлович, — говорил Шемякину полковник Кудрявин, — начальник управления приказал нам с вами вылететь в Москву и совместно с

нашими столичными коллегами провести оперативно-розыскные действия для завершения операции «Добытчик». Но главное — это золото Костылева. Если оно существует, конечно. Все данные исчерпываются показаниями Лихарева. Придется искать по всей Москве эту Валю, сожительницу Костылева, без адреса, без фамилии, даже без примет...

По плану, согласованному с управлением внутренних дел Мосгорисполкома, три оперативные группы, составленные из работников знаменитой Петровки, 38 и красноярской милиции, в один и тот же день провели обыски в квартирах Михаила Куделько, Николая Югова и матери Олега Лихарева — Анны Александровны Медведевой.

Анна Александровна спокойно просмотрела документы сотрудников милиции, равнодушно пожала плечами: ищите, если есть такая необходимость. Заранее можно сказать: не найдете ничего интересного для вас. Эта квартира ее и ее мужа, отставного офицера Советской Армии, и двух их несовершеннолетних дочерей. Олег после демобилизации из армии дома бывал редко, особенно после того, как уехал в Сибирь. Мать отговаривала его от поездки, но он поступил по-своему. И вообще после встречи с Лидией Гапичевой Олег находился всецело под ее влиянием. Анна Александровна с самого начала была против связи сына с этой женщиной, даже запретила ей бывать в своем доме, но Олег, он очень упрям, не порывал с Лидией.

В преступление Олега Анна Александровна не верит. Это какое-то недоразумение. Олег всегда был хорошим мальчиком, любил животных, в школе заступался за маленьких. Краденого золота Анна Александровна не видела у сына никогда, и ни разу он не говорил ей об этом. После возвращения в прошлом году из Сибири Олег действительно уезжал в Закавказье, но только на отдых.

— Но когда ваш сын вернулся после этого «отдыха», — прервал Медведеву офицер милиции, — он привез немало покупок и отдал вам довольно крупную сумму денег...

Анна Александровна на мгновение отвела взгляд, потом решительно сказала:

— Я никогда не получала от сына никаких денег. И вообще все, в чем вы обвиняете Олега, — явное не-

доразумение. Такой мальчик, как мой сын, ие может быть преступнником...

Она оказалась права в одном: обыск у Медведевых не дал результатов.

В квартире Михаила Куделько полковника Кудрявина встретил высокий светловолосый парень. Он вннмательно оглядел Кудрявина поверх массивных очков и сказал:

— О цели вашего визита догадаться не трудно. — Подошел к кинжной полке, сиял с него поролонового медвежонка, подал Кудрявину. — Вот, пожалуйста. Тюбик с пастой Олег забрал и, виднмо, выбросил за неиадобностью. Фонарик тоже у него, а батарейка, коиечно, заменена.

Константин Прокопьевич, поглаживая пальцами ворснстую поверхность игрушечного медвежонка, иащупал грубо сметанный шов, усмехнулся:

— Придется отвезтн его обратно в тайгу. — Испытующе оглядел сумрачного, подавлеиного Куделько, спросил укоризненно: — Как же это вы ввязались в такую авантюру? Или барыш был велик?

— Даю вам честное слово, я не имел от этого нн рубля. И сначала действительно ничего не знал о промысле Олега. А когда узнал... Наверное, я виноват, что промолчал, поннмаете, законы мужской дружбы. — Куделько с усилием проглотил слюну и заговорнл почти умоляюще: — У меня только-только началась нормальная жизнь. Учеба, ннтересная работа. Мне страшно потерять, сломать то, что я нмею сейчас, что создано с таким трудом...

Кудрявин все поглаживал пальцами поролонового медвежонка, думал с горечью: «Детская игрушка, ставшая орудием преступления, уликой, вещественным доказательством».

— Обещать вам, Мнхаил Георгиевнч, я не могу ннчего, — сказал Кудрявин. — Но если вы говорнте правду, думаю, что вас не станут привлекать к уголовной ответственностн.

Лейтенант Владимир Шемякин руководил оперативной группой, навестившей квартиру Николая Югова. Хозяин хмуро осмотрел работников мнлнцни:

— Наверное, я должен был прийти к вам еще год назад. Но пришли вы сами... Поэтому не затрудняйте себя поисками. Возьмите то, что вы ищете... — Принес

и выложил на стол аптекарские весы. — На них Олег взвешивал золото после обработки его кислотами, чтобы придать, так сказать, товарный вид. А это сувениры, которые он подарил мне. — На столе появились самодельное колечко и миниатюрный золотой шарик.

Сейчас Югов проклинал в душе ту минуту, когда, не задумываясь о последствиях, впустил к себе под крышу Олега Лихарева с его тайной ювелирной мастерской, принял от Олега эти дешевенькие безделушки, написал ему рекомендательное письмо к своей теще в Закавказье. Как хорошо все шло у Николая до злополучной встречи с Лихаревым. Демобилизовался из армии, радушно был встречен в коллективе солидного научного института. Стал студентом вечернего института. Женился на девушке, которую полюбил еще в годы военной службы. Родился чудесный малыш — любимец семьи. Спокойная, налаженная жизнь, ясная перспектива. И вот теперь все это рухнет, рассыплется в прах... под тяжестью колечка без пробы и крохотного шарика, изготовленных Олегом Лихаревым из краденого золота.

Николай с ненавистью покосился на безделушки, лежавшие на столе, горячо сказал:

— Мне очень стыдно и больно. Я прошу понять и поверить: это глубокая, страшная, но все-таки случайная моя ошибка. Поверить и не ломать, не уродовать мне жизнь. А полученный урок я запомню навсегда.

В тот же вечер следователь милиции встретился с Гапичевой.

— Какая искренняя и принципиальная женщина! — обрадованно говорил он полковнику Кудрявину после встречи. — Рассказала мне все, что ей известно о преступлении Лихарева, резко осудила его...

— И подписала свои показания? — спросил Кудрявин.

— Нет, — следователь пожал плечами и слегка снисходительно объяснил: — Это вообще не был допрос. Я придал нашей с ней встрече характер непринужденного разговора. Но сформулировал свои вопросы очень точно. Завтра встретимся снова, и я запротоколирую ее показания.

— Завтра она откажется от всего, что говорила сегодня, — настаивал Кудрявин.

— Приходите завтра на допрос Гапичевой. И вы убедитесь, что вы не правы.

...— Я действительно знаю Лихарева Олега Вадимовича, — чуть монотонно говорила Гапичева на следующий день. — Была с ним в близких отношениях, но о его преступлениях мне ничего не известно. Если бы я узнала об этом, я немедленно порвала бы с Лихаревым. Я не могу по своим жизненным принципам общаться с вором...

— Как?! — воскликнул следователь. — Но ведь вчера, только вчера вы говорили обратное...

— Видимо, вы меня поняли превратно. — Гапичева ослепительно улыбнулась. — Я не могла говорить иное. Мои жизненные принципы не позволяют мне...

— Спасибо, гражданка Гапичева, — гневно прервал ее Кудрявин. — Спасибо за то, что вы так откровенно раскрыли свои подлинные принципы, истинное лицо. Для исхода дела Лихарева ваши показания не имеют особого значения. У нас достаточно объективных улик против Лихарева, да и сам он искреннее и честнее, чем вы...

— Ну, знаете!.. — оскорбленно воскликнула Гапичева.

— Да, честнее! Кражу называет кражей, а себя вором. А вы, пользуясь краденым, ломаете фальшивое благородство.

...В уютной квартире на другом конце Москвы Владимир Михайлович Шемякин тоже разговаривал с женщиной. То была Марина, первая жена Виктора Костылева.

Едва закончив институт, она уехала работать на Колыму. Там и повстречала Виктора. Недоучившийся студент педагогического института умел красиво и остроумно порассуждать на любую тему. Он показался Марине волевым, целеустремленным человеком. А главное, он был таким заботливым, нежным, любил ее до самозабвения. Они поженились, вскоре родилась дочь. Но семейное счастье оказалось недолгим.

Марина, забрав дочь, возвратилась в Москву к родителям. Костылев несколько раз появлялся у жены. Это были тяжелые дни. Виктор пьянствовал, явно тяготился семьей. И все в доме вздохнули с облегчением, когда около двух лет назад он заявил, что уходит к другой женщине. Потом из Сибири пришло известие о

самоубийстве Костылева. Марина вылетела на его похороны. Этот беспутный, опустившийся вконец человек все-таки был отцом ее дочери...

Лейтенант Шемякин уже встречался с Мариной Костылевой, знал, как больно ей вспоминать о прошлом, но все же навестил ее снова.

— Извините, пожалуйста, Марина Яковлевна, но речь опять пойдет о вашем бывшем супруге, о его так называемом наследстве.

— Наследство у бродяги, — она пожала плечами, слегка улыбнулась. — Парадоксально.

— И тем не менее оно есть, — сказал Шемякин. — Во всяком случае, ходят слухи, что есть. Я не могу сказать вам всего, но нам необходимо срочно установить адрес или хотя бы фамилию женщины по имени Валентина. Той самой женщины, к которой ушел Костылев от вас. — По лицу Марины пробежала презрительная гримаса. «Она знакома с Валентиной», — понял Шемякин. — В прошлый раз вы передали мне записную книжку Костылева, которую привезли из Сибири. Мы надеялись найти в книжке адрес Валентины. Но обнаружили рядом с ее именем лишь номер телефона. Костылев, очевидно, зашифровал его. Это телефон руководителя одного крупного учреждения. Никто из сотрудников им не пользуется. Никакой Валентины там нет. А нужна она нам немедленно. — Шемякин, глядя в глаза собеседнице, продолжал доверительно: — Вот почему я пришел к вам снова. Ведь вы знаете Валентину. Бывали у нее, виделись с ней...

В настороженном взгляде Марины промелькнуло смятение. Она вспомнила о чем-то печальном и стыдном для нее. Лицо ее стало брезгливым, потом грустным.

— Откуда вы знаете? — спросила она, покусывая губу. — Впрочем, оспаривать бессмысленно. Да, я дважды видела эту женщину. Татаринцева Валентина. Отчества знать не имею чести. Работает в Москве. Живет в Кунцеве. — Марина замолкла и попросила очень тихо: — Только, ради бога, не говорите ей, что узнали от меня. Она подумает, я из мести, из ревности, из-за того, что к ней ушел... Витя. Но у меня уже все перегорело давно. А вам, чувствую, она действительно очень нужна.

— ...Спасибо, Владимир Михайлович, — тепло ска-

зал Кудрявин, выслушав доклад Шемякина о сго встрече с Костылевой. — Спасибо за инициативу в личном сыске и за ценную новость. Завтра же вместе с московскими товарищами побываем у Татаринцевой, — полковник покачал головой, задумчиво улыбнулся: — Что день грядущий нам готовит...

В одной из районных контор Мосгаза раздался телефонный звонок. Сотрудница подняла трубку, услышала женский голос:

— Пригласите, пожалуйста, Татаринцеву Валентину Григорьевну. Ах, она вышла? Очень жаль. Тогда, будьте добры, передайте ей, что звонили из почтового отделения. Пусть сегодня в четыре часа она непременно будет на работе. Мы доставим ей в контору ценную бандероль. Получили на ее имя неделю назад. И все не можем вручить.

Ровно в четыре часа к столу Татаринцевой подошел светловолосый молодой человек.

— Вы с почты? — спросила она.

— Нет, я из милиции, — вполголоса ответил Шемякин. — Вот постановление прокурора о проведении обыска в вашей квартире. Придется вам пройти со мной в машину.

Татаринцева прочитала постановление, недоумевающе пожала плечами, накинула плащ, чуть взлохматила перед зеркалом волосы. Вместе с Шемякиным они подошли к стоявшему за углом микроавтобусу. Там Татаринцеву ожидали полковник Кудрявин, оперативные работники МосУБХСС и эксперты со специальной аппаратурой.

Они приехали в отдаленный район Москвы. Полутемная лестница с щербатыми ступенями и скрипучими перилами привела на площадку третьего этажа, к двери, обитой продранной клеенкой. Едва вошли в чистую, скромно обставленную квартиру, Кудрявин обвел взглядом комнату, зорко присматриваясь к электрическим розеткам и выключателям.

— Костылев ремонтировал у вас что-либо в квартире? — спросил Кудрявин.

— Костылев ремонтировал?! — удивленно повторила Татаринцева и засмеялась. — Какой он работник по дому. Ему бы только выпить да сказки порассказать про старательскую жизнь. Один раз поменял тот черный выключатель на белый. Только и всего ремонту.

— Выключатель? — спросил Кудрявин.

Снят белый выключатель. За ним, именно в том месте, где и указал Лихарев, углубление в стене. Но в тайнике пусто. Ничего, кроме пожелтелых обрывков бумаги.

Проверка специальной аппаратурой показала: других тайников и металла, скрытого в стенах, под полом, в потолочном перекрытии, в квартире Татаринцевой нет.

— Костылев не говорил вам о том, что у него имеется большое количество похищенного золота? — строго спросил Кудрявин.

— И не слыхивала, — испуганно ответила она, с изумлением разглядывая черный провал в стене за выключателем.

Кудрявин снова окинул взглядом обстановку квартиры, поношенную одежду Валентины. Судя по всему, Татаринцева говорит правду. Уравнение со многими неизвестными осталось нерешенным...

21

В небольшой кабинет следственного изолятора, где Константин Прокопьевич Кудрявин и я ожидаем Лихарева, неторопливо входит высокий парень. Тренировочный спортивный костюм кажется тесноватым на его размашистых плечах. Он останавливается у дверей, окидывает меня оценивающим настороженным взглядом, обрадованно улыбается Кудрявину и негромко, типичным московским говорком, произносит:

— Добрый день, Константин Прокопьевич.

— Добрый день, — приветливо отзывается Кудрявин: — Что-то заметно располнели, Олег Вадимович.

— Пища в основном мучная, — также выжидательно глядя на меня, безразлично отвечает Лихарев, — а движений все-таки маловато. Вот и полнею.

— Займитесь гимнастикой, — советует Кудрявин, продолжая этот пустяковый разговор для того, чтобы снять настороженность Лихарева, дать ему возможность привыкнуть к моему присутствию.

Константин Прокопьевич представляет нас друг другу и просит Лихарева рассказать о кражах золота.

Олег оживляется, явно любуясь собой, то и дело бро-

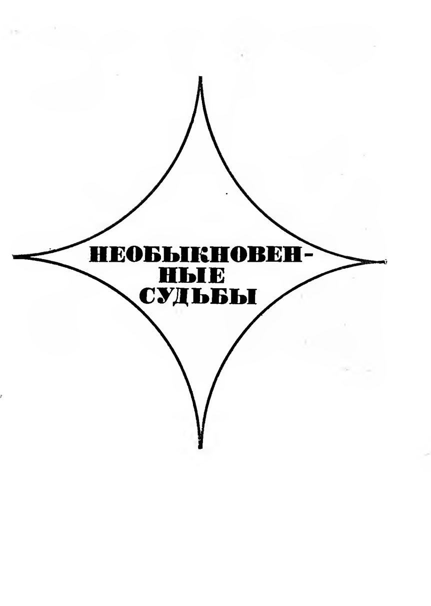
сая на меня испытующие взгляды: в полной ли мере я понял и оценил его ловкость, сметку, находчивость, рассказывает о воровских приемах, со знанием дела рекомендует меры для предотвращения таких преступлений.

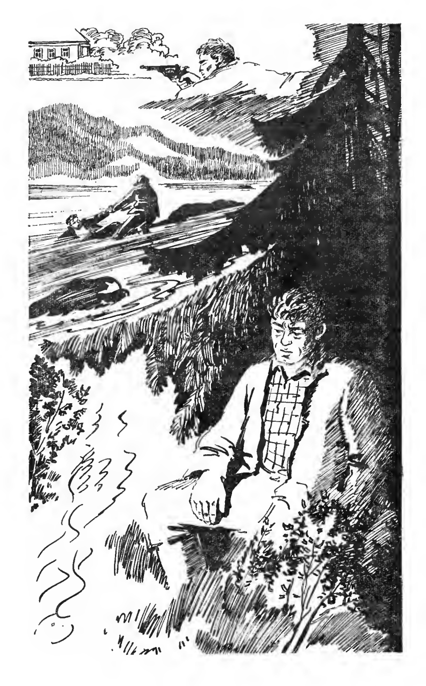
Чтобы я мог понагляднее представить его «искусство», он берет со стола пресс-папье и на нем показывает, какой величины самородки ему удавалось похищать иногда.

— В таком примерно пятьдесят граммов... — мечтательно замечает он.

И тут я открываю в моем собеседнике странную перемену. Лицевые мускулы словно омертвели, лицо стало неподвижным, маскообразным. Зато в глазах появился азартный лихорадочный блеск, длинные пальцы дрожали, нашаривали что-то в пустоте. Ровный, спокойный голос сделался прерывистым, хриплым. Сильный, красивый парень стал очень похож на закоренелого наркомана...

Такие метаморфозы происходили с ним во время нашего разговора не однажды, едва он произносил слова «золото», «самородок»... Я смотрел на него с чувством брезгливой жалости и думал о глубине его падения, о страшной моральной цене, которую он добровольно уплатил за призрачные выгоды своего преступного промысла.


НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ
СУДЬБЫ



Сергей ПЛЕХАНОВ

Жор

Я кто такой? Я дремучий человек. Старикашка незамечательный. Грамотешки никакой, путного не видал ничего. Всю жизнь — тайга да река. В армию даже не взяли — хромой потому что. Я им говорю: мне ж не ногой стрелять; схоронюсь, мол, под елкой и пошел фрицев щелкать. А они: войну под елкой не просидишь. Ты, говорят, Черепанов, мех добывай — больше пользы принесешь. Мех так мех, а все же обидно было: все кровь проливают, все люди как люди, один я как черт на блюде. Угораздило же дурака ногу покалечить: мальцом еще в кузне молот на ногу сдернул... Вот и не вышло свет повидать, дальше Хантов (это так у нас Ханты-Мансийск называется) не бывал нигде. Полгода в зимовье кукую, полгода в поселке канителюсь.

Однако я почему разговор завел? Язык почесать охота? Никак нет. Я — хоть кого спросите — вообще попусту говорить не люблю. Может, характер такой, а может, в лесу обвык: все молчком да молчком. У меня вот что: проблема получилась. Смеетесь, поди: туда же, мол, колода старая, проблема у него. Потерпите зачуток — вдруг неглупое слово будет.

Не видал я свет, а мерекаю все же, что люди везде одинакие. То есть: за добро добром, за худое по лбу. Есть, конечно, волки, но большинство-то по чину жить привыкли. Вот, скажем, простой какой-нибудь человечишко, даже пусть как рыбья башка глупый — и тот кумекает, где добро, где худо. А культурный человек вообще все насквозь понимает. Он нас, малограмотных, еще научит, какую жизнь вести. Так я раньше думал. А теперь вот — проблема получилась. Слушайте почему.

К зятю моему — Тихонову Лешке — гости из Тюмени приехали: кандидат физических наук с девушкой своей. Откуда у Лешки знакомства такие? У него еще и не то найдется. У Лешки в Тюмени летчик даже

есть — товарищ. Как приедет в командировку, сразу к нему идет: вот, мол, Владимир Георгич, муксуна соленого вам привез. И ночует у них, и в ресторан ходят. Лешка — он вообще со всеми друг-приятель: и в поселке каждая собака за ним бежит, и куда поедет — там сразу перезнакомится. Так же, видать, и кандидата этого где-то ухватил. А тот ему и скажи: люблю охотиться да рыбалить. Лешка сразу: так давай ко мне в гости. Я, говорит, вас к тестю свезу на заимку. Вот они и прилетели.

Я тогда еще в поселке копошился: из райкоопа продукты таскал, порох, дробь — в общем, к зиме начал запасаться. Думаю, две ездки еще сделаю до ледостава, а остатки охотоведа попрошу завезти. Тут вдруг Лешка прибегает: батя, прихвати с собой моих гостей. Я говорю: «Взять не штука, а куда я провиант девать буду?» А он не отстает: ну возьми, еще разок сгоняешь. Подумал я, прикинул время и согласился — ладно, думаю, может, успею лишний раз обернуться. И охотоведа просить не надо. (Я с ним не особо лажу — нехороший мужик, из залетных. То он сортность плохую ставит, если шкуркой не задаришь, то рыбы ему дай.) Прикинул я, значит, все это и говорю: «Приводи своего кандидата, завтра по утряку поедем».

Вечером приходят. Кандидат этот — здоровенный парень, борода лопатой, очки. Девчонка у него тоже ничего — красивая такая, высокая. Обои в свитерах, в курточках новых. Познакомились, побеседовали немножко. Анна Тимофеевна моя на стол собрала, Лешка в магазин слетал за вином. Они — кандидат с подружкой своей — ахают да охают: ай да брусничка, вот так груздочки! Анна Тимофеевна на кого хошь угодит: я других таких пирогов с черемухой ни у кого не видал, такого борща во всем поселке не нюхал. А грибы да брусника — это уж у всех умеют. Ну вот, под чарку да закуску разговор, конечно, завязался: они про зимовье узнают, про жизнь мою лесную.

А что рассказывать — сами увидите. Вы нас просвещайте. У вас в Тюмени поболе интересного.

Про науку я спросил: зачем же реки назад поворачивать будут? Думал, расскажет, что да почему, а он как заругается: это, дескать, головотяпы придумывают — природу насовсем губят. И пошел: все нарушают, лес сводят, рыбу химией травят. Я соглашаюсь, само

собой — и у нас тайга беднеет год от году. После войны еще, помню, на рыбалку ездить в заводе не было. Прямо в поселке переметы стояли. Мужики проверят утром, выберут себе сколько надо, остальную рыбу на берегу свалят — старухам в снедь. Теперь не так: до меня иной раз на моторке подымутся — полтораста верст. А дичи сколько было — выйдешь, бывало, из зимовья, а косачи весь конек облепили, и на лабазе сидят, и на всех березах их как мошкары. Зайца тоже мало стало — но тут года просто были плохие: то наводнение, то мор какой-то нападет.

— Ну вот, — кандидат кивает. — А отчего у вас-то тайга хиреет? У вас заводов нету, а все равно хуже становится. Это, — объясняет, — баланс повредили.

И слово какое-то к этому балансу пристегнул — на «геологический» смахивает. И вообще, говорит, жизнь наперекос пошла, никакого вдохновения нету.

А я говорю:

— Что ж тебе не живется? Ты вот одет-обут, тело у тебя сытое. Изучай свою науку да открытия делай.

— Разочаровался я в науке, — кандидат сообщает. — Она, Илья Никитич, один вред приносит. Надо всем в леса уходить — самим себе пищу доставать.

Спрашиваю тогда:

— А что за наука твоя? Чего она тебе так поперек души уперлась?

— Физик я. Проникаю в тайны атомов, — и этак усмехается.

— Ну и что за тайны в этих атомах?

— А сплошной кавардак, Илья Никитич. Сами мы ничего понять не можем.

— Плохие вы, — говорю, — ученые, если так.

— Да не ученые плохие, а пределов нету: вот, кажется, раскрыл ты его до конца, этот атом, а там еще какое-то недоразумение. Поломал ты над ним голову — опять все концы завязал. Смотришь: снова частица какая-то... И главное, Илья Никитич, что мы орудие все время придумываем: то атомную бомбу, то водородную,

— Кто ж вас заставляет?

Он вздыхает:

— А само получается — сначала вроде в бирюльки игрались с этим атомом, а потом глядим: бомбу изобрели.

Я это все по-своему, конечно, пересказываю — он-

то подробно объяснял, на бумажке мне рисовал. Но суть та самая — что губят они всех, эти физики...

Пугал, пугал он нас! Скоро, мол, все ископаемые кончатся, воду даже всю перепакостят. Воздуху тоже не будет, солнце дымом занесет. Только что в саван не обрядил. Вино кончилось давно, тут бы песни попеть, а он все свое ворожит. Я ему и говорю:

— Ну хватит стращать — спать не буду. Нам в шесть утра подыматься.

Положил я их на печь, сам тоже уклался. И вот у меня в голове мысли расходились: об этих неурядицах думаю, а главно — внучат жалко. Кандидат-то так сказал: может, через тридцать лет уже дышать нечем будет — в газете один американец написал. Соображаю: Вальке тогда сорок лет будет, Колюшке — тридцать восемь, Сережке — тридцать пять. В расцвете лет ведь будут — вот что досадно. Ну, мысли мыслями, а и спать надо. Поворочался — заснул.

Утром покушали плотно, лодку втроем нагрузили, брезентом груз затянули — и айда. Только-только светать стало, туманец еще по речке дымится, а мы уж тарахтим. (Я и ночью везде пройду, не зацеплюсь — сорок лет вверх хожу.) Сначала знобко было — скукожились, гляжу, мои пассажиры. Кинул я им плащ-палатку, упрятались они, подтыкали все щели, чтоб грело, и замерли. Смотришь, отошли через пяток минут, хохочут, самокрутку вдвоем смолят. В общем, освоились.

Два дня мы шли — вода прибылая, течение сильное. Ночь в зимовье у Киреева Степана спали, а назавтра опять раненько поднялись. И вот — светло еще было — к моей избушке причалили. Быстренько перетаскали все, собакам варево поставили, себе ужин налаживаем.

— Ну что, Илья Никитич, на охоту с утра или рыбачить пойдем?

— А не знаю, как вам лучше нравится. По мне, с ружьем пройтись надо. Рыбалка-то и вечером хорошая.

Так и уговорились.

Поспел ужин, сели мы за стол, бутылку вина открыли. И опять — разговоры. Я ему говорю:

— Только ты, Виктор, меня этим балансом не пугай. Лучше любопытное что-нибудь расскажи.

Долго мы калякали — он вопросы мои исчерпывал, а я житье свое немудрящее описывал. Как промышлять начал, да когда какую избушку срубил, да сколько раз

косолапого стрелял. Мне ж, если повспоминать, тоже что рассказать найдется. И худого и хорошего видано.

Говорили, говорили, потом гляжу: Виктор на топчан косится — «там, что ли, положишь?» — «Ложитесь и правда, а то ломать с недосыпу будет». Задул лампу, улеглись мы — и как провалился я — намаялся за день.

Ночью разбудился — собаки воют. Выскочил на волю: «А ну, спите, заразы!» Только под одеяло забрался — они опять концерт завели. Не по себе мне: собачий вой — на вечный покой. (Я ведь не то чтобы в религию верю, а все-таки примет всяких боюсь.) Еще раз вышел, стегнул их ремнем — замолкли. Дали спокой до утра...

Вдвоем мы на охоту пошли — Вера, девушка Викторова, никак вставать не хотела: еще, просит, полчасика посплю, еще пять минут. А я тогда говорю: да чего тебе, женщина, по болотинам шататься, спи себе под одеялком. Ну вот, пошли мы — я со своей одностволочкой, а Виктор с «автоматом».

— Сколько ж такое стоит? — спрашиваю.

— Семь сотен — заказное.

Я аж свистнул. Взял у него, посмотрел. Ничего не скажешь, богатейшее оружие. Тяжеловато, правда, да и ствол больно длинный, но работа хороша. Не то что моя берданка — тяп-ляп, годится для корявых лап. Отдал ему и смеюсь: из такой пушки целыми косяками можно бить. Он говорит: для того и делано.

Вышли в распадок, остановились прикурить. Тут, слышим, Тополь залился.

— Глухаря облаивает, — говорю. — Давай, Виктор, подбирайся.

Он папироску кинул и на Тополя пошел. А я на валежину присел, дымлю. Долго он крался, потом наконец ахнул. Смотрю, бегут ко мне с Тополем наперегонки.

— Ну, разговелся я, Илья Никитич! — веселый сразу стал, вертит этого глухаря — не налюбуется.

— Теперь, может, рябцов поманим, а, Виктор?

— Конечно.

Пошли мы тогда на прогалинку, я Тополя на ремешок взял — думал, подержу его в чаще, пока Виктор рябчиков стрелять будет.

Идти туда через болотце, а по опушке кругом него — березняк. Только мы из лесу высунулись, — глядь, а на

той стороне все березы косачи обсели. Виктор сразу — хвать за ружье, а я ему:

— На кой они тебе загнулись? (У косача и мясо-то не ахти какое, а главное — перо у него гнездкое. Пока щиплешь, все пальцы заболят.) — Брось ты их, лучше рябцов нащелкаешь.

А он, будто не слышит ничего — головой мотает, а у самого на этих косачей глаз горит. Пригнулся и по болотцу к ним побежал. Сразу я его из виду потерял — там кусты, кочки высокие. Ну что ж, надо тебе пакли об этих тетеревей ломать — стреляй. Пожалел я, что Тополя на сворку взял — он у меня приучен не лаять на поводу. А то распугал бы он косачей — не сидят они над собакой. Потом вижу — выглянул ствол из кустов. Целился, целился Виктор — видать, трясло его от азарту — потом: раз! раз! раз! — все пять зарядов выпулял. И — четыре косача наземь. Я уж с кочки было встал — Тополя хотел пустить за ними, а Виктор снова стрелять. (Косач — он ведь спокойный, если не пуганый. Стрельнешь — он с ближних берез отлетит только, и никакой паники. Другой раз дюжину убить можно, а стая все сидеть будет.) И еще пяток Виктор положил. Тут уж пустил я Тополя — залаял он и бежать через болотце. Тогда только поднялись они. Выскакивает кандидат из кустов и кричит:

— Что ж вы, Илья Никитич, собаку не держали?!

Ну, думаю, позови козла в огород.

— Куда ж тебе столько? Тебе и не довезти их — стухнут.

— Не стухли б, — отвечает, а сам куксится.

Собрали мы этих косачей, навешал он их на себя и говорит:

— Ну, теперь за рябчиками?

— Да будет тебе, Виктор, этих-то дотащи.

Обратно пошли.

Выходим к избе, а Вера — тут, на костре чай кипятит. Увидала своего кандидата, да как заквохчет: ой, сколько их! А он небрежно так кинул ей глухаря, тетеревей отцепил и говорит:

— Больше можно было, да Тополь помешал.

Потом они по ягоды пошли — брусника-то этот год хорошо родилась, лопатой греби. Я сетку вязать принялся, обед между делом сварил. Ворочáются они с двумя ведрами:

— Райский сад, а ие тайга!

— Ладно, — говорю, — хвалить-то. Человек так, а бог иιак — иасулите мне плохой год. Поснедаем лучше да вздремием.

Опять они бутылку достают. Что ж — я этого дела не избегаю. Сели, выпили, супу похлебали. А Виктор — он, видать, вообще за едой говорливый — обратио про природу вздыхает:

— Да, иадо иам с тобой, Вер, вот в такой благословеииый уголок скрыться. Мы тут как древние славяне жить будем... Вот оиа, — говорит, — Русь-то. Спадает с меня образоваиие, и чувствую я себя простым русским крестьянином.

А я думаю: «Какой ты, лешак тя задави, русский — ты еще по-русски плакать ие умеешь». Но не обижаю его — вслух не выражаюсь. Все ж таки гость. Посидели еще, о пустяках разных потолковали. Пошел я в избу и иаказываю им:

— Через часок меия толкните, а то я, как выпью рюмку, разоспаться могу.

Разбудил меия Виктор.

— Что, — спрашивает, — не пора иа рыбалку?

— А вот соберемся сейчас и пойдем.

— Я уж собрался, — говорит. — Спиннинг готов, мешок тоже.

Я-то думал, мы с лодки будем доро̀жить на мыша́, а ои, вишь, спиииииговать больше любит. Сели в моторку — Вера с нами — и вниз пошли. Там у меня яма знаменитая — как в ухе́ таймеией. Вылезли на берег, показал я ему, куда блесиу кидать, а сам неподалеку на камешек присел — мне-то рыбы ие надо, у меня еще с того приезда хвост в леднике.

Показал тут себя кандидат во всей красе. Полчаса не прошло — три таймеия оии взяли. Верка с багром вокруг него вьется, а ои иа нее только покрикивает:

— Живей! Упустишь — в реку за ним полезешь!

Выкинет таймеия иа берег, пришибет камнем, блесну выдерieт и снова кидает. Обернется ко мие:

— Ну и жор, Илья Никитич! Это, я понимаю, рыбалка.

В чешуе весь, курточку слизью перемазал, борода сосульками висит. Покурить ие присядет — все блесиу мечет. Смотрел я, смотрел: когда ж ты остановишься — десять хвостов уже на берегу, считай, пудов шесть-

семь. И еще одного он взял. Водил, водил, наконец в мелкую лунку завел — выкинуть хотел. Нагнулся он его под жабры взять, а таймень-то и рванул. Как хряснется мой кандидат спиной в воду, а рыбу все одно не отпускает. А она его хлещет — только брызги сверкают.

— Верка! — орет. — Помоги встать!

А она — даром что девка — крепкая такая: подбежала к нему да за шиворот из воды выдернула вместе с тайменем. Он — к берегу. Выволок рыбу, вдарил по башке ее и смеется:

— Едва руки разжал — как бульдог вцепился.

Я головой качаю:

— Ничего не скажешь — богатая рыбалка. Действительно, жор небывалый. Я такого жора в жизни не видал.

Ну а лихих глаз и чад неймет — говорит Виктор:

— Да, неплохо ловится. Вот покурю сейчас, да еще десяток возьмем.

Тут уж не вытерпел я:

— До дому надо вертаться. Совсем баланс испортишь.

Глянул он на меня — нехорошо так глянул — и говорит:

— Ладно, Вера, поймаем еще одного для ровного счета, да и поехали. А то, чего доброго, Илью Никитича голодовать зимой оставим. Пойдем, — говорит, — на пороге пару раз кинем, там за камнями самые крупные сидят.

С чего он взял, что там крупные? Что в яме, что в пороге — одинаковые поросята кил на десять, от силы — пуд. И опять же ловить там невыгодно: ударилась блесна о камень — то тройник обломился, то краска отскочила. А то, гляди, зацеп — раздевайся да в холодную воду полезай блесну доставать. А на яме — кидай себе потихонечку да таскай на берег — никаких хлопот.

Вот подошли они к порогу, смотрю: Виктор в самую середку бросает — там здоровенная плита поперек стрежневой струи лежит. Раз, другой кинул; вдруг — шарах по воде красный хвостище как раз за этой плитой: схватил, значит. Поводил он его, наверно, с полчаса, потом потихонечку на мель подвел, спиннинг бросил и по жилке к нему подбирается. Я уж встал, думал, вытащат они его и до дому поедем. Только к лодке отвер-

нулся, слышу: Верка кричит. Гляжу, а Виктора-то и нет. Я бежать к ней: что стряслось?! А она, бедная, слова сказать с перепугу не может, рукой только на воду кажет. А ведь порог: кипит все, буруны сплошные, да и темновато уже — вечер. Я — туда, сюда смотрю: ничего не видать. Потом как хлестнет меня по ноге спиннинг и в порог поскакал. Я, недолго думая, за ним — успел за ручку схватить. В воду по пояс забежал в чем был — в сапогах, в тужурке — и тут только Виктора заметил: в самой середине порога, там, где струя ревет, голова то вынырнет, то скроется. Мать честная, пропадает парень! Туда ведь ни на лодке, ни на чем не подкрадешься. Уцепился я за какой-то камень, потом за следующий, и так, с горем пополам, к рыбаку нашему подбираюсь. А вода — лед! Да течение такое бешеное, что не знаю, как меня тогда не оторвало от камня да башкой о другой не стукнуло. Ну вот, прыгаю я, как выдра подбитая, а спиннинг не выпускаю. Подобрался совсем близко к Виктору и ну жилку выбирать: думаю, может, таймень-то отцепился уже, так я кандидата нашего за одежду блесной забагрю. Куда там: самую малость слабина была, а дальше совсем не подается — как привязанная. А Виктор пока барахтается, только, вижу, все чаще под волну уходит. Плюнул я на все и прямо к нему кинулся. Цап его за рукав и кричу: чего ты здесь бултыхаешься, прилип, что ли?! А он только мычит да за меня хватается. Попробовал я плыть с ним — ни с места. Что за пропасть — тут бурун такой бьет, что, кажется, камню не устоять, а мы — ни туда, ни сюда. Наверно, мозгую, зацепился он где-то. Стал, за него держась, поднырнвать — нигде ничего. Потом только, когда уж сам ведерко воды хлебнул, открыл я, в чем дело: жилка у него кругом ноги захлестнулась. Выдернул я ножик, да чирк по ней! Что тут было, братцы! — мозги вверх тормашками. И так-то нас трепало да било волной, а тут понесло, как поленья — и вертит, и о камни колотит. Я уж думал: все, конец тебе, Черепанов...

Счастье наше, что порог этот короткий — выкинуло нас тут же на спокойную воду. И Вера девушка сообразительная оказалась — на лодке подскочила да к берегу нас отволокла. Вылез я на карачках едва-едва, руки скрючились, самого всего колотит от холоду, слова не могу выговорить. А Виктор, тот совсем как неживой ле-

жит, и вода с него ручьем. Вера быстренько костеришко сочинила, фуфайки с нас сдирает и к огню тащит. Потом, гляжу, вынает из сумки своей бутылку водки и мне сует. Я головой мотаю — не могу, дескать, сам, и на руки себе показываю. Влила она тогда мне грамм сто, потом Виктору тем же манером...

Скажу теперь, как это приключение вышло. Примерился Виктор тайменя под жабры схватить, а тот не захотел ждать — кинулся в реку. А выбранная жилка тут же клубком лежала — захлестнула рыболова нашего, и полетел он вслед за рыбой. А таймень крепко блесну заглотил, никак не может отцепиться. Вот он, видать, запутал жилку кругом камней, да и лег в какой-нибудь щели. Не будь у меня ножика на ремне, так бы и полоскался кандидат до захлёба — жилку эту ничем не порвешь, иностранная какая-то.

Ну вот, вернулись мы обратно, погрелись в бане — вроде ожили. Только у Виктора та нога, которую жилкой заарканило, ходить отказывается. Я говорю: ничего, мол, забегает еще твоя нога, а ты, говорю, выводы делай, соображай, почему так получилось. И тут пришло мне на ум: не зря собаки-то ночью выли. Вот и скажи после этого, что на приметы глядеть — суеверие темное.

Отвез я их на другой день в поселок. Потом уж, когда уехали они, говорю Лешке: «Ты вот дочку все ругал, что по физике у ней плохо. Не ругай».

Зиновий ШЕЙНИС

Жизнь и гибель Андрея Чумака

Среди роскошной украинской природы, воспетой Николаем Васильевичем Гоголем, в Великих Сорочинцах, близ усадьбы писателя, в хате бедного казака Кондрата, 26 августа 1877 года увидел свет Андрей Чумак. Детство его было коротким. После окончания приходской школы надо было зарабатывать на жизнь. Андрей уезжает на завод братьев Иловайских в Макеевку.

После Великих Сорочинец с кипенью их вишневых садов, раскидистыми дубами, подпирающими иебо, Макеевка показалась дурным сном. Приземистые лачуги тонули в грязи и дыму, бараки с нарами совсем ушли в землю. Но нет, он не вернется в Сорочинцы! Он останется здесь, среди русских рабочих, в центре еще только нарождающегося Донбасса. Здесь начнет свою рабочую жизнь этот удивительно красивый украинский парубок с приветливым, веселым лицом и с ие устающими улыбаться черными глазами.

Четыре года слесарит Андрей Чумак в Макеевке. Все настороженнее всматривается он в окружающий мир. Почему вокруг нищета? Разве так вечно должны жить люди? Где иайти ответы на вопросы, не дающие покоя?

Уходил в историю XIX век.

На железной дороге между Тифлисом и Баку лежит город Елисаветполь. Переименованный после революции в Гляиджу, а затем в Кировабад, город этот теперь стал большим промышленным центром. Но в 1902 году, когда сюда переехал Андрей Чумак, это был окруженный малярийными болотами захолустный кишлак. Царствовали там урядники и муллы.

Чумак, получивший права машиниста, поселился в пяти верстах от Елисаветполя. Водил поезда до Тифлиса и Баку. Как-то после рейса к нему подошел деповский слесарь и сказал:

— Тут тебя спрашивали.

— Кто?

— Сам увидишь, — уклончиво ответил слесарь. — Как вернешься из следующего рейса, задержись в депо. Он к тебе подойдет.

Через три дня к Чумаку подошел невысокий смуглый человек с аккуратно подстриженной бородкой, улыбнулся, протянул руку, представился:

— Джапаридзе. Учитель из Баку.

Не сразу Андрей Чумак узнал, что этот умный и добрый грузин является одним из руководителей революционных организаций Закавказья и что партийная кличка Прокофия Апрасионовича Джапаридзе «Алеша».

Джапаридзе было двадцать пять лет, Чумаку — двадцать шесть. Учитель из Баку зачастил в Елисаветполь, приглядывался к Чумаку. Они быстро сошлись характерами, но о главном Джапаридзе не заговаривал. Привозил иногда бутылку грузинского вина. Прасковья Тимофеевна, жена Чумака, ставила на стол нехитрую закуску. Чумак не пил, приличия ради пригубит, ждет, что скажет новый друг. Тот начинал издалека, спрашивал о кружке в Горловке, о жизни, давал книги читать. Потом дело пошло быстрее. После одного случая.

В Елисаветполь Джапаридзе обычно приезжал вместе с Чумаком: машинист на локомотиве, учитель в вагоне. Как-то, приехав, они отправились из депо на квартиру к Чумаку. В те дни полицейские провокаторы разожгли в городе тюркско-армянскую вражду. В городе началась резня. На базаре Джапаридзе и смуглого остроносого Чумака приняли за армян. В воздухе сверкнули ножи. Раздались вопли: «Смерть неверным! Да благословит нас аллах!»

Чумак кинул Джапаридзе на землю, прикрыл своим телом. Еще мгновение, и кривые клинки вонзятся в спину Чумака. Но следом за Чумаком и Джапаридзе со станции шел помощник Чумака на паровозе азербайджанец Джафар-оглы. Невысокого роста, но сильный, он разбросал убийц, спас украинца и грузина.

В 1903 году Чумак вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию. Имя его внесли в партийный список под условным названием «Кузнец». Джапаридзе обнял его, сказал:

— Теперь до конца вместе. Будь осторожен, как серна, и храбр, как сокол! Семья у тебя растет.

За перегородкой плакал ребенок, второй сын. Джапаридзе спросил, как назвали мальчика.

— Александром, — ответил Чумак.

В начале августа 1903 года из Баку снова приехал Джапаридзе. Он рассказал о расколе партии иа Втором съезде РСДРП, объяснил суть разногласий.

Андрей Чумак стал большевиком; его избрали казначеем комитета РСДРП на станции Елисаветполь.

Наступил 1905 год. Кровавое воскресенье отозвалось по всей России гулом восстаний и забастовок, заревом пожарищ. Закавказская организация социал-демократов готовилась к восстанию. В Тифлисе открылась конференция РСДРП. Елисаветпольская организация послала делегатом Андрея Чумака. Здесь все для него было внове; он понял, как много у него едииомышленников. Джапаридзе представил Чумака своим друзьям: Михе Цхакая, Филиппу Махарадзе, Енукидзе, Орджоникидзе. Тот сразу кинулся на шею, тряс руки, радостно улыбался:

— Ты из Елисаветполя? Это великолепно. Будем друзьями навечно. Зови меня Серго. Как мои друзья.

Орджоникидзе было девятнадцать лет.

В октябре большевики решили начать всеобщую политическую забастовку. Железнодорожники Елисаветполя присоединились к забастовке. Решили взять под контроль железную дорогу, и власть от Тифлиса до Евлаха перешла в руки комитета социал-демократической партии, в который был избран Чумак.

Елисаветполь стал одним из революционных островков поднявшегося Кавказа. Царские власти начали операции по подавлению восстания в главных центрах Кавказа — в Тифлисе, Батуме, Баку. В Елисаветполь был направлен карательный отряд под командованием полковника Редрова. Отряд подошел к Елисаветполю. Схватки с восставшими рабочими были жаркими, но недолгими. Андрей Чумак и еще семьдесят участников восстания были схвачены и отправлены в Тифлис, брошены в Метехский замок. За решеткой уже находились руководители восстания в главных центрах Кавказа: Филипп Махарадзе, Авель Енукидзе, Нариман Нариманов, Серго Орджоникидзе. В Тифлисе готовился процесс, о котором шумели газеты: «О преступном сообществе, организованном в Елисаветполе с целью низвержения государственного строя». 21 марта 1906 года

начальнику департамента полиции на Кавказе донесли: «Чумак Андрей жел.-дор. машинист, арестован по приказу военного начальника Закавказской дороги генерала Снарского. Чумак самый энергичный деятель по забастовке... Принимал и отправлял поезда вместе с Рымкевичем, контролировал отправление телеграмм, руководил митингами, сохранял фонды партийной кассы и т. д.».

Положение Андрея Чумака было отчаянным. Незадолго до восстания у него родился третий сын. Что будет с семьей? Закавказский комитет РСДРП решил во что бы то ни стало спасти Чумака.

В России во все времена были люди, сочувствовавшие тем, кто боролся против деспотизма и царского произвола. Владелец крупнейших мануфактур Савва Морозов снабжал деньгами большевиков и прятал революционеров. Жена князя Барятинского, знаменитая певица Яворская, не раз отдавала свои гонорары в фонд большевистской партии. Крупнейший уральский помещик князь Кугушев продал свои имения, деньги отдал большевикам и сам пошел в тюрьму ради блага народного.

Надо найти таких же людей в Тифлисе и других городах Закавказья. План дерзок, но реален. Большевики предложат выкуп за Андрея Чумака. Выкуп временный, до суда. Сколько? Пять тысяч рублей золотом — по тем временам сумма огромная. В прокуратуре мнутся, но в конце концов соглашаются. Найдены и сочувствующие люди — профессора, врачи. Миха Цхакая ведет переговоры с либерально настроенным тифлисским домовладельцем Сосиным. Тот соглашается помочь. Деньги уже в подпольной кассе. Но кому же поручить внести залог? Жене. Прасковья Тимофеевна отправляется к властям, вносит деньги, и прокурор подписывает разрешение временно выпустить Андрея Чумака на свободу под внесенный залог, до суда, который назначен через три недели.

Теперь медлить нельзя. Царский наместник еще не знает, что вожак елисаветпольского восстания на свободе. Если ему это станет известно, то впереди у Чумака сибирский этап и каменный мешок Акатуйского каторжного централа, а то и хуже: ведь министр внутренних дел Столыпин грозит повесить на фонарях всех революционеров, и повсюду свирепствуют военно-поле-

вые суды. И тогда закавказские большевики принимают решение: Андрей Чумак должен немедленно эмигрировать за границу.

Осенью 1906 года Андрей Чумак с женой и тремя малолетними детьми тайно покидает Тифлис и, загримированный под респектабельного чиновника, направляется через Одессу на север. Его перебросят за границу через старые, испытанные транспортные пути ленинской «Искры». Не останавливаясь ни в одном городе, делая пересадку за пересадкой, он прибывает в местечко Вержболово на границе Германии. Там о его приезде уже оповещены верные люди. Ночевка в старой корчме. Последняя ночь в России. На рассвете всю семью доставляют в приграничный лесок. Чумак берет старших мальчиков за руки. Прасковья Тимофеевна поднимает младшего, он обхватывает ручонками ее шею, и семья гуськом — впереди контрабандист, которому хорошо заплатили, — идет через пограничную полосу. Только бы не заплакал младший, только бы не наткнуться на конную стражу — тогда все пропало.

Впереди спасительный просвет. Кончился лес, и они уже в Германии...

Чумак не задерживается здесь, знает, что царские и кайзеровские власти договорились о выдаче революционеров. В Гамбурге Чумак садится на пароход и высаживается в Лондоне. Здесь крупные американские фирмы вербуют рабочих за океан для работы на шахтах и автомобильных заводах. Чумак подписывает контракт и через две недели выезжает в Америку. Он еще не знает, что царский суд заочно приговорил его к «заключению в крепости».

Уже в начале нашего века русская революционная эмигрантская колония в Соединенных Штатах была довольно многочисленной. Ее главными центрами стали Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, другие города.

Поселились Чумаки впятером в крохотной комнате. Денег, полученных в вербовочной конторе в Лондоне, еле хватало на хлеб насущный. Меньше месяца провел Чумак в Нью-Йорке, познакомился с городом, побывал у земляков, приехавших до него с Украины и Кавказа, а затем уехал в городок Бернсборо, что в штате Пенсильвания, и поступил работать на шахту. Посулы вер-

бовщиков, что он получит работу механика, лопнули. Мешало незнание языка, да и общая техническая подготовка оказалась недостаточной.

Шахты в округе Бернсборо кормили город и прилегающие поселки, но и выматывали человека до основания. Предприниматели гнались за прибылью, охраны труда не было, а плохая вентиляция в шахтах несла гибель. В тридцать лет человеку кажется, что он может своротить горы. Чумак не выдержал. Как-то в забое упал в обморок, его вынесли наверх. Приговор врача был краток: запрещается работать под землей.

Друзья из российской колонии посоветовали Чумаку осесть в городе Кеноша: там построили автомобильный завод, и многие русские революционные эмигранты получили работу; да и Чикаго под носом: от Кеноша до Чикаго — города у Великих озер — два часа езды на электричке. Летом 1912 года Чумак вместе с семьей переехал в Кеноша.

При социалистической партии Америки действовали федерации разных национальных групп. Одной из крупнейших стал Русский отдел социалистической партии Америки. Его организации были и в Чикаго и в Кеноша, где после долгих мытарств осел Андрей Чумак, русский рабочий, окончивший несколько классов церковноприходской школы. Об этом необходимо напомнить не повторения ради, а для того, чтобы оценить талант Чумака, четче определить его место в русском революционном движении, которое выдвинуло таких людей, как Иван Бабушкин.

Русская колония в Кеноша и ее политическое ядро — Русский отдел социалистической партии — пассивны, раздроблены. Внешне все как будто в порядке. Здесь есть Русский клуб, председатель открывает собрания, все встают, и в зале звучит торжественный гимн американской социалистической партии «Я бунтарь». После гимна объявляется повестка дня, развертываются разнообразные дискуссии. Все вертится вокруг одного вопроса: как бы улучшить экономическое положение рабочих? Но будущее России и его революции здесь на втором плане.

Андрей Чумак определяет главную свою задачу: объединить всех российских эмигрантов и привлечь их к активной политической деятельности. Он создает в Кеноша «Общество российских рабочих».

Русский социал-демократ Лев Дейч организовал в Нью-Йорке секцию РСДРП, которая стояла на меньшевистских позициях. Это был сектантский акт. Но Нью-Йорк был близко, и его влияние сказывалось на организациях в Чикаго и Кеноша. Чумак создал воскресную школу и библиотеку русской классической и современной литературы. Написал о нуждах русской колонии Владимиру Ильичу, и вскоре от Надежды Константиновны стали регулярно приходить книги и газеты, дружеские письма с советами. В Русском клубе был организован драматический коллектив, с подмостков зазвучали монологи героев Чехова и Горького. Не была забыта и американская драматургия. Это позволяло лучше понять внутренний мир американцев, их думы и чаяния.

Первое время Чумак жил в Кеноша на тихой Нью-Уэлс-стрит в крошечной квартире. Пожар уничтожил дом. По русскому обычаю эмигранты собрали деньги погорельцам, помогли подыскать новую квартиру. Чумак переехал на Парк-стрит, 808, в небольшой коттедж. Вместе с Чумаками в комнате на втором этаже поселился Иосиф Рабизо, русский эмигрант, большевик. Рабизо был холостяком. Прасковья Тимофеевна предложила ему столоваться вместе с Чумаками, он с радостью согласился.

При коттедже был небольшой участок земли. Андрей Кондратьевич вскопал огород, разбил маленький сад, приучал и детей любить и понимать природу.

Дом на Парк-стрит притягивал и американцев. Они знали, что с Эндрю можно откровенно обо всем поговорить, получить дельный совет. За короткий срок Чумак овладел английским языком. Вечерами после работы занимался на курсах английского языка и государственного устройства Соединенных Штатов. С уважением относился он к обычаям страны. Очень внимательно готовился к своим выступлениям на собраниях и митингах.

О Чумаке заговорили в социалистических кругах Чикаго. В Кеноша приехал Юджин Дебс, он пришел на собрание в Русский клуб послушать выступления, сам выступил с докладом о политическом положении в США. Это было признанием деятельности Русского отдела социалистической партии Америки.

В Кеноша Чумак получал письма от Джапаридзе,

редкие, но с подробным рассказом о том, что происходит в России. Последнее письмо пришло незадолго до выстрела в Сараеве. Алеша сообщал, что царское правительство разжигает погромный шовинизм и что дело, видимо, идет к войне.

Разразившаяся мировая война прервала связи эмигрантов-большевиков с Россией и с Европой. Больше не приходили письма от Ленина и Крупской, от Джапаридзе, не поступала газета «Социал-демократ», которую так регулярно посылала Надежда Константиновна.

Нелегким выдался для Чумака тот год. Ориентироваться в обстановке становилось все труднее. А меньшевики, «оборонцы» подняли голову, их наскоки на позиции большевиков становились все более крикливыми. Чумак и его товарищи часто выступали в газетах «Новый мир» и «Коммунист», отстаивали ленинскую точку зрения: война приносит прибыли монополиям и гибельна для народов. Газеты Русского отдела позволяют понять трудности, которые испытывал Чумак. Теперь еще чаще появляются заметки о его выступлениях на митингах и собраниях в Кеноша и Чикаго на автомобильном заводе и других предприятиях, где работали русские...

В сентябре 1915 года в швейцарской деревне Циммервальд собралась конференция нескольких социал-демократических партий европейских стран. Русскую делегацию возглавлял Владимир Ильич.

По предложению Ленина социал-демократы должны были выразить свое принципиальное отношение к войне. Большинство лидеров социал-демократических партий не стало на путь решительного осуждения мировой бойни, как на этом настаивал Ленин. И все же Циммервальдская конференция принесла пользу: принятый ею манифест отражал растущий международный протест против социал-шовинизма.

Американская социалистическая партия и ее Русский отдел понимали, что произошло важное событие, но подробностей о Циммервальде не знали. Помогла Александра Михайловна Коллонтай. В Христианию, где она тогда жила, было послано приглашение от имени немецкой левой секции социалистической партии с просьбой приехать в США. Коллонтай запросила мнение Ленина, изложила цель поездки: «В основе моей поездки в Америку лежит стремление возможно шире распро-

страивть те взгляды, которые с особенной выпуклостью и яркостью сумели оформить Вы и которые охватывают собой основу позиций революционеров-интернационалистов».

Владимир Ильич одобрил поездку, послал Александре Михайловне из Берна свою брошюру «Социализм и война», попросил перевести эту работу с немецкого на английский и издать в Соединенных Штатах.

Началась почти двухмесячная поездка Коллонтай с востока на запад через все крупнейшие промышленные центры Соединенных Штатов. На обратном пути в Нью-Йорк, 5 декабря, Коллонтай снова приехала в Чикаго. Чумак был ею заранее извещен о приезде и вместе с Рабизо, Котляренко, Раевым поехал на вокзал встречать ее. Ждали ее на перроне с букетами в руках, в своих лучших костюмах, взволнованные и радостные. Раньше из России приезжали и другие посланцы, но первой с прямым заданием Ленина была Коллонтай.

В тот же день Александра Михайловна выступала с докладом в Чикаго, а вечером все вместе уехали в Кеноша. Здесь на Сюпирио-стрит Александра Михайловна рассказала о беседах с Лениным, о письмах, которые он ей прислал, о Европе, где вот уже второй год шла война, задавала вопросы, подробно интересовалась жизнью русской колонии, положением в социалистической партии, деятельностью Юджина Дебса, настроениями простых американцев. Сказала, что Владимир Ильич и сам подумывает о поездке в Америку. Последнее время он об этом делился с ближайшими друзьями. Сейчас прихворнула Надежда Константиновна; как выздоровеет, так, возможно, они вместе и приедут.

Потом ей задавали вопросы, перебивая друг друга. Коллонтай, смеясь, останавливала:

— Ради бога, не все сразу.

Было шумно, весело, уютно. На плите урчал чайник, в который то и дело Прасковья Тимофеевна подливала воду. В углу, прижавшись друг к другу, сидели младшие Чумаки, во все глаза смотрели на гостью, приехавшую из неведомого им мира...

Это было 14 марта 1917 года по новому стилю. Чумак накануне поздно вернулся с работы. Утром, как обычно, пришли друзья. Только сели завтракать, как за окном раздались крики. Мальчишки — продавцы газет на этот раз кричали громче обычного, и даже через

закрытые окна с улицы доносилось слово, которое они то и дело повторяли: «Петроград!».

Андрей Кондратьевич послал сыновей за газетами. Те мигом вернулись, размахивая свежим номером «Чикаго трибюн» с аншлагом через всю первую полосу: «В Петрограде революция! Царь свергнут!»

Спустя семнадцать лет, 26 марта 1934 года, Моисей Столяр, активный деятель кеношско-чикагской группы большевиков, рассказал на страницах газеты «Москау ньюс», где он заведовал отделом, о незабываемых часах, пережитых в тот день в Чикаго. В статье, озаглавленной «Андрей Чумак — герой революции», М. Столяр писал: «Когда появились первые сообщения о Февральской революции, мы созвали митинг на квартире Чумака. Радость пьянила людей, многие от волнения не могли говорить, мы обнимались, кричали «ура!», поздравляли друг друга». Тут же, на квартире Чумака, начали обсуждать планы возвращения в Россию, послали поздравительные телеграммы в Нью-Йорк и другие центры русской эмиграции.

Февральская революция подтолкнула рабочий класс Америки к активным действиям. Специальная комиссия по подготовке нового устава, в которую от Русского отдела входил Чумак, закончила свою работу, и 7 апреля 1917 года, на следующий день после вступления Америки в войну, в Сан-Луи открылся Чрезвычайный съезд социалистической партии Америки. Повестка дня съезда включила два пункта: 1. Об отношении партии к мировой войне, 2. Утверждение новой программы и устава.

На съезде левые силы дали бой правым, ратовавшим за половинчатую политику в вопросе о войне и мире, заставили их отступить. Спустя два года, характеризуя решения съезда, Джон Рид напишет Владимиру Ильичу, что там «была принята знаменитая Декларация о войне — самый революционный призыв к массовым действиям за всю историю социалистического движения в Америке».

И до съезда и после него Чумак вместе с Юджином Дебсом, Вильямом Хейвудом и другими лидерами рабочего движения Америки выступал на интернациональных митингах и собраниях с докладами о борьбе рабочего класса против империалистической войны и о значении Февральской революции. Когда читаешь в

«Новом мире» и других газетах Америки отчеты о выступлениях Чумака, поражаешься зрелости этого бойца ленинской партии. Там, вдали от России, он понимал, что Февральская революция — это начало, что за нею грянет новый революционный взрыв, который окончательно сметет старый строй.

Первая группа русских политических эмигрантов выехала из Соединенных Штатов в Россию в конце апреля 1917 года. Чумака избрали председателем Комитета по возвращению на родину. С каждым днем таяла русская колония в Чикаго, Нью-Йорке, Бостоне, Кливленде, Милуоки и других городах. Чумак проводил в Россию ближайших друзей — Рабизо, Котляренко, Нейбута, Раева, Иванова.

Тихо стало в квартире на Вестдивиджн-стрит. Чумак сутками пропадал в комитете, отправлял эмигрантов: надо было всех обеспечить паспортами, деньгами, зафрахтовать пароходы. Путь был дальний — из Чикаго поездом в Канаду — в Ванкувер, а оттуда пароходом до Владивостока. Через Атлантику путь в Европу был заказан: немецкие подводные лодки топили пассажирские пароходы, на Тихом океане все же было спокойнее.

Вечерами, когда Чумак возвращался домой, Прасковья Тимофеевна спрашивала:

— Когда же наш черед придет, Андрюша?

Чумак отмалчивался или отшучивался. Лишь в конце мая сказал жене:

— Скоро поедем, собирайся.

Готовясь к дальнему путешествию, Чумак не забыл и о своем изобретении. Незадолго до отъезда он завершил работу над машиной для уборки квартир. Фирма приняла ее к производству. Гонорар — весьма крупная сумма — был использован для отправки русских эмигрантов в Россию.

В начале июня 1917 года из канадского порта Ванкувер пароход «Царица России» увез из американской эмиграции на родину 85 большевиков во главе с Андреем Чумаком. Уезжали с детьми, повзрослевшими и совсем крошечными, никогда не видевшими России.

После морского, а затем железнодорожного путешествия добрались наконец до станции Харбин. Здесь власти задержали эмигрантов-большевиков, поселили их временно в вагонах на станции, запретили выезд из го-

рода. Русский генеральный консул запросил Временное правительство, кому из эмигрантов можно разрешить въезд в Россию. Вскоре консул передал Андрею Чумаку ответ Керенского: въезд в Россию ему запрещен.

Андрей Чумак направляется к властям Китайско-Восточной железной дороги и предлагает свои услуги. Ему отвечают, что работу машиниста он получит, но только не в Харбине, а на станции Ханьдаохэцзы. Чумак соглашается. Он готов водить поезда от Ханьдаохэцзы до Харбина.

Хозяином положения на КВЖД все еще остается бывший царский наместник, генерал Хорват. В его руках не только огромный аппарат вышколенных служащих, но и войска, которые в любой момент можно использовать для подавления революционных выступлений. Значит, Чумаку надо найти друзей-единомышленников, установить связи, явки. К осени 1917 года Чумак создает в Харбине подпольную большевистскую организацию. Ее ядром становятся рабочие Главных механических мастерских. Поочередно на их квартирах происходят собрания. Большевики стараются привлечь на свою сторону рабочих и служащих КВЖД. Это нелегко. В Харбине открыто действуют меньшевики, эсеры и анархисты.

Чумак тайно уезжает во Владивосток, где уже находятся Нейбут, Раев, Рабизо, договаривается с ними о координации действий, получает информацию о положении в Петрограде, возвращается в Харбин и делает следующий шаг для усиления большевистского подполья. Опытный интернационалист, Чумак обращается с листовкой к китайским и корейским рабочим, призывает их действовать совместно с русскими рабочими против администрации генерала Хорвата и всей харбинской буржуазии.

Поздно вечером 7 ноября по новому стилю приходит из Петрограда сообщение о том, что большевики взяли власть в свои руки. Через несколько дней и в Харбине создается Совет рабочих и солдатских депутатов. Но генерал Хорват не думает сдаваться. Рютин, возглавляющий Харбинский Совет, медлит, ведет ненужные переговоры с Хорватом, вместо того чтобы вырвать власть из рук генерала.

21 ноября из Петрограда приходит телеграмма Ленина. Владимир Ильич требует от Харбинского Сове-

та, чтобы вся власть перешла в его руки, а генерал Хорват и вся белогвардейская администрация были арестованы и отстранены от власти. Приказ о переходе власти в руки Советов Рютин издает, но не подкрепляет его практическими действиями.

Чумак предлагает Рютину вооружить рабочих мастерских и взять власть в свои руки, как это однажды уже было сделано и как того теперь требует Ленин. Однако Рютин колеблется. Хорват использует бездействие председателя Харбинского Совета и срочно вызывает на помощь войска китайского генерала Чжан Цзо-лина. Русские охранные дружины вынуждены отступить перед превосходящими силами противника. Харбинский Совет пал...

Революционный опыт подсказал большевикам Харбина: надо сохранить большевистские кадры, действовать через организации, находящиеся пока на легальном положении. Чумака избирают членом Главного исполнительного комитета рабочих и служащих КВЖД. Через профсоюзные организации он добивается связи с китайскими и корейскими рабочими и 1 мая 1918 года организует демонстрацию на улицах Харбина в поддержку Советской власти.

Но в это время в действие вступает еще одна контрреволюционная сила — атаман Семенов. Через двадцать семь лет, в конце второй мировой войны, этот палач будет схвачен и понесет заслуженную кару — военный трибунал присудит его к смертной казни через повешение. Но описываемые события происходили в 1918 году. Атаман Семенов начал свой карательный поход.

После первомайской демонстрации события развертываются быстро. Главный исполнительный комитет рабочих и служащих КВЖД начинает подготовку к забастовке протеста против карательных действий атамана Семенова и войск генерала Хорвата. Город бурлит.

16 мая по всей линии Китайско-Восточной железной дороги всеобщая забастовка началась. Инициатор ее — Чумак. В то утро, когда паровозы по всей линии оповестили начало забастовки, Чумак выступал в железнодорожном клубе станции Ханьдаохэцзы. Небольшой зал заполнен до отказа. Рядом с Андреем Кондратьевичем у трибуны Прасковья Тимофеевна и сын Саша.

В эти часы генерал Хорват передает по телеграфу

приказ жандармерии о немедленном аресте Чумака. В Ханьдаохэцзы дежурит телеграфист — большевик-подпольщик. Приняв телеграмму, он мчится в клуб. Чумак тут же зачитывает приказ Хорвата. В ответ раздаются громовые крики протеста. Полицейские понимают, что взять Чумака в клубе не удастся, и окружают дом, в котором он живет. Но Чумак возвращается с митинга не один, а с отрядом рабочих и солдат. Полицейские вынуждены отступить.

Поздно ночью жандармы пытаются ворваться в дом, но Чумаку удается скрыться. Через двое суток он тайно, на паровозе выезжает из Харбина в Приморье.

И снова жена с детьми остается одна, как тогда в Елисаветполе, как в Америке, когда он бродил по дорогам в поисках куска хлеба. Снова одна — обычная судьба жены российского революционера.

В начале июня 1918 года Андрей Чумак был направлен Приморским комитетом РКП(б) в Никольск-Уссурийск для усиления партийного руководства в этом городе. Здесь он сразу оказался в центре событий. Чумака избирают председателем Совета рабочих и солдатских депутатов. Программа действий Совета — телеграмма Ленина, направленная 7 апреля 1918 года. Владимир Ильич требовал «готовиться без малейшего промедления и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил».

Действовать в духе ленинских указаний — это значит создать оборонительные сооружения, укрепить вооруженные силы города — рабочие дружины, обеспечить на случай интервенции переброску стратегических грузов в глубь страны. Так и поступают большевики Никольск-Уссурийска. Вокруг города создаются укрепления.

События не заставили себя ждать. В июне белочешские легионеры из бывших чехословацких военнопленных, возвращающихся на родину через Владивосток, подняли мятеж. В этом ключевом городе Приморья они арестовали руководителей Совета, объединились с белогвардейскими частями атамана Калмыкова и двинули полки на Никольск-Уссурийск. Пять дней шли ожесточенные бои. Красногвардейские полки под командованием революционного штаба, в который входил и Чумак, не отдавали без боя ни пяди земли. Это позволило дру-

гим городам Дальнего Востока перебросить войска в помощь Никольск-Уссурийску.

21 июля 1918 года «Рабочая газета» писала о тех днях Уссурийска:

«При обороне города особенно отличился Председатель Горисполкома Совета А. Чумак. Он лично водил красноармейцев в штыковую атаку, и его отряд, как и сам командир, отличался большой храбростью. Далькрайком партии талантливого организатора-большевика назначил членом Военного Совета фронта и комиссаром передвижения войск. Когда белые и иностранные интервенты, применив тяжелую артиллерию, подожгли город и прорвали укрепление красных, заставив оставить занимаемые позиции, А. К. Чумак, командуя бронепоездом «Освободитель», отступил последним, прикрывая отход красногвардейцев и эвакуируемых госпиталей и учреждений в гор. Спасск».

Медленно, с боями отступали красные отряды в сторону Хабаровска, готовясь к решительному бою. Чумак все время с войсками, делит с ними все лишения. Пошел вот уже третий месяц, как он оставил семью на станции Ханьдаохэцзы. Там теперь свирепствуют белогвардейцы. Что с женой и детьми, живы ли они? Ни писем, ни весточки от них, да жена и не знает, где он.

А дни бегут, и дел все больше. Со всех уголков Приморья и Амурской области к Уссурийскому фронту пробирались большевики, ведя за собой людей, вливались в армию, набиравшую силу, чтобы нанести удар по врагу.

1 августа 1918 года Военный Совет Уссурийского фронта отдал приказ о переходе в наступление в районе Каульских высот. Враг, бросая оружие и неся огромные потери, начал беспорядочное отступление к Никольск-Уссурийску.

Но против рабочего класса, взявшего в свои руки власть на Дальнем Востоке, уже выступили интервенционистские силы крупнейших капиталистических стран мира. 24 августа они начали фронтальное наступление на Уссурийском фронте.

Из городов и сел, из таежных лесов в Хабаровск выехали делегаты на открывшийся 25 августа V съезд Советов Дальнего Востока, чтобы оценить обстановку и выработать меры спасения Советской власти. Делегатом от Амурской области на съезд прибыл Андрей Чу-

мак. Приехали в Хабаровск и руководители сибирских большевиков во главе с Павлом Петровичем Постышевым. Здесь произошла их первая встреча с Андреем Чумаком.

Съезд заслушал доклад о международном положении и о текущем моменте. Потом на трибуну поднялись делегаты. Одним из первых выступил Андрей Чумак. Как всегда, он был краток:

— Не время было уезжать с фронта, но хлопцы настояли, поручили выступить от имени фронта и во весь голос сказать, чтобы слышали за Уралом, слышал большевистский Центральный Комитет, слышал сам Ленин, слышал весь русский народ, слышали наши братья украинцы, белорусы, грузины, латыши, татары, слышали народы Америки, Японии, Англии, Франции, Чехословакии, как войска чужеземных захватчиков вторглись в наш край и нарушили нашу мирную жизнь. Красноармейцы и красногвардейцы Уссурийского фронта просили меня сказать, что мы не позволим вмешиваться в наши дела.

Дальневосточный съезд, веря в пролетарскую солидарность, обратился к народам Америки, Англии, Японии и Франции, призвал их требовать немедленного вывода интервентов и заявил, что «Дальний Восток является нераздельной частью великой Российской Федеративной Советской Республики, управляется выборными органами трудового народа, именуемыми Советами, и никому вмешиваться в наши дела не позволим...».

Съезд постановил распустить Уссурийский фронт, перейти к партизанской борьбе, избрал Дальневосточный Совет народных комиссаров. Андрей Чумак вошел в состав Совнаркома, и вскоре он и Постышев отбыли туда, где разгоралась партизанская война. Чумак вместе со своими ближайшими помощниками двинулся в район Архары Амурской области. Павел Постышев выехал по реке Тунгуске в район Приамурья.

И снова в поход, через тайгу, непроходимую чащу, в жару и ливень. Неподалеку от золотых приисков, в районе Архары Чумак создает партизанскую базу, объезжает села, беседует с крестьянами; готовые до конца биться за Советскую власть, они оставляют свои избы и уходят в партизаны.

В сумрачный осенний день крестьяне сообщили, что

в окрестностях появился вражеский отряд. Чумак мог послать в разведку партизан из местных жителей, но решил пойти сам.

Белогвардейские каратели, интервенты подкараулили его, навалились, связали и отправили в тюрьму города Благовещенска.

В тюрьме Чумак свалился: тиф. Несколько недель он был между жизнью и смертью. Победил сильный организм и неукротимая воля борца.

Подпольная организация большевиков Благовещенска под руководством Федора Мухина начала готовить побег Чумака. На должность надзирателя в тюрьму был послан надежный коммунист Зелинский, не раз выполнявший опаснейшие поручения. Когда Мухин узнал, что Чумак выкарабкивается из болезни, он по просьбе Чумака вызвал из Харбина Прасковью Тимофеевну. Она немедленно приехала в Благовещенск. Встреча состоялась в тюрьме.

...В конце октября 1918 года Андрей Чумак снова в подполье.

К концу февраля 1919 года партизанская борьба в Амурской области так разрослась, что казачий атаман Калмыков решил послать туда новые части. В начале марта в засаду карателей попал Федор Мухин. На допросе его пытали. Все выдержал амурский комиссар. Федора Мухина застрелили.

Теснее и теснее сжималось смертельное кольцо вокруг Андрея Чумака и его боевых товарищей.

Через несколько дней после убийства Мухина на конспиративной квартире в Благовещенске собрался подпольный штаб борьбы против интервентов. Совещанием руководил Чумак.

За комиссарами давно была установлена слежка. На этот раз ищейки напали на след руководителей амурских большевиков. Интервенты и белобандиты окружили дом, ворвались с ручными пулеметами, карабинами.

Комиссаров упрятали в Благовещенскую тюрьму. Андрея Чумака допрашивал палач из казачьей контрразведки князь Чочуа. Бил, пытал. Требовал, чтобы Чумак раскрыл планы партизанских отрядов. Приставлял к виску дуло револьвера. Нажимал спуск: «шутил».

В других камерах допрашивали остальных комисса-

ров. Никто не дрогнул, не выдал. Так повторялось каждый день.

Палачи поняли, что допросы ничего не дадут.

Ночью 26 марта 1919 года полураздетых комиссаров вывели из тюрьмы под усиленным конвоем и увезли за город. У глиняного карьера белогвардейцы остановили их перед большой ямой, кололи штыками, били шомполами, все ближе подталкивая к могиле.

Наступили последние минуты перед казнью. Комиссары попрощались друг с другом. Яков Шафир бросил в лицо убийцам:

— Палачи, даже с родными проститься не дали.

Андрей Чумак шагнул к могиле, пожал руки друзьям. Поднял голову, взглянул на небо. Мысленно попрощался с женой и детьми. Залп. Он уже не видел, как из рядов обреченных вырвался Петр Зубок, а затем Прокопий Вшивков.

Озверевшие белобандиты шашками рубили комиссаров по голове, лицу, рукам, ногам.

Залп по беглецам. Еще один залп по уже растерзанным смертникам.

Через год партизаны изгнали врага и освободили Благовещенск. С непокрытыми головами долго стояли боевые друзья у ямы, где убийцы сделали свое черное дело.

Семья Андрея Кондратьевича оставалась в Харбине. Подпольный комитет большевиков взял на себя заботу об этой семье, а в 1923 году отправил ее из Харбина в Москву. Поезд отошел от перрона и повез родных Андрея Чумака по нескончаемому сибирскому пути на вновь обретенную ими Советскую Родину.

Эдуард ХРУЦКИЙ

Последний месяц лета

События, о которых рассказывается, произошли в Белоруссии сразу после Великой Отечественной войны.

6 августа. 11.00. Село Ольховка

Теперь войну он видел во сне. Она возвращалась к нему постоянно, и сны эти были однообразны и длинны, как бесконечные товарные составы. Он все время убегал, а за ним, беззвучно лая, неслись собаки и солдаты без лиц, только плечи и каски. Стреляли. И выстрелов он не слышал, только вспышки огромные, как сполохи грозы, и ожидание чего-то страшного и жестокого.

Но на этот раз Егоров услышал звук выстрела и, просыпаясь, никак еще не осознал, где кончается сон и начинается реальность. Он лежал в саду под яблоней на жестком топчане. Гимнастерка валялась рядом на земле, а на ней ремень с кобурой. Действуя инстинктивно, еще не придя в себя, он вытащил наган и, как был в одних галифе, нижней рубашке и босиком, выскочил за калитку.

Вдоль улицы в клубах пыли неслась тройка. Она приближалась стремительно, и Егоров увидел человека, погонявшего лошадей. Он стоял, широко расставив ноги, словно влитой, хотя бричку немыслимо трясло на разъезженной деревенской улице. В бричке были еще трое. И когда лошади были совсем рядом, один из троих поднялся на колени и взмахнул рукой.

— Прими подарок, участковый!

Егоров выстрелил, падая. Сбоку глухо рванула граната. Участковый вскочил и, положив наган на сгиб локтя, выстрелил вслед бричке еще шесть раз. Когда осела пыль и стук колес ушел за околицу, Егоров увидел метрах в десяти лежащего человека. Он лежал, не-

естественно раскинув руки, но все же Егоров полез в карман, где лежали патроны, и перезарядил наган. Мягко ступая босыми ногами по горячей пыли, участковый подошел к убитому, перевернул его и, мельком поглядев в лицо, понял, что этого человека он видит впервые. «Так кто же все-таки кричал с брички?»

— Участковый, младший лейтенант!

От сельсовета бежал боец истребительного батальона.

— Ну, что? Что там еще?

— Бандиты сельсоветчиков перебили.

10 августа. 0.02. Брест

За окном лежали развалины города, соединенные темными, без фонарей, улицами. Редкие огоньки окон можно было пересчитать по пальцам.

— Видишь, Василий Петрович, — сказал начальник отдела, — видишь, какой стал город. Темнота, грязь, развалины. А я здесь вырос. Он зеленый был, добрый.

— Восстановим, — ответил Грязновский, — еще лучше станет.

— Может быть, лучше, но не таким.

Начальник отдела открыл сейф, достал папку.

— Вот я тебя зачем вызвал. Поедешь в район. В лесах между деревнями Ольховка и Гарь банда объявилась.

— Большая?

— По нашим данным, стволов сорок.

— Чья банда?

— Видимо, Музыки.

— Он же в Литву ушел.

— Говорят, соскучился по нас очень и вернулся.

— Это точно?

— А ты фотографию посмотри. Вот донесение Егорова о нападении на сельсовет. У участкового фотоаппарат трофейный, он сфотографировал убитого и следы.

— Так, — сказал Грязновский, — так, что-то похоже. Кого же он мне напоминает?

— Да чего ты голову ломаешь? Сенька это, Музыкин младший брат. Подбил его Егоров. А вот дальше, видишь ли, послание.

Грязновский сел удобнее и прочитал прыгающие безграмотные строчки.

— Так, значит, за братца сто энкаведешников и большевиков. Ничего, с размахом начинает действовать.

— Егоров мужик умный, хочу забрать его сюда, в аппарат угрозыска, — начальник опять встал, подошел к окну, — видишь, даже следы, типичные для этого налета, дал.

Грязновский полистал страницы дела, начал читать рапорт участкового: «Также сообщаю, что, кроме гильз отечественного и немецкого образца, мною обнаружено:

1) на одном из колес брички лопнула металлическая шина и поэтому остается характерный след;

2) в подкове коренника на правой задней ноге не хватает трех гвоздей;

3) кроме того, перед нападением в селе появился велосипедист. След его велосипеда точно такой же, как оставленный на месте преступления в деревне Ложки. Протектор переднего колеса имеет три широких гладких заплаты, причем одна из них четко выдавливает цифру «девять»...»

— Молодец, — Грязновский закрыл папку, — ведь, кроме этого, ничего нет. Велосипедист, я думаю, наводчик: сначала в деревне появляется он, потом бандиты. И видимо, этого человека знают. Привыкли к нему, иначе чужого, да на велосипеде, «срисовали» бы сразу же. Вот его и надо устанавливать.

— А кто тебе мешает. Устанавливай. Вот поезжай в район и устанавливай на доброе здоровье. Группу я тебе дам. Шесть оперативников и шофер. Пулемет дам МГ, автоматы. Выезжать сегодня ночью. В конце месяца, — начальник угрозыска полистал календарь, — числу к двадцать девятому, Музыку нужно обезвредить.

— Даже число назначили, — Грязновский встал, — планировать легко, товарищ полковник, а...

— Его я не знаю, Вася, поэтому и посылаю тебя. Прошу очень, выйди на него быстрее, сделай все, чтобы подготовить войсковую операцию, понял?..

— Я-то понял.

— Ну, раз так, иди и помни, — голос у полковника стал жестким, — за кровь людей мы с тобой в ответе. С нас спросят, с милиции.

11 августа. 12.00. Райцентр

К полудню жара стала невыносимой. Солнце, огромное и жаркое, словно медный таз, повисло над городом. Жизнь замерла, улицы опустели. Только куры купались в дорожной пыли.

В такие дни гимнастерка почему-то начинает давить под мышками, портупея с кобурой становится особенно тяжелой, а фуражка сжимает голову, как раскаленный обруч.

Одноэтажное здание райотдела прокалилось. Через каждые полчаса приходил с ведром воды помощник дежурного, поливал пол. Вода испарялась немедленно, давая прохладу только в первые десять минут. Грязновский и капитан Токмаков посмотрели выборку всех вооруженных нападений за последние два месяца. Их было всего четыре.

— Вот эти два, — сказал начальник угрозыска района, — мы второго дня раскрыли. Тут, на хуторах, — он ткнул пальцем в карту, — дезертир прятался. Решил, видно, к дому податься: документы ему были нужны да деньги. Мы его на втором эпизоде и сняли. Нет, нет, — он посмотрел на Грязновского, — я сам ездил, и из МГБ ребята с ним в минской тюрьме говорили. Глухо. Он о банде ничего не знает.

— А ты сам-то о Музыке слышал чего?

— Я, — начальник розыска усмехнулся, — дай-ка папироску, Токмаков, спасибо. Я его как тебя видел. Понял? Допрашивал он меня. Очень он душой о старшем брате болел.

— Ты что-то путаешь, — сказал Грязновский, — по делу проходит его младший брат Семен.

— Я путаю? — начальник розыска улыбнулся, — Ты зубки эти металлические видишь? Так-то. Собственные зубы мне Музыка за старшего братца ручкой «вальтера» выбил. Я их всю семейку распрекрасно знаю. Батька его Бронислав и старший брат Ефим конокрадами и контрабандистами были. Отца пограничники в тридцать шестом застрелили, когда он ночью через границу людей вел, а брата я брал. А уж при немцах мы с Музыкой местами поменялись. Он в этот дом начальником полиции, а я — в лес.

— А потом?

— Потом история длинная. Оглушили они меня,

в камеру бросили. Утром собирались в фельджандармерию передать. А я ушел.

— Как ушел? — удивился Токмаков.

— Ночью из отхожего места. Да неинтересно это все. Я вот тебе чего скажу...

Он не успел закончить. Дверь распахнулась, влетел дежурный.

— На селекционную станцию налет.

— В машину, — скомандовал Грязновский, — быстро! Ты, Токмаков, останешься здесь искать велосипед. Остальные в машину. Сколько километров до станции?

— Шесть, — начальник розыска достал из шкафа автомат, — людей брать?

— Не надо, хватит моих. Пусть лучше Токмакову помогут.

— Кто звонил?

— Да голос странный, вроде детский, — ответил дежурный, — он только успел сказать «банда», потом выстрелили — и связь оборвалась.

11 августа. 12.45. Селекционная станция

Не доезжая километров двух, увидели дым. Горела станция.

— Давай, — крикнул Грязновский шоферу, — слышишь!

Шофер буркнул что-то и выжал педаль газа. Стрелка спидометра медленно уходила за цифру 100.

Во дворе станции горел сарай.

— Зерно подожгли, сволочи, — выругался начальник розыска. Он прислушался и вдруг бросился к сараю.

— Стой, — крикнул Грязновский, — сгоришь!

— Там люди.

Сквозь треск и гул пламени из сарая доносились стоны.

Оперативники ломами разбили дверь и вытащили шестерых полузадохнувшихся связанных работников станции. Пока спасали остатки зерна и оказывали помощь людям, Грязновский узнал, что часа два назад приезжал на велосипеде новый почтальон, привозил газеты, потом приехали шестеро, связали людей, нагрузили зерно на бричку и две телеги, стоявшие в сарае на

станции, людей связали, заперли в сарай и подожгли с остатками зерна.

Звонила дочка агронома, она спряталась в директорском кабинете. Бандиты о звонке ничего не знали и девочку не нашли.

— Где она? — спросил Грязновский.

— Вон, у крыльца, — ответил оперативник.

На крыльце стояла девочка лет тринадцати, в выгоревшем на солнце ситцевом платьице.

— Как тебя зовут? — спросил Грязновский, присев на ступеньки крыльца.

— Зина...

Голос был тихий, казалось, что девочка не говорит, а выдыхает слова.

— Ты очень испугалась?

— Очень.

— Когда они уехали...

— Когда они уехали, я поглядела в окно. Они поехали туда, — девочка показала рукой к лесу, — потом увидела огонь и спряталась.

— Спасибо, дочка, ты нам очень помогла.

— А вы их поймаете?

— Наверное.

Через двор, придерживая автомат, бежал начальник розыска.

— Слышь, майор, они в сторону хуторов подались, через лес. Следы те же, что в Ольховке.

11 августа. 13.00. Райцентр

Токмаков медленно шел по улице. Со стороны казалось, что задумался человек, просто гуляет, низко опустив голову. Жара становилась все сильнее и сильнее. Гимнастерка прилипла к спине, сапоги стали пудовыми.

«Зачем же я глупостями занимаюсь, — думал капитан, — пойду в розыск, они наверняка знают, сколько в городе велосипедов».

Он уже совсем собрался повернуть к райотделу, как увидел след. Отчетливый замечательный след с цифрой «девять», выдавленной в горячей пыли улицы. Он пошел по следу, еще не веря в удачу, добрался до площади и потерял его. Здесь узкую полоску протектора затоптали чьи-то сапоги и ботинки, разбили шины полуторок.

Токмаков сразу забыл о жаре, ему даже холодно стало. Он закрутился по площади, но следа не было. Так он дошел до здания почты и увидел прислоненный к крыльцу велосипед. На колесе передачи висел амбарный замок. Токмаков подошел, на ходу отмечая мельчайшие детали: потертое кожаное седло, облупившуюся краску, поржавевшие ободья, истертые широкие протекторы. Велосипед был трофейный, из тех, что побросали, отступая, немцы.

Подойдя ближе, капитан увидел на шине большую заплатку с цифрой «девять».

Токмаков переложил пистолет из кобуры в карман и, отойдя в сторону, стал, прислонившись спиной к дереву.

Минуты тянулись медленно, и ему снова стало невыносимо жарко. Так он стоял и ждал, засунув руки в карманы галифе, перекатывая зубами сорванную веточку. Из здания почты выходили сморенные жарой люди. Один, второй, третий... Токмакову хотелось пить, и он сильнее сжал во рту веточку, выдавливая горьковатый сок.

Почтальон в черной форменной тужурке с синими петлицами вышел из дверей, поправляя на плече тяжелую сумку. Он постоял немного, потом медленно пошел в сторону площади.

Опять не тот. Токмаков вынул из кармана руки, вытер вспотевшие ладони. Во рту стояла сухая хинная горечь. «А что, если зайти на почту, там наверняка есть бачок с водой...»

Почтальон возвращался. Он подошел к крыльцу, повесил сумку на руль велосипеда, достал из нее ключ и наклонился к замку. Когда он разогнулся, то увидел рядом молодого парня в линялой синей гимнастерке с серебряными погонами. Он стоял совсем рядом, покачиваясь с каблука на носок, глубоко засунув руки в карманы.

— Хорошая машина, — сказал Токмаков.

— Ничего, не жалуюсь, — голос у почтальона оказался неожиданно писклявым для его крупного тела.

— Уж больно она мне нравится, — улыбнулся Токмаков.

— Мне тоже, — почтальон еще раз оглядел офицера всего: козырек фуражки, низко надвинутый на глаза, расстегнутый ворот гимнастерки, облепивший крепкое, готовое к броску тело, и потянулся к сумке.

— Вот это лишнее, стой тихо, — Токмаков резко выдернул из кармана руку с пистолетом, — тихо, я сказал. Давай к райотделу. Дернешься — убью!

11 августа. 14.20. Засада

— А если они поедут другой дорогой, — спросил Грязновский, — тогда как?

— Другой дороги для них нет. Только эта. — Начальник райугрозыска лежал на траве, положив тяжелые руки на кожух МГ. — Ты не бойся, майор, они выйдут именно сюда.

— Откуда знаешь?

— Ко мне утром сведения поступили, что банда базируется где-то в Горелой пади, а дорога туда одна. Эта дорога. Другой нет.

И словно в подтверждение его слов вдали застучали колеса телег.

— Ну, что я тебе говорил, — начальник розыска глубже утопил сошники пулемета, повел стволом, — самое место.

Грязновский чуть приподнял фуражку, подал сигнал.

Через несколько минут телеги выбрались на поляну. И Грязновский мысленно поблагодарил своего напарника, тот выбрал отличное место: в случае боя солнце било прямо в глаза бандитам.

— Ну, — прошептал он, — давай.

Пулемет ударил длинно и глухо. И сразу же две лошади, запряженные в бричку, упали. Одна телега перевернулась, мешки с зерном посыпались на поляну. Бандиты ответили нестройно из автоматов. Но снова пророкотал пулемет, звонко застучали автоматы оперативников. Бандиты заметались, но, потеряв двоих, поняли, что окружены. Тогда они начали сбрасывать мешки.

— Бросай оружие, выходи по одному! — крикнул, приподнявшись на локти, Грязновский.

— Получи, сука!

Пули прошли совсем рядом, опалили волосы.

— Они там как в доте. Пока мы эти мешки расшибем, дня два пройдет, — сказал начальник розыска, — они не сдадутся.

— Ладно, — Грязновский достал гранаты, связал их ремнем и пополз к дороге.

— Ты куда? Вернись!..

Он слышал, как пули противно визжали над его головой, но он полз, и с каждым движением тело становилось все более послушным и гибким. Пора. Он поднял голову, прикинул расстояние и с силой метнул связку. Тяжелая волна придавила его к земле, но он тут же вскочил и бросился к разбросанным взрывом мешкам. С другой стороны бежали ребята его группы. На дороге, полузасыпанные пшеницей, лежали четыре трупа.

— Погрузите их, — приказал майор, — и отправьте в город.

Он подобрал фуражку и пошел к машине. В лесу тихо, и пороховая гарь клубилась синевой в лучах солнца. На поляне звонко и жалобно заржала раненая лошадь. Потом щелкнул одиночный выстрел, и вдруг, как никогда раньше, Грязновскому очень захотелось жить.

18.15. Райотдел милиции

— Пока у нас есть только косвенные улики против него, — Грязновский взял документы арестованного, медленно полистал, — только косвенные, а это все равно, что нет ничего.

— Чудак ты, Василий Петрович, — засмеялся начальник райотдела, — а пистолет в сумке?

— Всегда может отпереться. Нашел на дороге, не успел сдать.

— Ну ты действительно чудак. Год-то у нас какой. То-то, что сорок пятый. Так что ж, мы с ним церемониться будем?

— Социалистическая законность...

— Я знаю, — зло сказал начальник, — все знаю и о законности, и о презумпции невиновности. Только бы ты видел, как они наших в сарае хотели сжечь! Видел! Так и мы должны. Кровь за кровь.

— Ну ты, Борис Станиславович, уже не в партизанском отряде.

— Это точно, тогда дело другое было. Но не об том разговор. Тебя прислали нам в помощь ликвидировать банду. Так? Вот видишь, соглашаешься. Ты его и «расколи».

— Попробую.

— Ну иди, давай пробуй.

Задержанный сидел у стены. Кисти рук, слишком маленькие для мужчины, были туго перетянуты веревкой.

— Развяжите, — скомандовал майор, и уже задержанному: — Садитесь к столу. Вы ведь почтальон, правильно?

Задержанный молча кивнул.

— Вот и хорошо. Значит, читать умеете. Вот ознакомьтесь: статья 59 пункт 3 Уголовного кодекса. Читайте-читайте, там все есть, и пособничество бандитам тоже. Это неважно, что вы сами не убивали...

— Что вам от меня надо?

«Ну и голос, — удивился майор, — прямо как у мальчика из церковного хора».

— Нам надо немного. Ответьте, где Музыка.

Задержанный молчал.

— Хорошо, мы найдем его сами. И тогда он начнет давать показания. Тогда уже вас ничего не спасет.

— Сначала найдите, — почтальон усмехнулся.

— А чего искать, мы его считай что нашли. Не хотите нам помочь, не надо.

В сороковом его допрашивал следователь Барановичского НКВД. Этот допрос «почтальон» помнил хорошо. Следователь покраснел от крика. А он сидел и улыбался. Так и ушел в камеру, ничего не сказав. Что-то темнит этот майор, сидит тихо, покуривает да рисует карандашом чертиков на бланке протокола. Неужели взяли кого?

— Кстати, в налете на селекционную станцию участвовало шесть человек. Мы их привезли сюда, сейчас вам покажем, и бричку их привезли. Пойдемте.

Задержанный встал, потом сел снова.

— Ну что же вы? Пошли, — Грязновский расстегнул кобуру.

— Ладно. Скажу. Только запишите, я связник. На мне крови нет.

— Запишем. Веди протокол, Токмаков.

К двадцати двум часам к райцентру подъехало несколько машин. Началось оперативное совещание. Руководить войсковой операцией было поручено началь-

нику районного отдела МГБ. В его распоряженне прндавался батальон внутреннх войск, истребительный батальон н резерв мнлиции.

Совещанне провели быстро. Временн было в обрез.

— Товарнщн, — встал руководнтель операцин, — мы располагаем даннымн, что банда Музыкн, основная часть, находится в Горелой пади. Сам же он с четырьмя соучастннкамн — на Глуховском хуторе у мельника. Сегодня на рассвете начинается войсковая операцня, — он откннул рукав гимнастерки, поглядел на часы, — ровно через сорок мннут. Брать Музыку будет оперативная группа областного уголовного розыска во главе с майором Грязновскнм. Какне вопросы?

— Я, пожалуй, пойду, — сказал Грязновскнй, — разрешите, товарищ майор, надо на месте осмотреться.

— Иднте.

Грязновскнй вышел в корндор. Там его ждал кряжнстый младшнй лейтенант. Увндев майора, он встал н броснл руку к козырьку.

— Вы Егоров?

— Так точно.

— Знаете заданне?

— Так точно.

— Прекрасно, — майор повернулся к Токмакову, — людн готовы? Тогда поехали.

12 августа. 0.03. Дом мельника

Машину оставили, не доезжая двух кнлометров до хутора.

Вы ндите за мной, — сказал Егоров, — след в след, а то здесь одно гнлое место есть. Топь. Шагнул туда — и прощай рабоче-крестьянская милнцня.

Шлн осторожно, стараясь не шуметь. К дому мельника вышлн, когда уже начало светать. Грязновский внутренне порадовался, что дом стоит так удобно. Деревья подходнли почтн к самому крыльцу.

— Значнт, так. По одному человеку с каждой стороны. Токмаков, Егоров н я идем в дом. Помните, что у них на крыше часовой. Чуть что... Пошлн.

Прячась за деревьями, онн подошли к крыльцу. Поднялнсь. Внезапно загремела щеколда. Майор прнжался к стене. Из дверей вышел человек, голый по пояс. Ле-

вой рукой он придерживал спадающие штаны. Человек зевнул, перекрестил рот. Повернулся, и тут Грязновский сильно ударил его рукояткой пистолета.

— Хозяин это, мельник, — шепнул Егоров, подхватывая падающее тело. — Пошли.

Грязновский толкнул дверь в сени, потом в горницу. После ночной свежести в нос ударил запах перегара, табака, грязного мужского белья.

— Это ты, Мирон? — спросил кто-то.

— Угу, — промычал Егоров и включил фонарь.

Токмаков из-за спины майора ударил веером из ППШ.

— Оружие, руки! — крикнул Грязновский и бросился на полураздетого человека, рванувшегося к столу. Они покатились по полу. Стол упал, и что-то больно ударило Грязновского по руке, но он, не обращая внимания на боль, продолжал выкручивать руку противнику и заломил ее так, что человек закричал от боли хрипло и натужно. В комнате стреляли, со звоном летело оконное стекло, кто-то стонал тонко и жалобно. Но майор не видел и не слышал ничего. Только хрип противника, только его сильное горячее тело.

Наконец вспыхнул свет фонаря.

— Товарищ майор, — звал Токмаков.

— Я здесь, посвети.

— Взяли? У нас двое раненых.

— А бандиты?

— Трех на месте. Одного взяли.

— Помоги связать. Так, — Грязновский встал. — Подыми его. Посвети-ка.

— Это Музыка, — сказал из темноты Егоров, — отгулял атаман.

Грязновский, обходя трупы, вышел на крыльцо. Где-то, километрах в пяти, ударил и замолк пулемет. Там начиналась войсковая операция.

Олег ТУМАНОВ

...Как по маслу

Из рассказов водолаза

Генка Стоценко прыгнул с трапа, не дождавшись команды «пошел!», чтобы медленно, солидно, как и полагается водолазу первого класса, опуститься под воду, утверждая необычность и чрезвычайность своей профессии.

Сильный, большой и, вероятно, оттого важный, он двигался по земле, как и под водой, точно в замедленной киносъемке. Ну, под водой это понятно — не побежишь. А на земле? Будто боялся опрокинуть или разбить окружающие его дорогие вещи. Всегда и во всем он был неторопливо деловит. Он никогда ничего не делал с ходу. В нем была та природная русская сметка, выраженная в пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь». На Генку можно было положиться как на... Сравнений водолазы не любят.

Сомнений быть не могло, Генка, как, впрочем, и весь наш отряд, «заболел». Заболел «золотой лихорадкой»!

Прошло всего несколько минут, как под водой скрылся медный шлем Геннадия, а уже в наушниках сидящего на телефоне водолаза рокотал его октавный бас:

— Я на грунте, чувствую себя хорошо. — А еще через пару минут: — Включайте грунтосос и пипку.

Мотористы бросились по местам, никто не ожидал от Стоценко такой прыти. Заработал компрессор, подавая воздух. Шланг задергался, всхлипывая и задыхаясь, выплевывая на поверхность комки ила и грязи, которые мутным облаком расползались в прозрачной воде. Генка начал проходку туннеля.

Подъем «Ташкента» было решено осуществлять понтонным способом. Для этого под днищем корабля необходимо промыть пять туннелей. Продернуть через них стальные тросы (стропы). Затопить с каждого борта такое же количество понтонов, похожих на огромные бочки, подъемной силой в 500 тонн каждый. Принайтовать

(прикрепить) к тросам, продуть их воздухом, они всплывут и... поднимут вместе с собой эсминец.

Но до этого маленького «и...» с многоточием несколько месяцев такого изнурительного водолазного труда, от которого глаза на лоб лезут.

Работ по промывке туннелей водолазы не любят. Клянут на чем свет стоит и принимают как жизненную необходимость или как больной лекарство.

Под воду опускают грунтосос, или, как его величают водолазы всего мира, «самовар». Его металлический кожух и впрямь чем-то напоминает самовар, особенно во время работы. По медным трубкам, их несколько десятков, загнутых концами во чрево этого чудовища, подается воздух, который с ревом, подобно сказочному джинну, выпущенному из бутылки, несется вверх, всасывая за собой грунт и увлекая его по шлангу на поверхность, чтобы отбросить на несколько десятков метров от места подъема.

Во время работы грунтососа водолаз сидит на нем верхом, обжав ногами и навалившись грудью, напоминая ковбоя, оседлавшего дикого, взбешенного быка на играх в родео. С одной только разницей, на родео всадник должен продержаться на быке несколько секунд, да и то, обеими руками схватившись за подпругу. У водолаза же в руках пипка, что-то вроде пожарного брандспойта, через которую бьет струя воды в двенадцать атмосфер, размывая грунт. И в этом положении водолаз еще пытается острить, напевая неизменную: «На самоваре я и моя Маша вприкуску чай пить будем до утра». Грунтосос рвется из-под него, каждую минуту готовый сбросить со своей спины, трясясь словно в лихорадке, пипка с силой в двенадцать атмосфер, ударяя в грудь, пытается выбить из «седла», а водолаз: «На самоваре я и моя Маша...»

И такой бешеной скачки с препятствиями — четыре часа, какой уж тут чай, а водолаз...

Тут маму родную забудешь.

— Ну ты, «на самоваре я и моя Маша», как дела? — беря телефон, спрашиваю я.

— Все в порядке, старшина, грунт мягкий, иду как по маслу-у-у-у, — отвечает Стоценко, и октава его голоса от тряски грунтососа на конце разливается трипольским фальцетом.

— Гляди в оба.

— Есть смотреть в оба-а-а-а!

«Глядн в оба», — ловлю я себя на мысли, — куда глядеть-то?» — мне смешно и грустно.

В туннеле водолаз находится в абсолютной темноте, как, впрочем, в любом месте на судоподъеме. Чтобы не сбиться с курса, он определяет направленне своей ходки по швам обшивкн корабля. Через каждые 10—15 мннут руки сами почти механнчески ощупывают днище, предварнтельно устроив пипку между колен н пржав ее грудью к грунтососу, иначе улепетнет. Прекрасный снимок для шестнадцатой полосы «Литературной газеты» к рубрнке «Что бы это значило?», только такой сннмок тогда, да, я думаю, н теперь, почтн невозможно сделать.

Так вот, еслн шов обшнвкн на днище сместнлся влево или вправо, водолаз соответственно выправляет ход туннеля.

Промывка туннелей подходила к концу, день-два н вира: концы, пипки, грунтососы. Покедова, адью, прощевайте!

И вот тут-то и пошло — кто скорее промоет туннель?.. Ну а раз так, дело принципа, престнжа каждой станцнн н, разумеется, каждого водолаза в отдельности.

Чего только не передумаешь, когда твой товарищ на грунте. И про наше житье-бытье, и кто он н что...

Думаешь, как о человеке, ушедшем в иной мир.

А Генка — человек, водолаз что надо, сибнряк, несмотря на хохлатскую фамнлию.

— Как это у тебя с фамилней получается? — спрашивалн ребята.

— А черт его знает. Рассказывали, прапрадед головорезом был, вот в Сибирь и сбежал.

— Да как же так? Тогда вроде все на Дон бежали да на Сечь?

— То-то и оно, а он, говорят, такой дядько был, что с Сечи в Сибнрь тиканул. Женнлся там на кержачке, отсюда наш род н пошел.

— Что же, он такой же, как н ты, медведь был?

— Да нет, я в деда, помельче.

Глядя на двухметрового Генку, можно было себе представить, что же у него был за прадед.

— Дед мне всегда говорил: «Генка, спешн медленно. В жизни все надо делать с расчетом, после-то не воротишь. Жнзнь надо по солнцу отмерять. Ты погляди,

как оно свое дело делает: и весна тебе, и лето, и зима, и осень, а все не спеша, потому с понятием, так и человек должен». Вот я и спешу с тех пор медленно.

Мудрый дед был у Геннадия.

— Как Стоценко? — спрашиваю я у водолаза на телефоне.

— Нормально, — отвечает он, — поет.

Когда водолаз поет под водой, это хорошо, значит, у него душевное равновесие. Пошел четвертый час, как Генка на грунте, небось напрудонил в рубаху.

* * *

Грунтосос пытается вытряхнуть из Геннадия водолазный завтрак. Струя, бьющая из пипки, пласт за пластом отваливает из-под днища грунт. Слышно, как с шумом втягивает его в себя «самовар». Вибрирует и извивается под ногами шланг. Ноги от неудобного положения затекли, руки немеют, и все время хочется мочиться. «Это из-за большой теплоотдачи», — думает Генка и вспоминает, что в этом случае говорит доктор: «Водолаз за час работы под водой теряет три тысячи калорий тепла».

«Черт, ужасно хочется... Выйти наверх, оправиться? Нет, к богу в рай, потеряешь целый час. Пока выключат грунтосос и пипку, пока выберешься из туннеля, да пока разденут и оденут... Какой там час, глядишь, и полтора проскакало. За это время соседний водолаз пройдет метр, а то и больше, потом и на тарантайке не догонишь. Нет уж к черту, лучше здесь, не прокисну».

Обжигая тело, горячая струйка, журча, стекает по ногам, скапливаясь у щикотолок. Через несколько минут она, остынув, неприятно холодит ступни ног.

Пипка продолжает рваться из рук, грунтосос гудит, дергаясь под ударами выхваченных из грунта им камней.

Зато теперь легче... а ноги? Ноги скоро согреются.

* * *

Теперь водолазы в день под водой работают не более двух с половиной часов согласно инструкции, чтобы не схватить кессонную болезнь.

Во время войны мы работали по четыре. Кадровики

в то время уверяли нас, что год водолазной службы засчитывается за два, как, впрочем, война — год за три. Но вот пришла старость, инвалидность, а с ней пора уходить на пенсию, и выясняется, что никто не собирается тебе считать год за два или за три, а когда начинаешь об этом разговор, в лучшем случае на тебя смотрят как на дурака, а в худшем — просто принимают за идиота. Ты бормочешь в оправдание что-то невнятное, опускаешь голову и прячешь от собеседника глаза, будто уличенный в какой-то махинации.

Но разве восемнадцать или двадцать — это пятьдесят?! Разве в юности могут руки или ноги чувствовать усталость? Разве может им быть понятно чувство изнашиваемости? В юности мы вечны!!! Других понятий у молодости нет, и потому-то ей ничего не заказано. Она рвется вперед, к ею увиденному, чего недоглядели или не разглядели мы, не зная или просто не желая знать, что ее, как и миллионы до нее живущих на земле, ждет старость, болезни и...

В молодости мы делаем все возможное, чтобы потерять свое здоровье, а в старости в бесполезных попытках пытаемся вернуть его!

Начальство не знает о нашем «кто скорее», иначе давно бы устроило разнос. А мы просиживаем под водой по шесть-восемь часов вместо четырех, положенных по правилам водолазной службы. В голове — а нам кажется, что перед глазами — прыгают зеленые, синие, красные искорки — их тысячи, миллионы, они прыгают в такт рвущемуся из-под тебя грунтососу.

Бедный доктор, если бы он знал о наших «штучках», ему бы и по сей день все это снилось в кошмарных снах.

Но мы, как хорошие конспираторы (водолазы умеют молчать), утаиваем свои «подвиги».

Наша станция мыла у самой кормы, мы давно обогнали соперников. Генка прошел среднюю часть корабля, киль и вот-вот должен был выйти на противоположную сторону «Ташкента» — чистую воду.

Рядом с нами, чуть дальше к центру корабля, стоит бот Миронова — наш главный соперник. На катерах тихо. Ничто не говорит о том, какая титаническая борьба людей происходит там на грунте, на глубине. Только чайки, проносясь над местом подъема, иногда истошно

кричат: «Остановись! Человек! Не надо!» Но люди продолжают работать. Они уже не могут остановиться. Кто скорее! Люди редко могут остановиться вовремя. Кто скорее!

Неожиданно на катере Миронова на компрессоре прибавили обороты. Рванулся шланг их грунтососа.

— Генка! — заорал водолаз, сидящий на телефоне. — Миронов на пятки садится, прибавь газу! — И, не дождавшись ответа, крикнул механику, чтобы тот прибавил обороты на «самовар» и пипку.

Но разве нужно было об этом говорить Леньке Ставриди, одесситу, дружку Геннадия. Странная это была дружба. Ленька, маленький, щупленький грек, с противным задиристым характером, был полной Генкиной противоположностью. То ли так уж задумано природой, то ли люди сами надумали, что им для дружбы нужны антиподы? Так или иначе, а Ленька с его мышиным лицом, такой же пронырливостью, задиристым характером и порядочной нечистоплотностью, был другом Генки.

Когда они шли на увольнение, то картину собой являли поистине достойную кисти Репина. Было ощущение, что великий русский драматург Островский с них писал своих Счастливцева и Несчастливцева. Даже имя у Стоценко совпадало. Только он был Геннадий Прохорович, — кстати, Ленька его только так и величал, обращаясь на «вы». Делал он это от великого уважения к Генкиной доброте и силе.

Впереди всегда шествовал Ленька. Маленький, щуплый, со впалой грудью, чтобы создать впечатление солидности, он выпячивал вперед живот, брюки от этого съезжали на бедра, а поясной ремень и бляха болтались ниже пупка. Он вилял бедрами, раскачиваясь в такт несуществующей волне, утюжа непомерным клешем мостовую. За что не раз попадал в комендатуру.

Геннадий Прохорович в отличие от Несчастливцева шел сзади, как бы стесняясь своего могутного роста. Ленька, как легавая на охоте, челноком юлил впереди, вынюхивая, к кому бы придраться и учинить маленький скандальчик. Ни ранги, ни сила или рост человека его не могли сдержать. Ибо в самый патетический момент, когда его собирались отлупить, появлялся Геннадий Прохорович, и все как-то моментально улетучивались,

а Ленька, задрав вверх самодовольную мышиную мордочку, продолжал свой челночный ход. Правда, иногда Геннадию это надоедало, и он, схватив дружка за фланельку, так что та, выскочив из брюк, оголяла грязный засаленный пупок моториста, подносил его к своему широкому доброму лицу и тихо говорил: «Хватит». После этого они менялись местами, и уже весь вечер «герой» продолжал юлить сзади. Порой даже хватало одного взгляда Стоценко. Иногда они просиживали часами рядом, глядя в море и не произнося ни слова, думая о чем-то своем, роднящем их обоих. Во флотской обычной жизни Ставриди, как и Генка, был морским лириком.

Не успел прозвучать в воздухе голос водолаза, а компрессор уже прибавил обороты. Нужно отдать справедливость, механиком Ленька был отличным. И когда Стоценко находился на грунте, он подбирался, как охотничья собака, и каким-то десятым чувством друга понимал, что происходит с Геннадием под водой. Недаром говорят, что для дружбы нет преград, а тут еще была нежная любовь, благоговение перед силой, умом и талантом.

На боте Миронова заметили, что мы прибавили обороты, и тоже поддали газу.

Можно было только представить, как сейчас корежит водолазов в туннелях.

На катере все затихли, сопереживая вместе с водолазами. Каждый совершенно реально представлял себе, как трясется на «самоваре» Генка, выбивая шлемом дробь о днище корабля, ноги сводят судороги, а руки шарят по днищу, нащупывая кромку обшивки. Несмотря на гул машины и всхлипывающие, словно задыхающиеся звуки, вырывающиеся из шланга, всем кажется, что работа идет медленно и надо бы поддать еще, да некуда, и лучше бы под воду пошел он, другой, а не Генка, каждому кажется, что он сделал бы лучше или, во всяком случае, ловчее.

На боте Миронова тоже молчат, и нам кажется, что облака ила расплываются вокруг их катера, гуще и шире. Хочется закричать: «Генка, милый, нажми!» — но всем понятно, что механизмы и водолаз работают на полном пределе, и, отвернувшись, тихо вздыхают.

Гудит мотор, судорожно всхлипывает шланг, вздыхают люди.

От вибрирующего борта катера по воде разбегается мелкая рябь. Такая же рябь на душе каждого из нас. Как-то там Генка? Скоро четыре часа, как он на грунте... Соревнование соревнованием, а надо бы дать ему отдохнуть, небось напрудонил в рубаху по самые уши.

Беру телефон:

— Гена, как себя чувствуешь?

Небольшая пауза. Потом вибрирующий голос, нараспев, словно повторяя строчку триольской песни, отвечает:

— Все-о-о в поряд-ке-ее, стар-ши-на-а-а, пошел-л-л мягкий-й грунт-т-т, иду-у-у как по маслу-у-у!

— Давай наверх, тебя сменит Тягилев, пора отдохнуть.

— Старшина-а-а, ты что-о с ума-а сошел-л-л, мы-ы-ы же целый час-с потеряем-м-м. Не надо-о-о, разреши-и-и добить до конца-а-а! Я же говорю-ю-ю, иду-у-у как по маслу-у-у!

И хотя я в ответе за Стоценко, мне его жалко, жалко отрывать от настроя, когда все как по маслу, я это знаю по себе. Счастливое и радостное чувство охватывает тогда водолаза. «Как по маслу!» Как это понятно и близко даже сейчас!

— Ладно, давай, — говорю я строгим снисходительным тоном. Хотя самому тоже хочется запеть: «На самоваре я и моя Маша...» Возможно, сегодня Генка выйдет на ту сторону «Ташкента», тогда, дорогие наши соперники, мы вам покажем «кончик», на флоте во все века обогнавший соперника показывает ему с кормы конец веревки. Обида для отставшего горькая и долго несмываемая.

А Стоценко молодец! Вот тебе и «спеши медленно», а как взяло за душу, не остановишь и не оторвешь. Нет, дух соперничества, соревнования, что ни говори, особенно если оно рождается изнутри самого коллектива, великая вещь.

Здесь не нужны ни уговоры, ни убеждения и просьбы, все эти доводы, необходимые в другом случае, обгоняются желанием быть первым самому и всей водолазной станции, хотя за это тебя не ждет никакая награда, в лучшем случае легкий одобрительный шлепок товарища рукой по плечу.

Пошел шестой час, как Генка ушел под воду. На соседнем катере водолаза тоже не меняли. Официантка привозила обед и рассказала, что дежурный по отряду собирается на нас с Мироновым писать рапорт командиру за то, что на перерыв не пришли в базу. «Что они себе там думают! — говорила она, передразнивая лейтенанта. — Работа, видите ли, у них там, а мы что здесь, в бирюльки, что ли, играем? С утра не могли заявку оставить, вот и гадай, то ли придут обедать, то ли нет». А я говорю ему: «Не придут, они там какой-то рекорд ставят!» А он: «Какой такой еще рекорд, если я не знаю?» А я ему: «Вот и плохо, что не знаете, а ребята на «Ташкенте» как волы вкалывают, это вы здесь прохлаждаетесь, узнаете, да поздно будет!» Зина запнулась, поняв, что проговорилась. «Значит, кто-то из ребят протрепался, — подумал я, — надо кончать с этим «соревнованием», не то командование, узнав, насует полные карманы фитилей, не расхлебаешь. Глядишь, вообще отстранят от водолазных работ, как летчиков за провинность отстраняют от полетов».

Вот ведь, клянем, ругаем свою работу, острим над молодыми. Дескать: не хотел есть белые булочки, будешь теперь всю жизнь есть свинцовый хлеб. А не сходил пару дней под воду и не находишь себе места, ночами начинается сниться прохладная ласкающая глубина моря, и тянет тебя в нее точно в омут. А какой уж тут покой? Жизнь человеку нужна! Во всех ее злоключениях и перипетиях. Вот он, покой. В деле. В большом или маленьком — не имеет значения. Маленьких дел нет, когда ты его делаешь. Каждое сделанное тобой — велико. Иначе не стоит жить. Но ведь есть еще любовь, как говорили римляне: «Не было бы вина и женщин, не было бы героев!»

Вот они, герои!

Ах эта распроклятая любовь! Что бы ей... к кому бы она ни была: к морю, девушке... Точно. У кого-то из ребят с Зинкой роман, иначе бы не протрепался, даже на пытке. А тут поцелуи, объятия, ну и, уж конечно, желание быть в глазах девушки первым.

— Зинка, никому?

— Клянусь мамой!

— Мы раньше всех туннель промоем, как пить дать Миронова обштопаем, по восемь часов под водой сидим. Только никому!

— Могила! — дрожащим от волнения голосом отвечает потрясенная признанием Зина.

И действительно никому, если бы не упрек дежурного по отряду. Может ли девичье сердце выдержать слова упрека в адрес ее милого, ее сердце давно переполнено гордостью за него и, разумеется, за всю водолазную станцию, она и себя уже считает ее составной частью. Она и все, что происходит на боте, — одно целое с нею. Вот и ляпнула от обиды лейтенанту: «И плохо, что не знаете!..»

— Старшина, Стоценко к телефону просит, — говорит сидящий на телефоне водолаз.

Беру наушники:

— Что там у тебя?

— Чувствую-ю, скоро-о-о выйду к проти-вопо-ложному-у-у борту-у-у, грунт все-е-е мягче-е-е и мягче-е-е, пусть поддадут-т на пипку-у-у.

— Добро, будь осторожен, следи за швами обшивки, а то собьешься с курса, — отвечаю я.

— Есть, старшина! Не беспокойтесь, иду-у-у как по маслу-у-у.

— Да брось ты это — «по маслу, по маслу», как бы по дерьму не пошел.

Я понимаю, что зря обижаю Генку, он отличный водолаз, но мне не дает теперь покоя, что Зинка проболталась дежурному, на душе какое-то недоброе предчувствие, будто скребут кошки. Неожиданно кто-то из водолазов кричит:

— Старшина, воздух с кормы пошел!

Я бросаюсь на нос катера, действительно из-под кормы «Ташкента», выскакивая на поверхность, лопаются пузыри стравливаемого Генкой воздуха. «Какая-то чушь! Как мог Стоценко оказаться под кормой корабля?»

— На телефоне, спросите Генку, что с ним?

— Есть!

— Ну, что там?

— Отвечает, что видит свет, выходит на чистую воду.

— На какую чистую, он что, с ума сошел?

— Не знаю, старшина, говорит, пробился к противоположному борту.

У меня заныло все внутри. Вот оно, дурное предчувствие, недаром на душе скребли кошки. Наверняка Стоценко в темноте потерял ориентацию, сбился с курса

и пошел не поперечным, а продольным швом обшивки корабля, они-то и привели его к корме. «Свет видит, идиот! Лучше бы тебе его никогда не видеть! Кретин!»

Бывает, что водолазы заболевают туннельной болезнью. Чувство необъяснимое и почти не поддающееся анализу.

Сплошная темнота. Монотонный гул грунтососа и пипки вызывает в организме и мозгу ощущение прострации, и кажется водолазу, что он ни на земле, ни под водой, а летит в необъятное и неведомое, без конца и края, и ничто не в силах остановить этого, в сущности, неподвижного, бесконечного полета. Теряется чувство ориентации. Страх постепенно начинает заползать в мозг, разливаясь в крови по всему телу и вызывая в нем озноб. Руки забывают ощупывать обшивку корпуса, и тут уж не в воображении, а наяву потащат его грунтосос и пипка, куда бог пошлет. Тогда не до работы, скорее выходи наверх.

Молодые водолазы из-за ложного самолюбия часто стесняются признаться в симптомах наступающей болезни, «старики» же, почувствовав наступление прострации, тут же передают по телефону: «Ребята, я «плыву»! Выбирайте наверх!» Над этим никто никогда не острит, зная по опыту, что сам может оказаться в подобном — «плыву».

Никому не заказано.

Видимо, с Генкой случилось нечто подобное.

— На телефоне, — спрашиваю я, — что там?

— Выходит наверх.

— Добро. «Я ему сейчас выйду. «Поддай на пипку», — я тебе поддам... всю жизнь помнить будешь! «Как по маслу...» Выходи, выходи! Я тебе одно место маслом смажу! Что на твоих салазках ездить будешь! Ведь чувствовал, что поплыл, так нет же... «Старшина, миленький, разрешите еще...» Разрешил на свою голову.

— На телефоне, передайте, пусть выходит наверх, готовим встречу с «оркестром»!

Вся команда бота собралась на носу, следя за пузырями стравливаемого Стоценко воздуха. От мироновского катера отвалил тузик и двинулся к нам. «Этого еще не хватает, — подумал я, — теперь на весь отряд растравят. Позорище». Шлюпка подошла к боту, кто-то из матросов принял конец, и на палубу поднялся мичман Миронов, отличный водолаз, красавец и сибарит,

Он всегда двигался, как бы боясь расплескать свое достоинство. Сейчас он шел так, будто был сделан из дорогого хрусталя. Ехидно улыбнувшись и протянув мне руку, сказал:

— Классика! — он любил такие слова. — Вы что ж, туннель по всему килю промыли — от носа до кормы? — говорил он со свойственной ему иронией.

Ребята молчали.

— Как видишь, — ответил я, — винты на валы ставить будем, разве не знаешь? Командование решило, чтобы «Ташкент» своим ходом отсюда в док пошел.

Глаза мичмана заерзали по стоящим вокруг, никто даже не улыбнулся. Матросы поняли и молчали, поддерживая игру.

Из-под кормы корабля вслед за пузырями неожиданно выскочил водолазный шлем.

Солнечные блики по-праздничному сверкали на его отполированной о днище корабля медной поверхности. Через иллюминатор светилось ошалелое от счастья, залитое потеками пота, курносое лицо Генки Стоценко.

Миронов резко повернулся, спрыгнул в тузик и, уже отойдя от нас на несколько метров, зло крикнул:

— Деятели!

Стоящие на палубе разразились смехом. Шлюпка быстро уходила восвояси. Кажется, Миронов поверил!

— На телефоне! — крикнул я. — Передайте Стоценко, пусть двигает обратным ходом через туннель наверх.

— Есть, старшина!

Сверкающий шлем Геннадия скрылся под водой. Теперь ему придется пройти по всему промытому туннелю назад, и он поймет, что сбился с курса, вышел не к противоположному борту, а к корме, и завтра все нужно будет начинать сначала.

Когда с Генки сняли шлем, по его лицу, мешаясь с каплями пота, текли слезы.

На следующий день наша станция, несмотря на все злоключения, промыла этот туннель первой.

Мыл Геннадий.

Авторы выпуска

НАУМОВ Николай Васильевич родился в с. Елизарово Псковской области в семье сельских учителей в 1920 году. Участник Великой Отечественной войны — был журналистом дивизионной газеты, а также снайпером. Живет в Москве.

ПЛЕХАНОВ Сергей Нколаевич родился в 1949 году в Свердловске. После окончания школы работал пожарником, слесарем, заведующим сельским клубом, журиалистом. Учится в Литературном институте имени А. М. Горького.

ПРОСКУРИН Петр Лукич родился в 1928 году в поселке Кнсицы Бряиской области. Подростком прошел через иемецко-фашистскую оккупацию; в пятнадцать лет начал работать в колхозе; у него за плечами работа на торфоразработках, служба в армии; а после службы в армии он работал иа Камчатке лесорубом, сплавщиком леса, шофером. В тридцать два года у Проскурина вышли первые книги — сборник рассказов «Таежная песия», роман «Глубокие раиы». Сейчас Проскурин — автор романов «Горькие травы», «Камень сердолик», «Судьба» и миогих других произведений. За роман «Судьба» присуждена Государственная премия РСФСР имени А. М. Горького.

РЕСКОВ Борис Яковлевич родился в 1925 году на стаиции Бородяика Киевской области. Почти вся жизнь его связана с Узбекистаиом. Здесь он окончил среднюю школу, униврситет, отсюда ушел на фронт. Участвовал в боях за освобождеиие Варшавы, в штурме Берлина. Автор книг «Дорога к звездам», «Самаркаидские прелюды», «Усман Юсупов» — серия ЖЗЛ (в соавторстве с Г. Седовым). Член СП. Живет в Ташкеите.

СИБИРЦЕВ Иваи Иванович родился в 1924 году в Красиоярске. Автор нескольких документальных повестей, очерковых книг и романов — «Крутизна», «Околдованые звезды» и других. Член СП. Живет в Красноярске.

СТАН Григорий Ефимович родился в 1915 году в селе Днепрово-Каменка Верхнеднепровского райоиа Днепровской области. Окончил военное училище Первой Конной армии, военную академию имени М. В. Фрунзе. Участник финской кампании, Великой Отечественной войны, комаидовал отдельным истребительиым противотанковым дивизионом, отдельиым заградительиым батальоиом Первой Польской армии. Автор многих очерков на военную тему.

ТЕНЯКШЕВ Коистантин Афаиасьевич родился в 1922 году в Джамбуле Казахской ССР. Участник Великой Отечествеиной войны. После войиы окончил Ташкентский госуниверситет. Член СП. Живет в Ташкенте.

ТУМАНОВ Олег Иванович родился в 1923 году в селе Подлесная Слобода Московской области. В 1941 году по первому комсомольскому добровольному набору ушел на фронт. Воевал в истребитель-

ной противотанковой артиллерии, после ранения направлен в водолазное училище, был инструктором-водолазом. Работал актером в театре, снимался в кино. Опубликовал более пятидесяти рассказов и повестей. Живет в Москве.

ХРУЦКИЙ Эдуард Анатольевич родился в 1933 году. Окончил военное училище, служил в армии, затем работал в редакциях московских газет и журналов. Опубликовал восемь повестей, в том числе — «Этот неистовый русский», «Тугие канаты ринга». В основном пишет о работе советской милиции.

ШАВКУТА Анатолий Дмитриевич родился в 1937 году на Северном Кавказе. Окончил Грозненский нефтяной институт. С 1960 года работает на прокладке нефтепроводов и монтаже заводского оборудования. Автор рассказов и повестей о рабочем классе. «Такие разные люди» — книга, выпущенная в 1975 году издательством «Современник».

ШЕЙНИС Зиновий Савельевич родился в 1913 году в городе Белостоке. Окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики. Участник Великой Отечественной войны. В качестве корреспондента советской газеты присутствовал на Нюрнбергском процессе — суде над военными нацистскими преступниками. Работал в Германии. Автор книг — «Западный бастион социализма», «Заговор — оружие реакции», «Снова тень Вотана». Очерки публикуются в журналах «Юность», «Москва», «Октябрь».

ЭМИНОВ Октем родился в 1934 году в селе Халач Чарджоуской области. Окончил Туркменский госуниверситет в Ашхабаде. Работал в редакциях областных газет и на телевидении. Автор многих очерков и стихов. Член СП.

Содержание

П75 **Приключения-76.** Сборник. Рис. художн а Г. Ушакова. М., «Молодая гвардия», 1976.

480 с. с ил. (Стрела).
На обороте тит. л. сост.: А. Кузнецов.

В традиционный сборник «Приключения-76» вошли о о- сюжетные повести, рассказы, очерки. Открывается выпуск ю- вестью Н. Наумова «Кто стреляет последним», рассказы ающей о противоборстве двух снайперов — советского и фашистского — в годы Великой Отечественной войны. Повесть Б. Рескова и К. Тенякшева «По кромке огня» посвящена операции советского чекиста накануне Великой Отечественной войны в одной из стран, сопредельных советским респуб и- кам Средней Азии. В сборник включены повесть П. Про р- рина «Тайга», рассказы и очерки о приключениях на золо прииске, о водолазах, строителях, а также о борьбе с дитизмом в послевоенной Белоруссии.

П $\frac{70302-183}{078(02)-76}$ 270—76

Сборник
ПРИКЛЮЧЕНИЯ-76

Редактор **В. Фалеев**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Г. Прохорова**
Корректоры: **Т. Пескова, Л. Четыркина, Л. Матасова, З. Харитонова**

Сдано в набор 6/II 1976 г. Подписано к печати 22/VI 1976 г. А05123. Формат 84×108 1/32. Бумага № 2. Печ. л. 15 (усл. 25,2). Уч.-изд. л. 26. Тираж 200 000 экз. Цена 99 коп. Т. П. 1976 г., № 270. Заказ 172.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

